



П. Н. К р а с н о в

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Т О М I

От Двуглавого Орла
к красному знамени



Всеславянское Издательство



Степан Кравчук

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ
1894—1921

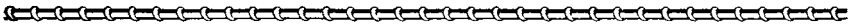
П. Н. КРАСНОВ

От Двуглавого Орла к красному знамени

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Всеславянское Издательство

1960



Published by All-Slavic Publishing House, Inc.
46 Great Jones Str., New York 12, N. Y.

Герою воинского долга, доблестному борцу за Великую Россию и славу казачью, проникновенному баяну русского величия, венец мученичества принявшему за Веру Православную, за Царя Русского, за Отечество светозарное

генералу от кавалерии

ПЕТРУ НИКОЛАЕВИЧУ КРАСНОВУ

свой скромный труд по переизданию его творений с благоговением посвящает

Сергей Завалишин
издатель

ТОМ I

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЬЮ-ЙОРКСКОМУ ИЗДАНИЮ 1960 ГОДА

Сорок лет прошло со дня появления 1-го издания бессмертного творения Петра Николаевича Краснова — романа „От Двуглавого Орла к красному знамени“. После этого появились и второе, и третье, и, кажется, еще какие-то; сделаны были переводы на все языки мира.

Первый опыт автора, встреченный „прогрессивной“ критикой в штыки, тем не менее, захватил т. н. широкую массу эмиграции, а переводы сделали то, что о России, ее несравненной армии, ее народе иностранцы узнали гораздо больше, чем из всех журнальных и газетных статей, из всех университетских лекций.

Наперекор разнузданной критике, наперекор всем „властителям дум“, Краснов покорила исстрадавшееся по красивой жизни человечество и воспитал тысячи и тысячи людей в стремлении к добру, жертвенности и подвигу.

Последующие многочисленные произведения возвели Краснова, опять-таки вопреки официальной критике, до вершины славы.

В течение четверти века царил Краснов в Зарубежье, но все его мысли, все устремления были направлены туда, на Восток, где на одной шестой Земли когда-то цвела и благоденствовала сказочная страна, с ее великими князьями, царями и императорами; с ее величавой историей; с ее великолепием всех великолепий; с ее святыми храмами и обителями; с ее загадочным народом, в своих поступках доходившим то до пропасти мерзких преступлений, то до пределов святости; с ее „одинадцатью казачьими войсками — одинадцатью жемчужинами в блистательной короне Российской Империи“.

И случилось так, как будто Краснов, создавая героя романа „От Двуглавого Орла...“ — Саблина, писал автопортрет. Та же блестящая военная карьера, те же срывы и промахи, те же страсти, те же величественные подвиги и... тот же крест мученичества, в тех же застенках коммунистической чрезвычайки.

Уже престарелым старцем, отдавшим всю свою жизнь служению добру и красоте, был он выдан новыми Иудами на крестную смерть.

Подвигом мученичества завершилась земная жизнь великого писателя и русского патриота, но творения его не умрут в веках. И что из того, что чьим-то старанием изъяты все книги Краснова: их трудно найти даже в библиотеках.

Шквал последней войны уничтожил многие и многие бесценные памят-

ники истории, но Краснова уничтожить нельзя. Его книги осветят еще путь грядущим поколениям.

С Божьей помощью, удалось сейчас самоотверженному „Всеславянскому Издательству” подарить Российскому Зарубежью новое издание романа „От Двуглавого Орла к красному знамени”, в твердой уверенности, что последующими изданиями, в миллионных тиражах, уже озабочится освободившийся русский народ, ибо и порывистый Саблин, и скромный герой долга полковник Карпов, и его юный сын Алеша, такой чистый и героический, и светлые образы умученных Великих Княжен — неотъемлемы от Святорусской Земли..

В предисловии ко второму изданию 1922 года, П. Н. Краснов, в связи с получением им многочисленных писем, касающихся его романа, писал: „Эти письма показали мне, что роман затронул Русское общество и, особенно, служивших в Российской армии”.

Это было тогда, в 1922 году, когда всё общество-то составляли, в большинстве, „служившие в Российской армии”.

С тех пор прошло сорок лет. Служивших в Российской армии осталась горсточка. Народились новые поколения. Пришли в Зарубежье многие тысячи новых людей „оттуда”. И если бы Краснов был еще жив, то он получал бы теперь гораздо больше писем, и не только от нас, служивших в старой армии, но от тех, для кого книги его стали откровением; от тех, кто, может быть, впервые услышал от него правду, неприкрытую правду о нашем Отечестве, столь старательно, до сего времени, искажаемую кремлевскими узурпаторами; от тех, кто ничего не знал о сладости подвига во имя России; от тех, кто в его книгах эту Россию обрел и полюбил.

И вот, ввиду того, что творчество Краснова пережило его самого, что его творения имеют теперь иных читателей, „Всеславянское Издательство” осмелилось нарушить завещание писателя — не печатать его книг по новой орфографии, но мы хотим верить, что с нашими доводами Умученный за Россию — согласился бы.

Надеясь на благосклонное отношение Русского Зарубежья к труду „Всеславянского Издательства” по изданию книг певца Русской славы, Петра Николаевича Краснова, мы закончим наше вступление его же словами из предисловия к тому же 2-му изданию 1922 года:

„Им (романом „От Двуглавого Орла к красному знамени”. Н. Ч.) заинтересовалась заграница. Быть может, из него там лучше узнают о жизни и гибели великого народа и его армии, нежели из газет и рассказов очевидцев. Может быть, прочтя его там, поймут, что такое была Российская Империя и что такое большевизм.”

Н. Чухнов

Нью Йорк

1960

ПРОЛОГ.

Если бы кто-нибудь нарочно захотел собрать людей столь различных по положению, профессиям, понятиям, национальности, даже по цвету кожи, и посадить их всех вместе в помещении равном двум квадратным саженьям, то вряд ли бы ему это удалось так, как сделал это случай зимою 1918 года на одной из маленьких станций на юге России.

Это было тогда, когда одуревшая, помешавшаяся Российская армия вдруг побросала позиции и кинулась куда глаза глядят — домой, не разбирая ни эшелонов, ни направлений, когда начался по всем большим городам кровавый террор и когда казалось, что только на юге можно найти спасение и сколько нибудь сносную жизнь. На одной из больших узловых станций юга России вдруг застряла компания людей, стремившихся попасть на скором поезде в Ростов. Билеты им в Москве продали, но предупредили, что поезд может и не дойти. Донские казаки и их атаман Калёдин, как его называли, не признали советской власти и идут на Москву. Где то идут переговоры, и это может помешать движению поезда.

Действительно, поезд докатил до Воронежа, но потом вдруг повернул обратно, дошел до узловой станции, здесь остановился и пассажирам было заявлено, что он дальше не пойдет. Новая толпа жаждущих попасть в Москву навалилась на поезд и пассажиры из Пульмановского международного вагона очутились сначала на грязной, заплеванной шелухой от семячек и страшно загаженной станции

среди громадного людского стада солдат, ожидавших движения на юг, а потом в товарном вагоне.

Были среди пассажиров люди значительной энергии, они пошептались между собою, поговорили, сложились и за триста рублей — шестнадцать буржуев получили в полное свое распоряжение товарный и довольно чистый, правда холодный, вагон, в котором и предполагали не без некоторого удобства, на своих вещах и увязках, а главное в своей компании, доехать до места назначения.

Тут был человек лет около пятидесяти, но видимо многое перенесший в жизни, седой, в седых холеных усах. Он был одет в хорошее пальто с меховым воротником и такую же шапку, однако, как будто бы и не по нем шитые, несколько широковатое и свободное. К нему пугливо жалась свежая блондинка, известная столичному миру певица Моргенштерн, по сцене Онегина, два совсем юных изящно одетых в штатское и тоже с чужого плеча человека — Ника Полежаев и его брат Павлик и с ними их сестра Оля, совсем еще молоденькая девушка с наивными круглыми глазами, вдумчиво и печально смотревшими кругом, инженер Арцханов с красивой, болезненной дамой, которую он взялся проводить от Москвы до Ростова, толстый, в рыжей борде богатый еврей Михаил Осипович Каппельбаум и солидный немец банкир Нотбек. Была публика и попроще, победнее, так сказать, второго сорта, но все таки своя, буржуйская, как презрительно отзывались о них на станции товарищи солдаты. Молодой офицер кубанец, ехавший хотя без оружия и погон, но в черкеске с гозырями и с ним его жена, из простых хохлушек; маленькая, но очень юркая и находчивая старушка, наконец, еще мелкий телеграфный чиновник с женою, неряшливой женщиной с ребенком, грязным и неопрятным.

Все эти люди, в сумраке вечера, при помощи станционной прислуги прицепили вагон к поезду и, помогая друг другу, втащили свои вещи и стали устраиваться на черном досчатом полу, покрытом угольными крошками. У самой стены уселся старик, посадивший подле себя певицу. Тут же сбоку расположились братья и сестра Полежаевы. Ин-

женер Арцханов из своей шубы и каких то пледов устроил некоторое подобие ложа для своей болезненной спутницы, а сам сел у нее в головах, — словом, каждый устроился так, что мог и лежать и сидеть, а в середине вагона и у дверей, из которых дуло, оставили свободный проход.

И только устроились и Арцханов, приклеивши свечку к краю вагонного переплета, начал раскладываться, вслух мечтая о том, как он закусит, как подле вагона собралась громадная, человек в триста, толпа солдат, тоже хотевших ехать на юг и устроился митинг. Больше всех волновался, шумел и возбужденно кричал, молодой красивый солдат с очень бледным лицом с тонкими, злыми чертами и блестящими серыми глазами. Был он хорошо одет в шинель и папаху, сдвинутую на затылок. Из-под папахи выбивался подвитой клок волос. Сухое, нервное лицо его постоянно передергивалось от волнения.

— Товарищи! — кричал он, — мы все представители трудового народа, имеем желание ехать на юг по своим домам. А между тем, что же мы видим, товарищи? Представители капитала, люди, которые имеют деньги, уже устроились по вагонам, а мы ждем на морозе и снегу. Товарищи! Правильно это или нет?

— Мы в окопах сидели, кровь проливали, а они на нашей крови наживали, да брюхо набивали, — мрачно сказал пожилой угрюмый солдат с большим мешком за плечами и с винтовкой в руках.

— Мало, что-ль кровушки нашей попили, — проговорил солдат с плоским лицом и бледно серыми злобными глазами, глядевшими кругом с непримиримой ненавистью.

— Что церемонию с ними разводить, товарищи, — воскликнул первый говоривший — давайте повыкидаем буржуев вон, а сами поедем.

— Чего вздор молоть, — сказал высокий и сохранивший еще выправку солдат, — тоже люди. Там женщины есть, с детьми. Выкидать! Им тоже нужна ехать. Потеснимся, нам не в первый раз привыкать.

— Ах ты, рабская душа! — сплюнул злобный солдат. Всех выкидать беспременно. Чего возиться то!

— Али, товарищи, вещи повыкидывать, пусть без вещей едут с одной котомкой, — весело крикнул молодой солдат, тоже с ружьем и рассмеялся, широко раскрывши рот и так оскаливая крупные ровные зубы, что они и в сумраке блестели.

— Ну, вали, товарищи, чего время терять.

Толпа навалилась, дверь, которую пробовал придержать телеграфный чиновник распахнулась и в вагон, кто подсаживаемый товарищами, кто грудью наваливаясь в пол, стали влезать солдаты. Ни самих пассажиров, ни их вещей, однако, не тронули, но стеснили их так, что они сидели, чуть не друг на друге. Толстого и коротконого Капельбаума усадили в углу на его чемодане, поставленном стоймя так, что он ногами не доставал до пола. Болезненную даму заставили подняться и сесть.

— Нечего тут разлеживаться, — говорил, обходя вагон, молодой солдат.

— Разве не видите, что она больная, — сказал Арцханов.

— Я сам нездоровый, — злобно сказал солдат с блестящими серыми глазами.

Когда вагон набился так, что многим уже нельзя было сидеть и приходилось стоять, сами солдаты заперли дверь и перестали пропускать больше, отстаивая и свои интересы и интересы попавших раньше пассажиров.

Но тут оказалось, что в вагон попало двое китайцев, а третий их товарищ, притом не говорящий по русски остался один на станции и теперь стучал и ломился в вагон, требуя, чтобы его пропустили.

Его товарищ, уже устроившийся на полке завопил диким голосом.

— Плопусти. Это моя товалища, вместе едем.

— Надо впустить его, — вмешалась и жена телеграфиста — как же он один то будет, коли языка не знает.

— Впустить, или всех их к чортовой матери вышвырнуть, — сказал злобный солдат.

— Да что один человек сделает, впустить! — раздались голоса.

Дверь приоткрыли и в вагон, в который казалось ниче-

го нельзя было больше пролихнуть, протискался еще и третий китаец, сейчас же залопотавший по китайски со своими товарищами.

Озлобление не улеглось. Буржуи стесняли и вопрос о том, чтобы их выбросить был поднят снова.

Молоденькая Оля Полежаева дрожала, как в лихорадке и все говорила страшему брату, Нике.

— Успокойся, Оля, — отвечал тихо по русски, ее брат. Все образуется. Ведь не звери же.

— Ах, я так боюсь... боюсь, — шептала Оля.

Седой господин неподвижно сидел у стены и старался быть в тени, вне света зажженных Арцхановым и телеграфистом свечей. Каппельбаум решительно вступился за свои права. Сидя на некотором возвышении и сердито сверкая глазами из-за золотых очков, он обратился вдруг к солдатам.

— Как же это можно, товарищи, нас вышвырнуть? Да по какому праву? У меня билет I класса до самого Ростова, у меня плац карта, я еще здесь на станции заплатил за этот вагон сорок рублей и меня вышвырнуть!? Это какая же справедливость? Я спрошу, — у вас билеты есть?

— А ты на войне воевал? В окопах сидел? А? Вши есть у тебя, есть? А? — вдруг напустился на него злобный солдат.

— Капиталист! — сказал молодой солдат, который смеялся на платформе.

Каппельбаум весь вскипел.

— Вы почему же знаете, что я капиталист? Вы у меня деньги считали?

— Ишь, брюха толстая — вот те и капиталист, — смеясь сказал солдат.

В разговор вмешался Арцханов. Его передергивало, он давно уже хотел образумить этих людей, но его спутница отговаривала его, уверяя, что только хуже будет.

— У вас, у кого брюхо толстое, тот и капиталист, — вдруг выкрикнул он, — а я кто же по вашему?

— Буржуй — презрительно сказал, сплевывая семячки солдат со злыми серыми глазами.

— Почему? Это доказать надо? — сказал Арцханов.

— Чего там доказывать. По платью видать и так.

— Ничего не видно. Я, товарищи, на фабрике служу. Я такой же пролетарий, как и вы. Я так же, как и вы нахожусь в зависимости от капитала. Вот вы меня, товарищи, вышвырнуть хотели. А я выборный от союза рабочих, я везу важные постановления, рабочие меня ожидают, а вы — вышвырнуть!

— Завел шарманку, — сказал злобный солдат. — Ты мандат покажи.

— Не говорите мне ты, я вам вы говорю.

— А я тебе — ты.

— Оставьте его, Михаил Иванович, — шептала болезненная дама, — умоляю вас.

Но Арцханова остановить было нелегко. Он весь кипел возмущением.

— А по какому праву? — воскликнул он.

— А по такому, что ты буржуй.

— Что же буржуи не люди, что ли? воскликнул Арцханов.

— Известно не люди, — раздались голоса в разных концах вагона.

— Да чего, товарищи, с ними говорите, пора их вышвыривать — крикнул кто то из толпы.

— Уйдем, уйдем, Ника, — молила Оля Полежаева, кладя свою руку на руку брата. — Ведь это ужасно.

— Ничего, ничего, милая Оля, — все образуется. Это только их *manière de parler* * — ничего они с нами не сделают.

В разговор вмешался молодой красивый солдат с клоком волос, выбившимся из-под папахи.

— Пусть едут, — покровительственно сказал он. — В пути мы разберем, кто едет по своим делам и кто отправляется, чтобы пить народную кровь, кто пособник Корнилова и Каледина и хочет отнимать землю у крестьянина и в угоду капиталистам продолжать убийственную войну.

— Правильно, товарищ, — сказал злобный солдат. —

* — Способ выражаться

И уже ежели кто только подлинный буржуй, кажется, своими руками задушу его!

— Да за что? — сказал Каппельбаум.

Солдат повернул к нему озлобленное лицо.

— Да за что? — сплюнул он. — За гнет, за обман... Мало кровушки нашей крестьянской попили! Мало держали народ в темноте. Нет! Довольно нам гнета царизма, свергли мы Николашку и больше никто издеваться над нами не будет. Мы сумеем своими солдатскими руками отстоять революцию.

Столько злобы и ненависти было и в словах его и в голосе и особенно в выражении его лица, ненавидящего до боли, до самозабвения, что в вагоне притихли.

— А вы, товарищ, воевали? — вдруг спросила маленькая старушка в платке, опять-таки ловко протиснувшись и страшно стесняя, чуть не на колени садясь к Оле Полежаевой, обращаясь угодливо к молодому рослому солдату с гвардейскими петлицами на шинели.

— Воевал, неохотно отвечал тот.

— Где же?

— В Питербурхе, когда права народные брали.

— Ах ты, Боже мой, засуетилась старушка. — Вот страсти то!

— Ну чего страсти, — сказал солдат. — Больше ведь безоружных били. И я городского штыком цапнул.

— А он что?

— Ничего. Кровь фонтаном, как из свиньи. Он в штатском был.

— В штатском? А по чем же вы узнали, что он городской?

— Женщина указала. Я иду, он навстречу, а женщина одна и говорит мне — смотрите — товарищ, это городской. Ну, я штыком его в грудь...

Поезд все стоял, не двигаясь. Устроившиеся солдаты начали бегать за кипятком и рослый солдат, сохранивший выправку, предложил и буржуям принести кипятку. На досках наверху китайцы ссорились между собою и говорив-

ший по-русски китаец, указывая на своего приятеля говорил солдатам:

— Моя лаботник — а это булжуй; купеза.

— Ты откуда же, ходя? — спрашивал у него солдат с круглым веснушчатым лицом.

— Моя Шанхай. Он — Халбин. Купеза — булжуй...

И он тыкал пальцем в лежащего китайца.

— Нет холошо! Булжуй.

Тот вскочил и стал ругаться. Спокойные лица китайцев вдруг исказились злобой и солдаты, смеясь, стали стравливать их между собою.

Оля Полежаева смотрела на все, что происходило перед нею на маленьком пространстве вагона и тоска и недоумение отражались на ее юном лице. Почему это так? Откуда эта страшная ненависть одних людей к другим, не все ли они братья во Христе, не все ли одинаково Русские, страдающие Русские люди? Но почему солдаты так ненавидят их всех и откуда, откуда явилось это слово „буржуи”. Были крестьяне, дворяне, мещане, и как-то уживались между собою. Может быть и много было несправедливого в их отношениях, ненормального и жестокого, но злобы не было... Ее брат Ника рассказывал ей, как трогательно на войне его денщик заботился о нем и как нянька ходил за ним. В бою солдаты прикрывали своим телом офицеров, чтобы спасти их от удара врага... Она, Оля Полежаева, каждый день ходила в лазарет, писала письма и читала солдатам книги, приносила им белый хлеб, фрукты и как ее любили! Неужели — все, что она видала за свои девятнадцать лет — была ложь, а правда в этом новом делении людей на два ненавидящих друг друга класса буржуев и пролетариев, неужели правда в этом слепом преследовании капиталистов?

Вагон затихал. Кое-кто, свернувшись на своих кулечках и укладках, дремал. Солдат со злыми глазами сидел в двух шагах от Оли и смотрел вдаль, думая какую то угрюмую думу. Против него сидел тот, который хвастался тем, что он убил городского. Китайцы еще переругивались

вполголоса. Ника и Павлик, прижавшись друг к другу, дремали.

Оля посмотрела на них, на солдата, на старика, сидевшего рядом с певицей, на толстого Каппельбаума, застывшего в позе буддийского бога и вдруг странная мысль мелькнула у ней в голове и стала развиваться и вырастать.

„Вот этот”, — думала она, глядя на солдата, убившего городского — „этот все может. И тот, что так злобно смотрит вдаль, тоже везде найдется и везде справится. Брось его на необитаемую землю — он сумеет там первобытными орудиями, которые сам же смастерит обработать землю, собрать урожай, смолоть муку и спечь хлеб. Он умеет убить животное, содрать с него шкуру, очистить и приготовить пищу. Он выкопает землянку, построит жилище, найдет топливо: — он проживет. Это та страшная рабочая сила, которая, кирпич за кирпичем, терпеливо складывала храмы и дворцы, которая укладывала рельсы, из полос железа и стали ковала паровозы, которая пахала, сеяла, молотила, молола, пекла, которая кормила и согревала весь мир...”

„Найдется ли она, или Павлик, или Ника, или хотя бы этот господин с благородной осанкой старого военного и маленькими породистыми руками, если их лишит всякой помощи со стороны?” Оля вспомнила как Ника, убивши зайца на охоте, нес его к кухарке, так как ни выпотрошить, ни ободрать его он уже не мог и не умел... „Сможет Ника построить дом, приготовить пряжу, ткать материю и сшить себе платье?”

Она рассмеялась в душе от этой мысли. „Ни он, ни она, ни этот важный господин, что умно смотрит вдаль печальными серыми глазами не могут и не знают ничего. Они — паразиты в этом мире. Они буржуи. И всё то, что работает и может жить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи ненавидит их за это и считает их эксплуататорами, считает кровопийцами. Надо стать, как они. Надо опроститься, — самой убирать свою постель, стирать белье, смотреть за полем, огородом и скотиной, готовить обед, обшивать себя и тех, кто работает в поле, работать

целый день, не покладая рук, как то делают крестьянки. Господи! да и дня тогда не хватит. А когда же читать, изучать языки, когда же думать, гулять, любоваться красотой Божьего мира и претворять эту красоту в песни, стихи, думы, музыку, краски картин, и линии статуй и зданий? Когда же изучать и отыскивать божество и повиноваться его законам? Тогда, значит, весь мир должен пасть до уровня этих людей и обратиться только в одну притупляющую работу для добычи себе пищи: — ни поэзии, ни искусства, ни религии, ни красоты... К р а с о т ы м и р а не будет..”

Оля смотрела на лица злобного солдата и того рослого парня, который хвастался тем, что заколол штыком городского. Их лица были красивы, но и топорно грубы. Они гармонировали с грубыми солдатскими шинелями, но представила их у себя в гостиной, в офицерском платье, или в изящном штатском костюме и почувствовала, что это не возможно. Картинами каменного века, первобытными людьми, веяло от этих резких очертаний лиц, от больших челюстей, здоровых крупных зубов, черепов, нависших прочною лобною костью над глазами впадинами и густых жестких волос. Жизнь и тела их приспособила для работы, для тяжелого физического труда.

Ей вспомнилась одна сцена из ее раннего детства. Оле четыре года. Вырвавшись от няньки она убежала на двор и уселась рядом с четырехлетней малюткой, дочерью кухарки, Катей. Кухарка на дворе рубила головы курам. Положит бьющуюся курицу головою на ступени крыльца, вытянет ей шею и ударит острою тяпкой. Куриная головка с алым гребешком и черными, окаймленными желтым глазами падает на песок и несколько секунд мигают тускнеющие глаза. А курица, пущенная кухаркой вдруг вскакивает и бежит без головы по двору, странно взмахивая крыльями. Из шеи течет кровь. Курица падает и затихает. Катя в восторге хлопает в ладоши и радостно смеется. Она поднимает головки, смотрит в их мигающие глаза. Ее пальцы в крови... Оле делается дурно и со страшным криком в нервном припадке она падает на песок. И долго потом ее мучило воспоминание об этой резне кур... И сейчас ей тя-

жело... Для этих кровь одно — для нее и ей подобных совсем другое.

С каким восторгом рассказывал вот тот молодой солдат, как он штыком заколол городского и как у него брызнула кровь, как из свиньи. Сочувственно его слушала старушка и эта худая и болезненная жена телеграфиста с неопрятным ребенком смотрела на него, как на героя. И жена кубанского офицера устремила на него свои темные глаза с чувством не ужаса, но восхищения.

„Для нас он убийца и мы сторонимся от него. Для них — это герой. Герой революции”.

Вспомнила и еще сцену — из такого недавнего прошлого. Оля шла по Фонтанке. На мосту и по набережной черной стеной толпился народ. Из толпы слышались выстрелы. На большой льдине, окруженной полыньями, был человек. По нем и стрелял какой-то солдат из толпы. Человек сначала бегал, смотрел на воду, но броситься в паром клубящуюся темную пучину не рискнул. Он стал на колени и молитвенно сложил руки, обратившись к толпе.

— За что его? — раздавались голоса.

— А кошелек у солдата украл.

— Так ему и надо.

— Эх солдат, и стрелок-то плохой.

— Да не солдат это, а милицейский.

Пули щелкали подле и видно было, как они взрывали снег, а человек стоял, молился толпе и надеялся. Но вот он пошатнулся.

— А попал, попал, — прогудело одобрительно в толпе.

Еще два выстрела и человек упал и вытянулся на снегу. Выстрелы прекратились, толпа начала расходиться. Никто не возмутился, никто не осудил и не проклял убийцу. Это было в те дни, когда красные знамена, с надписями: „свобода, равенство и братство”, гордо реяли над городом и совершалась воспеваемая газетами великая бескровная революция!

Оля два дня не могла успокоиться. Все мерещился ей этот несчастный вор, на коленях стоящий перед толпою и молящий о пощаде в смертной муке.

Поезд, наконец, тронулся. Скрипя и звеня цепями, наталкиваясь буферами друг на друга, подались вагоны сначала назад, остановились, дернулись вперед и покатались, отсчитывая стыки рельсов и вздрагивая на стрелках.

Поезд шел и останавливался. Почти все в вагоне спали, не спали седой господин, не спал и тот молодой возбужденный солдат с злобными чертами лица. Не спала Оля.

Она думала. Она пришла уже в своих думах к тому, что, может быть, они правы. Они, трудящиеся над землею, они, живущие в маленьких тесных избушках, где спертый дурной воздух, они, голодающие и мерзнущие.

— Мир и все его богатства принадлежат им, и буржуи, — словом все те, кто не умеет сам работать и добывать все своими руками должны или стать такими, как они, или уйти в иной мир, но на земле не место тунеядцам... Придя к этой мысли Оля почувствовала страшную жажду жизни. „Ну, хорошо”, — говорила она себе — „я буду работать, как они. Я буду прачкой, я стану садить и полоть огороды...”

С этой мыслью она задремала. Но сейчас же вернулась в явь от новой яркой мысли.

— Да, ведь, тогда, — думала Оля, и мысли точно торопились в ее мозгу, стремясь что-то доказать ей важное и убедительное, — тогда, когда все станут, как они и не будет нас, погибнет красота. Тогда погибнет вера в Бога, погибнет любовь. Тогда исчезнет сознание, что позволено и что не позволено. Тогда убийство не будет грехом и сильные и дерзкие станут уничтожать слабых. Слабые станут раболепствовать перед сильными, угождать тем, кто свирепее осуществляет свое право жизни. Тогда всё обратится в сплошную резню. Христос с Его кротким учением уйдет из нашего мира, с ним уйдет красота и прощение, и в дикой свалке погибнут люди. Они, как хищные звери разбегутся по пещерам и будут жить, боясь встретиться с себе подобными.

— Так значит, — думала Оля, — и мы нужны. Мы не тунеядцы. Тем, что с нас сняты непосредственные заботы о хлебе насущном, мы создаем красоту мира. Мы удержи-

ваем этих людей от преступлений, одних страхом наказания, других силою своей души. Мы нужны миру. И мы — Растрелли, Воронихин, Стефенсон, Уатт, Яблочков, Морзе — создали прекрасные дворцы и соборы, паровозы и электрический свет, придумали телеграф, мы, а не они. — Даже такие, как я, светские барышни, ничего не умеющие, но нарядные, веселые, красиво одетые, нужны — потому, что в нас влюбляются, нам пишут стихи, для нас создают картины, за нас умирают и трудятся, и мы, возбуждая возлюбленных, двигаем мир вперед!

На этой радостной и горделивой мысли Оля успокоилась. Она опустила голову на плечо спавшего старшего брата и заснула. Поезд мерно стучал колесами и убаюкивал ее.

Проснулась она от громкого крика и дуновения холодного ветра. Поезд стоял, но стоял не у станции, а вероятно случилось что-либо с паровозом и он остановился среди леса. Было уже утро. Солдаты для света и для воздуха, который ночью был очень тяжелым отодвинули на половину дверь и через нее был виден густой, голый, лиственный лес, талый снег, слышалась частая капель воды, упавшей с ветвей и шумевшей по старой листве, местами осоводевшею от снега.

Кто-то резко, хриплым голосом, крикнул в сторону паровоза — „Гаврила крути!“ и несколько человек грубо засмеялись. Жена телеграфиста, возившаяся со своим ребенком, подобострастно засмеялась и воскликнула:

— Ах уже и солдаттики, солдаттики! Ну, придумают же, право! И чего-й та они всех машинистов Гаврилами прозвали?

Солдаты хмуро потягивались и зевали. Седой господин и певица сидели в прежних позах и видно всю ночь не спали. Не спал и все так же стоял и молодой солдат. Теперь он смотрел острым, внимательным взглядом на седого господина. Оля невольно посмотрела на того и другого и вдруг странная вещь поразила ее. Между изящным, с благородной осанкой, господином и этим солдатом с ухватками Петроградского хулигана было большое сходство. У

обоих были маленькие породистые, точеные руки, глубокие серые глаза, одинаковый изгиб бровей, длинные ресницы, тонкие носы с чуть раздутыми страстными ноздрями, полные чувственные губы и одинаковые подбородки с маленькой ямочкой по середине.

Сын и отец. Порочный, блудный сын и благородный отец вдруг оказались друг против друга. Певица Моргенштерн, казалось, тоже заметила это сходство. Она с тоскою смотрела то на того, то на другого, и ждала чего-то.

Молодой солдат внимательно вглядывался в господина, чуть освещенного утренним светом и точно припоминал что-то. Он подозвал из глубины вагона другого солдата, маленького, кряжистого и немолодого, со следами сорванных георгиевских крестов на шинели и показал ему на господина, оба долго смотрели и тихо совещались.

Седой господин все так же глядел в сторону, казалось, не обращая ни на кого внимания, но острый взгляд его становился тоскливее, он глубже уходил в воротник своего пальто и лицо его, гладко выбритое, бледнело и становилось серым.

Кряжистый солдат, вышел из вагона.

Поезд все стоял на пути и видно было, что сдерживаемое волнение господина увеличивалось. Оно незаметно передавалось певице и Оле Полежаевой. Все ждали чего-то.

Прошло минут пять. Солдаты входили и выходили из вагона. Вдруг послышался гул голосов и к вагону придвинулась толпа солдат, человек в пятьдесят или более, как видно, приведенная посланным. Многие были с ружьями.

В ту же минуту молодой солдат, широко шагнул через лежащих и сидевших, сильно толкнувши Арцханова, и, глядя в упор в глаза господину, твердо и ясно спросил:

— Вы будете не генерал Саблин?

Господин молчал. Он внимательно и без страха смотрел на спрашивавшего, но рука его быстро опустилась в карман.

— Я вас спрашиваю, — вскрикнул молодой, гневно протягивая руку к господину.

— Да, я генерал Саблин, — спокойно ответил тот при

гробовом молчании всего вагона и стоявшей внизу на путях солдатской толпы. — Что вам от меня угодно?

Стало так тихо, что Оле казалось, что она слышит биеение своего сердца. Молодой солдат круто повернулся к дверям вагона, у которых были солдаты и сказал полным ненависти голосом:

— Товарищи! Это генерал Саблин, который уложил не одну тысячу солдат на этой войне. Это генерал, который за сорок тысяч продал свою позицию немцам и из-за которого расстреляли десятки лучших борцов за революцию. Я узнал его. Он бежит теперь к Корнилову и Каледину, чтобы бороться против народа и завоеваний революции! Товарищи! мы не допустим до этого!

— Ишь-ты — с неистовою злобою прошипел солдат со злыми глазами, споривший накануне вечером с Каппельбаумом и схватился за ружье лежавшее над дверью.

Генерал Саблин вдруг неожиданно, упругим движением вскочил со своего места, выхватил револьвер и бросился к дверям вагона в самую толпу солдат...

.....

Прежде чем продолжать описание этого случая попробуем посмотреть и разобраться в том, как могло произойти то, что одна часть Русской армии вдруг стала в такое непримиримое отношение к другой, как могли солдаты, еще так недавно слепо повиновавшиеся офицерам, готовые умереть за них и порою искренно их любившие, вдруг до такой степени их возненавидеть.

Но для этого нам придется отвернуть несколько листов пережитого прошлого и узнать жизнь всех этих людей до самых ее мелочей. Тогда мы увидим, что всё, что случилось, было не неожиданно и случайно, но медленно и методично подготавливалось долгие годы и долгим рядом ошибок, которых никто не хотел ни замечать, ни исправлять.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I

У Павла Ивановича Гриценко, командира 2-го эскадрона, бал и, по юнкерскому выражению, с женщинами. На его холостую квартиру приглашены офицеры полка, кое-кто из его приятелей других полков и две, восходящие звездочки Петербургского полусвета: Катерина Филипповна Фишер и Владислава Игнатьевна Панкратова — Китти и Владя. Они родные сестры, но живут под разными фамилиями для удобства своей профессии. Обе молодые — Китти 22 года, а Владе едва минуло 19, красивые, нарядно одетые, рослые, полные. Китти белокурая, светлая, золотоволосая, Владя темная шатенка, они начали с того, что были натурщицами, а потом, вошли в Петербургский полусвет и пошли по рукам гвардейской молодежи. Они кончили гимназию, недурно болтали по-французски, грамотно писали записки, быстро познали толк в вине и лошадях, и были украшением свободных холостых пирушек.

В Петербурге ранняя весна. Ночь светлая, томная. На бульваре пахнет клейкими почками начинающих распускаться берез. Небо белесое, уже загорающееся на востоке за городом бледною зарею, улицы пустынные и тихие, от Невы пахнет водою, каменным углем и изредка доносятся гудки пароходов. У подъезда офицерского флигеля стоит наемная хорошая карета — это для Китти и Влади, да на огни в квартире съехались несколько ночных извозчиков.

В комнатах Гриценко сильно накурено и душно. Хозяин настез раскрыл окна и оттуда доносится говор людей, женский смех, обрывки пения и игры на пьянино. Ранний ужин уже окончен. На большом богато сервированном дорогим семейным серебром столе в беспорядке стоят тарелки, блюдо с ободраным копченым сигом, большой окорок ветчины, холодная телятина, лососина под провансалем,

тут же сладкие пироги, конфеты, фрукты, земляника и масса бутылок из-под шампанского и с шампанским, коньяк и ликеры. Стол залит вином. Денщик Гриценки и два солдата из собрания не успевают прибираться за гостями. Кто сидит за столом, кто бродит по комнате, кто устроился у окна.

Гриценко, молодой ротмистр, с черными, как смоль чуть вьющимися волосами, большими цыганскими на выкате глазами, смуглым лицом, с длинными вьющимися кольцом усами, в красной шелковой рубашке, под растегнутым виц-мундиром, в длинных рейтузах и в маленьких лакированных сапогах забрался с ногами на ковровую софу и, небрежно развалясь, брэнчит на гитаре. Китти в бальном голубом шелковом платье с большими буфами у плеча и Владя в таком же розовом платье полулежат рядом. Владя сильно пьяна и чувствует себя нехорошо. Китти только разошлась, мурлычет вполголоса песенки и большими голубыми глазами весело осматривает собравшихся гостей.

Все офицеры. Всех она более или менее знает. Пожилой маленький полковник, Степан Алексеевич Воробьев, постоянный посетитель всех холостых пирушек, страстный картежник, с коричневым нездоровым, прокуренным лицом, с густыми русыми волосами и длинными усами, ходит взад и вперед по комнате в стоптанных мягких сапогах, на которые буфами упадают широкие серосиние рейтузы и в длинном наглухо застегнутом сюртуке. Он мечтает о картах и все поглядывает на растворенные двери в кабинете хозяина, где уже расставлены карточные столы и лежат нераспечатанные колоды.

Штабс-ротмистр Иван Сергеевич Мацнев, мужчина лет тридцати, некрасивый, лысый, без усов и бороды, слывающий циником и философом, любитель юношей, с лицейским значком на виц-мундире откинул портьеру и мечтательно глядит вдаль на пустынный бульвар и бледное предрассветное небо.

Сотник Маноцков, гвардейского казачьего полка, ввязался в спор о качествах своей лошади и, куря папиросу за папиросой, сидит в углу стола за большим бокалом шампанского, окруженный молодежью полка.

Всего человек четырнадцать было в гостях у Гриценко.

Наступал такой момент, когда нужно что-нибудь придумать, или разъезжаться. Воробьев считал, что пора приступить к главному, для чего он пришел, — к картам. Отпустить дам, снабдить их кем-либо из молодежи и засесть за макао, или паровоз.

Молодежи хотелось еще поболтать, попеть, покуражиться. Вина было выпито много, но все были более или менее трезвы. Пьянее других был сам хозяин. Он как-то очень скоро хмелел, но, охмелевши, мог пить сколько угодно, всё оставаясь в одном градусе разгульного, бесшабашного веселья, шумных песен, широких жестов и любви ко всему человечеству.

Он бросил гитару, вскочил на свои упругие тонкие ноги и крикнул веселым голосом, звонко пронесшимся по всей квартире.

— Захар! Вина!

Захар, денщик Гриценки, из молодых солдат, рослый красивый парень, в снежно белой рубаше, писанный Русский молодец подскочил к нему с бутылкой красного вина и большим стаканом.

Звонкая оплеуха раздалась по комнате и заставила всех вздрогнуть и обернуться. Гриценко ударил солдата по лицу.

— С-скотина! Сколько времени у меня служишь и не можешь различить, что как называется! — кричал Гриценко, — я чего требовал?

— Вина, ваше высокоблагородие, — растерянно отвечал побледневший солдат.

— А ты, скотина, принес пошла! Вино — это шампанское, дурак!...

— Павел Иванович, — вдруг раздался из угла звонкий молодой полный искреннего возмущения голос, — я попрошу вас не бить солдата! Это мерзко и... и недостойно дворянина и офицера.

Из угла вышел молодой стройный юноша. Его розовое лицо с чуть пробивающимися, почти невидными усами, горело от негодования. Большие темносерые глаза были пол-

ны гнева. Застегнутый на все пуговицы своего виц-мундира, изящный в узких, по тогдашней моде, рейтузах он стал против Гриценки, заслоняя собою окончательно растерявшегося денщика.

— Корнет Саблин! Вы з-забыв-вааетесь! Вы с ума сошли. Корнет Саблин я п-по-прошу вас н-не смейте мне делать з-замечаний! — заикаясь от гнева воскликнул Гриценко, становясь багрово красным.

— Что такое? Что такое? Господа! — заговорил быстро Степан Алексеевич Воробьев, неслышными мягкими шагами подкатываясь к Саблину.

— Корнет Саблин! Вы не правы! Вы не имеете права делать замечаний своему эскадронному командиру. Ротмистр Гриценко, вы слишком погорячились, ударив денщика. Да... Да... Но предмета ссоры нет. Вы сами виноваты, ротмистр... И, господа!... Мир... Ну... мир... во имя чести полка! А... Руки друг другу... Н-ну!

— Я не могу — тихо, но твердо выговорил Саблин. Если бы он меня оскорбил. Он оскорбил солдата. Он себя оскорбил.

Но Гриценко был отходчив.

— Захар, поди сюда! — сказал он. — Я тебя побил, любя побил, понял? — я тебя и поцелую — любя, поцелую.

И, взявши обеими руками за щеки Захара, он нагнул его лицо к своему и сочными губами впился в крепкие губы солдата.

Потом, отодвинув его лицо от своего, он погрозил ему пальцем и укоризненно сказал:

— Эх, Захар, Захар! Ввел ты меня таки во искушение. Помни: — вино только шампанское, прочее вино — пойло, ведь учил же я тебя? А? Учил? А чай?

— Кишкоймой, ваше высокоблагородие, — быстро отвечал солдат.

— Ну, вот видишь... — Гриценко снова сочно поцеловал солдата и, слегка толкнувши, сказал: — ступай.

Но едва тот повернулся, как он крикнул. —

— Песенников! Захар, да ж-живо... Моих.

— Эх, Павел Иванович, — сказал Воробьев — четыре

часа утра. Люди спят еще, а там на уборку надо. Ну, какие песенники!

Гриценко улыбался широкой радостной улыбкой.

— Х-хочу! Ж-желаю... Хочу показать пижону, что люди меня любят и что это ничего — (он сделал жест рукою). — Они на это не обижаются. Лишь бы любили их и не помыкали. Так то, милый Степочка. И не припятствуй мне. Две песни... Понял? две песни. И он споет нам — сей юный — он захохотал — Лев Толстой!

Саблин пожал плечами и отошел. Сердиться на Гриценко он не мог.

II

В ожидании песенников карты расстроились. Маночков сердито говорил корнету Ротбеку одного выпуска с Саблиным и поручику Бахметеву, заядлому спортсмену.

— Я вас уверяю, мой Фигаро прыгнет.

— Через стул? — спрашивал Ротбек.

— Через стул.

— Обнесет, убежденно говорил Бахметев.

— Никогда. Все дело в дрессировке. Надо чтобы лошадь поняла. Или хотите, через веревку, на которой я повешу носовой платок.

— Ну это легче. Но через стул?

— Хотите пари? Завтра у вас в манеже. Я приеду.

Степочка ходил мягкими шагами вдоль стола и недовольно поглядывал на дам. Они не догадались во время усахть и теперь задерживали игру в карты. При них не хотели играть.

— Вы бы спели нам чтонибудь, Катерина Филипповна, — сказал он. — А? Что так-то сидеть.

— И то под гитару? — подсаживаясь к дамам, сказал Гриценко — Ну!

— Ну, — сказал и Степочка, который и сам недурно пел цыганские романсы тоненьким жидким, но верным тенором.

Китти встряхнулась. Разрумянившаяся, молодая, чуть начинающая полнеть она была очень хороша.

— Хотите „письмецо“, — сказала она.

— Идет! — воскликнул Гриценко и раскачиваясь и помахивая декой гитары стал брать аккорды.

Жду я весточки от дру-у-га,
Все в слезах мое лицо,
Напиши же друг мой ми-лый
Поскорей мне письмецо!

Пропела Китти и вдруг, с разных концов столовой, настроившийся хор дружно подхватил вторые строки куплета.

— Отлично, браво! браво, — крикнул Степочка.

Гриценко фальцетом без голоса, но музыкально и верно, сверкая цыганскими глазами, завел второй куплет.

Вольтижируя в манеже
Я разби... и хо-хо-хо!
Напиши же, друг мой милый,
Поскорей мне письмецо.

Все гости громко хохотали. Китти и Владя веселее всех. — Нет, Саблина заставьте петь, юнкерскую, — закричал румяный Ротбек и потащил Саблина к пианино, стоявшему в углу.

Саблин взял несколько аккордов. Офицеры подошли к пианино. Маноцков с Бахметевым остались в стороне, они все спорили.

— Ты говоришь, минута двенадцать. Никогда.

— Это дерби! — кипятился Маноцков.

— Дерби — минута восемь. Ну, хочешь, пари.

Саблин взял бравурный аккорд, лицо его разгорелось и стало шаловливым. Бойко играя веселый марш, он только сказал первое слово, как все дружно грянули:

Цирг поехал за-границу
Обозреть Евро-пу!
А жена, чтоб не скучать,
Стала молодежь цукать!...
Цирга, Цирга, Цирга, Цирг, Цирг, Цирг...

Юнкерская песня про училищного офицера Цирга, полная циничных намеков весело гремела и звонкий голос Китти выделялся среди мужских голосов в самых рискованных местах.

III

Пришли песенники. Их было двадцать пять человек и с ними толстый заслуженный вахмистр. Солдаты были одеты в свежих белых рубахах, подпоясаны лосиными ремнями, в чистых рейтузах и ярко начищенных сапогах со шпорами. Вахмистр был в мундире, расшитом золотыми и серебряными шевронами с медалями на груди и на шее и с цепочкой из ружей за отличную стрельбу. Они принесли с собою аромат тополей, утра и весны и запах крепкой сапожной смазки.

Степочка поздоровался с ними. Запевало — молодой солдат, эскадронный писарь, невысокого роста, худощавый, с интеллигентным лицом вышел вперед, заложил руки за спину, и выставил ногу. У него был очень хороший тенор, он был музыкально образован и знал себе цену. Злыми глазами он оглянул всю столовую, вино и женщин и запел звонким за душу берущим голосом:

Ах, братцы, лето настает,
С своими лагерями.
Великий князь нас поведет
И господа все с нами!

Он взмахнул рукой, обернулся к хору и хор чуть слышно, мягкими аккордами, проговорил:

Ура! Наш славный полк ура!
Великий князь нас поведет
И господа все с нами...

— Нет, размякая от пения и от горделивого сознания, что это его песенники, его эскадрон — сказал Гриценко — вы послушайте как наш свирепый Саша Саблин с Любовинным дуэтом поет. Опера.

— Спойте Саблин!

— Саша, спой! — раздались голоса.

Саблин отошел от пианино и стал перед песенниками. Хороший музыкант, привыкший в корпусе и в училище петь в хоре, Саблин теперь увлекался запевалой Любовинным и его тенором и все мечтал отдать его в конесерваторию и на сцену. Любовин учил его новым песням, таким, каких Саблин не знал.

— Давай Любовин, твою, — сказал Саблин.

— Слушаю.

Два голоса слились в братском объятии и пошли рассказывать Кольцовскую песнь бобыля.

— Ни кола, ни двора,
Зипун весь пожиток,
Век живи не тужи —
Умрешь — не убыток.

Китти, сидя рядом со Степочкой, пожималась, поводя плечами, щурила свои синие глаза на Саблина, замороженная его красотой, молодостью и силой.

Степочка, — шептала она Воробьеву — неужели правда, что Саблин, — никогда? ни разу?

— Ну да, конечно, — говорил Степочка, разглядывая кольца на руке у Китти и перебирая ее мягкие горячие пальцы.

— Нет, этакая прелесть! Совсем даже не знает? Не видал?

— Уверяю вас.

— Этакий восторг! Степочка, милый. Устройте мне его. Устройте, чтобы я была... первая... Хорошо?

— А хочется? — улыбаясь спрашивал Воробьев.

— Ах... И даже — очень!

— Ну, ладно!

— Вот милый!

— Тише вы.

Мужику богачу
И с казной не спится

пели Саблин с Любовиным.

Бобыль гол, как сокол,
Поет веселится!..

Степочке надоели эти песни. Шесть часов утра уже. Яркое солнце бесстыдно глядится в закрытые окна и слышен благовест.

— Надо кончать, Павел Иванович, и на уборку, — сказал он.

— Ну, еще одну... Мою! — сказал Гриценко.

— Командирскую — приказал вахмистр.

Хор разом весело грянул:

Шел солдат с похода,
Зашел солдат в кабак,

Сел солдат на лавку,
Закуривал табак!...

Широко лилась любимая песня Гриценки.

Наш полк вперед несется,
Всех рубит наповал.
Выстрелу раздается
И командир наш пал!

Песенники кончили песню. Гриценко встал и торжественно перецеловался с солдатами. Слезы блистали у него на глазах. Он искренно любил в эту минуту их всех. Он достал двадцать пять рублей и дал их вахмистру.

— Спасибо, братцы, — тронутым голосом сказал он.

— Рады стараться, ваше высокоблагородие, — крикнули песенники.

— Ну и по домам. Утренние занятия я отменяю, вахмистр, — сказал Гриценко.

Песенники стали выходить. Поднялись и дамы.

— Корнет Саблин, — повелительно сказал Степочка, — проводите барышень домой.

— Но... Господин полковник, — смущенно проговорил Саблин, — Я...

— Никаких „но“, дорогой мой. Вы один не играете в карты и вполне трезвы. Ну... Марш.

Саблин развел руками и неловко подходя к дамам сказал: — я к вашим услугам...

IV

В карете они молчали. Было душно, пахло духами и вином. Владя сидела бледная, ее укачивало, она едва держалась. Китти была пьяна от вина, но еще более ее пьянила близость молодого офицера. Его благородный поступок, его пение, молодость и красота — все туманило ее и она до боли хотела его. Говорить она не решалась. Она боялась испугать его, робкого и застенчивого, и в голове создавала план, как победить его.

Ехать было недалеко. На Офицерской, у высокого, еще спавшего дома остановились. Дворник открыл калитку ворот. Тут же под воротами был и подъезд. Китти позвонила. Пожилая, солидная горничная в чепце и переднике в кру-

жевах, открыла дверь. Лицо ее было спокойное, бесстрастное.

Саблин стал прощаться.

— Куда же вы, милый человек, — сказала ласково Китти. — Нет. Прошу вас, зайдите ко мне на минуту. Мне надо написать два слова Гриценке. Ну, пожалуйста!

Неловко снявши пальто, с фуражкой в руках, Саблин вошел в гостиную. Шторы бледно-желтого цвета были опущены, но солнце лило яркие лучи и во всей комнате стоял ровный свет. Большое зеркало в золоченой раме было между окон. Внизу в золотой же корзине были гиацинты и их пряным запахом была напоена вся квартира. Другая большая корзинка с гиацинтами была поставлена у окна на золоченой жардиньерке. Вдоль одной из стен стоял большой рояль, накрытый шелковым покрывалом бледно-сиреневого цвета с японской вышивкой. Над роялем висел портрет Китти, неискусно сделанный пастелью начинающим художником. На рояле были фотографии юнкеров и очень молодых офицеров. На противоположной стене висело зеркало и полочки, уставленные фарфоровыми и бронзовыми безделушками. У стены противоположной роялю был круглый стол со скатертью, на нем высокая лампа с шелковым абажуром и под ней альбомы. Подле стола, на ковре были диван и кресла, такие же кресла стояли и в простенках. От всего веяло дешевою рыночною роскошью, сквозь которую сквозил и некоторый вкус хозяйки. Мебель, занавески и покрывало были выдержаны в одинаковых тонах — бледно-сиреневых с золотом. Такой же был ковер, такая же и лампа. В углу, на камине, в больших рамках из мореного дуба, на почетном отдельном месте были большие фотографические портреты Государя Императора и Императрицы. Три двери вели из гостиной. Одна в маленькую темную прихожую, другая направо в комнату Влади и третья налево в комнату Китти. Эта дверь была занавешена японской портьерой из камыша и бус.

Владя, не прощаясь, быстро прошла в свою комнату и сердито захлопнула дверь. Китти ушла к себе, но двери не закрыла. Саблин остался стоять по середине гостиной.

Чувствовал он себя преглупо. Хотел уйти, но неловко было уйти, не попрощавшись, тайком, как вор.

Китти и не думала писать письма. Было слышно, как она снимала платье, ходила по комнате, мурлыкала песенку, сняла башмаки; скрипел корсет. Она подходила к дверям и сквозь камыш и бусы Саблин в полутьме спальни видел стройную белую фигуру в соблазнительном белье. Запах гиацинтов туманил голову и наполнял воздух чистою и свежестью.

Так прошло минут пятнадцать. Слышно было, как в комнате Китти лилась вода, Китти приводила свой туалет в порядок. Наконец, тихо ступая по паркету и ковру, она вышла в гостиную. Золотистые волосы были сложены в красивую греческую прическу и по гречески же, как видал Саблин на картинах Бакаловича и Семирадского были туго перевязаны голубыми лентами. Лицо, несмотря на бессонную ночь, было свежо и юно. Подрисованные глаза блестели из-под казавшихся громадными от туши ресниц. На ее плечи был накинута японский лиловый шелковый халатик, нежно облегающий ее тело. Она мягко, по кошачьи, мелко шагая босыми ногами, подошла к зеркалу и стала, горделиво оглядывая себя через плечо в зеркало, в кокетливую позу натурщицы.

— Ну что, не долго? — сказала она словами, а глаза ее говорили — „ну посмотри, какова я. Ну что же? я вся твоя! Бери, сжимай меня! Снеси на своих сильных молодых руках в спальню... Можно. Позволено”...

Саблин молчал. Он тяжело дышал. Кровь то прилиwała к его лицу, то отливала. Туман застилал глаза. Но более всего он был сконфужен и смущен. Он не знал куда девать руки и беспомощно мял фуражку.

Вдруг лиловый халатик, державшийся на одной пуговке мягко соскользнул с плеча и упал вокруг ног Китти и она стала на нем обнаженная. Солнце сквозь шторы бросало на нее теплый прозрачный свет и она стояла перед юношей дивно прекрасная в своей наготе с безупречными линиями ног и спины. Чуть улыбаясь смотрела она на него и медленно поворачивалась перед зеркалом видная вся.

Саблин тяжело вздохнул, но не тронулся с места. Китти казалась ему бесконечно красивой, казалась богиней и в этот миг он забыл кто она.

Китти ждала. Прошла томительная минута. Вдруг жгучий стыд охватил ее. Она закрыла лицо руками. Взглянула еще раз из-под пальцев на Саблина и, быстро подобрав халатик и кое как закрываясь им, убежала к себе в спальню, захлопнула дверь и два раза щелкнула ключом.

Не страсть, но стыд и смущение прочитала она в чистом взоре прекрасного юноши и в эту минуту почувствовала, что она его любит — слишком любит, чтобы сразу отдаться! И если бы теперь Саблин нарочно ломился к ней в двери, стучал, умолял и просил его впустить, она бы не пустила его ни за что. Ей было мучительно стыдно. Уткнувшись лицом в подушки, она стыдливо натягивала на себя до самых ушей одеяло и тихо плакала от горя, смешанного с ликующим восторгом.

Саблин постоял еще секунду, как будто о чем то раздумывая. Прислушался. Из комнаты Влади неслись задуманные стоны. Владю тошнило. В комнате Китти была полная тишина. Саблин прошел в прихожую. Там не было никого. Он надел на себя пальто, тихо отложил крюк с двери, открыл американский замок и быстро вышел на лестницу.

V

Кровь стучала ему в виски. Он чувствовал себя сильным, бодрым. Спать не хотелось. Земля горела у него под ногами, он шел пешком быстрыми шагами, мягко позванивая шпорами. Запах гиацинтов и образ обнаженной женщины его преследовали. Теперь, оставшись один он был смел с нею. Ему хотелось обнять и охватить ее, но он не мог вернуться. Он представлял себе темную прихожую, горничную со строгим лицом, вешалку и понимал, что ничего не выйдет, что он сгорит со стыда в этой тихой гостиной, полной утреннего затуманенного света, лиловых тонов и лилового запаха гиацинтов.

Он вбирал полную грудью утренний свежий воздух и торопился к казармам. Когда он вышел на канал, он оста-

новился от красоты, в которой ему представился Петербург. Утреннее солнце с голубого неба золотило волны реки, рябившей от набегавшего ветерка. Грязная река казалась синей. Башня и портал реформаторской церкви на фоне уходящих вдаль домов были исполнены строгого очарования. По свежему, пахнущему смолой торцу, четко отбивая ногами, бежал на утренней поездке нарядный серый рысак. Городовые в длинных черных кафтанах и фуражках стояли на пустынной улице. Лиственницы Исаакиевского сквера несли с собою печаль севера и ярко, застилая пол неба, горел громадный золотой купол, окруженный тонкими колоннами, громадными ангелами с факелами и небольшими куполами. С левого бока неуклюже надвинулись на него темною сеткою леса, но и леса нравились Саблину, они напоминали ему годы детства и без них Исаакиевский собор не был бы родным для него.

Александровский сад покрывался пухом молодой зелени. Мягкая трава тоненькими иголками проступла из земли. От Невы шло могучее дыхание свежести, простора и шири. Бледное небо и колонны Сената, широкое здание манежа, Адмиралтейство просвечивающее сквозь сучья и стволы сада своими белыми фасадами, чередующимися с колоннадами и арками ворот — все в эти утренние часы полно было особенной прелести и она странным образом в мыслях и воображении Саблина сплеталась с прелестью золотокудрой обнаженной Китти...

Усилим воли Саблин прогнал от себя этот образ.

Куда идти? По времени — было восемь часов утра, надо было идти в эскадрон. Но занятий в эскадроне не было. Идти домой и остаться одному в своей квартире, пить холодной чай, а потом не знать куда девать все длинное утро до завтрака в полковой артели, было не в состоянии. Саблин подходил к квартире Гриценки. Он приостановился, подумал и стал подниматься к нему.

Двери в квартиру были открыты. Прислуга собрания выносила корзины с пустыми бутылками, посудой и собранным бельем. В столовой на столе кипел, пуская клубы пара к потолку, самовар и Захар, не спавший всю ночь рас-

ставлял стаканы. Из кабинета, где, несмотря на ясный день, горели свечи и были спущены портьеры слышались отрывистые хриплые голоса.

Играли на двух столах. В углу, где сидел Гриценко, Воробьев и еще четыре офицера шла крупная серьезная игра. Там на столе лежала куча золота и пестрых ассигнаций. Маноцков с серым лицом и блестящими глазами, в расстегнутом казачьем чекмене, из-под которого был виден белый пижонный жилет, стоял сзади, жадно смотрел на стол и изредка брал себе карту. Гриценко без сюртука в алой рубашке с помочами, засучивши по локоть свои темные волосатые руки, нервно рвал и тасовал колоды. Степочка, в наглухо застегнутом сюртуке напевая и насвистывая песенки и арии, играл как будто бы и небрежно, но глаза его смотрели остро и внимательно и выдавали азарт, охвативший его.

За другим столом не играли, а баловались. Там заседал окруженный молодежью Мацнев. Играли на мелок. Там был товарищ Саблина, румяный и беловолосый Ротбек, простоватый Фетисов, годом старше Саблина и еще три офицера другого эскадрона, которые все порывались встать и идти на занятия, но никак не могли этого сделать. При входе Саблина, Мацнев поднял голову, значительно посмотрел на него и, обращая общее внимание, воскликнул:

— А! С легким паром! Что так скоро, Саша?

Саблин страшно сконфузился. Молодежь смотрела на него цинично, любопытными глазами.

Даже Степочка оторвал глаза от карт и коротко, но внимательно посмотрел на Саблина и кинул ему: —

— Отвезли? благополучно?

— Да, сказал Саблин.

— Ну и что дальше? — спросил Мацнев.

— Ничего, — сказал Саблин.

— Рассказывай сказки, — сказал Мацнев.

— Расскажите вы ей, цветы мои, — напевал из „Фауста” Степочка. — Так нельзя, Павел Иванович, мы не в шашки играем. Можете? — обратился он к Маноцкову.

— Ставлю десять.

— Идет в двадцати пяти.

Саблина забыли. Было не до него. Он прошел в соседнюю комнату, где была библиотека Гриценки, забрался с ногами на софу, взял первую попавшуюся книгу с полки и углубился в чтение.

Он читал, но не понимал того, что читает. Видел буквы, слогал их в слова, но смысл слов перебивало сладкое воспоминание пережитого. Он опять чувствовал нежный запах гиацинтов, полный весенней чистой свежести, видел белое тело и чувствовал жгучий стыд и сладостную истому.

Книга выпала из рук, он задремал.

Очнулся он от прикосновения чьей то большой горячей руки к его колену.

— Спишь, Саша, — ну спи, ангел мой, я не буду тебе мешать, — сказал кто то, садясь рядом с ним.

Саблин открыл глаза — Мацнев был подле него.

— Что тебе, — сердито сказал Саблин, неохотно отрываясь от охватившей его дремоты.

— Ничего... Ничего, иль очень мало... ответил Мацнев.
— Так то, Саша. Что, не выгорело?

— Оставь меня, Иван Сергеевич.

— Отчего? Послушай меня, старого, опытного в сих делах человека.

— Да что ты от меня хочешь?

Мацнев теснее подвинулся к Саблину и взял его маленькую породистую руку в свою большую с узловатыми пальцами руку.

— Ты еще не умеешь любить... продекламировал он.

Слушай, Саша... Как жаль, что ты не читал Анакреона... Не знаешь Овидия. О классики! О мир античной красоты. С ними и за ними я забываю всю пошлость современной жизни! Как жаль, Саша, что ты не образован. Не сердись и не протестуй, милый друг. Твое образование — образование девицы легкого поведения. Не больше. Немножко истории, немножко географии, много патриотизма, беспредельная преданность Государю Императору...

— Не говори так, Иван Сергеевич, — высвобождая свою руку из крупной руки Мацнева, сказал Саблин.

— Знаю, Саша. Но помни, что мне то говорить это можно. Я могу это сказать, потому что я сам предан Монархии и Монарху. Россия иною быть не может... Но, Саша, тосковать то и мне позволено, томиться, рваться и лететь. А Саша? Саша, ты не читал истории французской революции? Ты... Понял ли ты Наполеона? Ты не парил духом... А я... Я ночами зачитывался мемуарами той великой эпохи. И два мира для меня понятны и достойны подражания — тот мир, где ковались великие принципы *droit de l'homme** и мир античной красоты. Саша, пойми: ты с своею дивной красотой... Ты ведь сам — антик. Статуя молодого бога — ты невежда и понимаешь в жизни и красоте не больше молодого теленка, который скачет по лугу, задравши хвост.

Саблин вспомнил, что Мацнев считался самым плохим ездоком и офицером в полку и что никто так часто не получал выговоры за неряшливость по службе, как Мацнев, и снисходительно улыбнулся.

Мацнев понял его улыбку.

— Ах, Саша! Неужели и ты только комок красивого пушечного мяса, без нервов и мозгов. Неужели ты никогда не поднимаешься и не воспаришь духом? А впрочем?... Ты создан для мира сего. Что-ж, — со злобою воскликнул Мацнев, — бей ворону, бей сороку! Что попалося бери, хватай, люби, торопись захватить себе побольше счастья, побольше моментов, когда сладострастно сжимается сердце и мир кажется прекрасным, когда чухонка горничная, рисуется богиней красоты, а балетная корифейка мнится недостижимым идеалом. Лови момент! Тебе ли, мазочке Саше, понять весь глубокий смысл жизни и любви без удовлетворения... Но только... Не гонись за идеалами Крейцеровой сонаты. Не ищи чистоты любви, но ищи только красоты. Тогда, когда ты возмутился поступком Гриценки, все видели благородство твоей души, а я видел красоту твоего гневного тела. Молодчик Саша. Так им и надо! Пора бросить и забыть все эти пережитки крепостного права. Пора стать людьми. Но помни, милый Саша, что людьми на военной службе стать нельзя.

* Права человека.

— Но... почему, — сказал Саблин. — Как нельзя? Напротив. Именно на военной. Ведь это рыцарство. Ведь это высшее отречение от себя, проведение в жизнь самого великого завета Христа.

— Ах, Саша! Ребенок Саша. И притом необразованный ребенок. Ты веришь в это: — а Dieu mon âme, ma vie au roi, mon coeur aux dames, l'honneur pour moi!* Счастливец! Ты в это веришь, потому что ты — ребенок. Ну... пусть... И будь таким... Но помни: — бей ворону, бей сороку — тебе дано и бери. Бери, не смущайся. Ты читал Шопенгауера „Мир, как воля и представление” -- нет! где тебе! Ты ничего не читал! Для тебя выше философии Мопассана нет и Золя уже тяжел для тебя. Еще „Нана” ты прочтешь, пожалуй, а уже дальше... Куда!... Ну, что же, Саша? Не вышло? Не выгорело? И чорт с ней, найдем другую...

— Оставь меня, — бледнея, сказал Саблин. — Неужели без пошлости вы не можете обойтись!

-- Прелестно! Очень хорошо сказано.

— Иван Сергеевич, я серьезно прошу, вставая, сказал Саблин.

Мацнев остался на софе, оглядывая с головы до ног возмущенного Саблина.

— Ну, может ли когда-либо женщина быть так красива, как красив юноша, — тихо, как бы сам себе сказал Мацнев.

Саблин пожал плечами и вышел из библиотеки.

В кабинете все так же играли. Гриценко гневно кричал на Степочку.

— Я не понимаю, Степан Алексеевич, как можно! как можно так ставить! Что ты издеваешься надо мною.

— Не кирпичись, милый друг. Спокойствие, спокойствие прежде всего.

— Да, бросьте, господа, — проговорил Маноцков. — Я ставлю еще пятьдесят. Идет? Дайте мне карту.

— Куплю и я, — сказал сидевший поручик.

*Душа моя Богу, жизнь — королю, сердце — женщине, честь — мне самому!

Ротбек спал в самой неудобной позе на трех стульях. Его розовое, еще безусое лицо покраснелось и он походил на большого ребенка. Захар в столовой наливал чай и носил его господам. Саблин пошел домой. Ему хотелось одного — спать и сном сломить все ощущения этого вечера и ночи.

VI

Во втором эскадроне занятий не было. Все окна обширной казармы с рядами железных коек, аккуратно постланных серыми одеялами, с подушками и фуражками, висевшими над ними, были открыты настеж. У окон стояли без дела скучающие солдаты и смотрели на большой, усыпанный песком, двор. Одна сторона этого двора была отделена высоким жердевым забором, образовавшим со стеною узкий корридор. Поперек корридора были устроены препятствия: земляной вал, канава, плетень, лежало бревно, обмотанное соломой. Солдаты перегоняли через них лошадей, выпуская их по одной и подгоняя хлыстами и бичами. Там слышались крики и бегали люди, разлавливая лошадей. В другом конце двора учили рубить. Были поставлены прутья в деревянные крестовины и солдаты проезжали мимо них, старались срубить прут. У гаупвахты, где стояла полосатая будка и на стойке лежала начищенная труба, ходил затянутый в мундир часовой. Солнце радостно заливало двор лучами, ярко блестело, отражалось в луже и придавало двору с учащимися солдатами, бегающими людьми и офицерами, кучкой столпившимися по середине, веселый и праздничный вид. Тянуло на волю, в поля, в зелень лесов.

Люди второго эскадрона лежали на подоконниках, смотрели в окна и делали свои замечания. Песенники, только что напившиеся чаю, стояли у окна отдельной кучкой.

— Гляди, гляди! унтер-офицер то! в четвертом, ишь, какой, так и норовит по ляжке бичем попасть, как промахнется солдат, — говорил Артемьев, лупоглазый, белокурый парень, показывая на смену, обучающуюся рубке.

— Знакомое дело, — сказал черноусый бравый ефрейтор Недодай. — Так старания больше будет.

— Господи! — сказал Артемьев, я всегда и так стараюсь, даже молитву творю. Ну иной раз просто ошибется рука, или лошадь не потрафит, ну и не попал. А тут сейчас и жиг! И пожалиться не смей, я, говорит, по лошади хотел, да ошибся. Куда тебе ошибся. Так и норовит по ноге, или по шее, где большее оплести кнутом.

— У меня на шее две недели шрам не заживал — зудело..., сказал другой молодой солдат, белолицый, румяный, черноглазый Собцов.

— Ну, это что, — снисходительно проговорил Недодай, — это за дело. Наука. За битого двух небитых дают. Раньше то больше били. Это пустое. Нашего брата баловать не стоит. Распустишь и сам не рад. А вот обидно, когда с издевкой бьет, или куражится, да еще офицер.

— А бывает? — спросил Артемьев.

— Ну как же... Сам виноват — да сам же и побьет. Я молодым был. Только, только устав осиливать начал. По конюшне дневалил. Входит Мацнев, папироска в зубах, курит. А у нас раскидали солному свежую, сено в кидках подготовлено, лошади овес жуют. Долго ли до греха! Я устав помню. Подхожу и говорю: ваше благородие, курить на конюшне воспрещается.

— Ах и дурной же, — вырвалось у черноусого солдата постарше, Макаренко. — Ну можно ли? Этакая дерзость.

— Ты погоди дальше то что? „Нагнись, сукин сын”, — кричит Мацнев, а сам весь белый стал, трясется. „Нагнись”. Я нагнулся, а он мне по морде лязь, лязь, — „Солдат”, говорит, „не смеет делать замечания офицеру, ты такой сякой, забыл, что я высокоблагородие”. А почему? коли он тогда поручик был.

— Почему? Так захотел и ладно, — сказал Макаренко. — А твое дело молчать.

— По морде, говоришь, — вмешался худощавый и смуглый унтер-офицер Антонов. — Ловко! Ну у тебя морда толстая. Ничего.

— И такой это Мацнев... Не любят его солдаты. Сам склизкий какой то, паршивый, ничего не умеет. На рубку вызовут, либо шашку уронит, либо по уху лошади попа-

дет, на препятствия идти боится, лошадь обносит...

— Ну это што! Это пол беды, — мрачно сказал солдат последнего срока службы Балинский, — а вот нехорошо, что кантонистов в баню с собою таскает.

Наступило неловкое молчание. Никто ничего не сказал.

— Да, — проговорил задумчиво Недодай — господам все позволено.

— А почему? — спросил Артемьев.

— Почему? Да потому, что они — господа, — тоном, не допускающим возражения, сказал Недодай.

Опять помолчали.

— Ты видал сегодня у Гриценки. Вино, пьянство, разливанное море, сам куражится, растегнутый. Ну-ка кто из нас водки шкалик принеси — по головке не поглядят. Тут же и девки. При девках, — мне прислуга собранская рассказывала, — своего денщика по морде за то, что не так ему угодил. Ну, хорошо это? — тихо сказал упрямый, болезненного вида солдат Волконский.

— Ну это что ж, — снисходительно заметил Недодай. Гриценко, барин хороший, душевный барин. Ну ударил Авдеенко, что за беда. Вместе живут. Авдеенко то у него одного сахара или папирос, что накрадет. — Гриценко никогда и слова не скажет. Это уже так — барин и слуга. Отношения особые. Гриценко уважительный барин. С ним хоть и в бой весело.

— А Саша-то, слышали, вступился за денщика, — сказал унтер-офицер Бондарев.

— Саша душевный барин. Хороший барин, — сказал Артемьев. — Прямо, как красная девица. С солдатами поет, слова обидного не скажет. Я ему как то чести не отдал, просто позабыл. Остановил, а сказать что и не знает. „Это”, говорит — „не хорошо, зевать”. Да... Ну, я думаю, доложит эскадронному, — баня будет, на всякий случай вахмистру сказал. Тот меня в походную, на стойку. Саблин то корнет, значит, увидал, спросил, за что,, отпустил, да еще говорит, его похвалить надо. Другой бы смолчал, а он доложил.

— Да, что-ж. Молодой. А потом такой же будет, — сказал Недодай.

— Кто его знает, — задумчиво сказал Бондарев, — известно, служба — она ожесточает.

— Не то обидно, — желчно вмешался Леницын — угрюмый, молчавший до сих пор солдат, певший в хоре басом, — что толкнут, ударят, или что, а то обидно, что правды нет.

— Где же ее сыскать! — сказал Недодай.

— Нет, братцы, в самом деле, ну хотя бы расчет. Все выдали сколько песенникам Гриценко дал.

— Двадцать пять рублей, — вздохнувши сказал Артемьев.

— А пело нас двадцать пять человек — значит ровно по рублю на брата. А выдали?

— По восьми гривен, — сказал Балицкий.

— Где же пять-то рублей осталось? — спросил Недодай.

— Где? У вахмистра. Ну я понимаю, запевале бы дали, он хор обучает, его первое дело, а то вахмистру. Ему то за что?

Опять помолчали. Любовин стоял в стороне, опершись спиной о стену и слушал. Лицо его иногда передергивалось нервною дрожью. Наконец, он не выдержал.

— А вы почему же правды то не добиваетесь? — резко спросил он, чуть хрипнувшим от волнения голосом.

— Как же ее добьешься — то? спросил искоса, недружелюбно глядя на Любовина, Недодай.

— А вот тебя Мацнев ударил не по праву — почему не жаловался?

— Кому же жаловаться? — спросил Недодай.

— Кому? — передразнил его, срываясь с голоса Любовин. — Эскадронному.

— Гриценке-то! Ну этот, брат, шутить не станет. Вдвое даст. Да и на выsidку в темный карцер посадит.

— Эх вы! Дальше жалуйся. Протестуй. Ищи правды.

— Где найдешь то. Кругом — господа. Один другого тянет.

— Господа!... А что такое господа? Ты думал когда-либо почему они господа?

— Богатые, ученые... Вот и господа.

— А вы что же — мужики сиволапые? Крепостные? Барыныче нет и господ быть не должно. Они такие же люди, а многие — вот хоть бы Мащнев, и хуже нас, так за что же им почет и уважение? Что земли у них много? Так ведь земля то это ваша. Разве они сами работают на земле? Они пьют, кутят, а вы за них своим горбом распинаетесь. Земля Божья, как воздух, как вода... А не их.

— Это оставить надо, — строго сказал Бондарев.

— Что оставить? Почему? — горячился Любовин.

— А вот то, что говоришь. Поди, сам понимаешь.

Любовин оглянулся, ища поддержки. Но стоявшие кругом песенники расходились. У каждого нашлась причина отойти от окна. Одному — „смерть курить захотелось”, у другого отвязалась шпора, третий вспомнил, что у него койка еще не прибрана. Все разошлись. Остался один Бондарев, который строгим испытующим взглядом смотрел на Любовина.

— Вы это, Любовин, оставьте, — сказал он ему, вдруг говоря на „вы”.

— Но, позвольте Павел Абрамович — ведь вы же сам крестьянин. Неужели вы не согласны со мною, что правды нет.

— Крестьянин я и притом безземельный. В батраках служу и все таки такого ничего не скажу и вам рекомендую оставить.

— А правда?

— Правды, Любовин, вы нигде не найдете... Так от Бога установлено.

— От Бога?

— Так точно. От Бога. Правда только у Бога в Царствии Его, а на земле нет правды.

— Вы в это верите?

— Верую.

Бондарев повернулся и пошел вдоль по казарме. Любовин постоял в нерешительности, пожал плечами и сказал со злобою: —

— У кислая шерсть! Несознательный народ!... Рабы!

Душно стало ему в прохладной казарме. Щелканье бичей и крики команды на дворе его раздражали, он обчистил

себе мундир, надел шинель, новую, свою безкозырку, па-лаш и пошел к вахмистру проситься в отпуск.

VII

Вахмистр только что напился чаю с мягкими свежими булками, дал свой жене спрятать заработанные с песенниками пять рублей, умылся ледяной водою из под крана, щеткой пригладил свои начинавшие редеть красно-рыжие коротко постриженные волосы, смазал фиксауаром усы, распушил их и в чистой рубахе, туго подпоясанный на круглом животе белым лосиным ремнем — собрался идти выгонять людей на уборку конюшни.

В дверях он столкнулся с Любовиным.

— Ты чего, Любовин, без доклада лезешь, окрикнул он солдата.

— Я к вам, Иван Карпович, по делу.

— Какое такое дело в будний день и в городской форме? — Разрешите в отпуск сходить. К отцу. До одиннадцати.

— Баловство одно, — снисходительно сказал вахмистр.

По тону его голоса Любовин догадался, что его дело выгорело.

— Ей Богу, Иван Карпович, отца навестить надо.

— Ну, ладно. Ведомость переписал?

— Готовы, Иван Карпович.

— Поди. Заявись дежурному.

— Покорно благодарю.

Любовин повернулся, чтобы уходить, но вахмистр оставил его сердитым криком: — Постой!

Любовин обернулся к вахмистру и не узнал его. Лицо вахмистра было сурово и важно. Глаза метали искры.

— Идти то в отпуск ты иди! — сердитым шопотом проговорил вахмистр, — но, помни, Любовин, и знай, что я под тобою землю на семь кукишей вижу — и вахмистр поднес к самому лицу Любовина свой громадный багровый кулак с пальцами, покрытыми веснушками и рыжими блестящими волосами. — И если ты попробуешь там ребят смущать, или про-па-ганду какую — уморю... Живой не уй-

дешь! У тебя протекция, — знаю, — генерал Мартов, за тебя просили — это мне все одно. У меня одно на уме — долг службы и присяга... Да... Разное тут бывало. И крали, и пьянствовали... Один раз человека затащили на чердак ребята, зарезали, и ограбили... Все прощу, все спущу и покрою... Но никогда! — слышишь Любовин, никогда тут в этих стенах, никакого социализма не было... Так, ежели, понимаешь — какая дурь в голове у кого появится — ты мне ответишь. Головой ответишь. И заступы тебе ни откуда не будет. Своими руками задушу! — почти прохрипел вахмистр. — Ну, ступай, это я так только. Я и в мыслях того не думаю, чтобы в нашем полку нашелся хоть один, кто бы думать позволил себе что либо против веры, Государя и Родины. Ступай!

Любовин круто повернулся и пошел к дежурному.

Знает что либо вахмистр, или так только, на всякий случай, страшает его потому, что он сын рабочего и почти кончил гимназию, — думал Любовин, идя по ярко освещенным весенним солнцем улицам. — И, если знает, то что знает? Знакомство с Коржиковым, принадлежность к зарождающейся рабочей партии, то, что у него дома есть кое какие брошюры, или то, что он иногда говорит солдатам. Первого он знать никак не может. Брошюр он никогда в казармы не носил, а то, что говорил солдатам... Кто же донесет на него. Кто?... Да они же — солдаты. За ласковое слово, за облегчение в работе, за то, чтобы не почистить лишнюю лошадь, не вынести навоз, они готовы шептать вахмистру и передавать его слова в совершенно извращенном виде. Вот и работай тут! Веди пропаганду. А Коржиков говорит, что, главное, войска, что рабочие уже готовы, но боятся солдат, а солдат, как их свернешь, пока сидят эти продажные шкуры Иваны Карповичи с толстыми багровыми кулаками и на все способные!

Путь Любовину был далекий. Он прошел весь Невский проспект и на Знаменской площади, перейдя по деревянному мосту через вонючую Лиговку сел на паровую конку, чтобы ехать за Невскую заставу.

Любовин был сыном заводского рабочего, мастера на

машинном заводе и попал в полк совершенно случайно, по особой протекции. Отец Любовина был всеми уважаемый человек, начавший с работы простым подкладчиком, изучивший токарное по металлу ремесло и на старости лет сумевший трезвою жизнью и кропотливым трудом скопить столько денег, что купил себе в собственность маленький домик, в котором и жил с сыном и дочерью. Он давно овдовел. Сына и дочь он отдал в гимназию и мечтал вывести их в люди — пустить по интеллигентной дороге. Но сын в старших классах стал увлекаться рабочим вопросом, запустил учебу и был выгнан из гимназии. Старый Любовин хотел его пристроить к заводской работе, но Виктор был неспособен к этому и только портил материал. В бесплодных попытках приучить Виктора к делу прошло три года. Наступило время тянуть жребий. Виктор вынул малый номер и попал на службу.

Отцу не хотелось расставаться с сыном, он боялся, что военная служба испортит его, отобьет от работы. В это время дочь его кончала гимназию. В гимназии у нее лучшей подругой была дочь генерала Мартова. Через нее удалось устроить так, что Любовин попал в гвардейский полк и там его устроили эскадронным писарем. И сын — Виктор и дочь — Маруся — оба были талантливые одаренные люди. У сына была большая природная музыкальность и прекрасный нежный тенор. Маруся тоже была музыкальна и мечтала о консерватории и сцене, но старый Любовин смотрел на артистическую карьеру свысока и хотел, чтобы его дочь пошла на курсы и была ученою женщиной.

В семье, несмотря на наружное согласие, был внутренний разлад. Отец крепился, молчал, работал еще больше, целые дни проводя на заводе, брал работу на дом, но не был счастлив. Он не того ожидал от детей, для которых он сделал больше, нежели мог.

Любовин вышел из вагона за стеклянным заводом и прошел по деревянному тротуару шагов двести до дома своего отца. Это был низкий деревянный одноэтажный дом в три больших окна на улицу, крашенный коричневой охрой, с небольшим крылечком и окнами, обведенными белыми

деревянными рамами. На входной двери была бронзовая доска. Любовин позвонил. Сейчас же за дверью раздались быстрые легкие шаги, и сердце его радостно забилось. Любовин любил сестру особенно и нежно, любовью.

— Виктор! Вот неожиданная радость! — воскликнула Маруся, отворяя дверь и нежно целуя брата.

— Маруся! Ну как?

Сестра сейчас же поняла брата.

— Двенадцать, Виктор, полные двенадцать, — проговорила она и счастьем сверкнули ее глаза.

Маруся была на три года моложе брата. Ей шел восемнадцатый. Она была настоящая красавица. Густые темно каштановые волосы были заплетены в две косы, которые спускались ниже пояса толстыми блестящими змеями. Лицо с розовыми щеками и маленькими красиво очерченными губами было прекрасного овала с правильным тонким носом. Оно все светилось от громадных прекрасных глаз нежно голубого цвета. Эти светлые глаза, оттененные длинными густыми пушистыми ресницами, девственно чистые, как у девочки, смотрели из под тонких бровей, красивой дугой нависших над ними. Ни одна грешная мысль не туманила их. Они меняли выражение, даже цвет, степень синевы своей каждую минуту. Каждое слово, движение души, мысль, молнией скользящая в мозгу, за белым чистым лбом, над которым легло два-три случайных непокорных локона — сейчас же отражались в этих глазах. То светились они восторгом и счастьем победы, искры летели из них и синяя кайма кругом блестящего зрачка переливалась цветами сапфира, то вдруг останавливались, тускнели, становились грустными, бледнели, точно выцветали и бледною бирюзою был обведен глубокий черный зрачок.

Сложена она была прекрасно. Руки и ноги маленькие, талия тонкая, грудь чуть начавшая формироваться дышала нервно и порывисто, отвечая ее чувствам и словам. Брат Виктор был болезнен, угрюм и желчен, от нее дышало здоровьем, молодою силою, крепостью мускулов, кровью кипевшею в ее жилах.

— Что же и отвечать заставили? — спросил брат, чувствуя как счастье сестры передается и ему.

— Немного. Но главное, Андрей Алексеевич читал перед всем классом мое сочинение, — краснея от счастья сказала Маруся. — Вот то было неловко!.. И знаешь, у него оно вышло и действительно хорошо. Так он читал. Я местами колебалась. Да я ли это написала? Так красиво. А ты что? Чем то недоволен? Ну пойдем ко мне. Все не можешь привыкнуть?

Через столовую и кабинет отца, где стоял слесарный станок и аккуратно, по стене, в особых гнездах из кожи были развешены сверла и другие инструменты, они прошли в комнату Маруси. Синяя занавеска закрывала нижние стекла и отделяла ее от улицы. Перед окном был простой письменный стол, обтянутый черной клеенкой, с большой хрустальной чернильницей и множеством тетрадей и книг. Полка с книгами висела на стене. Вдоль стены стояла узкая накрытая белым пикейным одеялом с подушками прикрытыми чехлом с кружевами железная койка. По другую сторону небольшой комод, фотографии на нем, пучек вербочек, пущивших ростки в стеклянном стакане, старенький альбом с деревянной крышкой, на которой были нарисованы васильки и маки, фарфоровый зайчик и в стороне большая кипа нот. Три венских соломенных стула и в углу платье, занавешенные темной материей дополняли обстановку комнаты Маруси.

Над койкой, в черном багете, висела увеличенная фотография пожилой женщины в простом платье и платке на голове — мать Маруси. Над комодом была прищиплена кнопками фотография — группа гимназисток и по краям ее большие портреты Достоевского, графа Толстого и Шевченки.

— Ну садись, — ласково сказала Маруся. — Сейчас придет Федор Федорович, чаю напьемся. Обедать ведь не скоро. Так не привыкаешь?

— Разве можно к этому привыкнуть! — воскликнул с отчаянием Любювин. — Разве это служба? учение? жизнь? Издевательство над личностью. Сегодня — будят в четыре часа утра. Что такое? Пожар? Тревога? Нет, его высокоблагородию песенники понадобились. Изволь одеваться, чи-

стигся и иди — пой. А там — дым коромыслом! Вино, пьяные растегнутые офицеры, уличные девки... Срам. Это у них служба Государю и Родине!

Маруся молчала. Грусть перелилась в ее глаза и они печально и сочувственно смотрели на брата.

— Что же делать, Виктор, — тихо сказала она, — терпи. Ведь кругом так. Думаешь одно — а жизнь делает другое.

— Вчера... Гриценко эскадронный побил своего денщика за то, что тот ему вместо шампанского подал красное вино. И вдруг Саша, помнишь, я тебе про него рассказывал, все меня петь учит, вступился. Мне вестовые рассказывали, чуть до ссоры у них не дошло. А ведь у них чуть что — сейчас и дуэль, и драка, и убийство. Звериные нравы, Маруся.

В соседней комнате заливались канарейки, висевшие в клетке под окном, уличный шум врывается в открытую форточку звонками паровой конки, лязгом железа и грохотом тяжелых ломовых подвод. И сквозь этот шум прозвучал тонкий дребезжащий звон колокольчика.

— Это наверно Федор Федорович, — сказала Маруся. Я видала его у ворот завода, он разговаривал с рабочими.

— Всё брошюры им раздает, — раздражительно сказал Виктор, — а они их на цыгарки изводят.

— Расскажи ему всё. Хорошо? — сказала Маруся и побежала отворять дверь.

VIII

Федор Федорович Коржиков был вечный студент. Он так давно не был в университете, что и сам забыл студент он, или нет. Другое увлекало его. Увлекала пропаганда среди рабочих, партийная деятельность в социал-революционной партии, в которой он считался видным и деятельным работником. Ему было тридцать лет. — Маленький, сгорбленный, неловкий, весь заросший рыжими волосами, с небольшой рыжей бородой, которой он не давал покоя, то комкая ее, то сминая рукою, то засовывая в рот, в рыжем

пиджаке и рыжих штанах, неопрятный, в веснушках на бледном исхудалом лице, он производил сначала неприятное впечатление. Но ум у него был быстрый, суждения резкие, говорил он отлично, умел влезть в душу и своим чуть хриплым, медленным, точно усталым голосом внушить любую идею. Терпеливый и настойчивый, на все готовый, он вел свою работу для будущего, не торопясь и считая, что если через сто лет будет революция и то хорошо.

— А, воин, — сказал он, здороваясь с Любовиным, — что в будни пожаловали? Или Монаршая милость какая объявлена?

— Да, милость! Кабак был ночью у господ, а мы, слуги, сегодня гуляем. И занятий нет. Праздник у дна человек потому, что один выпил лишнюю рюмку.

И Любовин подробно рассказал о всем том, что видел и слышал этой ночью у Гриценки.

— Так, так, хорошо, — говорил Федор Федорович, внимательно слушавший Любовина.

— Что же хорошего то, Федор Федорович, — озлобленно воскликнул Любовин.

— Сами нам помогают, Виктор Михайлович. Ведь солдатики то, поди, возмутились, ведь вот тут капельку прибавить, так, штришок один поставить, подчеркнуть, где надо — гляди и до бунта недалеко.

— Эх Федор Федорович! Не знаете, вы нашего брата, солдата. Это такая серость, такое смирение, такое... чорт его знает что такое — ему в морду дай — он другую щеку подставляет. Евангелие какое то ходячее!..

— Ну не совсем оно так выходит, — сказал Федор Федорович, — вот Саша то ваш, возмутился, говорите.

— Ах, что Саша! — махнул рукою Любовин.

— А вот такого то и надо. Ведь вы, Виктор Михайлович, сами виноваты. Горячка, кипяtilка, шум, пыфы, да пуфы, а это в нашем деле не годится. Надо, как говорят немцы, — *langsam, ruhig* * вот и ладно будет. Вы говорили с солдатами после? Воспользовались психологическим моментом?

* Медленно спокойно.

— Воспользовался, говорил... Эх, Федор Федорович, вот этот стол вы скорее убедите, нежели их „Господа! господа! На то господа! Правды на земле нет, правда только у Бога”, а стал им объяснять — разошлись. Боятся.

— Так, так... Виктор Михайлович, да разве можно так? Ведь этак вы и людей запугаете и сами буйную голову не снесите. Эх ведь и учил же я вас и говорил, как надо. Наше дело тайное. Не пришло еще время по площадям то кричать, да открыто проповедывать. Правда то, Виктор Михайлович, пока что по подвалам скрывается, да имени своего не рассказывает. Зачем всем оглашать ее. Выдадут — это вы верно говорите, выдадут. Один другого боится и чтобы тот не выдал, сам выдаст. Что говорить? Подлец человек стал, ух какой подлец. Да ведь и судить то строго нельзя. Сами рассказывали какой кулак у вахмистра. Молот кузнечный, а не кулак. А душонки то дряблые, как веточки, где же им противостоять то? Ну и падают. А вы, Виктор Михайлович, по одиночке, да ласково. Есть такое слово хорошее: товарищ. Да... вот с ним и подойдите к солдату. Да наедине. Он этого слова не слышал, не знает. Оно ему в диковнику. Как мармеладка это слово. Так в душу и вползет. Вы мне одного воспитайте в духе возмущения — вот и дело сделаете. Пусть один станет всем недоволен, всё критикует, всё не по нему, а тогда за другого принимайтесь. Да офицера бы надо. Без офицера, верно, трудно. Надо офицера обработать.

— Невозможное это дело, Федор Федорович, как вы их возьмете, когда они, можно сказать, и не люди даже. У них свои понятия.

— Ну к чему так. Были и между ними. Возьмите: Пестель, Рылеев... Да ведь и Лев Николаевич офицер был, а смотрите, как работает. „Офицерскую и солдатскую памяти” давал я вам?...

— Ну, то, может быть, в других каких полках, а у нас это невозможно. У нас офицер на лошадь лучше смотрит, чем на человека. На прошлой неделе, в третьем эскадроне солдат на препятствии убится, так эскадронный командир, знаете, что сказал: — что он, сукин сын, убится туда

ему и дорога, а что он лучшую лошадь в эскадроне загубил, это я ему и в будущей жизни не прощу! Вот какие они.

— Да ведь не все же? — сказал Федор Федорович.

— Все, — злобно сказал Виктор.

— Ну, а Саша? — тихо сказала Маруся.

— И Саша такой же будет, — сказал Виктор.

— А ты не дай ему таким стать. Разбуди в нем чело- века, — сказала Маруся и взяла за руку брата. Это прикосновение как будто смягчило Виктора.

— Как же быть, то, уже и не знаю, — сказал он.

Федор Федорович переменял разговор. Он стал рассказывать о забастовках как средстве борьбы, успешно применяемом за границей.

Маруся пригласила в столовую и стала поить брата и Федора Федоровича чаем.

— Наши товарищи еще не организованы для этого. Но я думаю, что это удастся. Есть уже живые головы, которые понимают. Вот отец нам сильно мешает, — говорил Федор Федорович, — а ведь он мастер. Что офицер в полку, то мастер на заводе.

— Вы вот совратите его, — воскликнул Виктор.

— Ну, он старый человек. Его трудно переубедить. Нет надо вот такого, как ваш Саша. Чем больше вы мне про него рассказываете, тем более мне сдается, что это материал, который можно обработать.

Федор Федорович встал из-за стола и стал прощаться. Маруся и Виктор пошли провожать его.

— Опять к рабочим? — сказала Маруся.

— Да, есть у меня тут молодчик один. Товарищ Павел. Мозгяк такой. И с виду невзрачный, а злоба в нем так и кипит, — сказал Федор Федорович и посмотрел на Марусю.

Она стояла, прислонившись спиной к серой железной печке. Ее руки были опущены вдоль тела. Гордо приподняв голову, она из под опущенных ресниц глядела то на брата, то на Коржикова. Воля и ум светились в ее глазах. Невольно загляделся на нее Коржиков. „Эк какая!“ подумал он, — „совсем княжна Тараканова в крепости, или Шарлота Кордэ перед убийством Марата. Нож только в ру-

ки дать. Героиня! И как не похожа на брата! Вот эта пошла бы на все и сгорела бы живьем за идею, за слово, за дело!" Коржиков перевел глаза на Любовина и тихо, вкрадчивым голосом сказал: —

— А что, если бы Марию Михайловну нам попробовать.

Любовин вспыхнул и с удивлением посмотрел на Федора Федоровича.

— Понимаете-ли вы, что говорите, — тихо сказал он.

— Очень понимаю, Виктор Михайлович. Но если жертва нужна, мы ее принесем. Перед такую, как Мария Михайловна никто не устоит. И ваш Саша станет послушным рабом ее желаний.

Наступило злое молчание. Маруся еще более запрокинула голову затылком к печке и стояла неровно дыша и не глядя ни на брата, ни на Федора Федоровича. Любовин с негодованием посмотрел на Федора Федоровича. Ведь знал же он, как бесконечно любил его сестру этот неслыханный Коржиков!

— Вы съума сошли, — злобно кинул он Федору Федоровичу.

— Так, так, — спокойно сказал Коржиков. Мария Михайловна, если понадобится, вы принесете эту жертву?

Маруся ничего не ответила. Тяжелый вздох вырвался у нее из груди. Она медленно опустила голову и устремила совсем синие васильковые глаза на Коржикова. Он как то съежился, скомкал в кулачок свою бородку и пожимаясь плечами пошел к двери.

— Если партия признает это нужным, — сказал он хриплым голосом, — Мария Михайловна, мы вас попросим.

И скрылся за дверью...

IX

Густые черные тучи низко клубились над землею, застилая горизонт. Далекая молния таинственными играла в них зарницами. В природе что-то совершалось и земля прикинула в испуге... Высокие березы стояли тихо и ни один листок не трепетал на них. Широкие болотные луга точно

набухли водой и за ними грозный и глухой стоял лес. За лесом, серебром, под черными пучами тянулась узкая полоса далекого залива. Ночь наступала.

В маленькой избушке, на окраине Красного Села, в которой одну комнату на время лагерей занимали Саблин с Ротбеком, было нестерпимо душно. В оба открытые окна вместо воздуха шла густая темнота, полная болотных испарений. Ротбек завалился спать с десяти часов и теперь храпел громко и переливисто. Саблин сидел у окна в темной комнате. Ему стало жутко и одиноко в этой маленькой комнате, и он вышел и пошел по березовой аллее к окраине Красного Села.

Было так темно, что он скорее по догадке нашел небольшую скамейку под березой и сел на нее.

Черное небо, редкие мигающие зарницы, таинство совершавшееся в природе для него имели связь с тем, что творилось на земле.

Эти последние три дня лагерь жил особенною жизнью. Днем и ночью по военному полю, по Дудендорфу, по слободам Красного Села, у вокзала, по линейкам лагеря, разъезжали статные люди на серых лошадях в голубых мундирах и с ними лучшие унтер-офицеры, прикомандированные от гвардейских полков. Староста и десятские селения не снимали с себя цепей и часто обходили дома.

В самом Красном Селе появились люди, одетые в штатское платье, но широкоплечие, могучие, отлично выправленные. Они ездили на велосипедах, гуляли по дорожкам, сидели на заваленках. Все чего то ждали, к чему то прислушивались, за чем то следили. Простое Красное Село, с полем пыльным, кое-где покрытым истоптанною травой вдруг стало таинственным и жутким.

Произошло это потому, что в Красное Село приехал с молодою и прекрасною женою Государь и поселился в середине Красного Села, во дворце.

Саблин глубоко, с детства верил, что Государь Помазанник Божий и теперешнее состояние природы, с надвигающеюся грозой и тревожно мигающими зарницами сопоставлял с тем, что творилось на земле и ему было страшно.

Кто то, одетый как крестьянин, следил за ним от самой его избы и шел сзади, тихо ступая по дорожке. Саблин сел на скамью на краю селения, где дорога спускалась вниз и прислонился к стволу березы. Шедший за ним человек остановился неподалеку от него у телеграфного столба и как будто вглядывался в Саблина. Это не был солдат, но что то знакомое показалось Саблину в невысокой фигуре. Черный картуз оттенял еле видную бледность лица. Этот человек был неприятен Саблину: он мешал его одиноким думам.

— Кто там!? — крикнул Саблин.

— Прохожий, — глухо ответил незнакомец и совершенно слился со столбом.

Проволока гудела на столбе, прохожий молчал и Саблину начинало казаться, что тут никого нет. Лишь иногда при вспышках зарницы едва намечалось бледным пятном лицо прохожего. — „Что ему нужно от меня? Кто этот прохожий?“ — подумал Саблин. Ему было неприятно присутствие чужого человека, он хотел встать и уйти.

— Что, товарищ, и вас томит погодка-то? — вдруг спросил взволнованным ломающимся голосом незнакомец и слово товарищ прозвучало у него неуверенно и странно.

Саблин не отвечал. Его возмутила эта фамильярность чужого человека, Бог знает кого. „Может быть“ — подумал Саблин, — „это кто-либо из агентов тайной полиции соскучился ночным бодрствованием и решил скоротать ночь разговором. Саблин сознавал необходимость охраны, но в то же время испытывал к ее агентам чувство брезгливости и недоверия.

— А погодка на редкость. Самая настоящая воробьиная ночь. Ведьмы на Лысой Горе, в такую ночь шабаш справляют. Что завтра еще будет! А ведь завтра, товарищ, парад. Нехорошо это. А?

— Да, — сказал Саблин. — Для парада это нехорошо.

— И, ах, как нехорошо-то еще! — точно обрадовался тому, что сказал Саблин, заговорил незнакомец и Саблину показалось, что он где то слышал этот теноровый хрипчатый голос.

— Вы то, товарищ, подумайте. Государь завтра будет свое явление иметь к народу. Да... Помазанник Божий... Бог земной... Ведь по крестьянству то — а солдаты наши почитай все крестьяне — вера то какая по этому поводу. Государь — во всей славе является — и солнце, и ангелы с неба трубят, и золото, и порфира, и виссон и великолепие парада и вдруг завтра польет дождь, вымочит Государя Императора и вместо Бога в ореоле золотых лучей увидят все просто мокрого человека, пожимающегося под холодными струями воды и такого же смертного, как и мы все... Ах, товарищ, что тогда будет! Ведь как бы пелена с глаз не спала. Не сказал бы народ — а на что нам Государь, коли ежели он такой же, как и мы. И причем тут Помазанник Божий?

— Да кто вы такой? — нетерпеливо воскликнул Саблин.

— Я то? Да на что вам знать? Я вас не знаю, вы меня не знаете. Ночь прямо до ужаса страшная, зги не видать — вот и поговорим откровенно. И вы свою душу облегчите и я бремя скину. Обоим легко будет. Да... Прохожий я. Не здешний человек. Увидел, что вы идете, ну и решил поболтать с вами.

— Но как смеете вы так говорить о Государе Императоре!

— То есть, как это так? Я, простите, вас не особенно понял, вздрогнув от окрика Саблина, сказал незнакомец.

— Так непочтительно... и смело.

— Ах, так... Ивольте видеть, я то ведь этого гипноза не имею. Я не верую, что царь Помазанник Божий, да и в Бога я не верую. Как можно веровать в Бога, если ученость имеешь и знаешь, как и откуда, что произошло. Когда понимаешь, что такое атом, или там бацилла и как человек от обезьяны произошел, то полагаю, странно веровать в Бога, сотворение мира и прочие сказки... Вам, может быть, это и неинтересно совсем.

— Да, совсем неинтересно и с такими людьми я ни спорить, ни разговаривать не желаю. Уходите от меня...

Незнакомец поежился, теснее прижался к столбу, помолчал немного и сказал тихо:

— Зачем уходить. Правду вам, ваше благородие, мало кто скажет. А вы послушайте, может я вам что и полезное скажу. От другого не услышите, а услышите от меня, может кое-что и задумаете новое. Я бы и помолчал, да молчать ведь тоже неинтересно. А ночь то больно жуткая! Ведь то, товарищ, надо иметь в виду, что все это просто гипноз и обман простого народа для того, чтобы держать его в рабстве. Вот, было освободительное движение. Вы слышали, конечно, как убили Государя Александра II. Ну разве можно так? Изподтишка, на глухой улице... Разбили карету, а тут сани. Усадили Государя в сани и увезли во дворец. Кровь на снегу осталась. Часовых приставили. Святая, мол, кровь. Цветов нанесли, икон, золота, серебра — ну и, конечно, ничего не вышло. Царь — Мученик. Я мальчиком был, ходил смотреть. Так тоже чувство эдакое испытывал на манер святости, или страха какого. Да... Ну, а народ то он и взрослый, как дети. Ах, не так надо, не так. Надо так, чтобы показать, что все это обман. Ну вот, к примеру, завтра, на параде, когда все будут держать ружья на караул и не сметь будут дышать, выйдет из строя солдат... Смелый... Ведь их то смелых, таких, что на верную смерть шло много и даже очень много... Возьмет ружье на изготовку и выстрелит в Государя. Ну пусть его хоть на части разорвут потом. Да ведь то — потом, а дело то сделано будет. Ведь тогда — аминь — вместо Помазанника Божия труп в грязи и пыли и всенародно, понимаете, всенародно! Потом уже не убедишь других, что этого нельзя. Конечно.

— Кто же вы и почему вы так говорите, — сдерживая свое волнение, спросил Саблин. — Потому ли, что вы так же, как и мы все, боитесь и трепещете за священную особу Государя Императора, или потому, что вы из этих страшных людей. Вы понимаете, как вы рискуете тогда!

— Ах, товарищ... Ну что? — арестуйте меня. Я вам душу свою изливаю, потому что ведь ночка то эта томит, ведь тянет на откровенность. Ну, как хотите. А только я так думаю, что все ваше царство земное на песке построено. Дунет ветер, понесет пески и развалится все. Вот опять, к примеру, завтра... Да... Вдруг все ваши правильные квад-

раты войск, батальонные и полковые колонны расстроятся, сойдут с места, перебьют офицеров и разойдутся по всему полю и, вместо великолепного парада, будет страшная вооруженная толпа, к которой жутко подойти. Ведь все это придумано, что этого нельзя. Да — одному нельзя, а всем? Всем можно, все-то, ведь, сила и вот, когда все этого захотят, так их не испугаешь. Никто не поверит, что Царь избранник Божий, Богом помазанный — а много ли надо? Вот только, чтобы завтра дождь пошел, или там кто-либо смелый нашелся. И не уследишь за ним. Знаете ли вы их, солдат своих, что у них на уме? Слушают, слушают... а ведь численно и порознь физически-то они много сильнее вас будут. Так-то, товарищ.

Саблин встал.

— Кто вы? — задыхаясь, воскликнул он. — Как смее вы... Я вас!

Темная фигура отделилась от столба и, пригнувшись, пустилась бежать по шоссе.

— Стой! — крикнул Саблин.

Но в это мгновение страшный вихрь внезапно налетел на землю, затрепетала всеми листьями своими громадная береза, молния прорезала небо сверху до низу и сейчас же, громовой удар загрохотал над головою. При свете молнии Саблину показалось, что он узнал прохожего.

— Любвин! — крикнул он.

Но хаос подхватил его. Небо гремяло громовыми раскатами и вдруг хлынул холодный ливень. Он до последней нитки рубахи промочил Саблина, налетающие вихри хватили его за ноги и мешали ему идти, вода, пенясь и сверкая при блеске молнии, пузырями, потоками неслась по скату шоссе. Молния сверкала за молнией. Они иногда по две, по три сразу, пучками прорезывали черное небо и тогда вдруг на секунду выявлялась вся улица Красного Села, березы по сторонам шоссе, кипящие водою канавы, бараки за ними и промокший насквозь в шинели, кажущийся черной, дневальный под пестрым деревянным грибом и сейчас же страшные раскаты грома, небо опрокидывалось на землю, мрак скрывал все и только вода сверкала крупными вспы-

хивающими по ней пузырями, да сильными толстыми струями бил и сек по лицу, по груди и по ногам косой дождь, гонимый яростным вихрем. Было не до Любовина, или иного незнакомца, было не до гоньбы за ними. Саблин добежал до своей избы и тут одумался, стяхнул, тихо, оставляя за собою лужи воды, прошел в горницу, зажег свечу и, не будя деньщика, спавшего за перегородкой, с трудом стянул с себя промокший китель, рейтузы, белье, обтерся мохнатым полотенцем и, голый, кинулся под свое одеяло. У противоположной стены храпел безмятежным крепким сном Ротбек. Саблин взглянул на часы. Было три часа утра. Гроза уходила к Гатчине, реже сверкали молнии, дальше гремел гром, вихри стихли и только ровный методичный дождь бил по крыше и шумел по листьям берез и лужам сада.

Как же завтра парад? подумал Саблин и в ту же секунду почувствовал, как он словно отделился от земли и понесся куда то. Молодой сон охватил его освеженное дождем тело. Он едва успел задуть свечу, как погрузился в сладкое небытие, которому так славно и ровно аккомпанировал не прекращавшийся дождь.

Х

Когда Саблин проснулся, было утро и не рано. Ротбек, совершенно одетый, в новых рейтузах и сапогах с ярко блестящими шпорами, в виц-мундире с сверкающей портупеей и перевязью через грудь — пил за столом, стоявшим у окна, чай. Денщик его намазывал ему маслом ломти хлеба. Денщик Саблина приготовил ему все новое. Мокрый китель и рейтузы были убраны с пола и лужи воды затерты.

И едва только Саблин понял, где он и что он, как совершенно особенное праздничное настроение охватило его. Такое настроение у него бывало в детстве, когда еще жива была его мать, в именины, или в день причастия. И он понял, что это от того, что сегодня парад и он увидит Государя. Как был, не одеваясь, вскочил он с постели и бросился к окну. Какова-то погода?

Дождь перестал, но все в природе было мокро, тускло и не по праздничному убрано. Седые тучи спустились низко и клочьями тумана легли на поля и огород. Было свежо. Хрипло в воздухе, переполненном влагой, звучали голоса. Из двора напротив солдаты выводили лошадей и садились на них. Бравый ефрейтор Степаненко, принаряженный, чисто вымытый, блестящий, точно лаком покрытый, осматривал их и давал последние наставления.

— Пучки соломы все захватили, ребятаж? Смотри затирать, чтобы было чем ноги лошадям. Ватрущенко, спорхай к взводному, снеси ведро, надоть в подводу положить. Не пришло бы копыта замывать.

„Парад будет, парад не отменен!“ радостно подумал Саблин.

— Стыдись, срамник, — проговорил Ротбек, прожевывая хлеб с маслом, — хоть бы рубашку одел. Где вчера шатался? Всю комнату наследил.

— Милый Пик! парад... парад... сегодня... Шерстобитов! умываться, одеваться...

Саблин в две минуты был готов. Праздничное настроение, охватившее его, не унималось, но шумными весело перекликающимися колоколами звонило у него на душе и было хорошо и хотелось обнять весь мир от этого ощущения молодости, здоровья, красоты своего полка, который уже выстраивался по улице, сознания, что сам составляешь маленькую песчинку в этом лихом славном, знаменитом полку.

Было дивно хорошо увидеть своего Мирабо, сытого холеного гунтера, блестящего, как атлас, гладкого и косившего за сахаром свой чудный черный глаз, еще отраднее было солидно подъехать к своему эскадрону, неподвижно замершему на улице, услышать команду Ротбека „мирно“ и, курц-галопом подъехавши к флангу, поздороваться с людьми и выслушать бодрое и радостное — „здравия желаем ваше благородие“. А потом горделиво, шагом ехать по фронту и смотреть прямо в лица солдатам. Вчерашняя ночная сказка вспомнилась ему. Вспомнился весь разговор, рассказ про солдата, про бунт, про непогоду. Стало жутко смотреть на людей. Неужели Любовин?!...

Вот и Любовин. Он стоит во втором взводе в задней шеренге. Бледное лицо нахмурено, но голова повернута на Саблина и медленно провожает он его глазами.

Нет, и Любовин ничего. Бледен немного. Но он всегда такой. Нездоровый какой-то. Только погода не подгадила бы!

За эскадроном стоит вахмистр, Иван Карпович. Вся грудь его горит в медалях, цепочка из ружей солидно спускается по животу. Какой он красавец! Лучше его никто не ездит в полку. Даром, что ему уже за тридцать лет и он в отцы годится Саблину, как осторожно почтительно глядит он на него и глазами показывает на сторону. А, — это поручик Фетисов уже подъезжает к строю.

И с тем же праздничным восторгом Саблин поскакал к флангу своего эскадрона и весело закричал: — „Смирно! Глаза направо! Господа офицеры!”...

Когда выезжали на военное поле, оно кипело жизнью. Длинные вереницы пехотных артельных и крестьянских подвод с песком тянулись к Царскому валику, чтобы исправлять то, что сделала вчерашняя непогода.

В собственных экипажах, на извозчиках, на велосипедах, пешком, ехали и шли одетые в светлые розовые, голубые, лиловые и белые платья, в больших шляпах с страусовыми перьями, цветами, лентами, дамы и барышни. Все свое, полковые, батарейные, или их знакомые, по особым билетам допущенные к тому месту, где будет Государь, матери, жены и сестры офицеров. Жандармы в светло-голубых с серебром мундирах на серых лошадях проверяли билеты и пропускали. По военному полю гремела музыка и темные колонны пехоты выходили из проходов между бараками Авангардного лагеря. Люди тяжело и медленно шли по размокшей глине, которая до самого голенища залепляла ярко начищенные сапоги.

Остановившись на местах, где уже с пяти часов утра стояли жолнеры с пестрыми флажками на штыках и были от колышка к колышку протянуты веревки, люди сдвигались в шумные кучи и начинали срывать и очищать глину с сапог и приводить себя в такой вид, как будто бы они только что вышли из своих палаток.

Все поле кипело работой. Пехота чистила сапоги, конница, слезши с лошадей, замывала копыта, распушивала хвосты, разбирая их по волоску и все в то же время тревожно смотрели на небо и на холмы Дудергофа. Это уже такая примета, что если покажется из тумана темная шапка лесов Дудергофа, то будет хорошая погода. Но Дудергоф весь скрылся за тучами и даже внизу, вдоль татарского ресторана, тянулись полосы седого тумана. Ничто не предвещало солнца, а между тем оно должно было быть, должно было осиять венчанного Царя, Божия помазанника.

Так верили седые генералы, начальники дивизий, командиры бригад и полков, в ярких лентах и орденах, насупившись смотревшие, как чистились их люди, так верили молодые офицеры, старые фельдфебели и солдаты всех сроков службы и Любовин так верил. По крайней мере Саблин подметил, что и он бросал тревожные взгляды к серому безотрадному небу и поглядывал на клубящийся туманом Дудергоф.

В сказочной красоте и величии должен был явиться перед своим войском Царь, солнцем осиянный, прекрасный великолепный и далекий. Не от мира сего. Так было всегда, — говорили старые люди, — что, какая бы погода ни была, но Государя неизменно сопровождало солнце. И одни видели в этом милость Божию, чудо, явленное народу в подтверждение того, что Царь не людьми поставлен, но Богом, другие, скептики и малoverы, усматривали в этом отличную работу Петербургской физической обсерватории на Васильевском острове, знающей когда будет какая погода, третьи, молодежь, сами мало выдавшие, считали, что это просто случай.

Саблин глубоко верил, что солнце должно быть, но иногда, когда видел серое небо, с которого вот вот прыснет дождь, сомневался и страх закрадывался ему в душу. А, что, как не будет? Ведь тогда все то, о чем говорил вчера неизвестный прохожий, весь этот ужас может осуществиться, может случиться и быть.

Он подходил к Ротбеку и с тоской говорил ему:
— Пик, что же солнце? — и слышал неизменный ответ.
— Будет солнце.

— Но, почему, почему? — нетерпеливо спрашивал Саблин.

— Потому что будет Государь Император. Так всегда было! — убежденно говорил Ротбек.

„Вот он верит“, — думал Саблин, — „а я не могу! Господи! Помогите моему неверию“.

Любовин из рядов 2-го взвода со злорадством поглядывал на небо. Это был он, наговоривший случайно так много Саблину. Вчера, накинув крестьянское пальто и фуражку, он с вечера следил за Саблиным. Он видел тревогу молодого офицера и понял, что слова его подействовали и, если солнце сегодня не явится, а очевидно, что оно не явится, — поколеблется Саблин и с ним много поколеблется народа. То-то будет хвастать он перед Коржиковым, ликовать своею смелостью. Саблина он не боялся. Он слышал, как Саблин окликнул его ночью. Значит узнал, но сомневался. А раз сомневался, то не спросит. Он отопрется и Саблин сам будет рад, что не надо начинать такого дела, где третьего свидетеля нет и все шло с глаза на глаз и где все преимущества на стороне Любовина. Он-то может говорить, что угодно, нести какую угодно ложь, ну а Саблин, что скажет? Что слушал и не прервал, что молчал? Нет, Саблин не спросит. Не в его интересах! А солнца не будет! Вот вам и помазанник Божий. Любовин презрительно оглядывал своих товарищей и мысленно ругал их серыми, скотами и кислую шерстью.

— Ты, чаво, Любовин, тут распетукиваешься, ничего не делаешь, когда люди копыта замывают. Гордо больно смотреть стал! — услышал он властный голос вахмистра. — Смотри, кабы я тебе твою обязанность не напомнил.

— Не было бы дождя опять, Иван Карпович, — скромно сказал Любовин.

— До-ждя! — протянул вахмистр. — Сказал тоже, дурной. Солнце будет! Государь Император будет!...

XI

Все поле покрылось темными квадратами пехотных колонн. Краснели погоны и тускло виднелось серебро и золо-

то офицерских уборов. Сзади пехоты неподвижно вытянулись запряжки артиллерии и, банник в банник, дуло в дуло, выравнивались орудия. Великий князь на темно гнедом сытом коне, с седлом покрытым вальтрапом с каракулем, объехал полки. Великая княгиня Мария Павловна с сыном, кадетом в черном мундире с алыми погонами и прелестной девушкой с дивными каштановыми волосами, в коляске, запряженной тройкой с лихим кучером в голубой шелковой рубаше, поддевке черного бархата и шапке с павлиньими перьями подъехала к валику, на котором была установлена большая палатка. По широкой лестнице, обставленной цветами в горшках, между блестящей свиты и иностранных агентов в их пестрых формах, она, сопровождаемая детьми, поднялась наверх и сверху окинула глазами громадное поле.

Так же серо было небо и туман клубился шапкой над Дудергофом, скрывая его леса и дачи. Сзади валика длинной пестрой лентой на зеленом лугу стояли полки кавалерии. Белой широкой полосой тянулась кирасирская дивизия, три пятна — красное, синее и малиновое обозначали казаков, а левее темная вторая дивизия заканчивалась пестрым белым с красным пятном гусарского полка. У самой Лабораторной рощи, хмурой, набухшей от дождя стояли пушки и видны были всадники конных батарей.

Поле нервно вздрагивало, охорашиваясь и равняясь последний раз. Проверили по шнуру носки. Бегом разбежались по местам жалонеры и пешие линейные кавалерии сели на лошадей. Жандармы отгоняли разносчиков лимонада и бутербродов от войска и видно было, как бежал на согнутых ногах старик с лотком, покрытым пестрым полотном на голове, а его рысью преследовал жандарм. Две собаки возились на усыпанной песком площадке, предназначенной для церемониального марша и пеший стражник гонялся за ними и не мог их прогнать.

Подле валика на стульях и скамейках, еще с раннего утра принесенных денщиками, сидели и стояли зрители. Больше дамы и барышни, дети, офицеры штабов, изредка виднелась хорошо одетая штатская фигура, умиленно смотревшая на войска. Все лица были повернуты в сторону Крас-

ного села. Туда же смотрел, небрежно сидя на коне с обнаженной шашкой в руке Великий Князь Владимир Александрович и разговаривал громким голосом, звучавшим на все поле со своим начальником штаба статным седым, стройным генералом.

— В Финляндском полку, — говорил Великий Князь, — вы заметили, Николай Иванович, собачка...

— Едет, ваше императорское высочество, — почтительно прервал его начальник штаба, указывая на Красное Село.

Оттуда вылетела тройка и быстро приближалась к пестрой группе, стоявшей между парадом и Красным Селом. Там была свита, лошадь Государя и коляска императрицы.

Великий князь нахмурился и посмотрел на Дудергоф. Из серых туч ясно отделилась его космагтая, покрытая елями, соснами и орехом вершина, ветер рвал в клочья туманы над ним и обнажились верхние дачи. Внизу отчетливо стали видны павильоны и галерея татарского ресторана. Но солнца не было.

Коляска подлетела к свите и остановилась. Великий князь посмотрел на часы. Было без двух минут одиннадцать.

— Точен, сказал он начальнику штаба, — как отец, как дед и особенно прадед был точен.

Он незаметно, мелким крестом перекрестился. Волнение отразилось на его красивом холеном лице.

— Па-г'ад! сми-г'но! — скомандывал он. Затихшие полки чуть шелохнулись. В разных местах бурого мокрого поля раздалась разноголосая команда: „смир-рна! смир-рна!” — и все замерло в напряженном ожидании.

— По полкам, слу-шай на кг'аул!...

Великий Князь поднял свою рослую лошадь в галоп и тяжело поскакал навстречу Государю.

Нарушая общую тишину, резкими отрывистыми звуками, играли гвардейский поход трубачи собственного Его Величества конвоя. Государь поздоровался с казаками, и ура вспыхнуло на правом фланге. Государь подъезжал к полку военных училищ. Полк вздрогнул двумя резкими толчками, юнкера взяли на караул и тысяча молодых лиц повернулись в сторону Государя.

Впереди свиты на небольшой серой арабской лошади

с темной мордой, с которой умно смотрели большие черные глаза, накрытой громадным темно-синим вальтрапом, расшитым золотом, легко и грациозно ехал Государь. Красная гусарская фуражка была надета слегка на бок. Из под черного козырька приветливо смотрели серые глаза, алый доломан был расшит золотыми шнурами, на лакированных сапогах ярко блестели розетки и чуть звенела шпора.

— Здравствуйте господа! — раздался отчетливый голос и из тысячи молодых грудей исторг восторженный выкрик, шедший от самого сердца.

И сейчас же величественные плавные звуки Русского гимна полились на фланге и слились с ликующим ура.

В ту же минуту яркий солнечный луч блеснул на алой фуражке и залил царственного всадника, свиту и коляску, запряженную четверкой белых лошадей, в которой в белых платьях сидели обе императрицы.

Природа точно ждала этого могучего крика ура, этого властного, твердой молитвой звучащего гимна, чтобы начать свою работу. Невидимый ветер рвал на клочья серый туман и наверху ослепительно горело, точно омытое вчерашним дождем, солнце и на синем небе показались пушистые барашки.

Чудо совершилось.

Помазанник Божий явился во всей своей славе и красоте, сказочно красивый на сером арабском коне, смотревшем как-то особенно умно, выступавшем как-то особенно легко и горделиво. Сказка о великом и далеком Царе раскрывалась перед солдатами и народом и они видели эту сказку в золоте шнуров доломана, в расшитом вальтрапе с косыми углами, в царственном коне, в воплях ура, исторгаемых из тысяч грудей, и в плавных звуках величественной музыки. Полубог был перед народом и земные мысли отлетали от людей и чувствовалась близость к небу. Парили сердца.

Саблин, привставши на стремяна, смотрел туда, где все шире и громче ура, где полк за полком брали на караул, щетинились штыками, где, казалось, земля пела небу восторженный Русский гимн.

Он торжествовал. Он понял, что теперь, какой бы ни

был злодей в рядах армии, он не может, он не посмеет не только выйти из рядов и выстрелить, но не посмеет иначе думать, как все. Он не посмеет не молиться.

Саблин оглянулся на Любовина.

Бледный, широко раскрывши воспаленные глаза, смотрел Любовин то в поле, то на солнце и уже не злоба, но недоумение и тоска отражались на его лице.

XII

Ура становилось громче и мощнее. Новые полки примыкали к нему. Государь объезжал артиллерию. Всё насторожилось в рядах конницы.

Высокий всадник на белом коне, покрытом черными пятнами властно скомандовал:

— Кавалерия! шашки вон, пики в руку слуша-ай...

Волна небывалого волнения и счастья захватила Саблина, ему стало тяжело дышать. К глазам подступили слезы.

Из-за трубачей на серых конях ему был виден небольшой интервал между полками. Здесь сейчас должен показаться Государь. Соседний полк уже кричал ура. Трубачи разом взяли трубы к губам. Раздалась команда „господа офицеры“, и грянул ликующий полковой марш. Из-за левого фланга соседнего полка показалась нарядная серая лошадь. Вот и он...

Саблину казалось, что Государь смотрел ему одному прямо в глаза. Саблин смотрел в глаза Государю и мысленно говорил: — „ты видишь? я корнет Саблин! Прикажи и умру, и погибну, и потону в море блаженства смерти, потому что умереть за тебя — блаженство“...

Саблину казалось, что Государь слышит и понимает его. „Как благородно ласково его лицо, как одухотворенно красивы черты его!“

Сзади ехала на четверке прекрасных лошадей в белой с золотом, открытой коляске, с жокеями в белых лосинах и красных шитых золотом курточках, прекрасная императрица, сзади блестящая свита, где каждый всадник был красота, где седые бороды и благородные осанки старых великих князей и генералов гармонировали с юношами, пре-

красными, как боги — Саблин ничего этого не видел. Он видел только одного всадника в алом доломане и красной фуражке, видел его и его лошадь, залитых солнечными лучами, покрытых благодатью неба.

Трубачи оторвали трубы и бросили играть. Государь сказал два слова — „здорово, трубачи!“ — а Саблину показалось, что он сказал что-то дивно прекрасное, сказочно волшебное. Трубачи ответили и Государь скрылся за ними и первым эскадронном. Оттуда донеслось приветствие полку. Исторически, неизменно трогательное приветствие. И полк потрясся от ответа и могуче и радостно крикнул ура!

Звонким молодым голосом Саблин кричал от всего сердца. Государь давно проехал дальше, а Саблин, опьяненный безумным счастьем, всё кричал, сливая свой крик с сотнями молодых голосов. Одно мгновение он подумал — „а Любовин?“ Обернулся. Но и Любовин кричал. Рядом Адамайтис широко раскрыл рот и крупные слезы счастья текли по его щекам и он кричал, сам не понимая того, что с ним происходит.

„Вчера был сон. В нашем полку ничего не может быть такого“, — подумал Саблин и горячее счастье залило его сердце. Счастье быть в нашем полку.

Потом долго шла пехота. Сверкали штыки, гремела музыка и бил турецкий барабан. Кавалерия вдруг повернула повзводно направо и взводными колоннами рысью пошла огибать военное поле. Пахло свежей примятой травой, мягко ступали по сочной земле лошади и шли легко, точно опьяненные криками, музыкой, видом человека, поставленного Богом. Звенели шпоры и мундштуки и всё это, вместе с далекими звуками бодрого церемониального марша, подымало душу и несло куда-то.

Полки выстраивались у крайнего жалонера в эскадронную колонну. Все нервничали. Толстый Древениц, командир полка, распушивши густые седые усы сотый раз проезжал вдоль полка и подравнивал, его помощник, худощавый, стройный, красивый с узкой черной пробитой сединою бородою, князь Репнин, адъютант покойного Государя, никак не мог установить Ротбека и то подавал его нервного Мумма на пол шага вперед, то осаживал. Гриценко давал

последние наставления задней шеренге и кричал звонким тенором: — „задняя, смотри, не напирай, держи два шага и кулаки подравнивай чище. Ответ дружнее и смотри левый фланг не заваливай!”

Эта суета, эти поправки, усиливали и подогревали взволнованное состояние, электризовали людей, говорили, что происходит что-то особенное.

Подались вперед и стали. Передний полк уже стал поэскадронно отделяться от жалонера. Слышно было, как глухо гудели литавры, перерываемые звонкими возгласами труб.

— Чище равняться, задняя не напирай! — хрипло последний раз проговорил командир первого эскадрона и выскочил вперед. Раздалась его солидным баском произнесенная команда „марш”, и линия блестящих крупов лошадей плавно отделилась от Саблина и стала удаляться в поле, где был он.

Серебряный звук сигнала „рысь” прозвучал, как приказ от него. Гриценко, чортом вертевшийся на своем нервном англо-арабе завопил полным голосом: — „марш”. Саблинский Мирабо точно ожидал этой команды, подставил задние ноги под перед, выкинул правую переднюю вперед и плавно, загребая ногами землю, пошел в пустое пространство, где виднелся первый эскадрон и дружно кричали люди.

Слева лилась мягкая мелодия рыси, играемой трубачами. То сладко пел корнет и ему вторили трубы, то отсчитывал темп баритон и будто говорил лошадям: раз, раз, раз! Лошади пряли ушами, ловили такт, и эскадрон шел ровно, сливаясь с музыкой. Вправо был он. Там была громадная свита, там был валик, на котором сверкающей шелками группой стояли императрицы и великие княгини и княжны, там была пестрая линия зонтиков ажурных, легких, синих, розовых, пунцовых, белых, казавшихся громадным цветником, но Саблин ничего этого не видал. Он видел только нарядного серого араба и царственного всадника на нем. В эти мгновения он любил его до восторга и мечтал об одном, как бы лучше пройти. Он видел нечеловеческие усилия Ротбека, который никак не мог справиться

ся с своим Муммом и злился и ненавидел пухлого розового Пика и сердился на Мумма. Но это было только одно мгновение. Раздался ласковый голос Государя — „спасибо ребята!“ — и уже не стало его видно.

Впереди было пустое поле и музыка летела уже сзади обрывками, точно клочки воспоминаний чего то необычайно счастливого и прекрасного. Первый эскадрон выдвинулся во взводную колонну и скакал галопом. Гриценко командовал и их эскадрон поскакал за ним. И нет его, нет свиты, впереди пустое поле с уходящими полками.

XIII

Там, у Царского валика, еще гремела музыка. В карьер неслись казаки, лихим галопом шли гусары, звенела конная артиллерия, а здесь, в полку, уже все было кончено. Серые будни наступили. Хотя был дан отдых и три дня праздника, но какой же это праздник без него.

Полк свернулся в колонну по шести. Песенники были вызваны перед эскадроны и офицеры выехали вперед.

Ходила я девица
Во боро-о-чик,
Наколола я ноженьку
На пене-очик

пели песенники. Трубачи на серых лошадях рысью обгоняли полк. Громадный геликон шел галопом и прыгал растрюбом вверх и казался нелепым и грозным и точно хотел крикнуть что-то в самое небо. Изящный штаб-трубач, вольнонаемный, окончивший консерваторию, растопырив носки и развернувши тощие колени тряся с серебряным корнетом в правой руке. Вид у трубачей был уже будничным, все говорило, что праздник кончен.

Гриценко замахал рукою адъютанту и тот, сдерживая своего толстого серого коня, отделился от трубачей и подъехал к Гриценке.

— Ну, как? — спросил его Гриценко. Песенники перестали петь и тоже прислушивались к тому, что скажет адъютант о том, как проходил полк.

— Отлично. Лучше всех. Равнение идеальное. Господа не равнялись. Это немного портило. Но я пропустил всю дивизию, ваш полк лучше всех. Мне говорил барон, что Государь отменно доволен и сказал: — мой, как всегда, великолепен!..

— Так и сказал?

— Да. Генерала Бакаева в первый пехотный отставить приказал от командования бригадой. Не справился с лошадей, прямо в свиту влетел, чуть великого князя не сбил.

— Ну!

— Ужасно. Откуда у него такая лошадь?

— А вообще парад?

— Удивителен. Мне французский агент говорил, что он никогда ничего подобного не видал. Его особенно поразила, армейская пехота. Маленькие люди, а такой шаг развили — говорят, полтора аршина.

— Ишь ты крупа наша, — ласково сказал Гриценко.

— Но мне, лично, не нравится, как они правой рукой машут слишком далеко отбрасывают.

— Ермолов опять что-нибудь сморозил?

— Представь, кажется, ничего.

— А так новости?

— Казаки просили, чтобы их от полицейской службы избавили.

— Ну!

— Государь, говорят, недоволен остался. Великий князь поддержал и их освобождают. Говорили что-то о создании конной полиции, да я не расслышал.

— Ну, а завтрак?

— Обычно. Толчая, сплетни, слухи о назначениях, о переменах, все та же биржа, как всегда. Шипов, говорят, первую дивизию получит, или Уральским Атаманом, я уже не понял, мне Фриц рассказывал, такая лотоха, ничего не поймешь. Ну, addio *, поеду нагонять полк, а то барон подъедет, будет спрашивать.

И адъютант, приподнимаясь на английской рыси, поехал к трубачам.

* Прощай.

Поле пустело. Неслись извозчики и коляски и длинные змеями уходили колонны полков. В золотистых полях колосющейся ржи за Лабораторной рощею влево красной змеею тянулись гусары, посередине и чуть впереди синели уланы и уже уходя за холмы спускались к Шунгоровской мызе черные на вороных лошадях конногренадеры.

Сладкий миг пролетел и не вернется больше. Сердце тихо билось, голова перебирала ликующие моменты совершившагося, будни сдавливали кругом и солнце на синем небе с барашками казалось выцветшим, бледным, обыденным и скучным.

Впереди играли трубачи. Какою-то тоскою по прошлomu вейло от певучего вальса, доносившагося обрывками сквозь топот конских ног и фырканье коней.

Играли модный вальс „Невозвратное время”.

Саблин прислушался.

„Да”, — подумал Саблин. „Невозвратное время! Его не вернешь”. И ему стало грустно, но в грусти его звучала счастливая нота.

XIV

В собрании обедали наскоро. Не все офицеры были за столом. Ко многим из Петергофа, Царского и Стрельны приехали жены и они обедали отдельно, или у себя, или в садике собрания. Другие воспользовались тремя днями отдыха и уже умчались кто в Гунгербург купаться в море, кто на Иматру.

Саблин, не выспавшийся за ночь и уставший от впечатлений дня, после обеда завалился спать вместе с Ротбеком, который, как ребенок, мог спать когда угодно и сколько угодно.

Он проснулся в пять часов и лежал на спине в сладкой истоме. Впереди было три дня отдыха, а там суббота и воскресенье — пять дней, которые не знаешь куда девать и чем заполнить. За перегородкой Ротбек громким шопотом справлялся у денщика, приехал ли извозчик.

— Пик, ты куда? — крикнул Саблин.

— В Павловск, к матери, — отвечал Ротбек и вышел в белоснежном кителе и длинных рейтузах.

— Отлично.

— Возьми меня с собою, я на музыке посижу.

Саблин вскочил и через пять минут они оба в легких темносерых пальто ехали в старой коляске с выбитыми резиновыми шинами на бойкой толстой лошадке своего хозяина Красносельского извозчика.

Летний день тихо догорал. От скошенных полей пахло ароматом трав. Они проехали длинную Николаевку, где висели мохрами соломенные щиты и казаки вели лошадей на водопой и загородили всю улицу, проехали опрятную деревню Солози и потянулись справа и слева мокрые от ночного ливня луга, низкие кустики ивы по ним, чахлые овсы, невысокая рожь вся синяя от васильков, узкие полоски небогатых посевов. На низких местах стояла, отражая голубое небо, вода. К колышку на веревке была привязана пестрая корова и теленок, щипавший траву у дороги, вдруг, задравши хвост и жалобно мыча, понесся смешным галопом по полям.

Иногда им встречались возы с сеном. Тихо скрипели колеса. Пахло дегтем и свежим духовитым сеном. Ротбек старался схватить клочек сена — на счастье. Проехали Соболево и по сторонам шоссе стали высокие лиственницы, а влево темной стеной надвинулся густой Царскосельский парк.

Саблин и Ротбек долго молчали, отдаваясь воспоминаниям дня, переживая вновь все виденное ими.

— Наш полк лучше всех! — убежденно, как бы отвечая на свою мысль, сказал Ротбек.

— Конечно, — сказал Саблин.

— Как жаль, что офицеры не равнялись, — сказал Ротбек — и я не равнялся. Но ты понимаешь, я не знаю, что сделалось с Муммом, уперся на железо и так тянул, ну ничего с ним не сделаешь. В правой руке шашка, а левой я ничего не могу сделать. Прямо с ума зверь сошел.

— А мой Мирабо?

— Ах, шел идеально. Я влюблен в него. Он такой душа.

— Правда? Правда?

— Да и ты, Саша, лучше меня ездешь. Я еще научусь. Но скажи... Я не очень портил? И, как думаешь? Он не заметил.

— Но, ведь, похвалил же! Похвалил, — сказал Саблин, зная о ком и о чем говорит Ротбек потому что оба думали одними мыслями.

— Ах, он всегда хвалит. Ему нельзя не похвалить. Что было бы, если бы он не похвалил?

— Оставалось одно — застрелиться. Уйти в отставку, зарыться в деревню.

— А ты видел, какие у него глаза! Он прямо на меня смотрел.

— И на меня, Пик... Пик, правда он особенный человек?

— Он и не человек...

Они помолчали.

— Саша, — сказал Ротбек, — а ты не рассмотрел в каком платье была императрица.

— Нет. Я только его и видел. Что-то белое.

— Или розовое, — сказал Ротбек. — Беда! Меня сестры будут спрашивать в чем, да в чем была одета, а что я скажу? Я только его и видал.

— И наш полк!

— Нет. Ты заметил лошадей в коляске Государыни? Белые, а морды и веки глаз чисто розовые.

— Только у нашего Государя и есть такие лошади, — убежденно сказал Саблин.

— Да. Могущественнее и лучше его нет. А как прекрасна Россия!

— А наш полк!

— Наш полк лучше всех.

И опять молчали, отдаваясь счастью своих двадцати лет, тихого прохладного вечера, красивых садов и аромата скошенного сена, отдаваясь счастьем любви к Родине.

— Постой, Пик, я слезу и пойду на вокзал.

— Зачем, он подвезет. Или поедем ко мне. Мама и сестры так будут рады.

Саблину представились розовые барышни, почти девочки, старшей было шестнадцать, некрасивые, неловкие и застенчивые сестры Ротбека с белыми ресницами и белыми

бровями, неизменно в одинаковых розовых платях, белокурые, румяные, в веснушках, не знающие куда девать свои загорелые руки, на все говорящие одним восклицанием — „ах!“ и торопящиеся усадить гостя играть в раздражающую нервы игру „квик“, и он поспешил отказаться.

— Нет, милый Пик, если позволишь, я приеду завтра, а сегодня и тебе лучше одному и я хочу быть один, пережить это все снова, передумать.

— Ах, Саша, я так тебя понимаю.

Саблин слез и прошел через станцию на вокзал. По случаю хорошей погоды музыка играла в саду и громадное здание вокзала с длинными рядами скамеек перед белой раковиной оркестра было пусто. Гимназист с гимназисткой укрылись в сумраке, на средних скамьях и о чем-то шептались, капельдинер бросился к Саблину с программой, он рассеянно взял ее и прошел через зал к ресторану. Он тоже был пуст. Саблину хотелось пить. Он сел за круглый мраморный столик, спросил себе чаю и своих любимых, особенных, специальность Павловского вокзала, пирожных „эклер“.

Он был счастлив. Все его молодое, хорошо отдохнувшее тело наслаждалось. Из парка неслись звуки музыки, шум толпы, шарканье ног. Он ловил музыку одним ухом и, не улавливая мотива, чувствовал, что она рассеивает думы и создает какое-то неизъяснимое радостное, чудное чувство отвлеченности. Мысли сбивались, таяли и осталось одно чувство радости бытия.

В окно был виден уголок парка, сидящие на музыке нарядно одетые люди, проходящие офицеры и штатские, гимназисты и лицеисты с дамами и барышнями. Саблин любовался ими. Прошли два стрелка в конфедератках с ополченским крестом под кокардой и в широких шароварах с двумя блондинками, корифейками балета, и Саблину радостно было думать, что он такой же гвардейский офицер, как они. Кирасир с толстой красной дамой прошел мимо и раскланялся с Саблиным. И это тоже было приятно. Он был один за столиком, но он не чувствовал себя одиноким, он был как бы в своей семье, как бы у себя дома. Это были его братья и товарищи.

Мимо ходили дамы и барышни. Нежный аромат духов доходил до Саблина и волновал его. Он потребовал еще стакан чая и пирожных и задумался.

Чего-то недоставало ему именно теперь, именно сегодня, когда разыгравшаяся кровь была внутри его могучими толчками и когда он горячо, всеми фибрами души любил Государя и Родину и был влюблен в себя. Хотелось другой любви. Неосознанно хотелось женской ласки.

Он посмотрел кругом. „Вот эта с накрашенным лицом и подведенными бровями — доступна. Да.” Краска залила его лицо. Вспомнил Мацнева, его наставление. „Бей сороку, бей ворону!”

Подойти к ней? Но как? Со стыда сгоришь? И что скажешь и как? А вдруг она не такая. Скандал! Скандал! Разве можно оскорбить женщину? Конечно, она не такая! Она слишком молода и прекрасна.

Проходившие мимо женщины заглядывались на молодого, красивого офицера, иные звали его своими глазами. Кровь кипела в нем, а он хотел и не смел подойти, все больше и больше смущался и горел на медленном и сладком огне желания.

Ему казалось, что все видят его желания, читают на лице его мысли. Было стыдно. Он краснел. Он то снимал фуражку и клал подле себя, то снова надевал ее, то был полон решимости и готов был встать и подойти к первой попавшейся, то вдруг чувствовал себя потерянным и смущенным, понимал, что он не посмеет, никогда не посмеет и ничего у него не выйдет из этого, и тогда нервно глотал простывший чай и ел пирожные, не чувствуя их вкуса, смотрел вдаль, и старался слушать музыку.

Вдруг мягкий грудной голос окликнул его.

— Александр Николаевич, как давно я вас не видала!

XV

Он поднял глаза. Перед ним, опираясь на розовый зонтик с перламутровой ручкой, стояла Китти. Большая розовая шляпа была одета круто набок и какая-то птица с розовыми крыльями подпирала ее. Платье из легкой полу-

прозрачной красноватой материи в фалболах, слишком открытое для летнего туалета рисовало ее полнеющую фигуру ясными откровенными, подчеркнутыми штрихами. Шелковые юбки внизу шуршали и шумели при каждом ее движении. Золотистые волосы были аккуратно уложены под шляпу и завиты у парикмахера. Они блестели, как блестели и зубы и чуть загорелое лицо. Она не была накрашена, была свежая, юная и только развязные манеры и то, как стояла она, опираясь на зонтик и чуть покачивая бедрами выдавало ее профессию. Краска волнения и счастья залила лицо Саблина и от Китти это не укрылось. На этот раз он не уйдет от нее так, не простившись, на этот раз он будет ее. Китти покраснела.

Саблин вскочил перед нею. Она сейчас же села. Сел и он.

„Милая... Чудная...” думал он. А внутренний голос какого-то развратного бесенка всё шептал ему на ухо... „и доступная... доступная!... Лови момент!... Бей ворону... бей сороку!”

Он не знал, что делать. Куда девать руки.

— Хотите чаю? — предложил он.

Она посмотрела ему в глаза и рассмеялась в лицо таким заразительным, счастливым смехом, что и он засмеялся.

— Ну вот, ну вот, говорил он, — чему вы?

— А вы чему, милый Александр Николаевич?

— Чему? — вдруг становясь серьезным, сказал Саблин — Я счастлив, Екатерина Филипповна...

— О, — смутилась она. — Зачем так официально. Зовите меня Китти. Просто Китти. Ведь мы друзья?

Пухдая рука в шелковой ажурной, надетой до локтя митенке коснулась его загорелой руки.

— Ну, скажите мне, отчего вы счастливы? — тихо и серьезно спросила она.

— Ах... Китти... Екатерина Филипповна... Сегодня был парад.

— Я знаю, — сказала она. — Вы видели Государя. Государь Император похвалил ваш полк. Как я понимаю вас!

Она, жившая среди офицеров, бывшая часто в казармах, поняла его сразу. У ней были те же чувства обожания

к Монарху. Циничная и легкомысленная, она в то же время была верующая до ханжества и любила Монарха и Россию, благоговела перед штандартом и также понимала честь мундира и обаяние полка, как понимали это офицеры.

Саблин блестящими восхищенными глазами смотрел на Китти.

— Вы понимаете это, — сказал он. — Это чувство, когда видишь его. Вы любите его?

— Я его обожаю, — сказала она.

Он посмотрел ей в самую глубину ее глаз. Будто хотел узнать не шутит ли она, но она не шутила. Глаза смотрели сосредоточенно и серьезно.

Саблин почувствовал, как тепло побежало к его сердцу. „Какая она прекрасная”, подумал он. Вспомнил раннее утро весною. Тихий свет солнца, затененного шторами, бросающий золотистые блики на ее тело. Вспомнил золотой волос, под голубыми лентами и красоту ее линий и вздрогнул.

— Хотите чаю, — еще раз предложил он.

— Да ведь вы уже пили. Сколько вы выпили?

— Не помню. Четыре, пять стаканов.

— Ну вот. Неужели еще хотите?

— Нет, я вам предлагаю.

— Не хо-чу..., раздельно сказала она. — Па-сибо.

И улыбнулась.

— Слушайте, милый человек, — сказала она, чуть пожимая кончиками пальцев его руку. — Я хочу вам сделать одно предложение. Вы свободны сегодня, да? Вы никому ничего не обещали, вы не дежурный завтра?

— Нет, я свободен. Все три дня, и субботу и воскресенье.

— Этакая прелесть! ... Ну, слушайте.

Она сама смущалась. Смущался и он и не шел ей на помощь и не знал, что делать, что говорить.

— У меня, — тихо сказала она, — здесь дача. На Фридрицинской. Вы узнаете ее. По левой стороне. Толстые спиленные ивы растут вдоль решетки палисадника. Я одна. Совсем одна. Приезжайте ко мне... Ужинать.

Он смутился. Он понял, что это ему нужно было до-

гадаться пригласить ее ужинать, а не ей его. И она поняла его смущение.

— Не сердитесь, милый человек, я так хочу.

Саблин еще раз проверил свои к ней чувства и, смущаясь и запинаясь, тихо выговорил:

— Я вас люблю, Екатерина Филипповна.

Краска счастья залила все ее лицо. Нежность сквозила в нем.

— Милый Александр Николаевич! Если бы вы знали сколько счастья даете вы мне этими двумя словами. Вы знаете кто я и вы мне это сказали. Ведь от сердца сказали? Да? Не балуясь?

— Да, — смущенно сказал Саблин.

— Ну вот, ну вот... И вы... мне! О! какой восторг! Ну, слушайте. Только поймете-ли? Не подумаете ли чего худого? Я вам правду буду говорить, как на духу, скажу вам. Я никого никогда не любила. Я любила жизнь, ее блеск и шум, пьяные пиры, песни, наряды... Я холодная была. Без страсти... Да! Я не такая, как Владька, которая каждый день влюблена... Я любила деньги, власть... роскошь... И... слышите: никого, никогда... Меня, ведь, и прозвали — ну, вы-то слышали наверно: — Катька философ, — так меня величают. А вот вас я полюбила тогда с первого взгляда. Как за Захара Гриценкина вы вступились. Вы человек — Александр Николаевич. Вы не только офицер и красавец. Я сначала шутя, вами увлеклась и Степочку просила, чтобы он послал вас ко мне, а потом, там у меня, когда вы... насмеялись над моей красотой — глухим шопотом произнесла Китти — я поняла, что влюблена в вас, влюблена... как кошка! Как я ждала вас! Как тосковала, безумствовала! Все думала — придете. Вы не пришли... Злой! Я следила за вами. Узнавала, не полюбили ли кого? Не были ли у другой? Ведь вы... не знаете женщин...

Густая краска залила лицо Саблина.

— Этакий восторг! — прошептала Китти. — Но, слушайте, слушайте... Не презирайте и не оттолкните меня. Мы пропащие женщины, мы тоже сердце имеем. Мы любим один раз и сгораем в этой любви... Вот, другая из нас, в каком свете вращается, богатство, роскошь, брильянты — а ни-

кого не любит из тех, кто ей дарит. А есть у ней любовь. И любовник ее не только не дарит, а, понимаете, сам берет от нее, иной раз и приколотит. А она... понимаете... любит. Я знаю, что на несчастье вас полюбила. Знаю, что бросите, бросите скоро, и ничем вас не удержу. Ну, что ж! Хоть один день — да мой!

— Что вы говорите, Екатерина Филипповна, — не говорите так. Я сам не знаю... Я восхищен вами. Может быть, уже люблю...

— О, не надо... Не надо этого... Но... нам неудобно здесь говорить. Тут слишком много народа. Для вашего мундира это нельзя. Так встретиться, поздороваться еще куда ни шло, но сидеть так долго на виду у всех... Так придете сейчас, да...

— Екатерина Филипповна! Поедьте вместе.

— Что вы! Что вы! Вот уже этого никак нельзя.

Она смотрела на него счастливая, восхищенная и улыбающаяся. Какие-то планы роились в ее голове.

Она протянула ему руку.

— Через полчаса, — сказала она, на Фридрицинской. Не обманете.

Он горячо пожал ей руку. Она вышла из-за стеклянной стенки и Саблин видел, как она спустилась в сад и, нагнувши голову, пошла стороною от толпы в дальнюю аллею.

И было время. Из толпы выделялся и шел к ресторану румяный Ротбек и с ним все три его сестры, все в розовом, все красные, в веснушках и с любопытством, застывшим на светлых глазах.

Их то теперь Саблин уже не мог никак видеть. Он думал о Китти, он жаждал ее. Он встал, расплатился за чай и пошел на вокзал. Там он сел под часами и следил, как медленно подвигалась стрелка и отсчитывал те тридцать минут, что отделяли его от свидания с Китти.

Они казались ему вечностью. Он просидел двадцать минут, а потом решил пойти пешком, чтобы успокоиться.

Китти из парка помчалась в гастрономический магазин и покупала закуски, фрукты, сласти и вина для того, чтобы достойно принять дорогого гостя.

В ней пело счастье.

XVI

Было уже темно, когда Саблин вышел на Фридеричинскую. Он без труда отыскал дачу. Густые кусты желтой акации в стручьих росли за деревянным забором. Влажный воздух был напоен запахом цветущего табака и левкоев, стеклянный балкон обвивали длинные ветки душистого горошка. Оттуда светился, сквозь спущенные шторы, красный фонарь и неслись звуки пианино. Китти пела.

Саблин остановился. Всё было, точно в опере или сказке. Густые раскидистые липы глухой улицы тонули во мраке. Нигде не видно было прохожих. Сквозь зелень ярко блестели красные окна и оттуда полузаглушенный голос говорил о страсти.

И хочу наслаждений я страстно
Кубок выпить налитый до дна,
Если б даже за миг тот прекрасный
Мне могила была суждена!
 Поцелуем дай забвенью,
 Муки сердца исцели,
 Пусть умчится прочь сомненье
 Поцелуй и жизнь возьми!

Китти почувствовала шаги Саблина и прежде чем он позвонил открыла ему дверь.

— Мы одни, — сказала она ему. — Совсем одни. Горничную я услала. Никого нет. Давайте пальто и шашку.

Балкон был залит розовым полусветом. Раскрытое пианино стояло в углу, мебель обитая кретоном — диванчик, кресла, пуфы, кушетка, волчья шкура на полу — все банально до пошлости, но Саблину казалось прекрасным.

В столовой кипел самовар. На столе лежала ветчина, телятина, холодные цыплята, осетрина, разные пирожки, стояли бутылки вина и коньяка.

„Когда успела она всё это устроить?“ — подумал Саблин и почувствовал, что, после раннего обеда, чай и пирожки только обманули его аппетит.

На Китти было тоже розовое платье, но слишком глубокое декольте она стыдливо прикрыла косыночкой и, странное дело, она и в самом деле стыдилась и стеснялась перед

Саблиным. Ей радостно было угощать его, смотреть, как темнели от вина его прекрасные глаза. В ней все трепетало.

— Хотите ростбифа? От обеда остался, прекрасный ростбиф. Только он на леднике. Посветите мне.

Он был сыт, но не мог отказаться. Так забавно казалось идти вместе через мощный двор и смотреть в маленькую дверь, как, освещенная мерцающей свечкой, подобравши юбки, низко нагибалась Китти и шарила на белом снегу.

— Милый. Тут малина есть. Хотите малины?

Они шли по темному двору, над которым высоко в синем небе горели звезды и тихо что-то шептали вековые липы, проходили по скрипучему крыльцу через кухню в столовую, где под висячею лампою было светло и уютно.

Они выбирали ягоды малины, пальцы Китти стали розовыми и он целовал их, а она смеялась нервным раздраженным смехом.

Ужин был окончен. На часах половина двенадцатого. Не говорится. Неужели встать и уходить?

Китти поднялась. Она терялась. Саблин подошел к ней. Слова прощания замерли на его устах. Она протянула ему обе руки. Он сжал пухлые горячие чуть влажные руки.

— Ну!? — вдруг сказала она ему и протянула ему губы.

Неодолимая сила толкнула его к ней.

Когда он оторвался, он шатался, как пьяный. Как в тумане видел он синие счастливые глаза и лоб с растрепанными золотыми кудрями.

Китти молча пошла из столовой. Он за ней. За маленькой темной гостиной, была спальня. Фиолетовый фонарь на золотых цепочках мягко освещал широкую постель, poslanную свежим бельем.

Китти склонилась на грудь к Саблину и замерла с полузакрытыми глазами. Он нежно охватил ее руками.

Она чуть приподняла голову, губы сложились в нежную, словно детскую улыбку...

— Милый...

Слезы застилали ее глаза, он осушил их поцелуем...

— Ах, сказала она... Я счастлива! Как я счастлива.
И тихо упала на его крепкие сильные руки.

XVII

Эти дни были райским сном.

Вдруг вставали они в четыре часа утра, когда еще солнце не показывалось из-за темных лесов, поспешно одевались и шли по тихим сонным улицам, покрытым росой. Они останавливались на мосту с золотыми оленями, долго смотрели, как рябила под косыми лучами восходящего солнца вода, отдавали разгоряченные лица дуновению утреннего ветерка, а потом шли дальше, за парк, в поля, уже скошенные, где стояли длинные копны сухого душистого сена. Там ложились они. В синем утреннем небе пели жаворонки, перепела перекликались, трещали кузнечики, а люди спали кругом и никого не было на белом свете, кроме них.

Там на мягкой постели из щекочущего сена она отдавалась ему освеженная утреннею росой с телом пахнущим сеном.

Потом спали на сене. Спали долго, пока солнце не поднималось над копною и не заглядывало в их счастливые лица. Тогда просыпались они и пугливо озирались. Не видел ли кто?

Китти причесывалась, одевала шляпку, а он должен был служить ей вместо зеркала. В губах у нее были шпильки и она сосредоточенно зашпиливала сзади густые волосы и потемневшие глаза ее были серьезны.

— Смотри, — гозорила она, не разжимая губ, — прямо я шляпку одела?

— Прямо, — говорил он.

— Ах, какой противный. Он и не смотрит.

И правда он не смотрел. Он любовался ее белыми полными руками, в которых при каждом движении пальцев играл под шелковой кожей мускул.

— Саша, так нельзя. Меня за чучело будут принимать. Ах, как есть хочется!

— И мне, моя мышка. Пойдем на ферму.

Они шли рука с рукою тихие, задумчивые, просные, как

дети. Все улыбалось им. С высоких елей смеялись им длинные малиновые шишки, парк манил своею прохладой.

— Тебе нельзя со мною войти на ферму. Видишь сколько там народа, говорила Китти. — Я войду одна, а ты придешь потом и, будто места нет, подсядешь ко мне. Как незнакомый. Мы и разговаривать не будем.

На ферме былолюдно. Сидели чопорные дамы. В беседке за занавесками сидела княгиня Репнина с детьми и англичанкой, на галлерее было много детей, студентов, барышень. Полногрудые девицы в белых передниках разносили молоко, кофе и чай с черным хлебом и поджаренными сухарями; пахло коровами, пронзительно кричал павлин.

Китти входила, стараясь иметь самый невинный и независимый вид. Лицо ее горело и следы еще неостывшей страсти были на нем. Светлые локоны небрежно развевались над ушами, платье было помято, на башмаках и шелковых чулках лежала пыль. На нее косились. Ее все знали — Катьку-философа.

Она садилась, стараясь не замечать недовольных взглядов, и заказывала кофе и стакан сливок.

Через минуту входил Саблин. Свободных столиков было не мало. Но он подходил к Китти, церемонно спрашивал разрешения сесть и садился. Они делали вид, что молчали. Но Китти не могла удержаться и одними губами говорила ему.

— Я тебя безумно люблю.

Он потуплял глаза, краснел и отвечал ей чуть слышно:

— Моя мышка!

И оба смеялись.

А потом, напившись кофе и сливок и каждый за себя заплативши, они выходили. Он раньше, она за ним. И все видели их комедию и осуждали их. Они одни ничего не замечали.

Под елкой с малиновыми шишками он ожидал ее. И они шли уже не стесняясь, под руку, в такт раскачивая бедрами и он прижимал ее локоть к себе.

Дома она оставляла его одного до завтрака. Потом был завтрак, обильный, с вином. Подавалось все то, что он любил. Она тонко выспрашивала его об этом. После завтрака

он полулежал на диване, а она пела. Она пела так, как пели в те времена все петербургские ббарышни. Ни хорошо, ни худо. Много музыкальности, чувства, плохо поставленный голос и недоконченные обрывки, говорящие о страсти, о любви, о неудовлетворенном чувстве. То по-французски, то по-русски, начнет и не кончит, оборвет, долго перебирает по клавишам, сыграет тихий певучий вальс и начнет что-нибудь снова.

Саблин дремал. Иногда откроет глаза и долго и счастливо смотрит на нее. Щеки ее горят румянцем, глаза кажутся большими от потемневших век. Он закроет глаза и тихо слушает в истоме.

Вот повторился мотив. Какою-то мукою звучит он. Саблин открыл глаза.

„Вновь хочу и любить! и страдать!”... Голос сорвался. Китти плачет, плачет. Она знает о чем плачет. Она знает, что любить ей придется так мало, а страдать?... Всю жизнь.

Саблин кинулся утешать ее, она билась в слезах у него на груди и долго он не мог ее успокоить.

— Не надо спрашивать. Я так, мой милый. Просто так! От счастья!

XVIII

Они взяли лошадей в манеже и поехали верхом в Гатчино. Было жарко. У Орловской рощи они остановили мороженщика с синей тележкой, слезли с лошадей, купили мороженое, сели на высоком откосе, поросшем земляникой и ели щепочками мороженое, положенное на листки картона. Лошади щипали траву и их головы почти касались красивого лица Китти. Темный лес шумел сзади и дубы таинственно шептались между собою. Было тихо и хорошо на сердце. Вернувшись, она лежала усталая на кушетке, а он сидел и читал газеты.

Каждый день нес новую радость. В субботу утром он съездил в полк, пробыл четыре часа на занятиях сторожевой службой, узнал, что в понедельник занятий не будет, а во вторник выступление на маневры и к обеду был у Китти,

соскучившийся по ней, освеженный соприкосновением с полком, жаждущий новых поцелуев.

Но страсть утомляла. В понедельник он простился уже без большого сожаления и на извозчике поехал в Красное, обещавши к обеду с тем же извозчиком вернуться.

Он приехал к себе около часа дня и узнал, что за ним три раза утром присылали от адъютанта, а теперь его ожидает записка из канцелярии. Недоброе предчувствие сжало его сердце.

Записка была официальная. „Немедленно по возвращении в лагерь вашему благородию надлежит явиться полковнику князю Репнину по делам службы. Форма одежды — китель, шапка”... Такой тон не предвещал ничего хорошего. Почистившись, Саблин отправился к Репнину. Репнин жил на собственной даче, на спуске с холма, недалеко от офицерского собрания. Дача была большая, выстроенная в русском вычурном стиле, бревенчатая, с башней, резными пелюхами над крыльцом и галереей. На звонок ему открыл денщик, одетый в синюю ливрейную куртку с большими плоскими пуговицами с княжеской короной.

Его сиятельство очень просят обождать, — сказал он. — Они фрыштыкают.

Это тоже было не к добру. Как мог любезный и гостеприимный Репнин завтракать и заставить дожидаться своего однополчанина, своего товарища!?

Если бы не было чего-нибудь особенного, и, конечно, неприятного, князь пригласил бы его к завтраку, угостил бы его кофе, сигарой?

Саблин задумался. Он догадывался в чем дело. Тут не обойдется без Китти и он хмурил брови.

Он прошел в приемную. Это была большая, светлая комната, вместо обоев, обшитая фанерами, со стенами, увешанными английскими литографиями, изображавшими знаменитых скакунов. Посередине стоял массивный, тяжелый дубовый стол и на нем лежали газеты и журналы.

Саблин ходил по комнате и разглядывал литографии лошадей.

Князь Репнин, флигель-адъютант и пожилой офицер, отец и дед которого служили в этом же полку, был пред-

седателем суда чести офицеров и хранителем полковых традиций и достоинства офицерского мундира. Никто лучше его не знал истории и обычаев полка. Сухой, всегда затянутый в свой отлично сшитый у лучшего портного виц-мундир, никогда и ни при каких обстоятельствах не напивавшийся, он уже одною своею холодною фигурою внушал страх молодым офицерам. Он все делал хорошо, и ничем не увлекался. Он хорошо ездил верхом и имел прекрасную лошадь, но не был спортсменом. Он отлично стрелял, считался членом аристократического охотничьего общества, бывал приглашаем на царские охоты, но не был охотником. Он холодно играл в модный безик и винт, но никогда не унижался до игры в „тетку” и никогда его не видали за игрою в азартные игры. Он был женат, имел двух дочерей, таких же сухих, как он сам, девочек подростков, говоривших по-английски лучше, нежели по-русски. Его жена, сидящая сухощавая дама фрейлина Двора была полным дополнением своему мужу. Памешанная на светских приличиях, визитах и тонных разговорах, она еще строже блюла все обычаи полка и неизменно следила за тем, чтобы офицеры в обществе вели себя прилично. Говорили, что несколько лет тому назад у нее был роман за границей с каким-то итальянским принцем, но этот роман прошел так скрыто, так чопорно прилично, что даже те, кто рассказывал про него сомневались сами, да было ли точно то, что они говорили. Она следила за поведением полковых дам, она безапелляционно судила какие связи приличны и какие марают имя мужа и порочат полк, она наблюдала за тем, чтобы офицеры не ходили под руку в общественных местах с артистками, как бы приличны и из какой бы прекрасной семьи они ни происходили. Офицеры втихомолку звали ее классной дамой, но боялись ее злого языка и властных привычек. Она каждому давала понять, что по прямой линии происходит от Рюрика и что ее предок, портрет которого сохранился, был постельничим царя Алексея Михайловича, и что у нее хранятся царские письма, адресованные ее пращурю.

У нее была одна слабость. Женить молодых офицеров, составлять и подыскивать им партии, которые во всех

отношениях были бы хороши для полка.

Все это вспоминал Саблин, ожидая приема. Прошло полчаса. Его не звали.

„Как может он там спокойно есть, разговаривать с женой и детьми, когда знает, что я, его товарищ, его ожидаю”, — думал Саблин. — „Как может он не пригласить меня, просто, по товарищески. Вот, кичится своими манерами, любезностью, гостеприимством, а просто — хам. Солдафон — думает, что он полковник, а я жорнет. Он гордый. Все офицеры давно на „ты” со всеми корнетами. И Степочка и Гриценко и даже адъютант, он один на „вы”, и не только с корнетами, он и с Мацневым на вы. Когда выпьет с кем либо на брудершафт, так точно монаршую милость окажет. Не люблю я его!”

Саблин все больше озлоблялся против Репнина, хмурил густые, тонкие брови и морщил прекрасный лоб.

„Ну, уже и наговорю я ему! Всё выскажу!” — решил он в ту минуту, как дверь отворилась и ливрейный денщик сказал:

— Пожалуйста, ваше благородие, его сиятельство вас просят.

Саблин и денщика ненавидел. Ему казалось, что ливрея уже сделала солдата наглым и что он презрительно смотрит на него — корнета! „Подожди, голубчик”, — думал он, проходя мимо денщика. „Я тебя подтяну когда-либо! Посмей мне только честь не отдать. Даром, что княжеский денщик”!

XIX

Князь Репнин стоял за своим письменным тяжелым столом. Он был в сюртуке, застегнутым на все пуговицы. Он не предложил Саблину сесть и не подал ему руки. Холодный стальной взгляд пронизал Саблина насквозь и приковал его к месту. Он невольно замер и стал смирно, руки по швам.

— Корнет Саблин, — официально, холодным тоном начал князь Репнин. — Я пригласил вас потому... Я знал и глубоко чтил и уважал вашего отца. Я верю... Хочу верить,

что для вас наш полк святыня. И потому я удивлен, как могли вы так легкомысленно позволить себе относиться к чести полкового мундира? Вы мараете мундир, корнет Саблин... Я не собираю суда общества офицеров, я не докладывал об этом командиру полка только потому, что убежден, что одного моего слова будет достаточно для вас и вы бросите вашу пагубную страсть.

— Князь, — начал Саблин, — ваше сиятельство.

Репнин холодным взглядом блестящих серых глаз заставил его замолчать.

— Я не кончил, корнет Саблин, — сказал он холодно. — Я звал вас не для того, чтобы выслушивать ваши объяснения, или оправдания. У вас нет оправданий. Только решительное обещание бросить пагубную страсть к уличной девке...

— Ваше сиятельство, — я не позволю, — начал Саблин, бледный и тяжело дышащий, но холодный пронизывающий взгляд Репнина снова заставил его замолчать.

— В ваши физиологические потребности, корнет Саблин, я не вмешиваюсь, но никто не отправляет их публично, как это позволили себе сделать вы! Как могли вы позволить себе гулять под руку в Павловске, на музыке, с уличной девкой?! Вы ездили с нею верхом, вы посещали такие места, как молочная ферма, где собираются наши семьи! Корнет Саблин — по настоящему — вы должны оставить наш полк, потому что вы не умеете с честью, достойно, носить его мундир. Да! оставить полк. Этим, корнет Саблин, не шутят! Но я вхожу в ваше положение. Я понимаю, что молодость имеет свои права. И я оставляю это так. Я переговорил с другими членами общества офицеров и мы решили закрыть на это глаза, но при одном условии, что вы сейчас же, сегодня же порвете и кончите вашу связь.

— Ваше сиятельство, — задыхаясь проговорил Саблин.

— Я...

— Корнет Саблин, я повторяю вам, я звал вас не для объяснений. Вы меня выслушали, я надеюсь, что поняли и усвоили. И... можете идти-с!

Раз-два, отчетливо щелкнувши шпорою, повернулся Саблин и, не чуя ног под собою, с глазами затуманенными

слезами негодованья вышел из кабинета князя Репнина.

Он не помнил, как дошел до своей избы.

Под ногами были скользкие доски тротуара, насланного по крутому спуску, из канавы торчали громадные лопухи, солнце светило уже по осеннему бледно, временами застилали его тучи — Саблин не замечал этого. Он весь дрожал внутреннею дрожью волнения и злобы.

Оскорбили его. Оскорбли ее. Ее, любимую первую любовь. Ее, отдавшуюся ему с такой нежностью и беззаветною страстью!

„Что делать? Отомстить! Вызвать на дуэль полковника Репнина! Дать понять, что женщина, которую он полюбил, не уличная девка и так говорить о его любви, как говорил он, нагло, и цинично, он, корнет Саблин, не позволит. Он женится на Китти! Вот и все. И пусть... И пусть тогда княгиня Репнина принимает ее и пожимает ей руку и целуется с нею. Да, он женится. А почему и нет? Что она не девушка. Но она чище многих. Она то будет верна ему. А вот все знают, что Маноцков ездит к мадам Мацневой, и, когда Мацнев в карауле, ночует у нее, все знают, что Петрищева живет с корнетом Сперанским... А ведь молчат... А что Китти... А вот возьму и женюсь! Им на зло!”

Представил себе Китти своею женою. Каждый день одно и то же, притворный разговор, запах духов гиацинта и пудры, полное тело и мучительные ласки.

Саблин тряхнул головою. Они надоели ему за пять дней и хотелось отдохнуть от них. А тут — каждый день. Каждый день мурлыканье за пианино и недопетые песни о любви и страсти.

Полковой праздник. Ложа в манеже, убранная цветами полка. Императрица, великие княгини и Китти со своею простою доброю улыбкой и полными белыми руками.

Саблин поник головою. Он понял, что это невозможно. Репнин прав. Она не полковая дама. Полк обязывает, полк требует иного отношения к женщине, иной женщины.

Удовлетворенная, пресыщенная страсть не просыпалась. Холодный рассудок вступал в свои права. Она, или полк.

Наш полк — такой прекрасный, могучий и великий. Наш полк, неразрывно связанный с Россией и Царем.

Саблин все больше понимал, что совсем иные отношения у него должны были бы быть к Китти и по иному он мог любить ее. Да и мог ли он ее любить?

В маленькой комнате сгущались сумерки. Окно пропускало мало света. Небо хмурилось и покрывалось тучами. Дождь надвигался. Саблин ходил взад и вперед и то гневно сжимал кулаки и краска заливала его лицо и он сыпал проклятиями, то шептал что то и что то придумывал.

Саблин вспомнил роскошные завтраки, обеды и ужины у Китти. Вино, коньяк, ликеры. Все покупалось ею, на ее счет. А на какие деньги? Откуда она брала деньги, чтобы кормить и баловать его?

Он остановился у окна, заложил руки в карманы. Даже посвистал.

„Корнет Саблин”, — сказал он сам себе, — „какой же вы дурак... и негодяй”.

Он позвал денщика, приказал сказать извозчику, чтобы он запрягал и собирался ехать обратно в Павловск с письмом на Фридеричинскую, а сам сел писать.

Не клеилось письмо.

— „Милая Китти”, — начал он. — „Обстоятельства так сложились, что я не могу приехать сегодня. Завтра маневры. Итак на две недели мы оторваны друг от друга. Прощай милая мышка, пожелай мне счастливого пути и не поминай меня лихом. Тысячу раз целую твои сахарные уста. Свидимся опять после маневров. Жди меня и не тоскуй, моя золотая. До свидания. Твой Саша”.

Саблин вложил в письмо пятьсот рублей, но когда запечатал то понял, что деньги оскорбят ее. Не так любила она его, не так ему отдавалась, чтобы нужно было за это платить.

Саблин распечатал письмо и вынул деньги. Задумался. Но как же, обеды, ужины, вино?... Приписал: „P. S. Мышка, я должен тебе за твое угощение, напиши сколько, рассчитаюсь. Я не хочу, чтобы ты еще и тратилась на меня. А. С.”.

Запечатал и послал.

XX.

Когда Китти получила это письмо, она залилась слезами. Она знала, что он ее бросит, но так скоро! Этого она не ожидала. В пять дней, в пять счастливых дней сгорела вся ее жизнь и ничего у нее не осталось. Даже фотографической карточки его у нее нет. Тогда попросить не догадалась, а теперь, поняла, что не даст. Эта маленькая приписка о деньгах, это „до свиданья”, говорившее „прощай”, этот холод делового письма, ей все сказали. Она поняла, что Саша и его Мышка умерли — их нет больше и остался корнет нашего полка Саблин и Катька-философ. Портрет Саши мог красоваться на столе у Мышки, но портрету корнета Саблина не место в спальне Катьки-философа.

Китти рыдала, валяясь на кровати и уткнувши лицо в подушку. Ревела и плакала, то тихо, заливаясь слезами, то вскрикивая и обводя безумными глазами свою спальню, полную жгучих воспоминаний о нем.

Если бы был под рукою яд — отравилась бы сейчас же. Но, когда подумала об этом, решила иначе. Она должна его повидать еще раз, она должна проститься, как следует — а там — „прощай моя телега все четыре колеса! Хоть в омут!... Все равно... Если буду жить — буду жить тем, что было. А ведь было же это все: — и прогулки по парку, и утренний кофе на ферме и поездки верхом в Орловскую рощу возле Гатчины. Было... И когда станет уже очень гадко, приеду и сяду за тот столик, на ту скамейку, где сидели вдвоем и буду вспоминать... А уже будет не в мою — там с его именем на устах и умру”.

„Э! все равно!” — крикнула она отчаянно. „Б... я несчастная! Так мне и надо!”

Китти вскочила, бросилась к зеркалу и стала отмывать и оттирать следы слез, причесывать и укладывать золотистые волосы в нарядную прическу, отыскивала шляпу по красивее, более идущую к лицу, не думая ни о дожде, который уже с полчаса, как пошел мелкий, упорный, зарядивший на целый день.

Она поехала в магазин покупать ему сласти и закуски, какие он любил на маневры. Не только она ничего от него не возьмет, о забалует и задарит его на прощанье. Это было ее гордостью и это утешало и тешило ее. В десятом часу вечера с лицом, покрытым дождевою пылью она подъехала к его домику в Красном и постучала у двери и думала об одном — только бы застать дома. Одного. Не было бы никого у него.

Саблин был дин. Он укладывал с денщиком чемодан на маневры. Вахмистр прислал сказать, что подвода с вещами господ офицеров пойдет в пять часов утра.

Когда она вошла, он удивился и обрадовался. Но и сильно смутился. Услал денщика ставить самовар. Топтался на месте, не знал, куда ее посадить.

— Китти, милая. Как же ты так? Вот хорошо то. Промокла моя ненаглядная. Ах, ты, мышка моя серенькая.

Он грел своими теплыми руками ее застывшие холодные руки. Она продрогла в ночной сырости и на ветру.

— Смотри простудишься! Ах, какая ты сумасшедшая скорее горячего чаю.

Она смотрела на него внимательно, долго, точно хотела впитать в себя его образ и унести с собою на веки. Губы ее дрожали, зубы стучали от холода, а более от внутренней лихорадочной дрожи волнения.

— Завтра на маневры, — сказала она, дрожа.

— Да. Недели на две. А там... К тебе. Если позволишь?

— Укладываешься, — сказала она и нагнулась, чтобы скрыть слезы, набежавшие на глаза и дрожание губ.

— Что же ты положил? Постой, разве у тебя две пары смазных сапог?

— Одна.

— И ты ее уложил. Сумасшедший, сумасшедший, а в чем же поедешь то?

— Я хотел в лакированных, — сказал Саблин.

— В такую то погоду! И их загубишь и сам простудишься... Нет, нет, никуда не годится. Для чего столько рубашек, и кладешь вместе с сапогами, ведь помнутся. Ну-с,

— милостивый государь, ивольте-ка скидывать с себя лакированные и обувать эти, я уложу все иначе.

Китти уже справилась с собою. Она хотела быть полезной ему и заменить ему мать. Ведь у него, бедного сиротки, и матери нет. Кто подумает о нем? Кто пожалеет его?

— Саша, вот смотри, тут внизу я положу тебе шерстяные чулки, ты должен обувать их, когда такая погода, как сейчас. Тут белье, тут сапоги, отдельно, переложенные бумагой, а здесь наверху я положила ночную рубашку свежую, твои книги, а с ними вместе я положу тебе мой маленький подарок: твою любимую клюквенную пастилу и полендвицу. Будет сыро, не захочется идти в собрание, будешь у себя в палатке пить чай и вспоминать меня.

В ее ловких руках чемодан преобразился. У Саблина с денщиком не хватало места, придумывали какие то корзинки, у Китти все уложилось, еще и место осталось. Денщик принес самовар и понес в эскадрон чемодан. Они остались, одни. За окном монотонно лил дождь и звенела вода в лужах, здесь ярко горела лампа, сильнее чувствовался запах духов. Они сидели и пили чай. Молчали. Говорить было не о чем. Все слова любви были им сказаны за эти пять дней безумной страсти, а новых не было. Душевная мука состарила ее лицо и оно не казалось более привлекательным. Каждую минуту мог вернуться Ротбек, войдти денщик. Надо было торопиться, прощаться и уезжать.

— Мой дорогой! Мой милый, будешь ты помнить меня, — сказала она.

— Китти, но мы не на веки прощаемся. Отчего ты такая?

Она заплакала.

Он стал ее утешать.

— Не надо... не надо, милый, — говорила она, чувствуя как поцелуи его становились горячими и страстными.

Но ему показалось, что она за тем и приехала, иначе прощание будет не настоящее и он овладел ею на своей узкой походной койке. Ни ему, ни ей было не до страсти

и эта вспышка еще более отшатнула его от нее. Он стал торопить ее. Он не думал, что глухая, непогодливая ночь стоит на дворе, что страшно ей одной ехать по пустынному шоссе. Когда потом он вспоминал эти минуты, он всегда мучительно краснел. Свою жену, сестру, мать, жену товарища он никогда бы не отправил так одну в ненастье. Она почувствовала, что она лишняя, стесняет его, стала торопиться. Она не оправляла растрепанных волос — оделась кое как — не все ли равно теперь! Ей было больно и стыдно. Она почувствовала, что вся красота их Павловского романа прошла. Она больше не верная, любящая подруга нежного Саши, а девка, приехавшая на визит к гвардейскому офицеру. Она страдала ужасно. Китти потом сама удивлялась, как тогда не застрелилась у него на его руках. Тогда не могла, слишком любила, не хотела тревожить его.

— Прощай, — сказала она.

Он стоял спиною к ней. Он опять достал свои пятьсот рублей и неловко сворачивал их, чтобы засунуть ей за корсаж. „Кажется так делается”, думал он в сильном смущении.

Она увидела деньги и догаладась.

— Саша! — воскликнула она, бледнея, — ты не сделаешь этого, не оскорбишь меня! Я тебя так любила!

Она упала на колени перед ним, обняла его ноги и целовала их.

— Прощай! — чуть слышно сказала она, встала и шатаясь вышла за двери. Он торопливо одел китель и побежал помочь ей сесть. Извозчик спал внутри коляски и долго не мог понять в чем дело. Она в легонькой шелковой мантилье без зонтика, дожидалась, пока Саша разбудит его и раскроют ворота двора. Одна рука ее была в ажурной перчатке, другая голая, забыла перчатку у Саши и не хотела вернуться. Примета плохая. Пусть останется у него на память. Оба думали — „скорее! скорее бы!” Обоим было неловко и тяжело. Наконец, она села и извозчик тронул

со двора. Она забилась в самый угол, плакала, рыдала и вся тряслась в судорожных спазмах.

Эк ее! — думал извозчик. — Видно много горя натерпела бедняжка.

Он был старый Красносельский извозчик. Всю жизнь он прожил при господах и знал что случилось. Много он видал на своем веку таких драм, женских слез и рыданий. И отравлялись потом, и стрелялись и топились.

„Впрочем большие топились”, — философски спокойно заключил он свои размышления.

— Да! Дела! Ну видно и эта тоже. Готова! Не выживет. Побаловалась, а теперь — куда! Ну — дорога известная!...

XXI.

Трубачи всем хором ездил по деревне и играли „генерал марш”, — указывая, что время седлать. Но заботливые вахмистры уже давно распорядились седловкой и теперь взводные по дворам осматривали людей, все ли в порядке.

Дождь зарядил на несколько дней. Мелкий, въедливый, холодный и методичный. Люди ежились в рубашках и в ожидании приказа выводить, сбивались кучами под сараями. Туман лохмотьями носился над землею и было грустно и уныло. Березы за одну ночь начали желтеть. Пахнуло осенью. Охрипшие трубы срывались с тона.

Всадники, други, в поход собирайтесь,
Ралостный звук вас ко славе зовет,
С бодрым духом храбро сражайтесь,
За Царя, Родину, сладко и смерть принять,

пели они хором. Но в сыром воздухе они звучали печально.

Саблин спал крепким сном и румяный Ротбек, только что приехавший из Павловска, совсем готовый, в амуниции, принимал самые энергичные меры, чтобы его разбудить.

— Да вставай, несчастный! Опять без чая поедешь. А все женщины, — говорил он, глядя на брошенную на столе перчатку и ощущая в избе сладкий запах духов.

— Эх Саша! Саша!

— Ну чего там? — ворчал Саблин.

— Проспишь маневры.

— Который час?

— Четверть восьмого, а в половина восьмого строить-ся.

— Успею, — и Саблин действительно успел и при помощи расторопного денщика не только оделся, но и чаю напился.

Эскадроны медленно тянулись шагом по шоссе. Офицеры группами ехали впереди. Все были без шинелей, кроме Мацнева, который закутался в непромокаемый плащ и неистово бранился за то, что командир полка потребовал для примера людям, чтобы офицеры были в кителях.

— У всякого барона своя фантазия, — ворчал он. — Он того не понимает, что солдата все одно не обманешь. У каждого офицера шведская куртка, или фуфайка поддета, а у солдата ничего. Так чего же и форсить. Он того не хочет понять, что солдату двадцать три года, а мне тридцать. У меня ревматизм и ежели я промокну, мне плохо будет. Вот Саше или Пику — им ничего. Им хорошо.

— Хорошо, — отвечал Саблин. — А почему, Павел Иванович, людям не разрешили одеть шинели?

— Эх! Молода — в Саксонии не была! — воскликнул Гриценко. — А ты подумай. В военном деле зря ничего не делается.

— Баронская фантазия, — проворчал Мацнев.

— Чудак, ваше благородие, — сказал Гриценко, блестя цыганскими глазами. — Солдат на ночлег придет, ему укрыться надо сухим. У него ведь шинель одна — она и одеяло и все. А ежели она промокнет насквозь, чем он укроется и согреется? Барон немец и солдат. Он это дело понимает точно. Я думаю, уже двадцатый год маневрирует под Красным Селом. Было когда изучить климат.

Полк входил в Гатчино. Вправо показалась высокая решетка дворцового парка. Плакучие ивы низко склонились над прозрачными прудами. Тучи клубились над густыми

купами парковых деревьев и печаль севера была разлита в туманном воздухе. Станный, причудливый ипохондрик Павел витал здесь своим духом и все полно было воспоминаниями о нем.

Трубачи заиграли полковой марш.

— Песенников не вызовешь? — сказал поручик Фетисов. — Может быть вдовствующая императрица подойдет к окну.

— И то, сказал Гриценко и звонко закричал: — Песенники вперед!

— Какая императрица! — ворчал Мацнев. — Добрый хозяин в такую погоду собаку не выгонит, а он: императрица подойдет! На него любоваться будет.

— Слышишь, трубачи играют, — сказал Фетисов.

— Ну и пусть себе играют, — сказал Мацнев. — Эх людей не пожалеют! А что, Павел Иванович, как думаешь, Сакс догадается собрание в школе поставить, а? Неужели в палатке? Там школа хорошая. И учительница невредная. Совсем и на учительницу не похожа. Не нигилистка и ручки такие — прелесть! Мы позапрошлым годом чай у нее на маневрах пили. Задорная такая. А я водчонки бы теперь хватил, с паюсной икоркой. Ты не знаешь, Дудак поехал за полком? Пока там собрание и прочее я бы того, по единой прошелся!

Песенники, согрешившие в рядах, нахохлившиеся, сосредоточенные выезжали неохотно. Любовин и вовсе не выехал. Вахмистр сзади эскадрона увидел, что песенников мало, выскочил с палкой в руке и поехал выгонять людей вперед.

— Ты, Любовин, чаво аристократа ломаешь? Слышал, что песенников шумят, — грозно крикнул он.

— Я не в голосе, Иван Карпович, — хрипло ответил Любовин.

— Я тебе дам, не в голосе! Пошел, сволочь, вперед! — и вахмистр палкой огрел по мокрому крупу лошадь Любовина. Та поддала задом и Любовин поскакал вперед эскадрона.

Эскадрон подходил к дворцу.

Раздайтесь напевы победы,
Пусть Русское сердце вздрогнет!
Припомним, как билися деды,
В великий двенадцатый год!

хриплыми голосами пели песенники второго эскадрона. Впереди трубачи играли „Гитану” вальс, а сзади из третьего эскадрона гремел бубен, звенел треугольник, кто то заложивши пальцы в рот пронзительно свистал и из-за этого гама вылетали отрывистые слова:

Носи Дуня не марай, не марай,

По праздни — по праздничкам надевай, надевай!

Эскадроны выходили по подъему на круглую площадь с высоким серым обелиском и огибая его подходили к Гатчинским воротам. Впереди были серые чахлые поля, вдали темнел лес и туман клубился над ним. Холодный дождь все так же сеял непрерывными струями. Над полком от лошадей подымался белый пар...

Песенники умолкали.

XXII.

Два дня похода и два дня лил дождь. Лицо вахмистра становилось озабоченным. Лошади худели. Они плохо выедали овес, не ложились на биваках на мокрую землю. Винтовки надо было почистить, потники просушить. Две лошади уже были подпарены на первом переходе и виновные в недосмотре шли пешком за эскадроном. На третий день назначена была дневка на мызе барона Вольфа — „Белый дом”. Офицеры строили широкие планы на эту дневку. Предполагался обед у барона Вольф, фейерверк, музыка, танцы, песенники. Вся дивизия соединялась к этому времени и должна была стать громадным биваком на обширных сжатых полях, покрытых скирдами ржи баронского имения Вольф.

Накануне дневки, часов около трех полк пришел на бивак. Высланные вперед, в распоряжение штаба дивизии, линейные уже провесили углы биваков и эскадроны при-

нялись за разбивку коновязей. Отовсюду слышался гомон людей, ржание коней, стучали колотушки, забивавшие коновязные колья. Дождь перестал. Густой туман спускался книзу и знатоки метеорологии говорили одни, что это к солнцу и жаре, другие, пессимисты, уже не верили в то, что будет солнце и говорили, что, напротив, это предвещает новые дожди.

Солдатские биваки вытянулись в точной правильности по шнуру. Все было размерено аршином, седла выравнены вдоль коновязей, интервалы проверены. Сзади каждого эскадрона была поставлена большая „интендантская” четырехугольная палатка — эскадронная канцелярия, в ней на кипах сена устраивалась эскадронная аристократия — вахмистр, каптенармус, писарь, артельщик и фуражир. Подле складывали фураж, и на треугольнике из жердей привесили тяжелые весы-безмен. Еще дальше дымили походные кухни. Они были выравнены дежурным офицером и проवेशены труба в трубу. Линейную красоту бивака нарушали офицерские палатки. Они были разной величины и фасона. У Гриценки с Фетисовым была круглая турецкая палатка, у Мацнеца — индийская зеленого цвета с белой покрывкой, у Саблина с Ротбеком датская домиком. Над каждой палаткой развевался свой цветной флажок. Флажки были разной величины, формы и цвета. Каждый ставил свою палатку там, где он хотел. Любители красоты, поставили свое жилище у ручья в кустах, неженки, боясь сырости удалились на вершину холма, другие, ища тишины, ушли от бивака на полверсты. Все поле кругом биваков пестрело этими палатками, придававшими лагерю вид цыганского табора.

Утро дневки было прекрасное. Солнце, невиданное три дня, выплыло на безоблачное небо яркое, радостное, жаркое. Тучи исчезли и на горизонте застыло громадное кучевое облако, залитое розовым. Вахмистры подняли людей с пяти часов утра. Работы было так много, что боялись, что не управятся за день. Кроме обычных, но усиленных чисток и уборок лошадей надо было постирать и успеть высушить рубахи, рейтузы и белье, вымыть и высушить потниковые

стельки, разобрать, очистить и смазать ружья, побелить ремни амуниции, начистить стремяна и мундштуки, протереть оголовья. С утра, в ожидании чая, биваки кипели, как муравейники. Над разложенными по стерне попонами сидели полуобнаженные люди и пока сохло их выстиранное в речке белье и рубахи, они яростно отчищали части разобранных ружей. Взводные, заложивши руки в карманы рейтуз, в одних нижних цветных рубахах, ходили вдоль взводов и зорко смотрели, чтобы никто не ленился и не тратил времени даром.

Трубачи протирали и начищали позеленевшие от сырости трубы, доставали ноты и проигрывали упражнения.

Рядом, в речке казаки купали лошадей и голые разъезжали по берегу. Их рубахи, тоже постиранные, были развешены на кустах. С реки неслись крики, уханье, визг.

Этот гомон, завыванье труб нисколько не мешали офицерам спать. Было одиннадцать часов утра, а большинство палаток было наглухо задернуто. Спали от нечего делать.

Гриценко, не одеваясь сидел на койке и тренькал меланхолично на гитаре, Фетисов лежал, укутавшись с головою в одеяло. Мацнев у себя в палатке, тоже не одеваясь, читал французский роман — “Mademoiselle Girot ma femme”^{*} Саблин и Ротбек спали так крепко, как только и можно спать в очаровательный летний день в палатке, в двадцать лет.

Денщики караулили своих господ подле палаток, с кувшинами с водой, мылом и полотенцами, с подготовленными кофейниками и чайниками.

У палаток офицерских собраний суетились повара в белых фартуках и колпаках. Там кое-кто из офицеров постарше, пил кофе или чай и просматривал принесенные газетчиками свежие газеты.

Маневры для офицеров были праздником, веселым шумным пикником. Ни забот, ни трудов они не несли. Солдаты жили сами по себе, офицеры сами по себе. Вся тягота маневров ложилась на солдата. Солдату подле длительного

^{*} „Барышня Жиро — моя жена”.

перехода приходилось зачищать и убирать лошадь, ходить за фуражем, нести его на себе, прочищать винтовку, седло, чистить сапоги. У офицера для этого были вестовой и денщик. Солдаты в кавалерии, если не становились по деревням, спали на голой земле, накрывшись шинелями, так как кавалерия не имела палаток. Многие простуживались и заболели. Редкие большие маневры проходили без того, чтобы в каком либо полку не было дизентерии, или тифа. Офицеры имели собственные палатки, а в ненастье становились по избам, у знакомых помещиков или дачников. Несмотря на это большинство офицеров не любило маневров, тяготилось ими. Кто постарше старались „отдуться” от маневров и уехать в отпуск. Солдаты напротив, несмотря на все тяготы и невзгоды, любили маневры. Жизнь на маневрах напоминала им деревню, они соприкасались с крестьянами, видели поля и леса, часто пили молоко, ели не только казенный, но и крестьянский хлеб. Маневры походили на войну, служба становилась осмысленной, понятной, гонялись за разездами, брали в плен, на больших биваках встречались с другими полками, отыскивали земляков, которых давно не видали, разговаривали с ними, узнавали новости. Тяжесть работы, усталость, забывались и солдат чувствовал себя свободнее.

На биваке, пригретом солнцем, то тут, то там вспыхивала песня, слышались шутки и смех. Солдаты не обращали внимания на то, что господа спят. Да и что бы они делали? Только мешали бы. Для них на дневке не было работы. Надзирателей и без них довольно. Вахмистр и взводные не дремали. Солдаты не осуждали, но считали естественным, что Фетисов с ружьем и собакой, в сопровождении сына управляющего пошел на охоту, Мацнев, Ротбек и Сперанский отправились играть в теннис, а остальные разбрелись, кто пошел за грибами, кто лежал в палатке, или, сидя на стуле подле, озабоченно чистил ногти.

На то господа. Это было два мира. Офицеры и солдаты. Два мира, живущих вместе, но недоступных один другому.

Саблин, наблюдая из своей палатки за биваком чувствовал это. Он сознавал ненормальность этого, ему казалось, что и ему надо пойти к солдатам что то делать, о чем то говорить с ними. Рядом в палатке брэнчал на гитаре Гриценко. Саблин подошел к нему.

— Павел Иванович. Не надо ли мне пойти в эскадрон? Может быть надо что-либо сделать, — спросил он.

Гриценко перестал играть, поднял на Саблина свои большие черные глаза, посмотрел на него с недоумением и сказал: — зачем? Только мешать будешь. Там вахмистр и взводные без тебя лучше управятся.

XXIII.

В пять часов пошли к помещику обедать. Когда входили, в ворота парка въезжали верхом офицеры казачьего полка во главе с командиром, тоже приглашенные к обеду. Саблин посторонился, чтобы дать дорогу. Впереди на соловом жеребце ехал полный генерал с большими седыми усами с под-усками — ни дать, ни взять Тарас Бульба. Серебряная нагайка висела у него через плечо, широкие шаровары и мягкие сапоги, длинный чекмень и фуражка на затылке придавали ему лихой, азиатский вид. У казаков лошади были легче и наряднее, нежели в полку Саблина. Свободно, не связанные мундштуками, поднявши точеные головы с большими ясными глазами, раздувая тонкие ноздри они проходили просторною ходюю в ворота. Было что то легкое в их движении. Саблин невольно подумал про них: — „вот настоящая кавалерия”.

Хозяин дома, барон Константин фон Вольф, стоял на верху открытой каменной веранды, усаженной цветами и встречал гостей. На нем был черный смокинг поверх белого пикейного жилета и по летнему, по домашнему, серые клетчатые брюки. В петлице смокинга была ленточка прусского железного креста, полученного им в последнюю войну с французами. Рядом с ним в нарядном светлолиловом с белыми кружевами платье стояла его жена, красивая,

светлокудрая женщина лет сорока. Она была фрейлиной Императриц.

Столы для обеда были накрыты на лужайке под вековыми липами, посаженными по преданию Петром Великим, при завоевании им Ингерманландии. Под липами устанавливалось два хора трубачей и две группы песенников, полка, где служил Саблин и казачьего. Немного поодаль на специальном теннис-гроунде Ротбек, Сперанский и с ними две дочери барона двадцатилетняя София и семнадцатилетняя Вера, играли в теннис. Юноша камер паж, племянник барона, молодой барон Корф, выходящий в этом году в полк Саблина, подавал им мячи. Обе барышни были красавицы. Ловкая, гибкая, отлично развитая гимнастикой и верховой ездой Вера каждый мяч подавала классическим жестом. Ее звонкий, чистый голос раздавался между кустов оживленный и счастливый. Офицеры группами стояли около играющих и любовались ими.

Казачьи офицеры слезли с лошадей, подхваченных лихими расторопными вестовыми и толпою пошли за своим командиром представляться хозяевам.

Кроме офицеров на обед приехали — жена полковника Репнина с двумя дочерьми, два барона Вольф с женами — один Вольф Куртенгофский, у которого в гербе был черный волк на золотом поле и другой Вольф Дростенский, у которого был золотой волк на черном поле, сосед помещик Мюллер с тремя розовыми барышнями блондинками Эльзой, Идой и Кларой, смущавшимися перед офицерами, неловкими деревенскими дичками, от которых, по уверению Мацнева, молоком пахло. Платья у них были домашние с черными бархатными зашнурованными лентами корсажами и они напоминали офицерам певиц тиролек, поющих на открытой сцене. До самых танцев никто не мог открыть говорят они по-русски или нет, а веселый шутник Фетисов сомневался даже говорят ли они вообще. Они на все вопросы отвечали только — “Ach ja... Ach so!...” * или просто

* „Ах да!... Ах так!...”

скромным: „Ах”, потупляли глаза и потели так, что пот крупными каплями выступал на лбу и на груди. И только за танцами оказалось, что они окончили Гатчинскую гимназию и отлично говорили по-русски и, значит, поняли все те пошлости, которые, не стесняясь отпуская на их счет офицеры. Это впрочем не помешало им быть очень благо-склонными к своим кавалерам. Было и еще несколько помещиков немцев, названных бароном общим именем — „мой дружья!”

Сам барон приветствовал каждого гостя долгим пожатием руки, причем ласково заглядывал в глаза и говорил: — „прошу пожалуйста!”

Несмотря на то, что барон родился в России и всю жизнь прожил в России, он по-русски почти не говорил. Компанию ему сейчас же составил барон Древениц и они заговорили по-немецки.

Трубачи заиграли марш и кавалеры, у кого нашлась дама, пошли под руку к столам. Случайно так вышло, или это нарочно подстроила княгиня Репнина, знакомившая в эту минуту Саблина с баронессой Верой, но ему пришлось идти к столу с ней. Его сердце дрогнуло, когда он почувствовал худенькую детскую руку, доверчиво опершуюся на его локоть. Он посмотрел в ясное лицо девушки. Невинные чистые глаза устремились на него с искренним восхищением и Саблин смутился. Ему стало стыдно под этим чистым взором.

Казачий генерал был кавалером хозяйки дома. Он был старшим гостем, давно знал баронессу и ухаживал за нею, рассыпаясь комплиментами.

— Как хорошеет Вера, — сказал он. — И какая дивная пара она с этим молодцом корнетом. Кто это такой?

— Не знаю, — сказала баронесса, щуря свои прекрасные близорукие глаза и грациозным жестом прикладывая к ним лорнет. — Его представила княгиня Репнина. Это достаточная рекомендация.

— Вера кончила уже институт? — спросил казачий генерал.

— Да, в этом году. С шифром, — отвечала баронесса.

— Будет жить в деревне? Ведь она такая любительница природы. Она у вас и с ружьем охотится?

— Они обе у меня сумасшедшие. Скачут по лесам, совсем как мальчишки. Но только теперь она останется в Петербурге, я хотела бы, чтобы она была ко двору представлена и попала со мною на коронацию.

— Иван Кузьмич, — обратился к казачьему генералу через стол своим хрипловатым голосом Степочка Воробьев. — У нас тут спор с вашим полковником о джигитовке. Скажите: имеет джигитовка какое нибудь боевое значение?

— Безсмысленны кувырканий на лошадь, — сказал барон Древениц. — Казацки глупость. Нога, рука ломать, лошадей портить.

Казачий командир сверкнул сердито глазами и громко отвечал Степочке.

— А как же! — громадное воспитательное значение. Она приучает казака презирать опасность, делает его смелым и развязным на коне.

— Да, да, все это так, — сказал Степочка, — нет, а на войне вам приходилось подметить, что джигитовка нужна?

— Ну как же — отвечал казачий генерал, — Я помню два случая.. А их, я уверен были тысячи. Как сейчас помню, под Карагасан-киоем казака Пимкина. Рассыпались мы стрелковою цепью против башибузуков. Коноводы в балочке сзади. Башибузуки наседают. Надо уже уходить. А Пимкин замешкался. Все посели на коней, он один остался. Наконец уже под самыми башибузуками бежит к коню. Коновод бросил ему лошадь, а сам уходит. Лошадь поскакала за другими, Пимкин только ухватиться успел за луку. Ну, только джигит он был хороший. Повис, поджал ноги, висит на луке, скачет добрый конь. Выждал Пимкин, дал толчка ногами о землю и очутился в седле. Оборвись он, не сумей вскочить — разорвали бы его башибузуки!

— Ну, а другой случай? — спросил князь Репнин.

— Про другой мне рассказывал сам участник, урядник Быкадоров. Настиг его башибузуки. Скачут рядом. Быкадо-

ров хотел ударить шашкой башибузука, но тот ловко подставил клинок своей сабли. Закалка ли Златоустовского клинка была плохая, или что, но клинок у Быкадорова разлетелся от могучего удара, как стеклянный. Ну — смерть неминуемая. Тогда Быкадоров быстро снизился за лошадь, как на джигитовке, когда землю достают. Башибузук ударил и удар пришелся по воздуху. А Быкадоров, вися вниз головою, вытянул берданку из чехла — тогда, помните, в кожаных чехлах их возили, приподнялся и пулей в живот уложил башибузука.

— Ловко, — сказал Степочка.

— Что такое джигитовка? — спросил барон Вольф.

— А вы никогда не видали джигитовки? — сказал казачий генерал.

— Нет. Не видал.

— И вы, баронесса, не видали?

— Нет.

— И ваши милые дочки?

— Где же им видеть.

— Ну так я угощу вас своими молодцами. Да и сам тряхну стариной, проджигитую перед прелестной хозяйкой — и казачий генерал галантно поцеловал руку баронессы.

— Платоныч! — кликнул он на другой конец стола своему адъютанту.

Адъютант, толстый мужчина, в пенсне и в рыжеватых усах с подусками, начинавший лысеть подошел к генералу.

— Пошлите-ка кого из трубачей на бивак, пусть джигиты прискачут сюда, полковые, человек двадцать. Да моего „Взрыва“ пусть вестовой подаст.

— Слушаю, — отвечал адъютант.

— Боже мой, — сказала баронесса, — неужели и вы, генерал, будете джигитовать.

— А отчего нет, милая барыня, — сказал генерал. — Вы пожалуйста мне ваш платочек я его положу на травку и подниму его себе на память о прекрасной даме.

И разошедшийся генерал пошел отбирать платки от дам и барышень.

XXIV.

Двадцать казаков джигитов приехали и слезли на окраине лужайки. Лихой рыжебородый вахмистр, силач и великан, полным карьером подлетел к генералу и осадил коня так, что он присел на зад и вытянул вперед передние напряженные ноги.

— Честь имею явиться, ваше превосходительство, — доложил вахмистр, прикладывая руку к фуражке. — Привел джигитов.

От могучей раскормленной фигуры вахмистра с громадной рыжей бородой, насупленными бровями, широкоплечей, грудастой, с громадными руками, веяло первобытными временами. И он, и вороной его, разъевшийся конь, просились в бронзу, на статую.

— Господа офицеры! — крикнул генерал, — по коням, джигитовать! Хорунжий Коньков распорядитесь джигитами.

Высокий, худой офицер с густыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки, подбежал к генералу.

— Разложите платки, Коньков, — ласково сказал генерал, — а этот я сам положу — особо. Вера Константиновна, ваш платочек?

— Я дала, — смущенно сказала девушка.

— Где же?

Девушка подошла и показала маленький ажурный платочек.

— Нелегко поднять такую крошку, — сказал генерал. Ну, Коньков — это ваш, смотрите, не осрамитесь.

— Постараюсь, ваше превосходительство, — сказал молодой офицер.

Отодвинули столы, за которыми пили кофе и ликеры; трубачи и песенники стали стеной по другую сторону. Дамы и гости вышли из-за столов, чтобы смотреть джигитовку. Вестовой казак бегом подвел генералу его солового коня. Генерал проверил подпруги, скашовку, *) и легко, берясь

*) Скашовкою называется ремень, соединяющий у казачьего седла путлища обоих стремян под животом лошади и позволяющий казаку нагибаться и доставать руками земли на скаку лошади.

по-калмыцки правой рукой за переднюю луку, сел на коня.

Сначала джигитовали офицеры. Первым проскакал генерал и, несмотря на свои седины и значительную полноту стана, легко согнулся и концами пальцев достал платок хозяйки дома и на скаку поцеловал его. Смуглый офицер вскакивал и соскакивал на полном карьере, Коньков на золотистом, сверкающем на заходящем солнце червонцами жеребце, легко согнулся тонким станом и из десятка платков, раскиданных по траве, без ошибки выхватил платок Веры Константиновны и потряс им над головой.

Целой ватагой, группой, стоя на седлах с винтовками в руках, проскакали казаки и выстрелили вверх. Потом началась одиночная джигитовка.

На ловком гнедом коне скакал молодой черноусый казак. Едва поравнялся он со зрителями, быстро перекинул правую ногу через переднюю луку, соскочил на землю, коснулся ногами земли и очутился сидящим задом наперед на шее лошади. Он сейчас же соскочил снова на правую сторону лошади и вскочил прямо в седло и так проделал несколько раз.

Другой скакал вниз головой, упершись плечами в подушку седла и вытянувши чуть согнутые в коленях ноги. Третий соскакивал с лошади, давал сильный толчек о землю и перелетал через седло и снова давал толчек и снова летел через седло. Он точно порхал над лошадью, не касаясь седла.

Этот привел в восхищение не только дам, но и офицеров, и солдат трубачей и песенников.

— Такими надо родиться! — сказал князь Репнин.

— Степь родная воспитывает такими. Ведь это лучшая забава наша по станицам и хуторам, — сказал казачий генерал. — Уничтожьте джигитовку и вы уничтожите казака!

Один казак хотел что-то сделать, но верно ему не удалось, он упал с лошади — перевернулся и остался лежать на траве.

Дамы заахали. Офицеры хотели броситься помочь ему, но генерал остановил их.

— Оставьте, — сказал он, — это нарочно. Игра такая. Сейчас подскочит другой, положит свою лошадь и увезет мнимо-раненого.

Но он ошибся. Из толпы казачьих песенников выбежало несколько человек и унесли казака. Он расшибся.

— Платоныч, — сказал генерал, — узнайте в чем дело.

Адъютант побежал к песенникам и сейчас же вернулся.

— Ничего серьезного, — громко сказал он, — уже садится на лошадь. Сейчас скачет.

А потом, отведя генерала в сторону, тихо сказал: — сложный перелом голени.

Джигитовка продолжалась. Скакали группами. Два казака скакали на одной лошади лицом друг к другу, один сидел на шее, другой на крупе, позади седла и оба делали вид, что играют в карты. Двое скакали рядом, а у них на плечах стоял хорунжий Коньков. Каждая группа была рискованно разбиться насмерть в случае, если лошадь спотыкнется, каждая требовала силы рук и ног и уверенности в мускулах, каждая была своеобразно красива, но смотрели их уже не столько с восхищением, сколько с сердечным волнением. Гости поняли, что это риск.

Когда последняя группа проскакала, казачий генерал поблагодарил джигитов и отпустил их на бивак.

— Ви позволяйт, — сказал барон Вольф, — я им угощение дам. Пива, водки, колбасы, ситного хлеба.

— Пожалуйста, — сказал генерал. Очень вам благодарен. Только водки много не давайте. Им в два часа ночи выступать на маневр.

— О, по единой шкалик, — щеголяя русским выражением, сказал барон Вольф.

Гости сели за прерванные ликеры. Песенники казачьего полка подошли к столам. Любовин, бывший со своими песенниками, подошел поближе. Ему хотелось наблюдать и слушать казаков. Хотелось понять их. Казаки сильно отличались от солдат. Длинные, в скобку остриженные волосы, красивыми кудрями, выбивавшимися из-под фуражек, придавали им свободный, не солдатский вид. Много было бородатых, с широкими волнистыми бородами. Казаки были ши-

ре в плечах, могуче, развязнее, нежели солдаты, не так тянулись перед офицерами. Лица не были тупые, смотрели весело и пронизательно. Красавец урядник, высокий, стройный, с черными маленькими усиками и черными кудрями, молодец и лихач вышел перед хор, обвел его черными глазами и страстно, скороговоркой сказал:

— Нам сказали про Польшу, что...

— он остановился и бросил отчетливо:

— богатая.

И более протяжно выговорил, как бы с разочарованием:

— А мы разузнали: — голь проклятая.

И сейчас же хор вступил плавными аккордами, все время прерываемыми звонким тенором подголоска с бесконечными переливами нот:

А в этой во Польше — корчемка стоит,

Корчма польская, королевская.

А в этой корчемке — три молодца пьют,

Прусак, да поляк, да млад донской казак.

— Записать эту песню, — думал Любовин, — невозможно. Да и запомнить мотив трудно. Азиатчина какая-то! Дикая песня. Но мелодия есть. Какая-то тоже дикая.

Любовин присматривался к лицам казаков. Чисто русские были это лица, как на картинах Московского периода. «Ни дать ни взять — Московские бояре, рынды, стрельцы — не современные лица, и песни не современные», — думал Любовин. „Такой музыки теперь нет. Ей аккомпанировать на скрипке, или фортепьяно нельзя, разве пастушья свирель уследит за этими переливами голоса, что делает подголосок, высоким покрывающим хор тенором”.

— Прусак водку пьет — монеты кладет

Поляк водку пьет — червонцы кладет,

Казак водку пьет — да ничто не кладет.

— Хорош! — подумал Любовин, — корнет Саблин говорит нам всегда, что песня должна воспитывать солдата. Вот эта песня точно что воспитает солдата. Недаром про казаков и слава идет: — вору казаки.

— Он по корчме ходит, шпорами гремит,

Шпорами гремит, шинкарку манит,

Шинкарочка душечка, поедем со мной,
Поедем со мной, да к нам на тихий Дон.
У нас на Дону, да не по вашему,
Не сеют, не жнут, да не ткут, не прядут,
Не ткут, не прядут, а хорошо ходют!

— Но почему же это так? Как разрешили эти люди социальный вопрос и устроили райское житье у себя, на Дону, — подумал Любовин. И сейчас получил ответ —
Соглашалась шинкарка, —

пели казаки, —

Да на его слова,
Садилась шинкарка, да на доброго коня,
Поехал казак, да во темный лес,
Повесил шинкарочку, да на сосенку!..

Заканчивалась песня трагедией женской доверчивости, но ни напев, ни лица казаков не выражали печали, скорби, или возмущения таким преступлением. Все было так же просто, как проста была и песня.

— Хороша мораль! — подумал Любовин. Посмотрел на офицеров, на дам. Они смотрели на казаков с восхищением. Любовин смутно догадался, что и теперь разбойник всегда найдет уголок в женском сердце.

К нему подошел Саблин.

— Любовин, — сказал он ему, — собирай наших. Споем после казаков.

— Невозможно, ваше благородие, — с горечью сказал Любовин. — Разве наша песня пойдет после ихней? Пресна покажется. Тут свист и шум только и нужен. Увольте ваше благородие.

И Любовин повернулся и пошел от Саблина. Саблин не рассердился. Он понял его. „Самолюбие артиста”, — подумал он.

Казаки пропели еще одну песню, а потом решили танцевать. Уже давно около площади толпились мызные работницы эстонки в своих праздничных платьях, смотрели на солдат и казаков, и казаки и солдаты смотрели на них.

Трубачи заиграли вальс. Офицеры пошли приглашать дам. Но барышни Вольф отказались, они боялись испачкать о сыреющую в вечерней прохладе траву свои белые баш-

маки и чулки, стали танцевать только три розовые Мюллер, но увидали, что они одни, смутились и бросили. Лужайка опустела. Работницы не решались, танцы не клеились.

— Нельзя ли польку, — сказал барон, — наши больше польку танцуют.

Оркестр заиграл польку. Старый барон выбрал самую хорошенькую эстонку в синем платье с зелеными и желтыми лентами и пошел с нею к общей потехе. Его примеру последовали работники, стали выходить, смущаясь солдаты, подталкиваемые офицерами, за ними казаки и вскоре вся лужайка и песчаная площадка наполнились танцующими. Гремел и гремел неутомимо то тот, то другой оркестр польку и сотни башмачков отбивали такт: — раз, два, три; раз, два, три!

На потемневшем небе играли далекие зарницы; у самой чащи парка оружейный мастер с обозными солдатами заканчивали сооружение фейерверка. Вспыхнула и, шипя, полетела к небу ракета и лопнула яркою звездочкой, за ней полетели цветные римские свечи, огненный фонтан запылал и вспыхнул изображенный бенгальскими огнями вензель шефа полка.

Танцы на минуту затихли, но сейчас же снова возобновились. Выпившие пива и водки казаки и солдаты стали развязнее, весело смеялись эстонки. Офицеры, кто пил чай за столом, кто пошел бродить по парку, барышни Мюллер ушли с Коньковым, казачьим адъютантом и Фетисовым и визжали на весь парк, когда лягушка выскакивала у них из-под ног.

Смоляные бочки пылали по краям лужайки, там кружились пары, гремела музыка и маленькие башмачки и сапоги со шпорами отбивали веселый такт: — раз, два, три, раз, два, три!...

XXV.

Любовин пошел в темную аллею. Ему хотелось быть одному. Все, что он видел казалось ему сплошною мерзостью, издевательством над личностью человека. Особенно

его возмутили казаки. — Хороши вольные люди, — думал он, — кувыркаются на потеху господам, ломают ноги для толстого немецкого помещика, за бутылку скверного пива и стакан вонючей водки!

Кто то нагонял его. Он остановился и столкнулся с Коржиковым. На Коржикове был помятый пиджак поверх красной кумачевой рубахи и большая кожаная сумка с газетами.

— Здравствуйте, товарищ, — сказал Коржиков.

— Какими судьбами? — спросил, с удивлением оглядывая Коржикова, Любовин.

— Как видите, — газетчиком. За ваше дело, Виктор Михайлович, взялся. Решил вам помочь. Изучить вопрос на месте.

— Смотрите, голубым архангелам не попадитесь. Да и кроме них много здесь всякой пакости бродит. Вот хотя бы взять этих самых казаков. Видали?

— Видал. Я ведь, Виктор Михайлович, осторожен. *Langsam — ruhig!* * Общайте меня и кроме „Русского Инвалида“, „Нового Времени“, „Петербургской газеты“ и „Листка“ ничем не торгую. Даже „Биржевых“ не имею. Наиблагонамереннейший газетчик, Виктор Михайлович! Вчера весь день в армейской пехоте под Ямбургом торговал. Ну и нравы, знаете! Офицеры перепились и при помощи солдат ночью штурмом дачу брали, хотели вытащить барышень... Да... Я сбегал за подмогой. Спасибо гусары выручили. Прогнали пехоту. Чуть дело дракой не окончилось.

— Ну, а документ, где получили? Ведь вы, поди-ка, в охранной записаны.

— Всенепременно. Кличку даже имею: „Рыжий жук“... Партия мне изготовила. Комар носа не подточит. Гороховые пальто смотрели — ничего не учуяли. Если когда какой документ понадобится — милости просим. Такая тонкость работы! Каменского подпись — *chef d'oeuvre*. *

*) медленно, — спокойно.

**) образец.

— Завидую я вам, Федор Федорович. Какой характер у вас. Вы, поди, и в русскую революцию продолжаете верить.

— Верую-с! И утверждаю-с, что такого прыжка к осуществлению социальных проблем никакая революция не давала, какой даст наша.

— После дождичка в четверг, — сказал Любовин.

— Ну, может быть, и раньше. Это там видно будет. Армию, Виктор Михайлович, колебать пора. Понимаете.

Любовин остановился и со злобою сказал Коржикову:

— Видали джигитовку?

— Наблюдал-с, — спокойно сказал Коржиков.

— Чего вы хотите, если человек за пятиалтынный ногу ломает, калекой, может быть, на всю жизнь, становится. Я видал и его и его товарищей. Вы думаете: — злоба, отчаяние, — ничего подобного. Товарищи смеются. — Ты, — говорят, — Зеленков сам виноват, зачем боком повис, вот она тебя и ударила. Это лошадь-то. А он говорит: — Уже и не знаю, как у меня рука осклизнулась. Бог попутал. Пока у них Бог, да чорт за все отвечать будут, их не свернешь. И после этого восхищались своим генералом. Наш-то, наш-то, платок достал. Тьфу! А морду вахмистра видали? Емелька Пугачев. Наш Иван Карпович — херувим по сравнению с ним.

— Наблюдения хорошо сделали, Виктор Михайлович, а выводов сделать не сумели.

— Какие выводы! Люди разбой и виселицу открыто воспевают и рядом на потеху господам ноги ломают. Темнота! Дикари! Бог наверху, чорт внизу, а над всем этим царь и господа.

— А вот вы Бога-то уничтожьте, а? Чорта служить себе заставьте, вот оно, как на саночках под горку у вас и пойдет.

— Не знаю, как и приняться, — со вздохом сказал Любовин.

— Без офицера не обойдемся. Я с вашим Сашей познакомился. Душевный барин. И херувим писанный.

— Когда?

— А вот, когда вы петь отказались и грубо так отойти изволили, я с газеткой к нему подкатился. Хороший барин. Двугривенный за „Новое Время” дал и сдачи не взял.

— Вы смеетесь, Федор Федорович, — сказал Любовин.

— Ничего подобного. Разглядел я его. Я, ведь, физиономист. Податливый парень. И, Виктор Михайлович, сердитесь вы или не сердитесь, а без Марии Михайловны нам тут не обойтись.

— Федор Федорович, — с негодованием воскликнул Любовин, я только потому прощаю вам то, что вы говорите, что сами не понимаете, чего хотите. Я год прожил в казармах. И я знаю, что такое все эти папиросницы и прачки, которые ходят по офицерским квартирам. И Маруся — вы понимаете — Федор Федорович — никогда в такой роли не явится.

— Я это понимаю лучше вас, — спокойно сказал Коржиков. — Марию Михайловну я люблю вероятно не меньше вашего. Но у меня иные планы и иные пути.

— Какие?

— Дайте все продумать и приготовить. Дайте саму Марию Михайловну подготовить к этой вдвойне опасной работе.

-- Почему вдвойне?

— А, если Мария Михайловна влюбится, — тихо сказал Коржиков.

— В офицера? Маруся? Что вы? Вы с ума сошли!

— Давай Бог, коли так.

— Ей может угрожать только насилие.

— До этого не допустим-с.

Они подходили к бивакам.

— Ну, до свиданья, Виктор Михайлович. Тихонько-то ведите свою работу. Эк их, как разошлись они. А ведь завтра дождь будет.

Он пожал руку Любовину. Любовин пошел к вахмистерской палатке. Коржиков остался в аллее парка и смотрел, как на другом конце ее ярко светилась озаренная кострами и бенгальскими огнями площадка, там ходили и вер-

телись люди, надоедливо лез в уши мотив простой польки и, казалось, слышно было притоптывание женских башмачков и звон шпор все повторяющих такт — раз, два, три, — раз, два, три.

XXVI

Большой маневр должен был начаться столкновением кавалерии. Разведку было приказано начать в 2 часа ночи.

На лугу, у господского дома, еще танцевали и прислуга собирала ужин для засидевшихся господ, когда адъютант вызвал Саблина и сказал ему, что так как поручик Фетисов слишком много выпил и ему неудобно в таком виде ехать в разъезд, то командир полка приказал ехать Саблину. Саблин не протестовал. Он прошел на бивак, приказал денщику разбудить вестового, поседлать лошадь и подать ее вместе с разъездом к дому управляющего на шоссе, а сам с казачьим офицером, у которого был фонарь, отправился в штаб дивизии получить задачу.

После кутежа, музыки, песен, танцев и женского смеха Саблину странно было увидеть бледные сосредоточенные лица старшего адъютанта штаба дивизии, капитана генерального штаба и молодого армейского ротмистра, причисленного к академии, склонившиеся над большой пестрой картой. Они были так серьезны, как будто бы это была настоящая война. Рядом за перегородкой помещался начальник дивизии с начальником штаба. Они тоже не спали.

Начальник дивизии спросил — кто пришел, и старший адъютант ответил, что пришли начальники летучих разъездов.

Начальник дивизии, старый толстый генерал в уланской форме, вышел к ним. Он стал объяснять задачу и весь его вид говорил: — „смотрите не подведите и сделайте так, чтобы маневр разыгрался удачно и красиво”.

— Главное, — говорил он, — донесение, господа: не ленитесь посылать мне донесения.

Казачий офицер тщательно записывал все в свою полевую книжку. Саблин надеялся на память.

— Ну, с Богом, господа! — смотрите же — донесения, еще раз сказал им начальник дивизии.

Когда Саблин вышел на крыльцо со света, ему показалось так темно, что он не видел своей лошади.

— Сюда, ваше благородие. Тута я, — сказал ему вестовой и, взяв за руку, подвел к лошади.

— А разезд?

— Здесь, ваше благородие, — услышал он солидный голос взводного Балатуева.

Саблин ничего не соображал. Там, в комнате, на ярко освещенном керосиновой лампой плане, он отлично понял, что надо ехать все прямо по шоссе, бледно малиновою лентою прорезавшем зеленые пространства лесов, что проехавши шестнадцать верст должны были выехать на поляну с маленькой деревушкой не то Леплева, не то Неппелева, что потом будет поляна, бугры, потом большая деревня Колосова и за ней можно ожидать встречи с разездами неприятеля. Оттуда надо было послать первое донесение. Но теперь он совсем запутался в темноте. Дом управляющего стоял в лесу и шоссе шло мимо него. Но куда ехать? Направо, или налево?

Взводный вывел его из нерешительности.

— Направо, ваше благородие, — сказал он и, не дожидаясь приказа, выслал дозорных.

Стук подков по щебню шоссе стал затихать, когда Балатуев почтительно сказал Саблину: — пожалуйста ехать.

— Справа рядами, левое плечо вперед, — скомандовал Саблин — шагом марш.

Ничего не было видно. По обеим сторонам шоссе тянулся густой хвойный лес. Пахло хвоей, можжевельником, сырым болотным мхом. Прямое шоссе, покрытое лужами вчерашнего дождя, чуть серело впереди. Саблин его сначала и вовсе не видал и удивлялся, как верно и ровно шел его Мирабо.

Когда проехали с полчаса, Саблин остановил разезд и приказал слезть, осмотреть подпруги и вьюки. Так следовало по уставу.

— Можно курить, — сказал он, чувствуя, как ему самому мучительно захотелось папиросу.

Красными точками вспыхнули огоньки и на секунду осветили неподвижно стоящих, казавшихся громадными в темноте лошадей.

В лесу было тихо. Слышно было, как в придорожной канаве журчала вода и иногда капель упала в нее с ветки и тихо звенела. Лес надвигался глухой и темный.

Сели на лошадей. Надо было бы идти то рысью, то шагом, но Саблин не рискнул в этой темноте идти рысью и продолжал двигаться шагом.

Мерно стучали копыта лошадей по шоссе и ночь убывала. Рассвет наступал мутный и сырой. Стали видны деревья, телеграфные столбы, уныло гудевшие по сторонам. Туман поднялся кверху и клубился над лесом, сбиваясь в серые тучи.

По расчету Саблина он уже достаточно отъехал и пора было бы быть лесной поляне и деревушке, но попрежнему глухой и сумрачный лес стоял по сторонам.

Светало. Серый день наступал. Мелкий пронизывающий дождь моросил, как сквозь сито. Лес оборвался сразу, упершись в песчаные бугры, поросшие вереском и уставленные старыми пеньками. Впереди, за туманной завесой дождя, показались маленькие, темные домики. Саблин вздохнул спокойнее. Ему все казалось, что он не туда едет.

— Ваше благородие, — услышал он тревожный голос Балатуева. — Гусары!

Весь разъезд, беспорядочно увлекая за собой Саблина, кинулся скакать по шоссе. Саблин оглянулся. Справа и слева, прямо по рубленному лесу, полным карьером, на перерез его разъезду скакали в белых рубахах и алых фуражках гусары.

Непонятный и, как потом сознавал Саблин, глупый и неосновательный страх и волнение охватили его. Он дал шпоры Мирабо и могучим махом и, Саблину казалось, очень быстро стал подаваться по шоссе, боясь посмотреть, что делается сзади. Вдруг слева от него появилась вытянутая серая лошадиная морда скачущей лошади, маленькая, породи-

стая, загорелая рука без перчатки с силой схватила его руку в белой промокшей перчатке и, сильно надавливая, задержала ход лошади.

— Не тратьте, куме, силы; опускайтесь, куме, на дно. Нас больше, вы в плену, — услышал он спокойный голос.

Рядом с ним скакал на прекрасной поджарой лошади молодой поручик с небольшими русыми распушенными на концах усами. Саблин его сейчас же узнал. Это был заменимость скакового поля, известный спортсмен — Ламбин.

Пошли шагом. Гусары, их было восемнадцать человек храбрых ребят, в промокших рубахах, окружили людей Саблина и весело болтали. Саблинский разезд, в мокрых неуклюже топорщащихся шинелях, имел сконфуженный и далеко не бравый вид.

— Как же это?.. Дозоры-то наши! Ах и дозоры, — говорил сзади Балатуев.

— А вы бы, — отвечал ему Ламбин, — еще выше подняли воротники; едут, смотрят вперед, а по сторонам ничего не видят. Где же ваши боковые дозоры?

Саблин чувствовал себя уничтоженным перед своими людьми. Почему он не послал боковых дозорных? У них никогда ни посылали, чтобы не топтать травы. Но тут и травы не было. Было песчаное поле, поросшее никому не нужным вереском и он не послал дозорных. Почему? Да потому, что никогда не думал о маневре. Маневр был для него — обед у барона Вольф, знакомство с прелестной девочкой, баронессой Верой Константиновной, трубачи, песенники, джигитовка казаков, танцы, фейерверк и только, но никогда не плен, не писание донесений, не работа в поле. Что такое работа на военной службе, он не знал.

Военная служба для него был вечный праздник. Саблин взглянул на своего Мирабо. Густая белая пена проступила из-под ремней подперся, он тяжело дышал и шел отфыркиваясь, он не привык скакать. Рядом изящная серая кобыла Ламбина шла воздушно, дышала, как будто бы только что из конюшни и несколько не согрелась. Она была работана для маневра, для боя, для войны. Саблин посмотрел и на

Ламбина. Он подъезжал к чухонской избушке. Там стоял дневальный гусар, ожидая разъезд.

— Очередные! — Крикнул Ламбин и два гусара отделились от разъезда, чтобы везти донесение.

— Подождете донесения. Унтер-офицер Светозаров, напоить людей чаем и молоком. Двадцать минут отдыха, — говорил Ламбин.

— Он живет маневром, — подумал Саблин, — живет людьми, вероятно думает о войне и к ней готовит людей. Да и люди у него особенные. Легкие, проворные. Делают всё сами.

Саблинский разъезд стадом заехал во двор и не знал, слезать, или нет. Им опять-таки Ламбин распорядился.

— Слезайте же, — крикнул он солдатам Саблина. — До конца маневра останетесь. Выспаться можете, поди устали. Мои ребята вас чаем напоют. Ваша фамилия, корнет? — обратился Ламбин к Саблину. — Имя и отчество?

Он слез с лошади, любовно потрепал ее по шее и по щекам и было что-то женственно-нежное в этом движении. Лошадь понимала его ласку, она следила за ним, как собака, темными умными глазами.

Ламбин вошел в избу, кинул по-чухонски несколько слов хозяину и сел писать донесение. Написавши о столкновении разъездов и отправивши очередных, Ламбин серьезно посмотрел на Саблина.

— Ну-с, корнет, было бы это на войне, я бы обезоружил вас и ваших людей, отобрал бы лошадей и под конвоем четырех гусар отправил бы вас в тыл. Таким образом для своего отряда вы исчезли. На маневре, конечно, мы этого делать не будем. Я оставлю вас здесь, но вы дадите мне слово, что до конца сегодняшнего маневра вы не подойдете к своему полку и ничего ему ни писать, ни посылать не будете. Идет?

— Конечно, — смущенно пробормотал Саблин.

Гусар принес чайник с чаем, хозяин подал стакан и рюмку с красными цветами чашку.

— Как у вас всё это налажено, — сказал Саблин. — Совсем люди особенные.

— Люди везде одинаковые, — серьезно сказал Ламбин, только воспитание разное.

— Как бы я хотел ближе познакомиться с тем, как делать солдата.

— Пикниками поменьше заниматься. Мы сегодня ночью без ошибки по вашим ракетам и римским свечам определили, где вы ночуете. Благодаря этому, вместо шести разездов, послали только три, и вышли верно, да и знаем, что столкновение произойдет вот здесь... Хотите — будем знакомы и впредь. Приезжайте в полк, спросите меня в четвертом эскадроне. Я всегда в полку. Ну, а теперь, до свиданья.

Ламбин торопливо выпил чашку чая и вышел на двор. Саблин пошел его провожать. Он видел, как далеко впереди все время маячили его дозоры и как по знаку Ламбина они пошли вперед и врезались в лес.

Дождь сыпал неугомонный, скучный, в избе было сыро, пахло мужиком и овчиной, по маленьким стеклам текли непрерывные струи воды. В углу, где на стене висели портреты Государя и Государыни, литографированная картина «ступени человеческой жизни» и портрет французского президента Фора в черном фраке и красной ленте, на лавке сидел старый чухонец и молча сосал трубку...

Намокшее тяжелое пальто давило на шею. Амуниция стесняла. Саблин снял с себя амуницию, пальто, положил его на лавку и прилег, подложивши пальто под голову.

Чухонец сидел не шевелясь в углу и сипло хрипела его докуренная трубка. Дождь уныло бил в стекла и нагонял тоску. Саблин вытянулся, зевнул и заснул крепким сном.

XXVII.

— Ваше благородие, вставайте, идут! — тихонько входя на ципочках в избу, — сказал Балатуев. Он все так же был в мокрой шинели и при амуниции.

— Кто идет? — спросил Саблин.

— Самой противник.

За окном слышался мерный топот многих сотен конских ног.

Саблин вышел на крылечко. Мимо него просторною рысью шли по обеим обочинам шоссе уланы. Мокрые рубахи были забрызганы грязью. За кокарды были вставлены веточки березы, лица были мокрые от дождя, лошади блестяли и казались темно-бурыми. Они проходили эскадрон за эскадрон и за ними далеко были видны серые колонны и красные, потемневшие от дождя, шапки гусар.

Впереди раздался трубый сигнал, несколько голосов в разных местах закричали, и Саблин увидал, как эскадроны стали сворачивать с шоссе, прыгать через канаву и всё поскакало вперед к опушке леса — там поле было покрыто скачущими всадниками той дивизии, где был полк Саблина.

Сбоку разворачивались длинными линиями казаки, но против них бросились драгуны и часть гусарских эскадронов и на просторной поляне стали видны линейчки эскадронов, несущихся в атаку. Со звоном и грохотом перелетала через канаву конная батарея и пушки спешили занять фланг. Кто-то упал. Чья-то лошадь, вымазанная грязью, без седока, задравши кверху хвост и беспокойно ржа, догоняла свой эскадрон, а, упавший белым пятном, лежал между пеньков рубленного леса и к нему, прыгая по кочкам, катила большая белая лазаретная линейка с красным крестом.

В тумане непрерывающего дождя края этой картины скрывались и Саблин не мог разобрать, что делалось там, где казаки столкнулись с гусарами и драгунами.

Всё это было красиво, как на картине и потому казалось Саблину неправдоподобным.

— Разве так может быть? — думал он, — на настоящей войне? Разве это возможно? И если возможно — то, Господи, какой же это ужас война!

— Ваше благородие, — прервал его размышления Бала-туев. — Можно ехать?

Он помог одеться Саблину и Саблин поехал мимо слезших с лошадей улан, атаковавших эскадрон Гриценки, к своему полку.

— А, Саша! — ласково сказал ему Гриценко, стоявший с уланским ротмистром впереди эскадрона. — Намок, озяб, устал? А нас еще куда-то гонят. Чорт бы их брал. Надоело, да и есть безумно хочется. От вчерашнего баронского поила голова трещит.

— Наш маркитант должно быть подъехал, — сказал улан. — Пройдемте закусить.

— Добре, — сказал Гриценко и пошел с уланом.

— Корнет, пожалуйста, по рюмочке старки.

Саблин пошел с ними. Про плен, про то, что он не послал ни одного донесения никто не говорил ни слова. Точно это было в порядке вещей. За рюмкой старки, за бутербродом с ветчиной, маневр был позабыт.

Его разбирал среди группы полковых командиров посредник и он указывал на то, что эскадроны недостаточно равнялись и многие атаковали впустую, не нацеливши противника. О разведке не говорили совсем.

— Вот у вас, барон, — говорил Древеницу толстый уланский генерал, — только один эскадрон попал на противника, а остальные так, зря. Хорошо, что Государя не было. Не достаточно лихо шли. Ваши атаковали рысью.

— Так ведь поле какое, — сказал сосед Древеница. — У меня и так один солдат убили.

— Поле?.. Да, поле нехорошее, но знаете, господа, требование великого князя?

Командиры полков разъезжались с разбора недовольные. Древениц тяжело подпрыгивал на своем сытом гунтере и ворчал по-немецки:

— О, *Donnerwetter!* Этакий дождь. Этакое поле. *Aber natürlich!**), что люди падают... Полк! — закричал он сиплым басом — сад-дись! — и поднял над головою свой стэк с рукояткой в виде лежащей голой женщины.

XXVIII

Эти большие маневры были отлично задуманы и разработаны. В них была идея. Они должны были показать,

*) Чорт возьми... Понятно...

что подступы к Петербургу очень трудны, что преодолеть все эти болотные дефиле тяжело и Петербург взять немцам, даже если удастся сделать десант, невозможно. Командир армейского корпуса, защищавший Петербург, участник турецкой войны, вместе со своим начальником штаба, молодым генералом генерального штаба, прекрасно обдумали маневр и решили запереть все лесные дефиле, не дать возможности развернуться гвардии, поставить ее удары батарей и тем самым доказать высоким германским гостям, присутствовавшим на маневре, что русские начальники тонко понимают военное искусство и Петербурга не взять. Двумя утомительными ночными маршами армейский корпус Северного отряда достиг Колосовских высот и должен был выступить на рассвете, чтобы окончательно припереть все подступы к Петербургу. Кавалерия была направлена в обход на шестьдесят верст и, действуя спешенными частями, должна была отрезать противнику коммуникационные пути с его флотом, предполагавшимся в заливе.

Идея маневра путем осмысленных приказов и посылки офицеров генерального штаба в полки была сделана известной всем офицерам и солдатам и, забывая утомление, каждый старался исполнить до мелочей приказ.

Подходил момент решительного столкновения. В десятом часу ночи, в маленьком, одиноко стоящем среди проманных лесов, домике лесника, были собраны полковые адъютанты от всех полков Северного отряда и штаб-офицер штаба корпуса диктовал им приказ о бое.

В соседней комнате командир корпуса, плотный шестидесятилетний старик, устало пил чай из стакана, поставленного на большую, разложенную на столе карту окрестностей Петербурга, а его начальник штаба, потирая руки, просматривал дополнительную записку о бое, только что им составленную для рассылки по полкам с объяснением того, что было бы, если бы бой был настоящим.

Темная тихая ночь стояла за окном. Дождь, ливший все эти дни, перестал. Небо яснило и на нем проступали звезды.

На шоссе раздалась со стороны противника заливистые звонки двух троек. Они быстро приближались. Стали слышны топот копыт и шуршание резины. Тройки остановились у домика и кто-то хриплым старческим голосом спросил — «Здесь штаб Северного отряда?»

В комнату командира корпуса вошел высокий статный старик с седою бородою в свитской фуражке и оленьей дохе и с ним такой же высокий щеголеватый генерал генерального штаба в длинном черном сюртуке с аксельбантами, подтянутом серебряным шарфом. Сзади них шел жандармский унтер-офицер в светло-голубом мундире с желтыми аксельбантами. Он помог старику снять доху и удалился из комнаты. Приехавший был старший посредник и член Государственного совета, генерал-адъютант.

— В какую глушь вы забрались, ваше превосходительство, — проговорил он, протягивая большую руку в белой перчатке, начальнику Северного отряда. — Мы насилу вас отыскали. Можно будет стаканчик чая? Ну, как на завтра?

Начальник штаба взял аккуратно переписанный приказ и начал его читать. Начальник Северного отряда показывал посреднику на плане. Генерал-адъютант не дал дочитать приказа до конца.

— Позвольте, ваше превосходительство. Вы этот приказ уже разослали в полки?

— Диктуем адъютантам, сейчас посылаем.

— Остановите диктовку. Надо совсем другой приказ составить.

— Но, ваше высокопревосходительство, — проговорил, вставая начальник Северного отряда.

— Никаких возражений. Чего вы хотите? Запереть все дефилеи, устроить огневой бой, не дать гвардии дебушировать из леса и развернуться. Вы угоняете дивизию кавалерии Бог знает куда, за тридцать верст по невозможным дорогам.

— Ваше высокопревосходительство, ведь этим мы обороняем Петербург, — вставил начальник штаба.

— Ах, оставьте эти академические хитрости для военной игры в Округе. Вы забываете, что маневры в Высочайшем присутствии. Высочайший поезд будет подан к девяти часам утра к станции Волосковицы. Государь Император с Августейшим гостем проследует верхом к мызе Колосово, откуда, с холма будет смотреть на маневр. Государыня Императрица будет наблюдать с балкона. Гофмаршальской части заказан завтрак на мызном поле на шестьсот персон. На этом поле будет производство юнкеров. Вы понимаете все это?

— Чего же вы от меня хотите? — спросил начальник отряда.

— Маневра. Красивых атак конницы и пехоты на Колосовском поле, которое, как будто бы, нарочно создано для маневра.

Ваше высокопревосходительство, пощадите, ведь маневр потеряет всякую поучительность. Для чего же мы гнали людей по этой мокроте. 37-ая дивизия сделала сорокаверстный переход по непролазной грязи и занимает уже отличную позицию. Как я подам ее к Колосову?

— Вы подадите ее, ваше превосходительство, — упрямо сказал старик. — Надо, чтобы люди видели своего обожаемого Монарха, надо, чтобы Государь видел свою бесподобную армию. Не забывайте главного — воспитательного значения маневра. Отдайте приказ всем остановиться на своих местах, почиститься, одеть чистые рубахи и завтра занять места так, чтобы гвардия могла спокойно дебушировать из леса и развернуться для сквозной атаки на поле. Сосредоточьте кавалерию за лесом и киньте ее часу в десятом в атаку.

— Какой же это будет маневр? Это парад!

— Маневр в Высочайшем присутствии, — внушительно сказал генерал-адъютант. — Вы сами служили в гвардии и должны это понимать. Извольте слушаться. Я вам приказываю. И, поверьте, — многозначительно добавил он, — худого вам от этого не будет.

Командир корпуса тяжело вздохнул. Он понимал, что генерал-адъютант прав. Маневры в присутствии Государя нельзя делать так, чтобы Государь ничего не видал.

— Пишите, — сказал он начальнику штаба и начал диктовать новый приказ — диспозицию.

На рассвете адъютанты разыскивали свои части на походе. Полки были остановлены. Кавалерия повернула назад и на рысях пошла обратно. Подходя к Колосову, полки свернулись в колонны и стали чиститься и замывать в реке всю грязь трехдневного похода. Всем стало ясно: сегодня они увидят Государя.

Никто не возмущался, никто не удивлялся, каждый понимал, что нельзя Государю показаться как попало.

Все радовались увидеть Государя, все радовались, что наступил конец маневров и приблизилось время увольнения в запас, по домам.

XXIX.

Утро маневра было ясное. Солнце ярко блистало с бледно-голубого осеннего неба. Паутинки высоко поднимались и плыли по неподвижному воздуху. Дождевые капли брильянтами сверкали на листьях кустов и на мелкой, поднявшейся после укуса, траве.

Полк Саблина устанавливался в ольшанике, где солдаты находили красные грибы. Вся дивизия заблаговременно выстроила боевой порядок для атаки на пехоту. Там, где был неприятель, часто и мерно бухали пушки и белый дым густыми клубами тихо поднимался у леса. Трескотня ружей становилась сильнее и ожесточеннее. Было видно, как длинные цепи белых рубах быстро перебежали по полю и ложились между скирд хлеба. Начальник дивизии со штабом открыто стоял на поле. Он волновался. Он боялся пропустить момент атаки, волновала его и скачка по полю, где могли быть канавы, скачка, вредная для его тяжелой комплекции и больного сердца. Спешенные люди, кто затирает ноги коню, кто, опершись о седла, стояли и смотрели мечтательно на лес, где все чаще и чаще били пушки.

— Небось на войне так не постоял бы! — сказал Любвин, обращаясь к своему соседу Адамайтису.

— А чего? — спросил тот.

— Чего, — передразнил Любовин, — да вишь, как стреляет.

— Ну и пусть стреляет. — спокойно сказал Адамайтис.

— Так ведь на войне-то, поди, и людей бьет, — сказал Любовин.

— Ну-к что-ж, — еще спокойнее сказал Адамайтис. — И то на войне не без урона.

Такая философия привела Любовина в полное отчаяние и он замолчал.

Начальнику дивизии показалось, что уже можно атаковать. Всером во все стороны поскакали от него ординарцы. Полки сели на лошадей.

Еще прошло несколько минут и из леса стали выскакивать полевым галопом рассыпанные цепью полуэскадроны, сзади скакали сомкнутые полуэскадроны поддержек. Скачка по чистому полю, по сжатым хлебам увлекала солдат. Испуганный заяц вылетел из-под копны, стал метаться вправо и влево, попадая под лошадей и ближе надвигалась вставшая с ружьями у ноги пехота. И когда прошли ее и остановились, хотели слезть. Но сзади раздались сигналы — «назад». Прискакали ординарцы и сказали, что надо отойти на прежнее место и атаковать снова. Атака была великолепна, блестяща, эффектна, но ее не видал Государь. Приказано повторить ее, когда его величество приедет на мызу. Теперь все смотрели не на пехоту, которая легла цепями по полю, а на холм, на котором стояла двухэтажная белая дача.

Оттуда раздался ответ небольшой части. Это Государь поздоровался с охотниками Егерского полка, забравшимися на дачу. Пестрая свита устанавливалась на холме. И опять помчалась в атаку кавалерия. Но уже прежнего увлечения не было. Лошади вяло скакали по натоптанным тропинкам.

Маневры, разведки, поход, биваки — все было забыто. Все мысли были сосредоточены на одной волнующей мысли: — «Государь здесь. Сейчас увидим Государя».

Армейская пехота, маленькие, загорелые до черноты люди, усталые, измученные походом, не спавшие всю ночь, бежали бегом под гору и отмывали в речке сапоги и лица. Они обчищали друг друга и, забывши про бой, про маневр, тол-

какая мешками, проворно выстраивались в колонны. На всех лицах Саблин, стоявший напротив, видел восторг ожидания великого счастья. Он сам был проникнут этим восторгом и так понимал его и ощущал всем существом своим.

Тонкий резкий сигнал отбоя прозвучал у мызы и трубачи и горнисты по всем углам широкой поляны, у лесов, в лесу и за лесом, повторили его красивой звенящей фразой кавалерийского сигнала или двумя тяжелыми нотами, два раза повторенными сиплым пехотным горном. Стрельба затихла. Волны белого порохового дыма, как туман стлались по земле над сжатými нивами, где выстраивались теперь полки. Пехотные музыканты, сверкая начищенными трубами, бегом бежали к своим полкам.

Было что-то обаятельное в этой суетливой, постепенно замирающей, картине. Чувствовалось присутствие полубога. Солнце сияло ярко, тихое осеннее небо было безоблачно, леса в пестром уборе были полны очарования. И опять на сердце Саблина нахлынула волна восторга, он чувствовал, что сама собою создалась обстановка сказочного царственного великолепия и не устоять перед нею простому сердцу. Что до того, что маневры были бестолковы, что гвардию заставили победить вопреки рассудку, что, в конце концов, вышла какая-то бестолочь и неразбериха: — они были красивы. Они создали опять ту раму величия, без которой немислимо появление Государя к войскам.

Государь, сопровождаемый громадной пестрой свитой, медленно спускался с холма на поле. Рядом с ним, на большой светло-рыжей лошади ехал его гость. Государь, в преображенском сюртуке, подпоясанном серебряным шарфом, на гнедой лошади тихо ехал по полю. Вспыхнул первый одушевленный ответ на громкое протяженное ст в о-о! и за ним ура! и гимн. Слезы заволокли глаза Саблина туманом. В реве людских голосов, в могучем, за душу хватающем гимне он видел всю Россию, с ее степями и лесами, с горами, покрытыми белыми ледниками, с голубыми озерами, с маленькими темными деревушками, с зелеными церковками, с простой трогательной верой и с ее великим Царем. И что любил он, чем восхищался, перед чем благоговел, он не знал. Перед Роди-

ной ли своей, или перед ее олицетворением — Царем? Если бы ему в эту минуту сказали, что Царь человек, со всеми его слабостями, что он пьет водку, курит толстые папиросы, что он просто молодой двадцатипятилетний полковник, он не поверил бы. Всё снова было подернуто туманом удаленности от людей, озарено солнечными лучами, льющимися на него и он являлся отмеченный Богом, как Его помазанник.

Саблин стоял впереди. Полк был построен развернутым фронтом и Саблин почувствовал на себе пронизательный ласковый взор Государя и замер от восторга и ничего не видал кроме больших выпуклых серых глаз. Какая форма на Государе, какой масти лошадь, всё исчезло в радостном обаянии его взгляда. Саблин знал, что и люди чувствовали так же, как он. Он это понял по дружному, сосредоточенному ответу и за душу хватающему крику ура! Опять повторилось то же, что было на параде: счастье снизошло на него от царственного всадника.

Государь был далеко. Он объезжал полки резерва, не поспевшего к моменту атаки.

Плавные звуки торжественного русского гимна перебивались треском барабанов и ухарскими песнями пехоты и певучими маршами. Войска, отпущенные Государем, расходились по домам. Скоро мимо них пронеслись тройки, коляски, извозчики; начальство покидало свои части и спешило на железную дорогу, кто торопился в только что разрешенный отпуск за границу, или в деревню, кто просто ехал на дачу к семье, кто, еще проще, спешил в баню, помыться после утомления и грязных ночлегов на маневрах. Полки шли по домам под начальством **молодых офицеров**, а, более того, фельдфебелей и вахмистров. Господам отдых был нужнее, нежели солдатам. Так было всегда — и солдаты не обращали на это внимания.

XXX

В полку наступило скучное время. Строевых занятий не было. Все начальство было в отпуску. Всюду были временно исправляющие должность, которые для того, чтобы не напутать чего-либо, предпочитали ничего не делать и всех уверя-

ли, что они только халифы на час. В канцелярии сидел ротмистр вр. и д. командира полка, корнет вр. и д. полкового адъютанта, эскадронами правили корнеты, появлявшиеся ежедневно на пол часа в эскадронной канцелярии, чтобы выслушать рапорт вахмистра, что всё обстоит благополучно и подписать какие-то ведомости и требования.

Суетились только квартирмейстер и ветеринарный врач. Первый спешно оканчивал ремонт казарм без расходов от казны на полковые средства, второй лечил лошадей и исправлял убытки, которые сделали маневры. С утра лазарет наполнялся лошадьми с набитыми спинами, хромыми, волочащими ноги. Засечки, растяжения, ушибы, мокрецы, всё это промывалось, бинтовалось, подмазывалось, делались втирания, массажи и готовили четвероногих пациентов к новой работе.

Окна в казармах были забрызганы краской, всюду пахло олифой, свежеструганным деревом, известкой, кирпичем. Солдаты в рубахах и шароварах какого-то пятого срока, не показанного в табели и состоящих из заплат и дыр, лазали по крышам, стояли на лесах и красили, строгали, месили известку, производя свой полковой ремонт. Увольняемые в запас, то малыми командами, то по-одиночке уходили в город справлять гостинец для деревни.

Большой полковой двор был пуст и порос травой. Барьеры, чучела и станки для рубки лежали в углу, поломанные и грязные. На них сушились какие-то тряпки, да подле них бродили вахмистерские куры и утки.

Саблину, который никуда не поехал, противно было заглядывать на дворы и в конюшни. На квартире одному было тоже скучно. Он иногда целый день проводил, лежа в кабинете с книгой в руках. Даже обед ему приносили из собрания на квартиру. Скучно было ходить по залам с занавешенными по-летнему зеркалами и портретами, где тулко отдавались шаги и садиться за большой стол, где накрыто было пять, шесть приборов и сидел один дежурный по полку.

Саблин думал, подводил итоги прожитому году. Что приобрел он за этот год офицерства? Уменьше одеваться по форме. Он узнал, что при сюртуке с эполетами нельзя но-

сильные высокие сапоги, что в ложах надо быть при эполетах и привозить дамам конфеты, что есть приличные и неприличные клубы, что в прикащичий клуб на Владимирском ходить неприлично даже и для игры, также нельзя посещать и благородное собрание на Мойке. Он узнал и большее. Узнал, что любить можно кого угодно, но любовь должна быть скрыта. Что Китти может приехать на квартиру Гриценки и на глазах у песенников, трубачей и прислуги ее можно целовать, но с нею нельзя пройтись под руку по Павловскому парку, куда вход нижним чинам воспрещен.

Он бросился к Китти, хотел у ней снова опьяниться страстью. Взмолванное воображение рисовало ее соблазнительно прекрасной. На даче ее не оказалось. Саблин поехал на Офицерскую. Там была одна Владя.. Она сказала, что Китти уехала куда-то далеко, в провинцию. Может быть вышла замуж не то за аптекаря, не то за музыканта. Владя смеялась в лицо Саблину. Странно было видеть, что Владя также щурила глаза, как Китти и глаза у нее были такие же большие, как у Китти, только серые. Близость полного тела и белых рук, обнаженных до локтя, волновала Саблина.

— Да войдите же, чего стоите. Я одна, — говорила Владя.

Гостинная была полна воспоминаний. Только гиацинтов не было. Стояли лохматые хризантемы.

— Ну, снимайте пальто, — говорила Владя.

Саблин повиновался. Было странно, что он так любил Китти, так хорошо говорил о ней с Владей, а остался у Влады. Она целовала его, а он называл ее так же «мышкой». Но все кончилось очень просто и, когда Саблин засовывал расстрепанной Владе за корсет кредитный билет, ему не было совестно, и Владя, смеясь, говорила, что это «на булавки».

Все это было пошло, — но Саблин не мог не сознать, что это удивительно удобно, никого не шокировало и не марало мундира полка. Но после этого жизнь стала еще скучнее и еще больше хотелось выйти из ее тенет и поставить ее и де й н о.

«Идейно», — мысленно повторил Саблин. — „Voilà le mot”. *)

Он вспомнил Ламбина. Надо стать таким, как он. Надо серьёзно изучить свое ремесло. Стать близко к солдату, узнать его душу и тогда сознательно воспитывать в беспредельной преданности Государю Императору. Это чувство любви к Государю осталось неизменно прекрасным и мечта о нем радостно волновала сердце и мысли о нем были святыми.

Пришла мысль идти в академию. Академия в полку была не в моде. Туда шли больше артиллеристы, саперы, армейская пехота, семейные люди. Шли от голода. Но Саблин пойдет — и д е й н о. Чтобы расширить горизонт своих знаний и стать образованным офицером.

Он достал программу, книги, просмотрел. Учить пришлось бы всю историю, начиная с древней, по Иловайскому, повторять все эти сказки про Периклов, Агезилаев, Алкивиадов. Потом требовалось извлекать квадратные и кубические корни, снова знакомиться с таблицей логарифмов, решать задачу о двух курьерах и светящихся точках. Нужно было по немой карте угадывать реки России и называть города и губернии... Всё это показалось скучным и бесцельным для того, что он хотел знать и он отложил академию до лучших времен.

«Буду учиться у Ламбина и у жизни», — думал Саблин, «войду в солдатскую семью, буду изучать ее на месте в эскадроне, заведу дружбу с солдатами, заставлю их открыть свою душу».

— Саблин вспомнил всегда почтительного унтер-офицера Балатуева, на всё отвечающего готовыми ответами: — «так точно», «никак нет», «не могу знать», — «не солдатское это дело», вспомнил тупого Артемова. Тот только потел и молчал при разговоре на вольные темы с его благородием и мука отражалась на его лице.

«А Любовин? Любовин солдат и в то же время свой человек — образованный. Любовин станет мостом, по которому Саблин пройдет в солдатскую среду и станет другом

*) Вот — слово!

солдат. Они говорили же про песни и как умно и хорошо говорил Любовин. Любовин от него узнал ноты и Саблин научил его многим хорошим нотным песням. Теперь при помощи Любовина он сблизится со всем взводом. Узнает душу солдатскую и научится влиять на нее. Вот, когда он станет настоящим офицером. Мацнев не будет смеяться над ним. Он сделает целые открытия в этой области, где еще никто не занимался».

Саблин бросил книгу, над которой задумался, в два глотка допил холодный чай, вскочил с дивана и пошел в эскадрон.

XXXI.

В эскадроне было пусто и прохладно. Все окна были открыты настежь. Матрацы, одеяла и подушки вынесены на двор. Кровати стояли, открыв свои доски и имели скучный нежилой вид. Дежурный бойко отрапортовал Саблину и эхо вторило ему в пустом зале. Человек двенадцать солдат, мывших полы, вытянулись с мокрыми тряпками в руках и с тряпок текла и струилась мутная грязная вода.

— Где Любовин? — спросил Саблин.

— В эскадронной канцелярии, — отвечал дежурный.

Саблин прошел в конец зала и открыл большую дверь, ведущую в маленькую комнатку. Это была эскадронная канцелярия. После ярко освещенного сентябрьским солнцем зала в ней показалось темно. Воздух был спертый, пахло чем-то кислым. Любовин был один. Он корпел над громадным провиантским листом, сводя по нему расход капусты, гороха, лука и т. п. Он нехотя встал и негромко ответил на приветствие, проглатывая «ваше благородие». Саблин сел на нагретый табурет Любовина и отпустил дежурного. Они остались одни с глазу на глаз с Любовиным и Саблину, под настойчивым любопытным взглядом Любовина, стало неловко.

«С чего начать?» — подумал он. Любовин стоял, опустивши руки по швам и видно было, что его это утомляло.

— Любовин, я пришел к вам, — неожиданно для самого себя переходя на вы, сказал Саблин, — за советом.

Удивление выразилось в карих глазах Любовина. Он согнул ногу в колене и заложил руки за спину. Саблина это покорило, но он промолчал. Пришел он с сердечной беседой и формалистика и «руки по швам» здесь, пожалуй, были бы и не у места. Он бы даже посадил Любовина, но в маленькой канцелярии был всего один табурет.

Любовин молчал и Саблина это мучило.

— Да, — сказал он, — за советом. Вы живете в эскадроне одною жизнью с солдатами, вы их знаете хорошо. Я офицер. Вместе умирать будем, — сам не понимая для чего, сказал Саблин и почувствовал всю неуместность этой фразы, — а, между тем, мы далеки друг от друга. Солдаты не знают меня, я не знаю их. А мы — братья. Мы братья не только по Христу, как все люди, но братья по полку, так как под одним святым штандартом присягали, и одному Государю служим. Вот я и хотел бы, чтобы вы помогли мне стать в такие отношения к солдату, чтобы мы стали не чужими, а родными. Как братья. И я знал бы все, что таится в их душе.

Любовин смотрел недоброжелательно на Саблина. Ему показалось, что Саблин просто пришел в целях сыска и шпионажа и хочет воспользоваться для этого им, Любовиным. Но он посмотрел в открытое честное лицо Саблина, в его ясные глаза, которые не умели лгать и понял, что Саблин имеет самые лучшие намерения.

— Это, ваше благородие, невозможно, — тихо сказал он.

— Но почему? На службе, в строю мы будем офицер и солдаты, а вне службы — товарищи.

— Вот это-то и невозможно, — повторил Любовин.

— Вы — барин, они темные, серые люди. Они вас боются.

— Но теперь крепостного права нет и все люди вольные, — сказал Саблин.

— Слишком вы разные. Чтобы вы стали товарищами, чтобы вы могли в полной отчетливости понять солдата, а солдат понял бы вас, надо, чтобы вы стали одинаковыми. Или вы спустились бы до солдата, или солдат поднялся бы до вас.

— Я не понимаю вас, Любовин, — сказал Саблин.

— Извольте, я вам сейчас объясню. Это всё, ваше благородие, формально начинается. Приходите вы в эскадрон. Корнет Ротбек командует вам «смирно». Вы сейчас это с корнетом Ротбеком за ручку. Наше вам почтение, мол. Разговор. Где вчера были? Как опера, или там девица какая. А солдатам — «здорово, ребята». Да смотрите, чтобы ответ громкий был и головы на вас повернуты были. Солдат это чувствует. Вот, если бы вы ему ручку, да как, мол, Павел Иванович, ночь провели — он почувствовал бы, что стены-то нет. Возьмем далее. Какой разговор у вас с солдатом. — «Какой губернии?» — «Вятской, ваше благородие». «А уезда, волости? Родители есть? Чем занимаешься?» — Но, точно следовательно, или становой выпрашиваете. Солдат этого не любит. А вы ему про себя расскажите. Вот, мол, как я живу.

Любовин помолчал немного, отставил ногу и испытующе посмотрел на Саблина. Саблину совсем стало неловко.

— Да ведь рассказать-то этого нельзя, — тихо, шопотом сказал Любовин.

— Почему? — еще тише спросил Саблин и почувствовал, как ноги у него точно свинцом налились.

— Жизнь-то не такая. Оберните ее на солдата. Похвалили бы вы его за такую жизнь? Вот и выходит: — одно для солдата, другое для вас. И ему про себя никак нельзя сказать вам правду. Ну, как он скажет, что у торговки двугривенный украл, или овса дачу продал булочнику, или коня вилой пырнул, просто так, балуясь. Ведь вы за это не похвалите. Не посмеетесь с ним вместе. Ловко, мол, бестия устроил. Так, мол, и надо, отчего не побаловаться. Вам это нельзя. Под арест, под суд. Да, может быть, оно так и надо. Вот и стала между вами ложь. А как ее обойдешь? Ни вам солдату правды сказать, ни ему вам. А когда правды между вами нет — то стала стена и как ее перелезешь?

— Ну, Любовин, а если, предположим, читать солдатам, — сказал задумчиво Саблин.

— Что же, ваше благородие, дело хорошее. Солдат это любит. Только бесполезное это дело. Что вы ему читать будете? Вот поручик Фетисов этою зимою на занятиях словесностью „Тараса Бульбу” солдатам читал. Солдаты с

истинным удовольствием слушали, ну а польза какая? Никакой. Солдат слушает, а сам думает — «всё это сказка. Вот ладно придумано». Он тут, как малый ребенок. Принесите серьёзную газету, почитайте, растолкуйте, вот тут оборот другой будет. Солдата интересует его дело. А его дело какое — коли он крестьянин — земля, коли он рабочий — капитал. Вас он слушать не станет. Да вы ему и не скажете, как это улучшить его положение. Он пойдет к тому, кто его этому научит. Вы для него всегда помещик и капиталист и между вами — стена.

— Но, Любовин, как же это так? Значит вы в основу всех отношений ставите социальные отношения?

— Так точно, ваше благородие. Прежде равенство, потом братство. А ведь у нас какое равенство? Даже перед законом и то равенства нет. Для солдата закон один, для офицеров другой. Солдат солдату в морду дал — ну и ладно, а у вас, если до такого греха дошло — преступление. Дуэль! Если кто из господ на службу проспит — пустяки, а нашего брата под арест. Вот снимите эту стену — тогда и откроется душа солдатская.

— Это невозможно. То, о чем вы говорите, Любовин... Я не знаю, понимаете ли вы? Но ведь это — социализм.

Любовин молчал.

— Любовин, — сказал Саблин, устремляя свой пытливый взор в карие глаза солдата, — тогда, накануне парада, в Красном Селе, это были вы, Любовин, кто говорил со мною ночью. Это был ты! — воскликнул, вставая Саблин.

Любовин спокойно выдержал взгляд Саблина.

— Я не знаю, о чем вы говорите, ваше благородие, — медленно проговорил он, становясь смиренно и вытягивая руки по швам.

Гадко, противно и склизко стало на сердце у Саблина. Он встал и вышел из канцелярии.

XXXII.

Ну, каковы? — спросил Степочка, в сотый раз оглядывая внутренний караул Зимнего дворца, построившийся для

смены на главной гауптвахте. Полковой закройщик Пантелеев с громадными ножницами в руках и с двумя помощниками со щетками, согнувшись, нагибая свою плешивую седую голову и щурясь, проходил вдоль караула, подравнивая ножницами полы мундиров.

— Пантелеев! пушинку сними... Не там... У второго, с правого фланга. Не видишь. На плече у самого погона... Так хорош? — говорите вы, — обратился Степочка к дежурному плац-адъютанту, пришедшему, чтобы вести смену.

— Великолепен, полковник. И, знаете, что хорошо. Русская южная красота. Вы замечательно подобрали. У всех маленькие усики, все, как один на лица, кровь с молоком, легкий загар. Тут, на прошлой неделе кавалергарды караул выставили. Начальником — барон Моренгейм. Вы его знаете. Сажень роста, розовый, безусый, и весь караул такой. Ну, просто, парные телята, да и только. Все светловолосые гиганты. А, знаете мне не понравился. Не русское что-то. Не немцы, не то чухны. А вот ваши, несмотря на форму — русские богатыри. Так на картину из сказки и просятся. Великолепны. И офицер писанный красавец.

— Да! Удался.

Степочка, взглядом художника, закончившего картину, оглядел еще раз караул, вздохнул и спросил плац-адъютанта: — что же, пора вести?

Плац-адъютант посмотрел на часы и ответил:

— Нет. Еще полторы минуты. Комендант будет на смене и, может быть, великий князь. Вчера казачьего начальника караула на трое суток на губу отправили. По Невскому вел караул мимо дворца, на левом фланге казак не в ногу шел. Беда с этими людьми.

— Красоты не понимают.

— В ней родиться надо, полковник.

Плац-адъютант взглянул на часы и сказал торжественно: — ведите.

Степочка еще раз вздохнул. Ему тяжело было расставаться с людьми, которых он любовно подобрал из всего

полка, которых при себе обучил смене караула и только что одел в специально сшитые мундиры.

— Ведите, корнет Саблин, — сказал он устало.

Саблин вышел по уставу перед караул и сдержанным ровным голосом скомандовал:

— Караул! Палаша — вон! На пра-во! Шагом марш!

Степочка крестил караул и осматривал каждого солдата любовным восторженным взглядом. Высокие блестящие сапоги дружно скрипели, звенели шпоры и караул шел, держа палаша у плеча и ровно махая руками. Он прошел мимо толпившихся солдат пехотного наружного караула, мимо своих, кучками сложенных мундиров, и шинелей, в которых пришел, свернул на узкую лестницу и в ней растянулся. Входя в светлую галерею, увешанную батальными картинами, правый фланг задержался, люди подтянулись, сомкнулись и ровно скрипя сапогами, стараясь ступать на ципочках, вошли в громадный Николаевский зал. Кавалергардский караул уже выстроился и мальчик офицер детским голосом скомандовал: — «палаша вон!»

Саблин заводил свой караул плечом. Граф Адлерберг, комендант, знаток этого дела и Великий Князь стояли у дверей и смотрели на смену караулов. Волнение охватило Саблина. Всё было просто, проще, нежели любая фигура кадрили, а вот волновался, боялся напутать, не то скомандовать. Караулы стали друг против друга. Действительно, караул Саблина был картина. Это была выставка русской мужской красоты и, может быть, ни одно государство в мире не могло бы подыскать таких одинаковых людей, в которых красота и изящество черт, тонкие носы, маленькие усики, большие глаза, опушенные длинными ресницами, загнутыми вверх, сочетались бы с физической силой, широкой грудью и сильными ногами.

Люди взяли на караул и застыли. Только желто-красные темляки тихо качались под кулаками в белых перчатках. Саблин поднял палаш к подбородку и пошел к середине караула. Маленький кавалергард вышел ему навстречу. Они остановились и опустили палаша к носкам.

— Корнет Саблин. Пароль Варшава, — тихо, чуть слышно, сказал Саблин.

— Корнет Шостак, — также тихо сказал кавалергардский офицер.

Оба одновременно подняли палаши к подбородку, отчетливо повернулись кругом, мягко щелкнули шпорами и отошли к своим караулам. Они священнодействовали. Блестящие полы штучного паркета, портрет государя Николая Павловича на гнедом коне, так написанный, что где бы ни был зритель в зале, откуда бы ни смотрел, всё казалось, что государь скачет и смотрит прямо на него. Громадное помещение, люстры из бронзы, увешанные хрустальными подвесками — всё создавало обстановку необычную, волшебную, сказочную. Здесь не ляжешь спать, не станешь бегать и кричать, и люди здесь казались не людьми, а часовыми и караулом, вызванным охранять священную особу Государя.

Караул Саблина заступил на место кавалергардов, кавалергарды вышли из зала. Смена кончилась. Парные часовые стали у дверей. Великий Князь, комендант и плац адъютант вполне довольные правильностью и точностью смены ушли из залы. Солдаты сели в особые дубовые кресла, в которых сидеть было неудобно. Они сидели, как изваяния. Каски тускло мерцали затененные стеною. Лакей в красном кафтане, обшитом позументом с черными государственными гербами пододвинул большое красное кресло с золотыми ножками и ручками, небольшой стол, накрыл его скатертью и почтительным шопотом доложил Саблину: — „сейчас подам вам фрыштыкать”.

Саблину не хотелось есть. Люди караула, сидевшие сзади и внимательно смотревшие, что подавали и что ел их офицер во дворце, у Государя, стесняли. Было подано красное вино в хрустальном графине, но Саблин к нему не притронулся. Он совестился людей караула. Он ел суп крем д'асперж, котлеты де-воляйль, обернутые гофрированными бумажками, рисовое сладкое пирожное, ему поставили вазочку с яблоком, грушей и виноградом.

Опять чувствовалась разница между ним и его солдатами. Невольно вспомнился разговор с Любовиным осенью

после маневров и чувствовалось, что невозможно сойтись на равную, братскую ногу. Он был гостем у Государя и Государь кормил его со своего стола. Они были слуги, наемники. Им привезли из полка не обед, а горячую пищу в котле, закутанном сукном и они поочереды ходили есть на главную гауптвахту.

В зале было тихо. У дверей дремотно сидели лакеи, неподвижно стояли часовые. С Невы, замерзшей и покрытой снегом тянуло холодом. Слышался по торцу посыпанному снегом топот лошадей. Столица жила своею жизнью. Здесь жизнь давно застыла и казалось зал был полон призраками прошлого.

Странно было сознавать, что в двадцати шагах, по ту сторону зала тянется прекрасная Помпеевская галлерей, увешанная картинами кисти Рубо, Димитриева Оренбургского, Кившенки, изображающими всю войну 1877-78 годов, и нельзя пойти посмотреть эти картины. Там, в середине галлерей устроено чудо Семирамиды — большой зимний сад во втором этаже, растут латаний, веерные пальмы, музы, висят причудливые орхидеи, а войти туда нельзя. Нельзя отойти от караула. И выйти Саблин может только в сопровождении трубача. Он охранял Государя, но он не видал его. Он знал, что квартира Государя, называемая „внутренними покоями“, находится за залом, где стоят казаки, что там будет корридор, в корридоре высокие двери, у которых стоят часовые пехотного караула, там же стоят часовые казаки, там же бродят, мягко ступая сапогами без каблучков конвойцы и сидят чины дворцовой полиции. Громадный дворец полон людьми, стоящими на постах и в то же время пуст до унынья. В двери видна зала, за нею еще зала и еще зала и всюду у дверей лакеи, кое где парные часовые и никого, живущего во дворце. Было жутко от тишины мертвых стен, нарушаемой тихими крадущимися шагами, да негромким, точно испуганным кашлем. Пройдет проворными шагами скороход, но и он не похож на живого человека. Круглая шляпа с белыми, желтыми и черными страусовыми перьями, черный, расшитый золотыми лентами кафтан, белые брюки в обтяжку до колен, высокие чулки

и черные башмаки с бантами делали его похожим на тень прошлого, или на слугу из сказки.

Зимний день проходил скоро, было всего четыре часа, а уже густели сумерки в высоких углах белого с золотом мраморного зала, со стенами увешанными серебрянными и золотыми блюдами. Каждое блюдо было образцом чеканного и граверного искусства, каждое блюдо имело свою историю любви и преданности Монарху. На этих блюдах города и губернии, земства и крестьяне, дворяне и купцы подносили своему Государю хлеб-соль. На них искусной чеканкой и резьбой были нарисованы целые сцены, виды городов, эмблемы...

Они тускло светились в надвинувшихся сумерках и вдруг потонули. Вспыхнули кое-где по залу электрические лампы, засветилось несколько свечей в центральной люстре, но не рассеяли мрака. Холодно и жутко стало в громадном зале.

На столе перед Саблиным поставили керосиновую лампу под синим абажуром. Подали обед..

День проходил. Ночь надвигалась на тихий дворец.

XXXIII.

Ночь была полна призраков. Саблин вспомнил, как один старый офицер рассказывал, что незадолго до смерти Анны Иоанновны тень императрицы появилась во дворце. Она вышла из дверей запасной половины в тронную залу и медленно стала ходить по зале взад и вперед, ни на кого не обращая внимания. Она была так ясно видна, так несомненно было, что это ходит императрица, что караульный офицер вызвал караул в ружье. Императрица прошла мимо, внимательно оглядывая обомлевших от страха часовых и кивнула головою офицеру. Этот случай записан в истории полка, от которого был караул. Все люди караула под присягой подтвердили, что они видели тень-двойник императрицы.

Что удивительного, что это было. Было бы удивительней, если-бы такие вещи не могли быть, когда здесь во дворце все было так необычно и непохоже на жизнь. Здесь жили монархи и отсюда управлялась вся великая Россия!

Здесь умерла императрица Екатерина II, переписывавшаяся с Вольтером, принимавшая у себя великих людей своей эпохи, сказочная царица, воспетая Державиным. Здесь ходили в пудренных париках, здесь говорили комплименты и грубые дворяне Русских степей учились здесь французскому лоску. Здесь безумный император Павел соединил гробы императора Петра III и Екатерины II и два враждебных мертвеца свиделись здесь на глазах у многочисленных подданных. Сюда приехал из Гатчины Павел с Аракчеевым заводить свои порядки. Отсюда мистик Александр I писал письма Наполеону. Сюда призвал император Николай I Рылеева и отсюда отправил его на виселицу. Здесь умирал в луже крови с разбитыми ногами Царь-Мученик, кровью заплативший за то, что дал свободу миллионам рабов....

Кровь... Кровь... Кровь была кругом. Кровь страшных войн здесь подписанных, кровь эшафотов и виселиц, смертных приговоров, здесь утвержденных.

Саблин сидел в кресле и дремота не шла ему на ум. Было страшно. Здесь раздался взрыв и весь караул Финляндского полка обратился в кучу трупов и стонущих, изломанных людей, залитых кровью и осыпанных обломками камней и кирпичами.

Каждую минуту, каждый час опасность грозит Государю. За что? Только за то, что он Государь. Только за то, что он имел несчастье родиться от коронованных особ и взять на себя тяжелый крест и бремя власти. Сотни людей охотятся за ним, учреждаются тайные общества, чтобы уничтожить его, на зло всем.

Как страшно...

Там, за дверьми красного дерева, украшенного бронзой, в нарядной спальне тихо спит Государь с молодой Императрицей. Как ей должно быть холодно и жутко в этой чужой для нее стране, с чужими людьми и чуждым языком.

Саблин вспомнил ее, высокую, холодную, с русыми золотистыми волосами, прекрасную с своими нежными щеками и серыми большими глазами.

Спит ли она теперь в этом чужом дворце среди зимнего холода северной зимы? И если не спит, о чем думает? Томят ли и ее страшные призраки и мысли о вечной опасности, о неутомимом преследовании диких чужих людей? Или забылась и спит крепким сном, не думая о новой, непонятной жизни...

А вдруг дворец наполнится шумом и стуком, бегущими людьми, выстрелами часовых, и здесь начнется страшная война за Государя.

Он, Саблин, сумеет умереть за Госураря, он будет считать это счастьем для себя. А как они?

Саблин встал с кресла и прошел мимо караула.

Они сидели, как изваяния, положивши руки в белых перчатках на колени и дремали. Хотел спросить их и не знал, как спросить и что спросить! И поймут ли!

Саблин подошел к громадному окну. Нева была пуста. Луна светила с парчевого неба, сверкал шпиль Петропавловского собора и Ангел, повисший на нем. Ветер мел снег по Неве и казалось, что это тени прошлого бегут от крепости к дворцу. Как странно было устроить усыпальницу царей и рядом казематы государственных преступников. Слышат ли спящие там набальзамированные монархи выстрелы расстреливаемых жертв и предсмертный шопот людей, которых ведут на виселицу? Слышат ли треск барабанов?

Куранты заиграли на соборе. Их слышит в своей спальне Императрица и как тяжело должно быть отзывается их печальный перезвон в ее одинокой душе.

Тени отделились от Иоанновских ворот и понеслись к дворцу. Тени императоров спешили к дворцу, а за ними гнались тени тех, кто жизнь отдал, чтобы погубить их. Экзальтированный поэт Рылеев, изменники офицеры Пестель и Муравьев, — Желябов, Рысаков и сотни других. Смогут ли бороться его караул с призраками?

Нева была пуста. Ни одного извозчика, или пешехода не было на ней. Группа странно одетых людей, точно иду-

щих с маскарада подвигалась, без дороги, прямо по глубокому не наезженному снегу. Впереди шел высокий человек, в треугольной шляпе, кафтане и ботфортах с раструбами и с тяжелою тростью в руках, за ним дамы в робронах и фижах, в белых париках, дальше показались мундиры с лацканами, высокие воротники, шитые золотом. Позади четыре служителя в красных кафтанах несли красивого генерала с седеющими бакенбардами. Лица всех были бледны. Когда они подошли ближе и стали подниматься на набережную по гранитным ступеням Саблин увидел, что глаза их закрыты, что все это мертвецы. Они вошли во дворец и он отчетливо услышал шум их торопливых шагов, приближавшихся к дверям Николаевского зала. Волнение охватило его. Он хотел крикнуть караулу „в ружье” и не мог. Свинцовая тяжесть разлилась по его телу. А между тем сонм царей и цариц уже врвался в зал. Громко треснула дверь и распахнулась и.... Саблин проснулся.

Он сидел на стуле у окна и спал в самой неудобной позе. Солдат караула уронил каску и ее стук разбудил Саблина. В зале был полумрак, тускло горели по углам и в люстре редкие электрические лампочки, неподвижно, тяжело вздыхая, сидели люди караула, в соседнем зале кто-то сдержанно хрипло по ночному кашлял. Саблин заглянул в окно. Месяц стоял как будто на том же месте. Шпиль Петропавловского собора тускло светился. Метель курила по Неве. На Мытной набережной, в пятиэтажном доме светилось одно далекое окно.

Какой то человек два раза прошел взад и вперед по набережной, заглядывая в окна, и беспокойно озираясь. Он был, не смотря на зиму, в одном распахнутом пиджаке, из под которого виднелась темносиня рубаша, и в мягкой черной шляпе. Большой финский нож висел у него спереди на ремне и два револьвера были с боков. Человек этот решительно подошел к окну, в которое смотрел Саблин, скинул пиджак и быстро и ловко, как обезьяна полез по водосточной трубе, цепляясь за выступы украшений дворца. Саблин не шевелился и ждал. Странное оцепенение охватило его. Человек долез до окна и уставился вплотную в лицо Сабли-

на тусклыми светлыми глазами. Он с ненавистью смотрел на Саблина и что то говорил. Саблин не шевелился. Он не знал, что делать. Между тем человек вынул из кармана алмаз и стал резать стекло, осторожно надавливая его пальцами и не сводя серых злобных глаз с Саблина. Только стекло отделяло их друг от друга. Вдруг он пошатнулся, потерял равновесие взмахнул рукой с алмазом и полетел вниз. Саблин услышал, как глухо, словно мешок с мукой, ударилось его тело о гранитные плиты тротуара, и проснулся. Он понял, что сон продолжался и он тогда не проснулся, но видел во сне, что проснулся.

Голова была тяжелая. Он сидел в кресле у окна. Начинало светать. Два казака с головами закутанными башлыками проехали верхом по набережной и копыта их лошадей глухо стучали по торцу, покрытому снегом. Дворец охранялся кругом. Казаки поверяли пехотных часовых. В коридоре у дверей квартиры Государя слышался тихий, спокойный шум. Сменялись часовые. Там стояли казаки, конвойцы, пехота и полиция. Все следили друг за другом.

Жутко стало Саблину. Жутко за Государя так тщательно охраняемого и не могущего никому верить, не знающего кто, когда и как его предаст.

XXXIV.

Светало. На улице дворники в серых одинаковых Русского покроя кафтанах скребли панели и сгребали снег в кучи. Был сильный мороз. От них шел пар и лица их были красны. Приехали сани с койками для снега. Лошади стояли и когда вздыхали, то белые струи вылетали из ноздрей. В зале было холодно. Часовые ежились у дверей, у Саблина стыли руки. Лампочки погасли, бледный свет входил в зало и блестели паркет и блюда.

Зал вдруг наполнился людьми в красных рубахах и синих шараварах. Они стали натирать полы. Это пришли полотеры. А может Саблин ручаться, что между полотерами нет того человека с бледным лицом и серыми горящими не человеческою злобою глазами, — которого он видел во сне?

Полотеры молча делали свое дело. Они быстро прошли всю артелью по залу и исчезли.

Прошло два скорохода. Один нес раскаленную жаровню, а другой поливал на нее душистый уксус. Уксус с шипением дымился и по залу пахло чем то сладким... Так пахло при Александре, Николае, Александре Благословенном, Павле, Екатерине... быть может такое же курение было у царей Московских в их дворцах-теремах.

Зал оживал. Саблину подали чай. Потом четыре человека, просто одетых в сопровождении лакея пронесли громадные корзины с цветущими гиацинтами. Лакей посмотрел на Саблина и многозначительно шопотом сказал ему: — „в покои Государыни Императрицы”.

Сладкий запах гиацинтов остался на несколько секунд в зале и напомнил Саблину бело-розовое тело Китти.

Хотелось проникнуть за этими людьми в спальню, где почивала та, перед которою благоговел Саблин. Похожа ли она на спальню обыкновенной женщины?

Саблин прогнал эти мысли, как греховные, кощунственные, несовместимые со святостью места.

Без пяти минут в одиннадцать через зало почти бегом пробежал старенький лакей в красном кафтане и почтительно-тревожно проговорил Саблину: — „Государь-Император”.

Опять то же волнение, тот же страх и восторг, что на параде и маневрах заставили шибко забиться его сердце.

За два зала мерно и четко ответили на приветствие люди казачьего караула.

Из арки подле портрета вышел Государь. Он был в длинном пехотном сюртуке при шашке, шароварах и в высоких шагрeneвых сапогах. На голове была чуть на бок одетая фуражка. Он шел на прогулку. Шел один.

Саблин, волнуясь, неровным голосом скомандовал построенному караулу — „слушай на краул!” и замер сам, опустивши палаш и смотря прямо в глаза Государю. Если Государь остановится, — думал Саблин, — я должен сейчас же рапортовать. И мысленно повторял рапорт, чтобы не

сбиться: — „в карауле и на постах Вашего Императорского Величества от”....

Но Государь не остановился. Он ласково моргнул глазами Саблину и сказал на ходу: — „здорово, караул”.. Солдаты сдержанными голосами, как их учили отвечать во дворце, ответили: — „здравия желаем вашему императорскому величеству” — и не успело эхо их голосов заглухнуть по углам зала, как уже Государь скрылся за дверью в Малахитовый зал.

То, что Государь шел на прогулку, в сюртуке, один; казалось как то слишком обыденным, не подходящим для его величия, но было и что то трогательное в его появлении здесь в зале в одиннадцать часов утра. Если бы он не прошел, было бы скучно вспоминать все напряжение караула, бессонную, полную призраков и кошмаров ночь... Теперь все это было скрашено ласковым взглядом серых глаз и ровным покойным голосом приветя.

В двенадцать часов пришла смена. Саблин опять священнодействовал, но теперь никто кроме дежурного плацадъютанта не смотрел на него. Великого Князя не было во дворце, а комендант был на смене пехотного караула. Полный с черной бородкой на сытом холеном лице кавалергардский штаб ротмистр не священнодействовал, но сменялся небрежно. Он опоздал скомандовать „на караул” и проглатывая слова неясно представился и долго не мог вспомнить пароля.

— Пароль, говорил он, пароль, ах как бишь его, вот чорт... У меня на бумажке записано... Пароль — Гельсингфорс.

От этого пропадала торжественность и сказочность обстановки. Краски блекли и все уже казалось обыденным, будничным и далеко не столь важным.

В час дня люди, переодетые в старые мундиры и шинели, шли с Саблиным в казармы. Они были голодны и торопились к обеду. Был сильный мороз и солнце. Снег скрипел под дружными ногами солдат и мерно в такт звенели шпоры.

От всей сказки караула подле покоев Царственной четы, от блеска и таинственных призраков громадного зала осталось одно физическое утомление и страстное желание скинуть каску, снять с измученного тела тесный мундир и аммуницию, броситься в постель и спать, спать!...

XXXV.

Недели через две после того, как Саблин был в карауле, он получил по городской почте письмо от генеральши Мартовой. Генеральша Мартова напоминала, что она когда то была дружна с его покойною матерью, сообщала, что у нее собирается молодежь, хотят ставить оперу и она, зная, как музыкален Monsieur*) Саблин очень просит его принять участие в этой маленькой опере и приехать в четверг ровно в 8 часов сговориться о вечере.

Саблина это письмо не удивило. В эту зиму он часто получал подобные приглашения. То на бал, то на вечеринку. Прекрасный танцор, светский человек, могущий всегда развлечь общество, блестящей фамилии, богатый, красивый — он был желанным гостем всюду, где были барышни невесты, где танцевали, играли в *petits jeux***) где были юноши и девушки.

Он показал это письмо офицерам в эскадроне. Оказалось, Мартову знали и Гриценко и Манцев.

— Умрешь со скуки, сказал Гриценко. — Никакой там оперы не будет. Оперу, чуть ли она не сама и пишет и все никак не рискнет показать ее миру. А будут разговоры, мятные пряники, каленые орехи, пастила и мармелад — Русские якобы, лакомства. Просто потому, что дешевле конфет, а народа у ней собирается уйма, все молодежь и такая, что на тарелку себе кладет целыми горстями. Об ужине и не мечтай. Хорошо, если по ломтю ветчины дадут. Скучища смертная и все оры, оры — разговоры.

*) Господин.

**) Маленькие игры.

Мацнев был иного мнения.

— Пойди Саша. Там ты познакомишься с нашей демократией и интеллигентами, — с нескрываемою брезгливостью Мацнев подчеркнул слово интеллигенты. У Екатерины Алексеевны страсть собирать кухаркиных сыновей и слушать доморощенных Робеспьеров и Маратов. Но там иногда наткнешься и на такую Шарлотту Корде, что просто прелесть. Иногда полезно окунуться в эту молодежь с ее зелеными речами, желтыми носами и писком и визгом о свободе... от латинского языка. Освежает.

— А ты не пойдешь, Иван Сергеевич?

— Нет, я туда больше не ходок.

— Отшили, захохотал Гриценко, — начал Анакреона проповедывать, а там это не в моде. Там мужик, да Лев Толстой, да вот еще новая мода Чехов... Там ты услышишь, как Пушкина разделяют. Наряду с Ломоносовым поставят. Отжившая, мол, поэзия. Помещичий быт. Но, иди, пожалуй. Только мой совет — рюмку водки домахвати. Там общество трезвости. Квакеры...

Саблин решил пойти. То, что он слышал заинтересовало его. Это было что то новое.

Опоздавши по Петербургскому обычаю на час, ровно в 9, он подъехал к высокому дому на Николаевской улице и поднялся в третий этаж. Небольшая ясеневая вешалка была густо увешана шубками на вате и на дешевом меху, гимназическими и студенческими пальто и фуражками. Из квартиры несся нестройный гул молодых голосов. Горничная провела Саблина через просто убранную гостиную, освещенную керосиновыми лампами, где стоял рояль и были пюпитры для скрипачей, в столовую. Там за большим столом по семейному, сидело человек двадцать гостей. Сама Мартова, полная, веселая, русая сидящая дама была за громадным самоваром. Саблин представился ей. Он был с визитом, но не застал ее. При входе Саблина, свежего надушенного, в изящно сшитом виц мундире со шпагой все общество притихло.

— Не здоровайтесь, — сказала Мартова. — У нас не принято. Только грохота стульями наделаете. Постепенно

познакомитесь. Да и чего представляться, за разговорами узнаете. Тут все свои. Саша, Гриша, Костя, Лена, и звать иначе язык не повернется, выросли на моих глазах, а теперь во какие разбойники стали. Это вот дочь моя — Варя.

Мартова показала на девушку лет двадцати, просто одетую, гладко причесаную с круглым, добродушным некрасивым лицом. Оно казалось еще круглее от больших круглых очков, сидевших на маленьком носу и прикрывавших светлые выпуклые близорукие глаза.

Варя сделала легкий кивок головою и протянула Саблину большую мокрую руку.

— Мы очень рады, сказала она, что вы приехали. Это показывает, что вы не гордый и не пустой аристократ. Это — она указала на сидящую рядом с нею брюнетку — моя лучшая подруга Маруся Любовина, прошу любить и жаловать.

Саблин мельком взглянул на Марусю. Прекрасное лицо, в раме темно каштановых волос, с голубыми ясными восхищенными глазами мелькнуло перед ним. Он не разглядел ее сразу. Слишком много народа было кругом. Слишком все сразу молодо и задорно зашумели. Кто то пододвинул ему стул, кто то раздвинулся и Саблин сам не заметил, как очутился в середине большого стола, среди множества юношей и девушек перед дымящимся стаканом чая с лимоном и большим куском шведского кислосладкого хлеба, густо намазанным белым сливочным маслом.

— Ну вот, услышал он чей то звонкий голос — наконец и представитель власти и насилия есть между нами и мы можем обсудить вопрос о том какова будет новая армия.

— Позвольте, товарищ — я полагаю, что армии вообще не должно быть никакой, — перебили его с другого конца стола.

Саблин посмотрел на говоривших.

Первый был студент, одетый с умышленной небрежностью в синюю косоворотку с вышитым воротником, поверх которой была черная суконная поношенная студенческая куртка с блестящими пуговицами. Ему возражал худощавый бледный гимназист с молодой курчавой бородкой росшей

больше у шеи, нежели на щеках в длинном синем гимназическом сюртуке с белыми пуговицами настолько стертymi, что большинство были с красно-медными пятнами.

— Как никакой армии не должно быть, — воскликнул совсем юный вихрастый гимназист, с красными щеками и карими глазами, опущенными длинными ресницами. Одет он был в чистую, новую черную куртку и казался самым юным из всех. Он, как только вошел Саблин, не спускал с него влюбленного взгляда и все время любовался его погонами, пуговицами, кантиками. — Но тогда, придут немцы и завоюют нас.

— Эх куда хватил! — воскликнул студент технолог в помятой куртке, наглухо застегнутой у шеи. — Это на пороге двадцатого века, завоевательная война. Теперь не те времена!

— А почему?

— Народ не согласится идти воевать. Народ уже понял, что такое война и войны теперь немислимы — безапелляционно сказал студент в тужурке.

— Ладно! Прикажут и будет война, — сказал гимназист, запихивая в рот такой громадный кусок хлеба, что Саблин посмотрел на него, не подавится ли он.

— Иначе для чего же всем вооружаться, — сказал бледный болезненный реалист, с коротко остриженными белыми волосами. — Вооруженный мир обходится Европе слишком дорого и Европа накануне банкротства.

— Товарищи! Коллеги! — умоляюще сказала Варя Мартова. — Опять беспорядок, опять крики с мест, опять каждый говорит свое мнение и не слушает другого. Ведь мы решили пригласить сюда, к нам, представителя армии, чтобы задать ему ряд вопросов по его специальности. Выслушать мнение специалиста и тогда судить. Вот и приступим.

— Возможны ли теперь войны? — задал вопрос реалист.

Нет, нет, — кричал с угла стола холеный студент в прекрасном мундире с золотым кованого шитья воротником, с маленькими красивыми усами и бледным лицом в пенсне. — Я настаиваю на моей постановке вопроса. Армии ли для войны, или войны для армий?

— Неясно, — сказал студент в тужурке.

— Товарищи, я прошлый раз докладывал, что если не будет армий, не будет милитаризма, искусственно разводимого в народе, то и войн не будет. Вооруженные люди являются источником войны. Надо разоружиться.

— Но тогда всем, — запальчиво крикнул хорошенький гимназист, наконец, прожевавший свой кусок.

— Ну, конечно, всем, — спокойно сказал холеный студент.

— Это невозможно, — проворчал мрачный черный технолог.

— Товарищи, — перекрикивая всех закричала Варя Мартова. Не угодно ли по вопросам. Monsieur Саблин...

— Что за свинство, — воскликнул хорошенький гимназист.

— Начинается ерунда, — сказала высокая стройная девушка со лбом, покрытым красными прыщами и нездоровым лицом, сидевшая рядом с Любовиной.

— Я говорю только, что с наличностью армии нарушается равенство, — проговорил мрачно технолог.

— Называть по чинам? — спросила маленькая девушка перестарок, с тонким птичьим носом и злыми глазами.

— Нелепость.

— Не все ли равно.

— Итак, снова всех перекричала Варя, — Итак я спрашиваю... Гриша, оставьте. Товарищ Павел Иванович вы скажете свое мнение после, — для чего служит армия, ее назначение, monsieur Саблин. Точная формулировка вопроса и ответа.

— Защита Престола и Родины есть обязанность солдата и армии, — проговорил Саблин казенными уставными словами.

Невообразимый шум поднялся кругом.

— Позвольте! — с другого конца стола кричал студент в тужурке — защита? Но от кого? Для того, чтобы защищать надо, чтобы нападали, а если никто не нападает, то для чего и защищать. Ясно, как шоколад.

— Но могут нападать, выкликнул хорошенький гимназист. Он все больше и больше становился на защиту армии и Саблина. Он и сам в тайниках души своей мечтал бросить Саллюстия и Овидия Назона и пойти в юнкерское училище.

— Могут, а могут и не нападать. Надо только согласиться, — сказал студент в тужурке.

— Товарищ Павел, — обратилась к нему Варя Мартова. — Погодите — мы спросим: — от кого — защита?

— От врагов внешних и внутренних, — опять по уставному ответил Саблин. Он был огорошен перекрестными вопросами, быстрым обменом мнений. Первый раз вопросы эти — такие ясные, простые и очевидные ставились ему людьми, которые не видели в них ни ясности, ни простоты, ни очевидности.

— Вот оно! Вот оно! Я говорил, Варвара Николаевна, что мы договоримся до того, что студенты враг внутренний, — кричал студент в тужурке.

— Господа, — сказала хорошенькая девушка в платье гимназистки, сидевшая по дурную сторону *madame* Мартовой — даже Герцен с уважением говорил об офицерах и армии.

— Не прикажете ли называть ваше благородие, — кинул технолог.

— Враг внешний, — говорил бледный реалист. — Но его нет. Кто пойдет теперь воевать? Теперь не мыслимы войны за испанское наследство, войны династические, какиенибудь войны алой и белой розы. Прогресс, культура человечества, гуманитарные науки — все это сделало не возможным, чтобы немецкий мужик вдруг пошел убивать Русского мужика. Лев Николаевич Толстой своею глубочайшею проповедью непротивления и Сенкевич своим „Вартеком победителем“ сделали больше для счастья человечества, нежели все императоры. Я чувствую, что внешнего врага нет и не может быть.

— Браво, Павлик, — воскликнул технолог.

— Теперь — враг внутренний. Остановимся на этом вопросе. В государстве, в котором нет абсолютизма и тирании, в котором достигнуто полное равенство граждан не мо-

жет быть недовольных. Недовольство разрешается не боями, не виселицами, — но парламентарным путем. Мы вступаем в золотой век человечества. Двадцатый век — будет веком мира и мирных реформ. Звериные кровожадные инстинкты исчезнут и не нужно будет в а ш и х б л а г о р о д и й, отдания чести, рабства в лице денщиков, и грубой силы, чтобы держать и не пускать!

— Bravo! Bravo! Павлик, — шорохом пронеслось среди молодежи.

— Что скажете, господин офицер? — обратился прямо к Саблину студент в тужурке.

XXXVI.

Саблин оглянул все общество. Он уже разделил его в своем уме на людей ему сочувствующих, в которых он почему либо съумел возбудить к себе симпатию и на людей непримиримых, возненавидевших его с первого взгляда за его мундир, за погоны, за шпагу, за цветную фуражку. Он понял, что этих людей ему не свернуть и им не доказать правоту своего мнения.

К первым принадлежала дочь хозяйки. Олицетворенное непротивление злу, она стала на его сторону лишь потому, что увидала, что на него напало большинство, а он не готов к защите. На его стороне очевидно была и молчавшая все время Маруся Любовина. Такая красавица не могла не быть доброй. Этого требовала гармония. Красота невольно тянулась к красоте, а Саблин знал, что он красив. Он принял вызов ради нее. Он все время чувствовал на себе взгляд темно синих глаз Маруси, хотел блеснуть перед нею умом и не ударить лицом в грязь. Он чувствовал, что она, все время молчавшая, волновала своим взглядом всю молодежь и она сталкивалась мнениями ради нее.

Союзником была и белобрысая с прыщами на лбу девушка и красивая барышня, сидевшая рядом с madame Мартовой. Одна была слишком некрасива, другая напро-

тив хороша собою и потому обе наверно имели добрые сердца.

Вихрастый гимназист открыто стал на сторону Саблина, студент с кованым воротником тоже ободрительно смотрел из своего угла. Он был видимо свой, не из кухаркиных сыновей, или хотел казаться таким и потому, хотя и возражал, но возражал слабо, видимо только для того, чтобы не потерять своего веса в этом обществе.

Было несколько безразличных. Три барышни сидели рядом подле недурненькой гимназистки, перешептывались между собою, смеялись, толкали друг друга и видимо далеко были от всего этого спора. Здесь, как и везде в России, барышни сбились в один угол стола, к самовару и хозяйке дома — мужчины заседали на другом. Большинство курило, не спрашивая позволения хозяйки.

Самыми непримиримыми были Павлик, бледный нездоровый и злой, студент в тужурке, технолог, еще два гимназиста и маленькая девица с тонким длинным носом похожим на птичий клюв, которую Саблин про себя прозвал „пигалицей“. Саблин заметил, что его противники были все некрасивы, болезненны, имели какой либо физический недостаток. Товарищ Павел подергивался, технолог слегка заикался, у студента в тужурке одно плечо было короче другого, пигалица была безнадежно безобразна — вероятно это влияло на них и усиливало их злобность. Напротив те, кто старался примирить были или красивы как Маруся Любовина, вихрастый гимназист и студент с кованым воротником, или если были совсем некрасивы, как Варя Мартова, то были здоровы и хорошо сложены. Варя Мартова — сним с нее ее круглое курносое лицо с близорукими глазами в очках — красавица, Русская полная красавица с большой грудью, широкими бедрами и полными белыми руками... Видно, подумал Саблин, верна Русская поговорка — Бог шельму метит.

— Я с вами совершенно не согласен, — начал он свое возражение реалисту — злоба между людьми существовала независимо от того, имели они оружие или нет. Оружие явилось потом, как результат необходимости защищаться.

— Старо! Старо как мир. И давно позабыто! — закричал студент в тужурке. — Homo homini lupus est*) — это оставить, это забыть надо. Христианство и гуманитарные науки внесли совершенно иной взгляд на человеческие отношения.

— Но, — вдруг возразил студент с кованым воротником, — именно христианство породило бесчисленные войны, крестовые походы, иезуитизм и инквизицию.

— Да, неправильно понятое, — звонко, действительно как пигалица, прокричала маленькая девица. — Но христианство, претворенное в социализм несомненно прекратит войны.

— Или превратит их в бесконечную классовую борьбу, — вставил вихрастый гимназист.

— Товарищи, — воскликнула из за самовара Мартова, — но мы опять далеки от темы.

— Тезисов нет, — сказал студент технолог.

— Я поставил вопрос совершенно ясно, — сказал реалист и получил уклончивый ответ. Я поясню. Мировое положение так запуталось, народы вооружились и потому войны стали вполне возможны. Мир обратился, как бы в лук с натянутой тетивой. Каждое мгновение может начаться пожар мировой войны. И я утверждаю, что для того, чтобы прекратить такое невозможное положение необходимо кончить вооружение, перековать мечи на орала. Когда не будет военного привилегированного сословия, не будет офицеров и воинской повинности, войн не будет.

— Нет, это не так, — возразил Саблин. — Это утопия. Сделать так, чтобы все разоружились невозможно. Но допустим, что то сделано. Но разве для того, чтобы воевать, нужны магазинные ружья и скорострельные пушки? Достаточно выломать палку, взять самый мирный инструмент, молоток, топор, серп, или косу, чтобы стать сильнее человека голого. Малейший не разрешенный или неразрешимый спор и драка готова, а драка между народами — война. Военная наука..

*) Человек человеку — волк.

— О!.. Какую еще науку выдумали! — воскликнул технолог. — Да разве есть такая?

— А как же, — уже владея собою возразил Саблин. Маруся его вдохновляла. Он видел сияние ее глаз, радость в них отраженную всякий раз, как он что либо удачно ответил. — Военная наука есть и она также точна, как точна математика. У ней есть свои аксиомы, у ней есть свои теоремы и подобно тому, как в математике Пифагор, Ньютон открыли нам законы непреложных истин, в военной науке великие полководцы, начиная с Александра Македонского и Юлия Цезаря оставили ряд выводов, составивших то, что вошло в основу тактики и стратегии.

— Ну, например, — снисходительно сказал технолог, готовый разбить по пунктам все, что попробует сказать Саблин.

— Например, — отвечал Саблин, — Наполоен нам завещал, что для того, чтобы победить, нужно в известном месте, в известное время быть сильнее противника. Он сказал нам *les gros bataillons ont toujours raison*.*) И мы, например, часто проигрывали сражение и компании только потому, что надеялись на доблесть Русского солдата и на Русское авось и вели бой батальонами там, где надо было навалиться корпусами... Другое правило говорит нам, что начатую победу надо довершать непрерывным, неутомимым преследованием. Дорубать до конца. Петр Великий сказал по этому поводу — „недорубленный лес вырастает скоро”...

— Ужас! Ужас! — запищала пигалица. — И вы этому ужасу даете святое имя науки.

— Наука убийства! — с отвращением проговорила одна из бледных барышен и презрительно поджала губы.

— Это не наука, — сказал студент в тужурке. — Если играть такими аксиомами, то и остановку во фронт можно ввести в догмат науки.

— У них есть и другие аксиомы, — ядовито сказал реалист. — Их Суворов сказал: — за битого двух небитых дают.

*) Большие силы всегда себя оправдают.

— Он не совсем так сказал — успел только вставить Саблин, как на него мощным басом обрушился студент в куртке.

Ну что вы говорите! А Фридриховское изречение, что нужно, чтобы солдат боялся палки капрала более нежели пули неприятеля.

— А Аракчеевское: — нужно забить десяток, чтобы выучить одного.

— Шпицрутены и палки, палки... кричала пигалица.

— Товарищи, спокойствие, — пыталась вернуть порядок Варя Мартова. Но страсти загорелись, к методичному спору молодежь не была готова, ей надоело сидеть за столом, хотелось движения, шума, крика.

— Мордобойство. Драгомиров пишет: „в войсках бьют”, — говорил реалист.

— Я сама видала на даче, как офицер бил денщика, — вставила пигалица.

— Штатских за людей не считают. Этим летом у театра Неметти конвойный офицер студенту руку отрубил и ничего.

— Скандалисты!

— Товарищи! это свинство, — кричал вихрастый гимназист. Это не спор, все на одного, не дают слова сказать.

— Мы личностей не трогаем.

— Всякая личность достойна уважения. Герцен смог даже о жандармских офицерах хорошо написать.

— Но принципы! Борьба против принципов.

— Социалисты правы! Они требуют всеобщего разоружения.

— Уничтожение армии!

Слова вспыхивали и летели, как яркие огоньки дешевого фейерверка. Саблину трудно было следить кто, что говорит, отвечать было бесполезно. Кому? на что? Но молодежь заражала его. Он покраснел и ему было хорошо в этой словесной свалке. Он начинал понимать спортивный интерес спора.

— И первые вооружаются — выкрикнул смело вихрастый гимназист. Все повернулись к нему.

— Как? Что? Вот ерунда, — раздалось восклицания — Товарищ, вы обалдели. —

— Бомбами и револьверами, — сказал гимназист и сам испугался своих слов. Все обрушились на него.

— Товарищи, это предательство.

— Опричник.

— Сам опричник!

— Господа! довольно.

— Это подлость.

— Гадость, — шипела пигалица. — Это самозащита. Борьба за свободу.

— Нет, каково! Каково! Подумайте. Социалисты вооружаются. Сказал тоже!

— А хотя бы и вооружались. Они вынуждены к этому гнетом правящих классов.

— Ну, господа, довольно, — вдруг сказала madame Мартова и встала из за стола. — Поспорили, повоевали и баста. Идемте петь.

Все задвигали стульями и стали выходить из за стола. Никто кроме Саблина не подошел благодарить хозяйку. Саблин хотел поцеловать ей руку, но она сильно потянула ее книзу и не дала ему это сделать. Здесь это было неприятно.

Студент в тужурке сложил свои руки рупором и диким басом, как кричат в театральном райке вопил: — Любовину! Любовину-у-у!...

XXXVII.

На другой день, в семь часов утра, Саблин пошел в манеж обучать смену новобранцев. В большом темном манеже горели круглые электрические фонари и чуть рассеивали мрак. Было холодно и сыро. Когда отворяли тяжелую дверь на улицу, густой белый пар столбом клубился из нее и тихо стлался по мокрому и скользкому земляному полу. Ротбек уже был на занятиях. В пальто при шашке, в фуражке, заломленной на затылок с опухшими от сна щеками и заспан-

ными глазами, он звонко, на весь манеж кричал: — Вольт направо! ма-арш... Равняться налево. Ту же левые шенкеля. Не давай откидывать зада наружу, а правым держи лошадь!

Саблин поздоровался с Ротбеком и с солдатами и стал в стороне.

— Командуй, Пик, — сказал он.

Он был не в настроении, не выспался, какие то мечты, точно остатки сновидений, как туман после бури, носились у него в голове и мешали ему сосредоточиться на обучении солдат.

Ротбек бегал по манежу, поправлял, кричал, суетился.

— Да нет же, Меркулов, не так ты сидишь. Зачем на перед валишься. Смотри, вот как!

Ротбек приседал, стоя на расставленных ногах, подбирал поясницу, выгибался.

„Счастливым, Пик“, — подумал Саблин. — „У него всегда одинаковое настроение, он может заставить себя после кабалки быть таким же исправным, как всегда. Ему спать хочется, он полон иных впечатлений, а вот заставил же себя уйдти в солдат“.

„Беспутный, верно шатался всю ночь, а теперь, как ни в чем не бывало ушел в смену, в кулаки, носки, подбородки, шенкеля и поясницы... Счастливым Пик!.. Я так не могу... Вот, позвали ее петь. Студент мрачным басом кричал: Любовину! Любовину!.. и она вышла. Какая легкая походка! Какие маленькие ножки! Прошла по залу, стукнула каблучком и нагнулась разбирать ноты. Прищурились красивые глаза, маленькие розовые пальчики листают тетрадь. — „Я спою вам „Голодную“ Цезаря Кюи, слова Некрасова“ — и стала у рояля. Глаза сделались печальными, лицо осунулось, грудь высоко поднимается, горе и страдание отразились в очах. Да она — артистка! В двух, трех нотах дрогнул не выработанный голос, но вообще — она поет прекрасно. Широкий диапазон ее голоса дает ей возможность справляться с трудными местами сложной музыки Кюи. Кончила и тихо улыбается на шумные аплодисменты молодежи. Поет еще... „Холодно... голодно в нашем селении...“ Это „Молебен“.

Кто она? Почему своим талантом, силою своего голоса она будит все одни печальные, мрачные мысли. Голод... неурожай... засуха... Кто?... Кто она? Он подошел к ней. Она, побледневшая от волнения, стояла у рояля и пальчики ее рук стали совсем белыми, она держалась за край черной доски. Барышня с прыщами на лбу, аккомпанировавшая ей, наигрывала мелодию и эта мелодия придавала их пустому разговору какой то особенный смысл и делала его значительным.

Какой сильный талант у вас, — сказал Саблин и запнулся. Он не знал, как ее назвать. Их познакомили за чаем: — „моя подруга — Маруся”. Маруся подняла на него глаза, глубокие, темные, синие, сафировые. И красивы были они при ее белом лице и темных на лоб сбегających завитками каштановых волосах!.. Она — красавица!

— Вы находите, сказала она. Румянец смущения залил ее щеки и виден стал белый пушок юности, окутывавший золотую дымкою нежный овал ее лица.

— С таким голосом, с такою наружностью вам на сцену надо. Вы покорите всю Европу, весь мир будет у ваших ног.

— Оставьте, сказала она.

— Вы в консерватории?

— Нет. Отец мой хочет, чтобы я была ученой женщиной. Я на математическом отделении высших женских курсов.

— Что вы! Вы и логарифмы! Вы и интегралы и дифференциалы. Может ли это быть?

А почему же нет?

Она смелее посмотрела на него. В его серых глазах она увидала ум и волю, сильную, стальную волю. Отонек сверкнул в темной точке блестящего зрачка и Саблин понял его значение. „Поборемся”, сказал ему этот огонек. „Поборемся”, подумал Саблин. „Увидим, кто победит”. Какой то ток теплом пробежал по его жилам и стройный он стал еще стройнее.

— Почему вы выбрали такие пьесы? Разве одно горе на земле?

— Много горя, очень, очень много горя, — сказала Маруся и поджала губы. От этого лицо ее стало старше, суше,

оживление пропало. „У нее чудная мимика”, — подумал Саблин. Она — артистка, но скрывает это.

— Но много и радости, — сказал он, ощущая трепет от сознания знакомства с восходящей звездой театрального мира.

— Кому радость, кому горе... — сказала Маруся. — Если бы вы видели страшную бедность Русских крестьян. Есть нечего. В избе холодно, пусто... Дети плачут... О-оо! — Маруся вздрогнула и закрыла лицо руками. — Как можно быть богатым!.. Если бы у меня были средства — я бы все, все отдала неимущим.

— По евангелию?..

— Нет... По чувству долга. Что евангелие! Люди знают его уже скоро две тысячи лет, а стал мир лучше? Нужно другое учение, более сильное, более действительное.

И она ясными глазами заглянула в самую душу Саблина. Кто она? Кто?

— Смена стой! — командует Ротбек.

— Саша, Саша... Эскадронный! — в полголоса говорит Ротбек, подбегая к Саблину.

„Милый Пик”... „А! Гриценко и Мацнев входят в манеж”. Их фигуры силуэтами рисуются в облаках пара растворенной двери.

— Смир-рна! — командует Саблин — господа офицеры! — и идет с рапортом к Гриценке.

Гриценко молодцоватым веселым голосом здоровается с новобранцами.

— Здорово молодчи-кки! — кричит он, и глухо с разных углов манежа отдаются голоса смены: — „здравь... ж-лаем... ваше выс-коблагородие”. Эхо отдает голоса.

— Командуй, Пик! — говорит Гриценко. — Ну, как веселился вчера Саша? Не вмер со скуки... А Пик, знаешь, где ночевал? Эх Пик, Пик... мал воробей, да удал.

— Много народа было? — спросил Мацнев улыбаясь и показывая гнилые зубы. — Не было хорошеньких девчонок? А, признайся Саша, было на что поглядеть? Там иногда такой свежак попадет — просто прелесть. Смотри, не прозевай! Лови момент. Можно.

— Только осторожно, — сказал Гриценко, не глядя на них, но осматривая смену, — это tiers etat*) такое самолюбивое. Того и гляди под венец вляпаешься. Тогда полк тью-тью... Труби в армии, да плоды детей. Они на это горазды... Зайченко, каналья! Как сидишь! А, как сидишь, мерзавец! Собака на заборе... Подбери, ж... подбери под себя, ишь раз-зява!

„Свежак”, думал Саблин... „Свежак”. Маруся „свежак”. Вот они так всегда. У них, особенно у Мацнева, всегда такой подход к женщине и не могут и не хотят они видеть ничего возвышенного, чистого. Не понимают они.

„Холодно... голодно в нашем селении” — казалось слышал он густое низкое меццосопрано Маруси.

В углу манежа Ротбек бежал рядом с солдатом, ехавшим рысью и, вцепившись обеими руками в голенище его сапога, качал его ногу, то прижимая ее к лошади, то отделяя.

— Вот это шенкель, кричал он задыхаясь, понимаешь, братец, вот это значит дать шенкель! Ты ее жми, а она подбираться будет, трензель подбери, шенкель дай; шенкель дай, трензель подбери, понял, а понял, вот так... вот так... фу! уморил!

XXXVIII.

Может быть Саблин и забыл бы Марусю среди Петербургских удовольствий и развлечений зимнего сезона, может быть он и пропустил бы очередной четверг у Мартовой со спорами зеленой молодежи и пением Маруси, если бы она сама о себе не напомнила письмом.

Саблин, конечно, не знал, что Маруся писала ему по поручению и отчасти под диктовку Коржикова и письмо ее его тронуло и поразило. „Милая девушка”, подумал он, „да ведь она „наша!” Она наверно дочь генерала, офицера, она любит армию, она видит недочеты нашего быта и страдает за них”.

*) Третье сословие.

На восьми листах хорошей плотной почтовой бумаги Маруся писала ему свои мысли об армии, о государстве, о народе.

— „Многоуважаемый Александр Николаевич”, — начинала она свое письмо — „простите, что не зная вас беспокою вас своими мыслями и вопросами. На прошлой неделе у Екатерины Алексеевны я до боли почувствовала во время споров, что люди раскололись на два мира, непонимающих друг друга, боюсь, что взаимно друг друга ненавидящих. Мне стало страшно. Страшно не за Россию, а за весь мир, потому что это явление не только Русское, но явление мировое. Мир вышел из эпохи феодализма, низшие классы, освобожденные от опеки классов высших, хотят жить. Вы спросили меня, почему я выбираю такие романы, почему полно грусти мое пение? Отвечу вам. Вас надо разбудить. Вы стоите наверху. Я, конечно, говорю не про вас лично, Александр Николаевич, я вас ведь совсем еще не знаю, я готова, я хочу верить, что вы не такой, я хотела бы полюбить вас, но ваше общество, правящий класс не видит и не хочет видеть того, что происходит внизу. Вы говорили тогда, и так горячо говорили, о высоте и доблести военной службы, вы говорили о почете быть солдатом, защитником Родины. Верите-ли вы сами в то, что говорите? Потому что — как совместить ваши слова и ту надпись, которую я случайно прочла вчера, проходя через Таврический сад: „Вход нижним чинам и с собаками воспрещается”. Если солдат звание высокое и почетное, то он не нижний чин, если нижний чин все таки солдат, то как приравнивать его к собакам? Разве можно это делать и не ваш-ли долг возмутиться против этого? У меня много, много вопросов. Вам зададут их в следующий четверг и мне бы так хотелось, чтобы вы на них хорошо ответили. Нас, например, коробит отдание чести и особенно остановка во фронт. В солнечный праздничный день неприятно ходить по Невскому, жалеешь юнкеров, кадет, солдат. Сколько раз они отдадут честь, станут во фронт. Ужас! Почему офицеры не носят штатского платья, как это позволено за границей? Правда ли, что в войсках бьют, как об этом откровенно пишет Драгомиров и

что облетело все газеты? Неужели офицер не может обойтись без денщика? Подумайте еще о выборном начале. В шайке разбойников атаман был выборный. Если солдат вверяет свою жизнь офицеру, то не вправе ли он знать, кому он отдает свою жизнь, не вправе ли он выбрать сам себе начальника? Все это волнует и раздражает. Вам не скажут, потому что вас боятся, а нам, простым людям, скажут. И я вижу, как глухо поднимается озлобление и я стою перед страшным вопросом — а что, если одна половина мира возненавидит другую и пойдет истреблять ее...”

Саблин никогда еще не получал подобных писем. Он не думал об этом. Маруся всколыхнула те самые вопросы, мимо которых он скользил. Хотелось ответить, оправдаться и оправдать армию и Государя. Саблин чувствовал, что обвинения касались и Государя, потому что все шло от него. Саблин с письмом Маруси съездил к Ламбину, с ним вместе ездили к товарищу Ламбина, поручику Дальгрону, бывшему на старшем курсе Академии и Саблин приготовил к четвергу целый доклад с историческими справками, с объяснениями, с цитатами.

У Мартовой его встретили дружелюбно, как своего. К нему привыкли. Вихрастый гимназист не отходил от него, стараясь услужить, Маруся крепко, по товарищески пожала ему руку, товарищ Павел через очки посмотрел на него добрыми глазами и снисходительно сказал: — „выслушаем армию”.

Саблина слушали внимательно, он говорил хорошо, и хотя после его речи опять все накинудись на него и он понял, что он никого не убедил, но он чувствовал себя центром кружка и заметил, что оставил впечатление. Маруся горячо благодарила его за его доклад и смотрела на него, как бы говоря: — „мы сообщники”.

После этого четверга началась переписка между Марусей и Саблиным. Переписка велась на серьезные темы. Она заставила Саблина прочитать много книг о политической экономии, о социализме, о рабочем вопросе. Переписка развивала Саблина, а его письма завлекали Марусю.

Сначала отнеслась к нему свысока.

„Красивый барин. Вербный херувимчик” — так назвала она его. Считала пустым, глупым и необразованным. Когда писала под диктовку Коржикова переделывала фразы попонятнее, избегала специальных терминов. Ответы Саблина показали, что „вербный херувим” много читал и много думал. И незаметно в течение зимы создалась между ними духовная близость. Они уже кокетничали друг перед другом в письмах, красивым оборотом речи, эффектным сравнением, необычайным парадоксом. То Маруся вставит в письмо длинную французскую фразу, чего никогда в письмах к другим не делала и что считала неприличным, или напишет английское слово по-английски и как бы подчеркнет свое образование, то Саблин серьезное письмо закончит стихами Апухтина или Фета, подобранными к месту и пропадает сухость письма и за серьезными строками о политическом вопросе глядит любящее сердце и говорит о том, что они близки друг к другу. У Мартовой они были на людях. Маруся всегда молчала. Только пела после споров, пела много, хорошо, с увеличением, но все пела серьезные вещи, где не говорилось ни о любви, ни о страсти.

„Кто она?” — мучительно думал Саблин и сам окутывал ее тайной рождения, тайной происхождения и прочил ей великую славу. Он хотел ее видеть близко, наедине, так, чтобы прямо сказать ей, что она ему очень нравится, что она заколдовала, заморозила его и спросить прямо, кто она? друг или недруг.

Он увидел ее в Александринском театре на Комиссаржевской. Просидел два акта, слушал глубокий голос артистки с душевным надрывом, трогавший самым тембром своим и думал: — „чей голос напоминает ему голос Комиссаржевской?.. Да, голос Маруси”.

В антракте он стоял, опершись спиной о барьер оркестра и небрежно держа в опущенной левой руке, затянутой в перчатку, цветную фуражку и обводил глазами ложи, ища знакомых. Случайно поднял глаза к третьему ярусу и увидел Марусю. Она сидела на первой скамейке балкона и когда увидела, что он смотрит на нее улыбнулась ему. Бессознательное счастье было в этой улыбке. Саблин сейчас же по-

шел между кресел к выходу. Маруся поняла его движение и встретила его на лестнице у бельэтажа. Они вошли в фойе. Народа было мало и, когда проходили они мимо рослых часовых гвардейской пехоты, стоявших у входа в Царскую ложу, солдаты, стукнув прикладами ружей, шеголевато, „по-ефрейторски”, взяли на караул и вскинули головы на Саблина. Маруся вздрогнула и рассмеялась

— Это вам? — сказала она, — Неужели это вам нужно? Вам нравится?

И сейчас же смутилась, робко заглянула в его лицо, точно хотела подсмотреть, не сердится ли он и, заметив, что лицо его стало грустным, сказала:

— Не сердитесь, пожауйста. Я не знаю, может быть, вы и правы: все это нужно.

Саблин заговорил об игре Комиссаржевской. Они ходили в толпе по корридору, зеркала отражали их и он не мог не заметить, как красива была Маруся и она не могла не видеть его красоты подле своей.

Лукавая улыбка играла временами на ее губах. „Сестра солдата, дочь рабочего”, — думала она, — „и рядом с ним, аристократом... Красота сравняла нас”.

Они не помнили, что говорили. Было так хорошо, когда Маруся вскидывала на него свои голубые глаза, трепетали темные ресницы и она быстро кидала:

— Вы находите, вы находите... Вы тоже заметили? А заметили вы, как сказала она „мне жаль вас”, и начала говорить под музыку. Ах это так было красиво! И как, как она играет! Ведь это гений, Александр Николаевич. Какое счастье быть такой артисткой. Тысячи людей слушают ее и живут ее словами, музыкой ее голоса.

— Вы, если захотите, будете лучше ее.

— Вы думаете?.. Нет, серьезно, Александр Николаевич, скажите: вы находите, есть у меня талант? Нет, вы шутите, шутите. Ах это так жестоко, если вы смеетесь и говорите нарочно неправду. Я хотела бы... Я сама не знаю, что хотела бы... Вы наверно думаете: вот глупая девочка сама не знает, чего хочет.

— И занимается интегральным исчислением.

— Оставьте, пожалуйста. И ничего подобного. Я может быть брошу все это. Может быть я солгала вам.. Я пойду на сцену. Вы ведь совсем не знаете, кто я такая.

— Красивая девочка, — сорвалось у Саблина. Она опустила глаза, ее щеки поблекли.

— Не надо так.. тихо сказала она. — Ах не надо, не надо так!.. Никогда не будем говорить об этом. Это не хорошо. Не идет совсем к вам. Мы будем друзьями.

Звонки мешали. Хотелось спешить занять свое место, слушать и смотреть на сцену, упиваясь драмой, как можно ею упиваться только в девятнадцать лет и жаль было расстаться.

— Когда же мы увидимся? — спросил он ее.

— В четверг. Вы будете?

— Мне хотелось бы увидеть вас опять так, как сегодня, чтобы говорить с вами, чтобы вы были только для меня.

— Хотите, в воскресенье пойдем в Эрмитаж. Вы любите картины? Я покажу вам ту, перед которою благоговею. „Мадонну” Мурильо.

В воскресенье они четыре часа ходили из зала в залу, стояли перед картинами, молчали и им было хорошо.

Из медных отдушин в полу шло тепло, зимний сумрак сгущался по углам и верхние картины были уже не видны. Художник, копировавший „Мадонну” складывал палитру и и вытирал кисти. Пахло маслом и скипидаром. На холсте ярко горели краски и „Мадонна” стояла точно обновленная и освеженная в копии. Маруся подняла голову на картину и полуоткрывши рот смотрела в лицо „Мадонны”. Ее глаза были широко раскрыты. Восторг отражался в них и слеза умиления покрывала их блестящею пеленою.

— Так написать! — прошептала она. — Для этого надо было верить и любить.

Саблин не смотрел на картину. Он не сводил с Маруси восхищенного взгляда.

Маруся повернулась к нему и засмеялась коротким смущенным смехом.

— Что вы так смотрите на меня? — сказала она и стала пунцовой под его взглядом.

— Как вы похожи, — тихо сказал Саблин.

— На кого?

Маруся догадалась и опустила глаза.

— Оставьте, сказала она. — Как вам не стыдно. Не говорите пустяков. Она небесная... а я простая земная девушка со всеми недостатками дочери земли.

— Для меня вы... само небо. Вы тянете меня кверху. Вы пробудили во мне все лучшее, что спало во мне крепким сном.

Маруся строго посмотрела на Саблина, ничего не сказала, и скорыми шагами пошла к выходу. Звонко застучали ее каблуки по мрамору галлерей со статуями, не оборачиваясь, опустивши голову, она спускалась по мелким ступеням широкой лестницы, два раза приостановилась, точно голова у нее кружилась. Швейцар ей подал шубку. Они уходили последними. На улице было еще светло. Гас ясный мартовский день. Красные лучи заходящего солнца горели золотом на больших окнах Штаба Округа. Александровская колонна отбрасывала на белый снег длинную тен густого синего цвета. Из под арки выезжали парные сани и воронные рысаки, под белой сеткой четко стучали копытами. Выездной лакей в ливрее с широким собачьим воротником на плечах стоял сзади саней и держался за кисти полости. Вправо звенели конки и уносились под темные сучья аллеи.

На солнце таяло, а в воздухе крепко пахло начинавшимся морозом.

— Мария Михайловна, — сказал Саблин, — поедемтекататься. День так хорош. На островах теперь должно быть чудно.

Маруся вскинула глаза на Саблина. Что то просящее, жалкое показалось в ее взоре. Она боролась с сильным желанием отдаться обаянию ясного дня, солнца, красоты зеленого над городом неба, и ехать с ним, чужим и близким, тесно прижавшись в узких санях, к простору родного залива и знала, что нельзя этого. Борьба длилась секунду: она победила свое сердце.

Темные ресницы опустились, закрыли на половину глаза и скрыли ее помыслы и желания. Лицо стало спокойным и гордым.

Твердая воля застыла на нем.

— Благодарю вас, Александр Николаевич, но уговор лучше денег. Никогда меня об этом не просите. Это лишнее. Этого нельзя. Вы направо — я налево.

— А если и мне налево?

— Тогда мне направо.

Саблин вздохнул. Он знал уже, что переспорить Марусю нельзя. Она пожала ему руку и спустившись с крыльца Эрмитажа пошла к штабу Округа.

Саблин долго смотрел ей вслед, смотрел, как мелко ступали маленькие ножки, по-петербургски, без калош, по усыпанном желтым песком гранитным плитам, посмотрел, как не оглянувшись на него свернула она к Мойке и скрылась за домами.

„Что же это такое?“ — подумал Саблин. — „Увлечение, страсть, любовь, симпатия?“ — Ему было так хорошо, как еще никогда не было.

Жизнь улыбалась ему, жизнь дарила ему счастье.

XXXIX.

Весною должна была быть в Москве коронация Государя и Государыни. От полка шел первый эскадрон и трубачи. Саблин был во втором эскадроне, но командир полка приказал его прикомандировать к первому и ему ехать в Москву. Саблина огорчало то, что его посылали на коронацию не потому, что он был хороший фронтовик, что он последнее время внимательно относился к службе и знал солдат лучше, нежели другие офицеры, а только потому, что он физически был красив и в стиле людей первого эскадрона. Это его оскорбляло. На него смотрели, как на красивое животное. Мацнев с обычным цинизмом высказал это.

— Да, милый Саша, — сказал он, — не родись умен, не родись богат — скажу вопреки пословице, — не родись счастлив, а родись красив. Красота это все и для мужчины еще более нежели для женщины. Помяни мое слово, Саша, ты флигель-адъютантом со временем будешь, командовать полком будешь — тебе все. Потому что ты — мазочка. Посмотришь на тебя и хочется что либо приятное тебе сделать. Женщина хочет угодить тебе и мужчина хочет тоже порадовать тебя.

— Ты один говоришь мне неприятности, — сказал Саблин, хмуря свои тонкие соболиные брови.

— Кто же скажет тебе правду, милый Саша, ежели не я, старый циник. Я тебя берегу, как зеницу ока, я, может быть, один из немногих, который за твоим смазливym личиком видит... или хочет видеть прекрасную душу, а ведь другим ты только декорация, только портрет, на который приятно смотреть.

Сами по себе коронационные празднества занимали Саблина. При том обожании, которое испытывал Саблин к Государю ему было радостно увидеть Царя Русского во всей его славе, в короне и порфире, окруженного ликующим народом.

По приезде в Москву Саблин отдался наблюдениям. Свободного времени было много. Вся служба состояла из караулов, да из стояния шпалерами на улицах и на площадях. Все это было не каждый день, а когда этого не было, офицерам делать было нечего и Саблин шатался по тем улицам, где ожидали проезда Государя и где была толпа. Он наблюдал толпу, слушал то, что говорили в народе и старался понять отношения простых людей к Царю.

Саблин скоро почувствовал, что и для народа, как для него Царь был существо особенное, полубог. Царь мог только миловать, только дарить. Царь был источником радости. Все то, что исходило от Царя было священо. Простые женщины и дамы общества старались поднять цветы, на которые ступала его нога. Народ толкался и давил друг друга, чтобы увидеть его и видел не то, что было, а то, что хотел видеть. Царь и Царица казались дивно, сказочно прекрас-

ными, совершенными существами. Государь казался громадного роста и рисовался с чарующей улыбкой. Им восхищались. Но во всем, что раздражало народ, что ему не нравилось виноваты были господа, которые окружали Государя, не допускали к нему народ и всячески обижали, угнетали и обкрадывали народ. Здесь, в Московской коронационной толпе, Саблин впервые почувствовал какую глубокую пропасть ставил между собою и господами народ. Царь был для народа божество, а господа те темные силы, которые всячески старались удалить это божество от народа из своих личных и всегда материальных выгод.

Была иллюминация. Весь Кремль с Иваном Великим, как кружево огней повисли в темном небе, расцветенные по фасадам электрическими лампочками. Это было чудо роскоши и красоты. Проекторы бросали лучи света по улицам, горели фейерверки и бенгальские огни. Жизнь превратилась в волшебную сказку и народ шатался по улицам и бульварам, ахал, охал от удивления, но был недоволен и озлоблен.

— Разве такая иллюминация должна быть, — говорил мастеровой, шедший сзади Саблина. — Государь десять миллионов отпустил на иллюминацию, а потратили всего пять.

— Куда же остальные девались? — спросил его какой то **мужик**.

Мастеровой пугливо оглянулся кругом и убежденно сказал:

— Господа украли.

— Ну дела! — вздохнул мужичек, — даже и тут.

Было и другое, что подметил в толпе Саблин. Народ боялся чего то худого, что могут сделать с Царем и не верил друг другу. Но, что Саблину было особенно противно, боялся не за Царя, а за себя, как бы самому при этом не пострадать. Казалось бы, при той всепоглощающей любви к Государю, которая была в народе и при боязни, что с Государем может, что либо случиться всем бы любящим его сплотиться подле, составить плотную стену вокруг Царя, не допускающую никакого злоумышленника. Но было

иначе. Толпа тянулась к Государю, хотела его видеть, но и боялась его. Подле него было опасно. Во время иллюминации в одной из побочных улиц, по которой, как то наверно знал Саблин, Государь не должен был проезжать раздался сильный взрыв. Весь народ, а кругом Саблина была громадная толпа, метнулся в сторону от взрыва — Саблин с немногими бросился узнать в чем дело. Взорвало газ в подвальном помещении, где, по счастью никого не было. Выбило стекла из окон и начался пожар, который тут же и был потушен домашними средствами. Люди прибежавшие сюда радовались, что все кончилось так просто, но были разочарованы.

Подле самого Государя, в Кремле, на Красном крыльце, толпились все больше одни и те же лица. Они старались не допускать посторонних к Государю. Они говорили мало, были озабочены и каждого, даже Саблина подозрительно оглядывали и Саблин понял, что эти мужчины, дамы и даже дети — это не народ, а агенты охранной полиции. Народ хотел видеть Государя, но вплотную подойти к нему он не мог. И потому Государь не мог видеть народа и подлинный народ не мог видеть Государя. Это оскорбляло Саблина. Саблин верил в народ и любил Государя, ему казалось странным и диким что народ не пускают к Царю. Он решил увидеть его на Ходынке, где было назначено народное гулянье, где Царь должен был явиться среди народа и пировать с ним, как пировал во дни оны Владимир Красное Солнышко, окруженный богатырями. Саблин знал, что на Ходынском поле были воздвигнуты трибуны, поставлены столы и приготовлено пиво, мед, пироги и сласти для народа. Саблин знал, что подлинный народ — крестьяне окрестных деревень, фабричные соседних громадных фабрик и мануфактур, прислуга домов собирались туда не только спозаранку, но шли накануне, чтобы получить Царские подарки. Шла и прислуга того дома, где квартировал у своей дальней родственницы Саблин. Саблина трогал тот придаток святости, который придавала эта прислуга Царскому подарку. Саблин знал, что подарок этот состоял из жестяной кружки, позолоченой и грубо раскрашенной с плохими ста-

рыми конфетами. Вся цена ему была полтинник и его можно было купить за эту цену, но шли, чтобы получить его даром, от Царя.

— Принесу и под образа поставлю, — говорила старуха кухарка. — Буду молиться, Царя-батюшку, Царицу-матушку помянуть.

Саблин решил встать до света и пойти не за подарком, а за светлыми чувствами народной любви к Государю.

XL

Солнце еще не поднялось за домами и чувствовалось только в длинных, точно ленивых теньях, которые отбрасывали от себя дома и деревья. Было свежо, но день обещал быть яркий, солнечный, душный. Золотистое марево пыли висело над городом, а поверх него высоким куполом опрокинулось глубокое синее знойное небо.

Несмотря на ранний час, улицы были полны народом. Саблину не нужно было спрашивать, куда идти. Все шли по одному направлению, ускоряли шаги, торопились, чтобы первыми придти на Ходынку. Знали, что подарков припасено много, что хватит всем и все таки торопились, толкались и злобно поглядывали друг на друга. Народом владела жадность. Не умиление от того, что предстоит увидеть на общем пире Царя с народом, не восхищение перед символом этого гулянья, как единства Царя и народа, а жадность получить что то даром, получить что то непокупное, гнала этих людей на Ходынское поле. Шли богатые и бедные и все принарядились, как на праздник. Много было детей, гимназистов и гимназисток, школьников, были бабы с грудными младенцами.

В этой суетливой, торопящейся толпе Саблин ловил себя несколько раз на том, что и он торопился. Он замедлял шаги, но толпа, обгоняя его подхватывала за собою и он снова шел скоро.

За Тверскими воротами, пройдя фабрику Сиу и несколько дач, Саблин увидел, что широкое поле открывавшееся

влево от шоссе было покрыто черною толпою и глухо гудело. Это его удивило. Он знал, что раздача подарков назначена после двенадцати часов, было около шести часов утра, а уже поле было запружено народом. Это заинтересовало Саблина и он подошел вплотную к толпе. И, как только подошел, почувствовал, что он уже закупорен в этой толпе и выхода ему нет. Шедшие сзади него толпами люди стали сзади него. Он огляделся. Рядом был толстый купец в длиннополом сюртуке, очень высокий ростом чиновник с орденом на шее, барышня со студентом в рубаше и тужурке и мастеровой.

— Что Господь грехам терпит, — сказал, отирая градом катившийся пот, купец. — Экая уймища народа, а городских не поставили.

— А вы по фараонам соскучились? — сказал мастеровой.

Купец скосил на него глаза и ничего не ответил.

— Распоряжение свыше было, — почтительно сказал чиновник, поглядывая на Саблина, — чтобы, значит, никакой полиции, никакого стеснения народа. Слышно, Государь Император изволил остаться отменно доволен тем порядком, какой был на иллюминации и приказал, чтобы полиции не было.

— Ах и народ же зверь! — сказал купец.

— Смотрите, что делают, — сказал, приподнимаясь на носки, чиновник.

— А что? — спросила барышня.

— Да, кажись, на забор ребята полезли, — сказал чиновник.

— Ну вот, смотрите пожалуйста, — сказал купец. — Этакое безобразие.

— Раздают, раздают подарки, — слышались голоса.

— Что же пускают что-ль? — спросил купец и осторожно, локтем отодвинув Саблина, протискался вперед.

— Вы куда лезете то, не спросивши. Вишь, как господина офицера придавили, — сказал мастеровой

— Куда лезу. Народ попер и я с ним.

Действительно сзади толпа наперла и подалась вперед.

— Господа не толкайтесь, не видите ребенок, — растерянно закричала в толпе какая то женщина.

— Где же его увидеть.

Спереди назад, через толпу протискивались какие то красные растерянные люди. Они несли платки с подарком.

— Раздают что-ль? — спрашивали их.

Они отирали пот, осматривались, как ошалелые и говорили глухим голосом.

— Там ребята забор перелезли. Так в народ кидают.

— Какой же это порядок?

— Там не выстоишь, братцы. У вас хорошо. Простор... а там барышню одну насмерть задавили, так мертвая и стоит с народом. И вынести нельзя.

— Экой ужас рассказываете.

— Да ужас и есть. Там Прохоровские ребята забор перелезли, пива бочку на столбах увидели, решили свалить, чтобы напиться пива-то. Ну и раскачивать стали столбы-то.

— Что-ж свалили что-ль?

— Свалили. Не то осемнадцать, не то двадцать восемь человек на смерть задавило, бочкой то. Да.

— Ну что же народ то?

— Народ то? Народ пиво лакает. Известно всякому лестно, даровое, царское.

— Так, говоришь, на смерть задавило людей то.

— Ну известно на смерть. Говорю: лежат. Упокойники совсем... бе-елые!

— А народ, говоришь, пиво лакает?

— Да пьет-же! ему что! Народ ведь, не люди! Он озверел теперь народ то. Ему все одно.

— Что-ж это ребята, там выдают. А мы стоим зря. Не такие что-ль люди? Ну навались! Айда-те вперед.

Толпа пошатнулась и подвинулась вперед. Саблин не хотел идти, знал, что это безумие и не мог не идти, толпа несла его.

— Осторожнее, осторожнее, тут лежит кто то.

Впереди открывалось свободное пространство. И казалось странным, что там не было людей, тянуло заполнить его, чтобы ближе стать к заветному забору. Толпа устре-

милась к нему. Задние напирали, передние почти бежали и не могли остановиться. Но когда подходили — старались пятиться, кинуться в сторону и не могли. Толпа толкала их. Земля круто обрывалась под ногами, здесь были рвы, остатки фундаментов бывшей здесь выставки. Валялись камни, обломки кирпичей. Передние, вытаращив в ужасе глаза, спотыкались и падали на дно, пытались встать, поднимались на четверинки, кричали что то, но уже сыпались на них другие люди и ров наполнялся телами. Туда нельзя было идти, надо было дать встать, распутаться этим лежащим людям, но остановиться было невозможно. Сзади теснили и толпа сталкивала передних, наполняя ров, заставляя идти по лежащим.

— Куда прете! Здесь нельзя. Люди лежат.

— Не напирайте! По людям не пойдешь.

— Живые?

— Кто знает. А только полегче бы надо.

— Вали, вали вперед, что стали?!

— Там выдают! Выдают-ют! Пустили!!

— Навались ребята, дружей!

— Да не давите так!

— Сами не давите. Меня давят, я ничего.

— О Господи, страсти какие!

Во рву еще ворочались и шевелились люди, но уже нельзя было не ступить. С ужасом и отвращением становилась нога на чью то спину, на детскую руку, на лицо. Старалась легче пробежать, не ощущать живого тела, но сзади надавливали и чтобы самому не упасть, приходилось становиться прочно, на весь след.

— Вот страсти Господни!

— Лежат миленькие!

— Дождались подарочков!..

— Ну дела!

— И куда это полиция позадевалась!

Когда Саблин дошел до этого места, он остановился. Остановились купец, чиновник, и студент с девушкой. Они составили оплот, который толпа должна обтекать и, когда напор стал реже, они стали вытаскивать тела из канавы.

— О Господи! — стонал купец. — Вот дождались праздника то. Сколько их!

Их были сотни. Вправо и влево весь ров был завален трупами. Но могли быть и живые. К Саблину подошли еще сердобольные люди. Сообщили полиции и она явилась запоздалая, сконфуженная, виноватая. Вызвали сапер откапывать засыпанных, затоптанных землю людей, вызвали пожарных с бочками воды и линейками. Близился час приезда Государя, необходимо было привести поле в порядок. За забором шумел и волновался народ, слышался вой и пьяные разгульные крики. Здесь на истоптанном жарком поле длинными шеренгами укладывали мертвецов. Дети с бледными, зелеными, худыми лицами, искаженными мукой, гимназистик в синем мундире с серыми брюками, девочка гимназистка в черном переднике... Саблин проходил с ведром воды, принесенным студентом и отыскивал тех, у кого не ушла еще совсем жизнь.

— Вот этот, — кричала ему барышня, становясь на колени перед могучим телом бородача дворника — кажется дышет, господин офицер, дайте ему воды.

— Известно — асфиксия, разве ее предусмотреть, — говорил многозначительно чиновник.

Кое кто, больше мужчины, приходили в себя. Они тупо осматривались и мотали головами, ничего не соображая.

Мимо шли люди, уже добившиеся подарка. Они весело болтали, счастливые своей добычей. Проходили две девушки, просто и мило одетые, красные, помятые и каждая несла по три подарка.

— Я свой то ухватила, милая моя, да и кричу курчавому то, подавай милой еще. А он, такой галантер, — кидает два, говорит, пожалуйста мамзель, даровое, непокупное.

— Я сама расстаралась. Кофту мне разодрали, да грудь какой то озорник расцарапал, а только взяла один, вижу народ и по два берет, ня я три и захватила.

Оне наткнулись на длинные шеренги тех, кто шел и не дошел.

— О Господи! Чтой-то такое. Ужли-же убитые совсем?

— Да, народ то что делает.

— Зверь народ! Глянь, девушка. Да какая хорошенькая. Ведь любил ее верно кто-нибудь.

— Любил, да покинул. Нашу сестру всегда так, до первого несчастья, а там и бросил.

— Сколько их, больше тыщи.

Они проходили дальше.

XLІ

Несчастье на Ходынском поле не могли скрыть от Государя. Размеры его сильно уменьшили, отговаривали его ехать на поле и отменить праздник. Государь считал, что отмена праздника произведет худое впечатление на народ и иностранцев и приказал, чтобы праздник начали и сам поехал в открытой коляске с Императрицей на Ходынское поле.

С поля по левой дороге, идущей вдоль Петербургского шоссе медленно ехали пожарные линейки. Они доверху были наполнены мертвецами. Из-под брезентов, с краев свешивались ноги и тихо качались. Высокие, тяжелые сапоги бутылками и рядом ажурные шелковые чулки, башмачки и юбки с кружевами, чьи то старые большие истоптанные туфли и крошечные ножки ребенка. Смерть сравнила всех: богатых и бедных, старых и молодых. За четверками сытых **пожарных лошадей** медленно ехали ломовые подводы с тем же страшным грузом. Государь ехал по правой стороне шоссе и не мог не слышать печальных тихих звонков пожарных колокольцев, не мог не видеть длинной вереницы подвод. Он понял, что размеры бедствия скрыты от него, что произошла катастрофа. Императрица сидела с бледным лицом и красные пятна румянца проступили у скул и становились сизыми. Печально, горами трупов встречал ее, венчанную Царицу, Русский народ.

Из деревянного павильона, в который вошел Государь, было видно громадное море людских голов. Против павильона на эстраде были музыканты. Они играли народный гимн.

Внизу выла и ревела толпа. Большинство столов было смято ею, бочки с вином, пивом и брагой опрокинуты, мешочки с подарками разобраны. Но при виде Государя энтузиазм охватил толпою, шапки черной тучей полетели вверх и дикое „ура” толпы, понеслось по полю.

Императрица, бледная с пятнами на щеках, с ужасом смотрела на народ. Дикари Камеруна, вероятно, показались бы ей менее дикими. Она только что видела груды мертвых тел, растоптанных этими самыми людьми, и ожидала увидеть в них раскаяние, благоговейное, молитвенное молчание.

Мужик с растрепанной косматой бородою, в расстегнутом кафтане, в алой разорванной на груди рубаше, из-за которой выглядывала косматая черная грудь с протянутой бутылкой пива в руках, смотрел на нее дикими глазами и орал „ура”, притоптывая высокими сапогами по пыльной земле. Седобородый степенный старик, в длинном кафтане и белой рубаше стал на колени перед ложей и кланялся, касаясь лысой потной головой земли. Молодой парень крепко обнял румяную ядреную крепкую девку и размахивая шапкой над головою что то пел...

Это были пятна на общем фоне горланящей мятущейся по пыльному полю толпы. Но они врезались в памяти Императрицы на всю жизнь. И, когда ей говорили о народе, когда она думала о народе, ей вспоминались коленопреклоненный старик с библейской бородой, пьяный растрепанный мужик и парень с девкой на фоне черной, дико ревущей толпы. Ей вспомнились тихие печальные позывания пожарных линеек, везущих что то страшное, на что не надо смотреть и на что так и тянет взглянуть.

Сопровождавшие Государя, великие князья и княжны, бросали в толпу приготовленные в ложе подарки и толпа кидалась за ними и дралась, разрывая их на части. И все это покрывалось мощными великолепными звуками Русского гимна и на все это лились жаркие румяные лучи майского солнца, которое ни разу не изменило Государю в дни его священного коронования. Начался концерт. Пьесы из Русских опер раздавались над гомонящим людьми полем и все казалось, что сквозь мелодию скрипок прорываются

тихие позванивания колокольцев пожарных линеек, везущих с поля страшный груз.

Государь пробыл пол часа на Ходынском поле и поехал обратно. Пара серых рысаков его коляски, пугливо храпя и пожимаясь, обгоняла уже въ городе линейки с трупами. Детские и женские ноги тихо подрагивали, равнодушные ко всему, нелепо торчащие из-под брезентов...

Толпа ровным, мерным потоком текла за ними, стараясь их обогнать. Саблин шел в этой толпе.

— Государь проехал...

— Увидел, значит, что произошло.

— Что же, гляди, голубчик, твоих рук дело.

— Государь то при чем? Это полиция виновата. Ее дело смотреть. Государь не знает, что такое народ, а полиция то, она опытная. Ей и книги в руки.

— И не полиция виновата, а архитектор.

— Ах милая, ну, помяни мое слово, а только к худу это! В самый праздник и этакая уйма народа зря погибла. Тяжелое будет царствование. Кровавое...

Это было общее мнение, что это худой знак. Мистический ужас повис над Москвой. Хотели отменить остальные празднества — бал, парад и скачки, но Государь выдержал характер и до конца пробыл в Москве. В этот же вечер он появился с Императрицей на балу у французского посланника. Оба были бледны и улыбались тяжелой натянутой улыбкой. При них начались танцы. Ни Государь, ни Императрица не приняли в них участия. Они постояли в углу зала несколько минут и уехали.

Им бесконечно было тяжело. Они исполняли мучительный долг перед народом, но народ иначе думал и скверные люди, скверно говорили: „ишь сколько народа загубили, а им хоть бы что!.. веселятся!“..

Государь приказал произвести строжайшее расследование, наказать виновных, похоронить на его счет жертвы и выдать семьям щедрое пособие. Цифра этого пособия была раздута толпой до громадных размеров, были люди, которые завидовали, что вот, мол, у таких то Машутку задавили, и малый ребенок, восьми лет не было, а слышь многие

тысячи за то получают, а наша, дура, пришла здоровехонька и нам ничего? Но, когда дали жалкие сотни рублей, опять заговорили о том, что Государь то мол, дал, да господа себе украли и до истинных то мучеников и страдальцев, оно и не дошло.

По темным закоулкам Москвы тяжело вздыхали и говорили: — „да, до Бога высоко, а до Царя далеко“, доберись ка до правды то. „Царь то жалует, да псарь не жалует“... Затаенная злоба откладывалась в копилку до часа возмездия.

XLII.

Вечером этого дня Саблин был на одном вечере у родственницы княгини Репниной, где собрались все офицеры полка, бывшие в Москве. Он волнуясь, чуть не со слезами на глазах, рассказывал о всем том, что он видел на Хдынке, но его рассказ приняли холодно.

— Это обычное явление, — сказал, куря сигару, полковой адъютант. — На празднествах по случаю коронации королевы Виктории, на народном гуляньи погибло гораздо больше народа. Но англичане народ культурный, они сумели это скрыть и не создавали из этого какого то драматического события.

— Виновата полиция, — сказал князь Репнин, — нужно было вызвать казаков и конными людьми разрезать толпу, оттирая ее от входов. А этого сделано не было.

— Слышали, господа, Власовский, полицмейстер, только что застрелился. На него это так подействовало.

— И хорошо сделал, — сказал командир первого эскадрона, граф Пенский.

— Ему ничего другого не оставалось сделать если он мало-мальски честный человек, — сказал Репнин.

— Но, князь, — сказал горячо Саблин, — причем же тут Власовский, если он получил категорическое приказание Государя Императора не наряжать на гулянье полиции. Ведь гулянье на иллюминации прошло так великолепно.

Сказал, и по ледяному холодку, пробежавшему в обществе, почувствовал, что сказал не то, что надо.

— Не забывайте, корнет, — холодно сказал ему адъютант, — что не все приказания Государя Императора надлежит исполнять буквально. Иные надо исполнять по своему разумению. Благородный порыв Государя Императора, его трогательная вера в благоразумие Русского народа должны были быть широко оглашены, но Власовский должен был взять на себя смелость и не исполнить приказа. Народ его ругал бы, Государь, вероятно, сделал вид, что он не заметил, а если бы и заметил, то отставил бы Власовского от должности, а потом его оправдали бы, но не было бы этой гадости, которую не съумели даже скрыть от Государя и иностранцев.

— Мне рассказывали, — сказал штаб ротмистр князь Меншиков, — что толпа на Ходынке горячо приветствовала Государя. Русский народ — удивительный народ. Это прекрасный, святой народ, народ фаталист. Он бесконечно добр и притом он понял, что эти жертвы неизбежны. Когда строится что-либо великое необходимо пролить человеческую кровь. Я утверждаю, что вопреки общему мнению, что это плохое предзнаменование и знаменует кровавое царствование — это отличная примета. Мир, тишина и слава будут в России над головой ее великого Самодержца.

— Я говорил третьего дня частным образом с Его Величеством, — сказал князь Репнин и все общество придвинулось к нему и почтительно насторожилось. — Государь Император мечтает о вечном мире. Он преисполнен самых лучших желаний. Весь обряд коронавания на него подействовал чарующим образом. Государь Император поведал мне, что он чувствовал, как благодать Божия снизошла на него во время миропомазания. Он говорил, что он мечтает достигнуть того, чтобы войн не было, но всякий спор между народами решался бы на конференциях третейским судом. Он мечтает соединить при помощи России Францию, Англию и Германию, к которым одинаково благосклонен. В Бозе почивший император отлично знал, что делал, когда

в жены ему предназначил германскую принцессу и притом из небогатого дома.

— Это новая Екатерина Великая, — сказал толстый поручик Метелин, отличавшийся тем, что всегда говорил не впопад.

— Как царственно прекрасна была молодая Императрица в уборе Российской Царицы, — сказал адъютант, — в ней сочетались красота женщины с величием богини.

Саблин слушал, молчал, и не понимал.

„А как же“, — думал он, — „та прекрасная девушка, которая лежала, запачканная пылью, со следами каблука на виске, девушка отлично, богато одетая, хорошей семьи, валявшаяся никому не нужная на откосе канавы? Как же тот маленький гимназист с зеленым лицом, на котором резкими пятнами легли брови и густые ресницы — гимназистик, которого утром заботливо снаряжала его мама — как же он брошен на пожарные дроги и увезен? Что же это? Асфиксия? как сказал чиновник, несчастный случай, нераспорядительность Власовского, или громадная кровавая жертва людьми, принесенная какому то страшному не христианскому богу для того, чтобы новое царствование было прекрасно“. Но, чтобы ни было, Саблин не мог отрешиться от сознания, что все это было ужасно. Оно не красило Государя. Первый раз его сердце дрогнуло... О! ни на одну минуту он не перестал любить и боготворить Государя, но зачем, зачем это было? Зачем видели Государь и Императрица весь этот ужас и как могли они перенести его? Кажется теперь вечно будет слышать Саблин это тихое позвякивание дышловых колокольцев и будут чудиться человеческие ноги, мерно качающиеся из-под брезентов!

Он не искал виновных среди людей. Но сердцем своим он спрашивал Бога, как допустил Он, всемогущий, это? Как не устранил Он этой страшной казни невинных людей. И, если Он сделал это, то что хотел Он показать Царю и народу этим страшным знамением и зачем, зачем, кроткий, так любящий людей Иисус допустил это?!

Зачем?!...

XLIII.

Вернувшись из Москвы Саблин написал длинное письмо Марусе. Он откровенно и подробно, как матери, или сестре, описал не только то, что видел на Ходынке, но описал и свои чувства и свой ропот против Бога. Он просил свидания. Он писал, что только Маруся своим добрым молодым сердцем поймет его и, может быть, рассеет тот страшный кошмар, который навис над ним.

Маруся сейчас-же ответила. Она поняла его. Она назначала ему свидание в не совсем обычном месте, на взморье Финского залива, на Лахте.

Когда по широкой Морской улице, поросшей вдоль дачных палисадников старыми высокими ветвистыми березами Саблин вышел на взморье, он сейчас же увидел Марусю влево, на песчаном берегу. Она сидела на камне, спиной к нему в простеньком соломенном канотье, в белой блузке и широкой в складках синей юбке с белыми горошинами. На коленях у нее лежала мантилька и зонтиком она чертила по мокрому песку, на который тихо набегали волны. Легкий ветер играл ее темными вьющимися локонами и то загонял их за ухо, то трепал ими по щеке.

Она сидела задумавшись, и смотрела на море. Желтые волны тихо подымались, сверкая на вечернем солнце, пенились на вершине и рассыпались у ног Маруси, шелестя камышами. Дальше море казалось свинцовым и ярко вспыхивали на нем белые гребешки волн. Черный, неуклюжий с низкой трубой, из которой валил и далеко тянулся над морем густой темный дым, пароход тяжело тащил три черные низкие баржи. Парусная лайба, надувши паруса, шла ему навстречу. Дальше был низкий берег, чернели леса и двумя чуть заметными холмами вздымались Кирхгоф и Дудергоф. На общем темном фоне ярко белели здания и церкви Сергиевского монастыря.

Тихая печаль севера была разлита кругом. Море не чаровало, не грозило, не увлекало, оно точно нежно ласкалось к ровным берегам и широкому простору низменной тихой России. Пахло водою, гнилым камышем и смоляными кана-

тами. На мелком белом песке, обозначая границы прибоев в дни ветров и бурь лежали черные гряды старого изломанного камыша. За ними, едва на пол аршина луг, поросший зеленой чахлой травой с белыми пушистыми шариками одуванчиков.

Девушка стройная, просто одетая, с тонкою шеею оттененною бархаткой, так подходила к простому пейзажу северного моря, была так прекрасна на фоне мутно желтых волн, что Саблин остановился и загляделся на Марусю.

Маруся оглянулась, увидала его и встала ему навстречу. Саблин взглянул на часы.

— Нет, нет, Александр Николаевич, сказала Маруся, — не опоздали. Это я нарочно пришла пораньше, чтобы вдоволь налюбоваться этим прекрасным видом. Лучше его я не знаю.

Саблин смотрел на Марусю. Как она похорошела за этот месяц!

— Да, — сказала она, дожидаясь и не дождавшись ответа, — это очень простой вид. Тут нет ни фиолетовых гор, ни синего, темного неба, ни зеленоватой волны, полной таинственной глубины, всего того, что так любят художники, но для меня нет лучше этого вида, быть может потому, что он такой родной для меня.

Слово родной вышло особенно мягким, круглым и теплым у нее.

— А как же, Мария Михайловна, ваши рассказы о том, что родина понятие условное, узкое, что истинное человечество не должно знать этого слова, потому что вся земля, все человечество должны быть ему родными?

Вся та туманная философия, которой ее учили Коржиков и брат Виктор вдруг вылетела у нее из головы перед этим видом полным тихой грусти. В Эрмитаже, переходя от Веласкеза к Поль Веронезу, от Рубенса к Мурильо, от Рафаэля к Путерману и от Брюллова и Иванова к Корреджио она понимала ее и любила весь мир, объединившийся в одном искусстве. Здесь, когда стала перед живою картиною, она потерялась.

Она смутилась и ничего не ответила. Лгать она не умела. Она сейчас чувствовала, что всем сердцем любит скучное море и плоскую землю, над которыми широким шатром раскинулось бледное небо, покрытое тучами. Любит потому, что это ее родина. Что же обманывать себя и других? Она любит весь мир, да, — но свою Россию, с ее дивным языком, с ее простыми видами, с грубым народом она любит особенною любовью. И изо всей беспредельной Руси она любит этот тихий печальный вид, когда то вдохновивший великого Петра заложить здесь город, изо всех героев всемирной истории несмотря на навязываемые ей имена Робеспьеров, Маратов, Рысаковых, Петрашевичей, Плехановых, Марксов — она почему то больше всех ценит и любит, да любит, скрывает, но любит этого могучего Петра, который рубил головы стрельцам, резал боярам бороды, пьянствовал и бесчинствовал, а между тем сделал великое дело, создал Российскую Империю.., И из всех Русских людей ей почему то так нравится этот гладко причесанный с блестящими волосами юноша, затянутый в свежий китель, в синих рейтузах и высоких сапогах со шпорами. Почему то он, а не товарищ Павлик, не Коржиков, ежедневно рискующий своею свободою.

— Расскажите мне про коронацию. Как же это все вышло? Как мог произойти такой ужас. Неужели нарочно? — сказала она.

Они сели на большом плоском камне. На нем было удобно, но тесно и Саблин первый раз почувствовал подле себя ее молодое тело и близко увидел глубокие синие глаза, смотревшие на него из-под длинных ресниц. От нее не пахло духами, но свежий аромат юности, запах ее густых волос коснулся его лица и взволновал его.

Его голос дрогнул, когда он ответил.

— О, конечно, не нарочно. Это глупость, недомыслие архитектора, который никогда не мог представить себе такой громадной толпы и всей ее страшной силы. Вы понимаете, Государь переоценил толпу и народ. Ему казалось что это разумный народ с благородными инстинктами. На-

род, полный братской любви. Он не хотел стеснять его полицией, не хотел лишать свободы.

Постепенно голос его креп. В его изображении Государь рисовался идеальным Монархом, который хочет создать золотой век Русской истории. Не будет грубой полиции, не будет войск, вопросы будут решаться на конференциях. Государь, как будто, коронуясь, отказывался от власти. Так казалось Саблину. Таким он рисовал себе Государя. И потому эта первая неудача его так сильно поразила и показала, что может быть, если Царь готов идти к этим широким реформам, то народ не был готов принять эти реформы. Но Саблин не винил и народ. Из громадной грубой толпы он выхватил купца, чиновника, студента, бегавшего за версту за водой, его подругу девушку, стоявшую на коленях и мочившую водой голову потерявшему сознание мужику и их он рисовал идеальными чертами. Бедствие только подчеркнуло прекрасные черты Русских людей, бедствие, дало возможность развернуться в полной мере благородному сердцу Монарха. Государь был неутешен, Императрица плакала, они посетили семьи убитых и раздавали деньги. Откуда взял это Саблин? Зачем он это выдумал, он и сам не знал. Он бы так поступил и он приписывал Государя то, чего не было, но что ему хотелось, чтобы было.

Синие глаза то темнели и сжуженный из под прищуренных век зрачек становился сафировым, то вдруг поднимались загнутые кверху густые ресницы, исчезал, становился маленьким глубокий зрачек, а кругом него была бледная синева бирюзы. То улыбка поднимала губы и тогда блистали за ними белые влажные зубы, то губы сжимались в страдании за людей, но неизменно все время глаза ее смотрели прямо в глаза Саблину и она, казалось, наслаждалась его словами.

Она спрашивала. Он отвечал. Рассказ о коронации был давно окончен, все Московские темы исчерпаны, а разговор не смолкал. Перед ними догорал светлый день, солнце было близко к закату и стали видны на золотом небе туманные силуэты труб, укреплений и церквей Кронштадта, потянуло от моря холодной сыростью и сумерки белой ночи надви-

гались над затихавшими волнами. Белые гребешки больше не вспыхивали на середине залива, море не шумело и не гнуло камыши, но ласково шепталось, подкатываясь холодными прозрачными волнами к их ногам. Маруся встала, надела мантильку.

— Мне пора, — сказала она выпрямляясь всем гибким станом на фоне светлого неба.

Он закрыл глаза. Страстное желание вспыхнуло в нем. О! хотя бы даже насилie!..

Он оглянулся кругом. Как вор. Лицо его стало красным. Кровь стучала в виски, он сам себе был противен в эту минуту. Но удержаться не мог. Слишком хороша была она и он почувствовал что любил а его. Саблин отбросил пальто, которое держал в руке, стал на колени, охватил могучими руками ее ноги и хотел привлечь к себе и повалить на грудь.

Она отскочила от него. Страшный испуг был у нее на лице. Щеки побледнели, глаза были опущены.

— О простите меня, — воскликнул он, вставая. — Простите. Я съума сошел. Я болван, подлец. Не сердитесь на меня!

— Я не сержусь, — тихо сказала она и не оборачиваясь пошла от моря.

Он шел за ней и чувствовал, что надо говорить, говорить, а слов не было. Он молчал и неловко волочил свое пальто. Он не смел пойти рядом.

Она ускоряла шаги, почти бежала, он за нею. Так дошли они до моста у Бобыльского залива, где были лодки.

— Простите меня. Я виноват, — прошептал он и она услышала слезы в его голосе.

— Виновата я, — сказала Маруся печальным голосом. — Не надо было приходиться сюда.

Она спустилась на плот к лодкам.

— Вы позволите проводить вас? — сказал Саблин.

Она ничего не ответила, но молча подвинулась на скамейке ялика, давая ему место. Он сел рядом. Она нервно куталась в мантильку, ее лихорадило. Мужик яличник мерно, ровно и неторопливо греб короткими гребками.

В Старой Деревне она пошла на конку. Саблин пошел за нею.

— Нет, ради Бога. Не вместе. Я не могу больше, — умоляющим голосом прошептала Маруся, протягивая ему маленькую холодную дрожащую руку. Он нагнулся и почти-точно поцеловал ее. Рука дрогнула в его руке, но она ее не выдернула.

— Прощайте, — тихо сказала Маруся.

— До свиданья, — настойчиво, глядя Марусе в глаза, сказал Саблин.

Маруся ничего не ответила, вскочила в вагон, который трогался с места.

Саблин пошел пешком. Он долго видел в бледных сумерках белой ночи светлое канотье с красной лентой и опущенную голову. Его сердце сжималось и томилось тяжелым предчувствием.

Она ни разу не повернула головы в его сторону, не посмотрела на него.

XLIV.

Лагери были тяжелые и бестолковые. Только что вышел новый кавалерийский устав. Он был прост. Все команды взводных командиров были отменены, строй стал тихим и молчаливым. Высшим шиком считалось немое учение. Барону Древеницу, воспитанному в совершенно иных традициях, этот устав не давался он нервничал. Он давил на эскадронных командиров, собирал их, учил „на спичках”, раскладывая спички по столу, повторял на „пешем по конному”, гонял людей и офицеров, добываясь отчетливости движения эскадронов.

Лето стояло дождливое. Красносельское военное поле раскисло и было растоптано в глинистый кисель. От эскадронов на полевом галопе летели тучи брызг, люди стали не походить на людей и все очумелые, бранились и суетились, боясь Великого Князя. Великий Князь свирепствовал. На смо-

тру одного полка он грубо, по мужицки, выругался и сказал:

-- Это г...., а не полевой галоп.

Жуть охватывала старых генералов, когда он на своем громадном белом с черными пятнами ирландском гунтере, в сопровождении рыжего начальника штаба, холодного, аккуратного и педантичного генерала Палицына, четырех очередных трубачей, и уральского казака с громадным ярко желтым значком появлялся на военном поле и прорезывал его могучими прыжками лошади. Остановившись на холме у Царского валика он смотрел на учившуюся на поле кавалерию. Иногда ординарец офицер отделялся от него и скакал к какому либо полку. Сердце замирало у полкового командира, когда он скакал к Великому Князю и останавливался против его сухой строгой фигуры с окаменелым лицом.

Ротбек насчитал, что он на одном ученьи повернулся со взводом семьдесят шесть раз повзводно налево кругом. Все тупело, — лошади, люди, офицеры. Ждали дня, когда отбудут полковой смотр и начнутся ученья бригад, дивизий и маневры.

Саблин томился. От Маруся не было ни слова. Его письма оставались без ответа. Мартовы уехали в имение, молодежь разбрелась и Саблин даже не знал где Маруся. Он искал ее по городу. Два воскресенья подряд Саблин ездил на Лахту, ходил по Летнему саду, заглядывал в Эрмитаж. По случаю ремонта Эрмитаж был закрыт. Полчаса ходил Саблин по Николаевской мимо дома Мартовой — нигде не встретил Марусю. Это его раздражало. Он поехал к Владе, жившей на Черной речке, но грубые ласки Влади не успокоили его. Саблин вернулся в лагери и нашел все в перед смотровом волнении. Ротбек изучал присланную из полковой канцелярии программу полкового смотра. На дворе солдаты взвода начищали ремни седельного убора, седла были развешаны на заборе и стремяна играли брильянтами в солнечных лучах. День был свежий. Набегали тучи, солнце бледно и скупо светило. Через три двора, в трубаческом взводе трубачи повторяли сигналы. Ротбек, веселый, румя-

ный, прислушивался и напевал вычурные выдуманные шутниками слова сигналов.

— Саша, а Саша, слышал новые слова полевого галопя?

— Ну, — мрачно протянул Саблин.

— Уж сколько раз говорил дура-ку — крепче держись за лу-ку! — пропел Ротбек и захохотал.

— Ты знаешь, Лорис приказал на военное поле две вежи отвести и поставить, чтобы направление держать лергче. „Ежели”, говорит, „направление будет, все будет отлично”. Гриценко съутра пошел к барону на спичках играть. Все боится, что напутают что либо. Вот программу разослали, а я уверен, что барон первый забудет порядок и напутает. Тогда все полетит кувыркком.

— Ему адъютант подскажет.

— Самальский то! Нет, брат, дудки, Самальский ни за что не подскажет. Он ненавидит барона и с тех пор, как он флигель-адъютант такую политику ведет, что барон его и сам побаивается.

— Вздор, Пик, смотр сойдет отлично, — сказал Саблин, почувствовавший себя в этой мелочной атмосфере строевых интересов, как рыба в воде.

— Я не сомневаюсь, Саша. Наши полк не может иначе учиться, но, понимаешь, — смеяться вовсе не грѣшно над тем, что кажется смешно. Сакс уже послал освежить запасы Мумма в собрании, а Петрицев обещал завтра новую штуку показать. Его кирасиры научили.

— По части выпивки? — спросил Саблин.

— Верно. Угадал. Говорит, здоровая штука — слон не устоит.

— Ну Петрицев то устоит.

— Говорит и он не смог, свалился. А я хочу попробовать. Нет, Саша, ей Богу, как посмотрю кругом — весело. Я рад.

— Чему ты рад?..

— А чорт его знает чему, но рад. Понимаешь — жизни рад. И меня печалит, Саша, только одно, что ты хандришь. Ей Богу не стоит. Помнишь Мацнева: — бей ворону, бей сороку. Молодчина этот Мацнев. Философ. Ты знаешь он

завтра дежурный по полку и на полковое ученье и смотр не едет. Тебе, милый друг, не угодно ли на четвертый взвод становиться.

— Это кто же так придумал?

— Сам Мацнев. Пошел к Гриценке, с ним к Степочке, Степочка к Репнину и готова карета. Призвали Самальского и составили приказ. Да это и лучше. Мацнев задумается, в философию ударится, просмотрит знак, прозевает команду, напутает. А если отзовут командиров эскадронов? Боже упаси? Мацнев станет за Гриценку, он такого наплетет, что эскадрон лопнет со смеха. А теперь, вызвали Гриценку — Фетисов выедет — он молодчик, потом ты тоже лицом в грязь не ударишь. До меня и не доберутся. Хочешь, повторим сигналы и команды.

Ну, валяй, — ложась на койку, сказал Саблин.

Ротбек взял в руки корнет, на котором недурно играл.

— Ты за командира полка. Я сигналы подаю от начальника дивизии. Ты командуешь за барона, я за эскадронного, начинаем. По программе. Слушай: — рысью размашистой, но не распушенной, для сбережения коней!..

— Направление по третьему эскадрону! На левый край лабораторной роши. Рыс-сью! — закричал звонким молодым голосом Саблин.

— Веху! Веху Лориса не забудь, — внушительно сказал Ротбек и солидным баском пропел: — второй эскадрон равнение налево рысью!..

За окном то светило, то скрывалось солнце, на дворе шурхали щетки, отчищая на завтра потники и рейтузы, а из избы неслись сигналы и звонкие молодые голоса задорно кричавшие.

— Полевым гал-лоп-пом!

— В резервную колонну!

Солдаты улыбались и говорили одобрительно — „ишь ты. Как молодые петухи на заре раскричались. А ловко Саша Гриценкину голосу подражает... Ротбек то, Ротбек то — лучше штаб трубача подает сигналы. Музыкант!”

XLV.

Смотр сошел отлично. На двенадцать баллов, сказал начальник дивизии. От Великого Князя, стоявшего на холме подле Царского валика, два раза присылали сказать, что Великий Князь благодарит. Никто не упал, заезды были чистые, разрывов между взводами не было. Плечом заходили отлично, полевой галоп был в норму — словом все было прекрасно, как и должно быть в нашем полку. После смотра был завтрак в собрании, с трубачами и начальником дивизии.

Начальник дивизии со своим штабом только что уехал и провожавшие его на крыльцо офицеры вернулись обратно в столовую доедать мороженое и допивать вино. Барон, счастливый и довольный успехом, не сомневающийся теперь, что к весне получит бригаду и отдохнет, расстегнул китель на толстом животе и, раскуривая сигару и улыбаясь красным толстым лицом, говорил Репнину:

— Это он, маленький шпиц-бубе отлично придумываль. Вехи поставить. Я приезжал, гляжу веха тут, веха там — отлично направление держать. Господа! — сказал он, обращаясь к офицерам, сидевшим за большим столом. — Господа, следуйте моему примеру. Нижняя пуговица долой и вынь — патрон! Можете курить. Славный полк! Славная молодежь, — сказал он, обращаясь к Репнину.

Стол гудел голосами, как улей. Из соседней комнаты, стеклянного балкона, заглушая голоса, звучали трубы оркестра. Трубачи играли попури из итальянских песен.

Солнце то показывалось, то исчезало, закрытое большими белыми тучами, за окном беспокойно трепетала листва осина. Холодный ветер поднимался с моря, предвещая дождь.

На дальнем углу стола, окруженный молодежью, сидел красный безъусый голубоглазый Ротбек и глубокомысленно говорил: —

— Пью за здоровье генерала Пуфа первый раз. Я приподнимаюсь один раз, бью один раз одним пальцем правой руки, потом один раз одним пальцем левой руки, стучу

один раз правой ногой, один раз левой ногой и делаю один глоток шампанского, так Петрищев?

— Так. Только начинаешь с стучания пальцами, а приподнимаешься в конце, — серьезно говорил Петрищев.

— Ладно. И так я начинаю. Дай Бог не сбиться. Пью за здоровье генерала Пуфа первый раз!

На другом конце Мацнев, Гриценко и Фетисов разсуждали о том, отчего произошла философия.

— Сознайся, Иван Сергеевич, что философия — это ерунда, — говорил хмельной Гриценко. — От несварения желудка твоя философия.

— Моя, может быть, да, — отвечал спокойно Мацнев, — но нельзя отрицать Сократа, Платона, нельзя закрыть глаза на Канта, Шопенгауера и Ницше, наконец, милый друг, у нас на глазах растет целое учение, которое может перевернуть весь мир и опрокинуть христианство. Это учение Маркса.

— А ты читал его? — спросил Гриценко. Мацнев замаялся.

— То есть всего, милый друг, я не прочел. Не удосужился, да и скучно написано, тяжело читать. Но, знаешь, проповедь ужасная. Если она ляжет на тяжелые Русские мозги, с нашею и без того большою склонностью к разбою и бунту, я не знаю, что будет.

— Пережили мы Разина, пережили Булавина и Пугачева, Бог даст перемелем и Маркса.

— Да, но то были простые грубые казаки, а тут немец философ, тут — наука.

— А ну ее. Не пугай! Живем!

— Пью за здоровье генерала Пуф-пуфа второй раз — торжественно звучал по столовой голос Ротбека. — Я ударяю двумя пальцами по столу два раза, я два раза стучу ногой, два раза приподнимаюсь и делаю два глотка. Вот так.

— А он намажется, — кивая на Ротбек головою, сказал Мацнев.

— Ну и пусть. Он молодчик. Славный офицер, — сказал Гриценко. — Вот такие нам нужны. Такой не задумается в атаку броситься, умереть без жалобы и без стога. Ты по-

смотри — у него взвод в порядке, солдата не распускает, но и тянет умело, все у него хорошо. Куда ни пошлешь его, что ни прикажешь — на все только: слушаюсь.

— Да, он тоже философ, — сказал Мацнев. — Такие люди, как он, люди без широких запросов — счастливые люди. Им солнце улыбнулось в день их рождения и улыбка солнца осталась у них навсегда. Солнце ослепило их. Они не видят ничего грозного и страшного.

— А что ты видишь грозное? Что каркаешь, как ворона? Наша жизнь катится безмятежно. Помнишь, ты как то сравнил ее с блестящим пиром, когда на столе наставлено много прекрасных блюд. Бери, ешь, пей, все твое.

— Страх берет, Павел Иванович, мое ли? А ну как придет кто другой и оттолкнет и скажет — довольно! И я хочу!

— Э, милый друг. На всех хватит.

— Но сколько лежит кругом голодных и жаждет хотя крошек, падающих со стола. А что если озлобятся?

— Голодные слабы и покорны. В них нет ни силы, ни злобы. Страшны только сытые.

— Плохая философия, Павел Иванович. Ты знаешь, мне иногда служить страшно. Лошади — звери, люди звери, темные. И те и другие непонятные, но сильные. Что мы сделаем, слабые, если они захотят пойдти на нас войною.

— Лошади лягаться станут, — смеясь, сказал Гриценко. — Выпей, Иван Сергеевич. Помогает.

— Лошади сбросят меня и растопчут, а люди на мое приказание засмеются, повернутся кругом и разойдутся.

— Дай в морду, ничего не будет, — сказал Гриценко, наливая шампанского в бокал Мацнева.

Трубачи играли арию Кармен и корнет заливался страстными звуками. Ротбек бледный, с выпученными, тупо глядящими глазами, еле ворочая языком говорил:

— Пью за здоровье генерала Пуф-пуф-пуф-пуф -пуфа пятый раз. А ловко черти киррассирры это придумали. Слон не устоит. И я то же.

Он встал. Лицо его стало мертвенно бледным, солдат, служитель собрания, подхватил его в объятия и повел из столовой в уборную. Его тошнило.

И в эту самую минуту, такой странный среди расстегнутых и полупьяных людей вошел в наглухо застегнутом кителе при амуниции и револьвере, дежурный офицер, поручик Кислов, и четко, официально стуча сапогами, подошел к командиру полка и громко и бесстрастно доложил:

— Ваше превосходительство в полку происшествие: корнет барон Корф застрелился.

— Когда, — машинально застегивая пуговцы кителя и вставая, сказал барон Древениц.

— Сейчас, у себя на квартире.

— Господа! — сказал командир полка, возвышая голос. — Я попрошу разойтись по домам. Наш товарищ, барон Корф, скончался...

Трубачи продолжали играть попури из Кармен, вымывшийся и порозовевший снова Ротбек входил в столовую и говорил:

— А здоровяга должен быть этот генерал Пуф, ежели за него так много пьют. Петрищев, — первый раз не считается. Я начинаю снова.

XLVI.

Корнет барон Корф лежал на своей узкой койке. Он был уже мертв. Лицо выражало холодный покой и удивление. Он был в рубашке, рейтузах и сапогах. С левой стороны груди рубашка была залита кровью и лужа крови, еще красной и теплой, стояла на полу. Эскадронный фельдшер, солдат, в чистой белой рубахе, сидел рядом на койке и держал руку барона, наблюдая за пульсом. Когда командир полка с адъютантом и князем Репниным вошли в избу он бросил руку самоубийцы и вытянулся.

— Ну что? — спросил его барон Древениц. — Умер?

— Пол минуты тому назад скончался, ваше превосходительство, — сказал фельдшер.

— Сумасшедши ребенок! — проговорил Древениц. Он был сильно недоволен. Это самоубийство помимо того, что некрасиво ложилось на репутацию полка, лишало его воз-

возможности поехать к семье на дачу на два дня. Возись теперь с ним. Панихиды, отпевания, донесения. Нет, никуда не уедешь.

Что он долго мучился? — спросил князь Репнин.

— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал фельдшер, — я прибег они еще живы были. Все маму звали и говорили: „ах зачем! зачем я это сделал! Спаси меня. Я все тебе подарю! Спаси!“ Ну куда же спасти? Почти в самое сердце. Кровоизлияние сильное. Потом затихать стали. Только маму свою поминали.

Барон нахмурился.

— Оставил записку? — спросил он.

— Да, есть, — отвечал адъютант, обладавший драгоценною способностью, как бы много он ни выпил становиться моментально трезвым, раз только дело касалось службы. — Самая банальная записка.

Он взял со стола и прочел неровным крупным детским почерком карандашом на клочке бумаги написанную записку: — „в смерти моей прошу никого не винить. Скучно. Надоело жить“.

— Это в девятнадцать то лет ему надоело жить, — сказал Древениц. — Этакая нынче молодежь. Что у него может быть роман был, неудачная любовь, или заболел дурною болезнью?

— Нет, — холодно сказал адъютант, — ничего у него не было. Просто — по пьяному делу.

Этакая молодежь, слабая. Надо посылать телеграмму матушке.

— Я думаю, барон, — сказал князь Репнин, будет лучше, если я к ней сам съезжу. Она живет недалеко отсюда у станции Кикерино. Она совсем одна, вдова, это ее единственный сын... Какой удар для матери! Ее надо подготовить. Я приготовлю ей помещение у княгини, в семейной обстановке ей легче будет.

— Да, спасибо, князь, — сказал Древениц и обратился к адъютанту — что же Владимир Станиславович, мне оставаться надо?

Адъютант угадал мысли своего командира.

— Нет, зачем, ваше превосходительство, сегодня суббота. Похороны раньше понедельника не будут. Донесения у меня уже пишут, через час вы подпишете, и поезжайте с Богом отдохнуть. Дознание произведет поручик Кислов, да оно и ни к чему, пустая формальность. Дело очевидное, ясное... Я уже послал казначея за венком от полка, священнику послано, артельная повозка уехала за гробом. Дело обычное. Вам совсем не зачем оставаться.

Древениц успокоился. Действительно дело было совершенно обычное. Каждый год кто либо стрелялся в армии. Причины были разные. Проигрыш в карты, отсутствие средств для богатой жизни в полку, заражение болезнью, неудачная любовь, ссора с товарищами, наконец просто так, скука. Все, что в таких случаях надо делать было всем хорошо известно. Самоубийства офицеров входили в уклад войсковой жизни, были регламентированы уставом и каждый знал, что ему надо делать.

Древениц вышел, за ним вышли и князь Репнин с адъютантом. В сенях избы Степочка Воробьев суетился и отдавал распоряжения.

— Что такое? Что такое? — повторял он, — неужели же так безо всякой причины? Александр Васильевич, катай за венком с полковыми лентами. Как его по батюшке то? Мы все его Вася, да Вася, а как по отцу то я забыл.

— Карлович, — сказал Саблин, стоявший в группе офицеров.

— Что он православный, или лютеранин? — спросил Степочка.

— Православный.

— А ты — обратился — он к командиру третьего эскадрона, графу Лорису, — распорядись о постановке часовых унтер офицеров. Как Кислов дознание снимет, надо кровь омыть да затереть, да окна открыть настежь, а то нехорошо. Мать приедет надо бы уже одеть его. Да что врач не идет, послали за ним?

Саблин протискался сквозь толпу офицеров, жавшихся в сенях и боязливо заглядывавших в горницу и вошел в избу. Пахло порохом и пресным противным запахом чело-

веческой крови. В избе, кроме покойника, был только его денщик солдат Бардский. Он стоял в углу, плакал крупными слезами и грязными кулаками утирал глаза.

Саблин посмотрел на белое спокойное, ко всему равнодушное лицо покойника, потом на денщика и спросил:

— Павел, как же это все вышло? Ты был здесь?

— Да был же, — в отчаянии воскликнул денщик. — Почти что на глазах, ваше благородие. Кабы знать то, что они такое замышляют, а то в голову не пришло. Что я теперь старой барыне скажу? Оне так наказывали мне беречь его благородие. „У тебя, говорят „сын есть?“ А у меня есть, махонький — пол года ему было, как на службу пошел. „Смотри“, — говорит, — „и он мне сын. Береги его. Он у меня единственный“. Вот те и уберег!

— Скучал он что-ли? — спросил Саблин.

— Да никак нет. Все дни веселы были. Теперь приходят, ну вижу, выпивши немного. Не совсем, значит, здоровы. Писать стали что то. Написали. Китель сняли. „Павел“, — говорят, — „подай мне револьвер“. Ну я что, я разве мог понимать для чего им. Может дежурство, али что. Баловаться будут. Они все в карту в потолок стреляли, особенно ежели выпивши. Я подал. „Теперь“, — говорят, — „уйди и не мешай мне“. Меня, что толкнуло. Я ушел в сени, а сам слушаю. Будто ударило что и не громко. На выстрел даже ни капли не похоже. Я и не подумал ничего. Только, слышу — стонут. Ну я вбег в горницу, а они сидят на постели и кровь это из груди на рейтузы и на пол идет. Посмотрел на меня и говорит тихо: — „Спаси меня. Я не хотел. Так скучно стало... Скучно“. — Я хотел поддержать их, они на подушку валяются. — „Мама“, — говорят, — „мама!“... Я за фельдшером побежал, по пути вестовому сказал, чтобы дежурному доложил. Прибежали мы с Сенцовым, он еще живой был. Дышет. Фельдшер растегнул его. Руку взял. Его благородие лежит с закрытыми глазами, Тихо так сказал — „ах, как скучно! Спасите меня. Я не хотел“... А потом... „скучно“. И маму два раза позвали. И кончились.

Денщик снова заплакал. Саблин посмотрел на спокойное лицо барона Корфа и вдруг странная мысль пришла ему

в голову. Он повернулся и вышел из избы. На улице на него налетел холодный ветер с дождем и заставил его зажмуриться. Большой лопух трепетал лапчатыми листьями и кивал розовой пушистой головой цветка, серые тучи низко неслись над домами. Глинистая, растоптанная грязь немощной улицы рябила от маленьких луж, покрывших следы конских копыт. В избе, где жил Саблин лежал под одеялом раздетый Ротбек и спал крепким пьяным сном. На столе подле постели стоял сифон с зельтерской водой и стакан крепкого чая. Денщик Ротбека знал, что нужно его благородию в таких случаях.

В избе было сумрачно и сыро. Саблин подошел к окну и сел на стул. За окном трепетала острыми листьями мокрая ива и металась, то закрывая стекла, то откидываясь в сторону. Крупные капли дождя сыпали по лужам и поднимали пузыри, которые тихо лопались. Никого не было видно на дороге и вся улица казалась вымершей и необитаемой. И вдруг Саблина охватила та же щемящая, невыносимая скука, которая привела Корфа к печальному концу. Он понял Корфа.

Вот так же пришел барон Корф к себе в избу, посмотрел на глину, на серое небо, на дождь, на пузыри на лужах, представилось ему серое глинистое поле, длинные ряды солдатских спин, мокрых, забрызганных комьями грязи лошадиных крупов, далеко впереди поднятую шашку командира полка и понял, что так будет всегда. Всегда будет это поле, эти ряды, топот лошадиных ног, и фигура с шашкой и заезды направо, налево и кругом и хриплые звуки сигналов. И что бы ни было в мире, как бы ни трепетало от любви, или радости, как бы ни было печально сердце — все равно сигнал „налево кругом” и знак шашки командира полка будет метать по военному полю взад и вперед. Сегодня, и завтра и через год и через десять, двадцать лет.

Первый раз Саблин почувствовал скуку жизни в полку. Все интересы — или тут — как заезжали взводами, не было ли разрывов, в норму ли шли, соблюдали ли интервалы между эскадронами, или светские сплетни... Была у него девушка, которая по иному, по новому, смотрела на жизнь, с ко-

торою так хорошо было говорить и он не съумел сберечь ее. Привыкший к тому, что женщины доступны, он оскорбил ее и она ушла от него. Что ему осталось? Полковые интересы, держание направления, веха на военном поле. Представил себе ее сейчас, эту серую веху с пучком соломы на конце, стоящую на сером растоптанном военном поле. Низко стелются над полем тучи, колеблется и гнется под ветром голая, мокрая веха, тускло видна серая лабораторная роща, а мимо какой-нибудь полк ходит в резервной колонне, высоко поднята шашка над головою мокрого командира полка и сипло звучит сигнал.

Скука!

Может быть прав барон Корф? Его лицо так величаво спокойно. Будто он услышал и узнал в последнюю минуту что то важное и ободряющее. Была жизнь и нет жизни. Все это так просто. Выстрел. Такой глухой, что его даже рядом не слышал денщик. Тело еще страдает, и молит спасти, и зовет маму, а душа уже знает что то важное и великое, что накладывает на лицо печать спокойствия, не знающего скуки.

Почему бы и ему, Саше Саблину, не попытаться так же просто перешагнуть черту, отделяющую видимое от незримого?

Стало страшно пустой избы, храпящего в неловкой позе на спине, румяного Ротбека, ивы, то надвигающейся острыми листьями на стекло, то отметаемой в сторону, сумерок ненастного, ветряного дня и надвигающейся светлой, неразгаданной, длинной, и скучной ночи.

„Так Бог знает до чего дойдешь!” — подумал Саблин, нахлобучил на голову мокрую фуражку, надел непромокаемое пальто и решительно, по лужам дороги и мокрым доскам тротуара, пошел в офицерское собрание.

XLVII.

В большой столовой офицерского собрания следы кулежа были прибраны. Мокрые скатерти были сняты и стол

накрыт свежим бельем — стаканы, рюмки, тарелки и бутылки стояли в обычном будничном порядке. И только крепкий запах пролитого шампанского и табачный дым еще стояли в непроветренной столовой. На одном углу стола горели свечи в канделябре, да стенная лампа освещала этот угол. Здесь сидели Гриценко, Мацнев и Кислов, только что окончивший дознание. Гриценко отрезвевший, проголодавшийся жадно ел толстый румяный бифштекс по Гамбургски с яйцом и пил темное красное вино, Мацнев мочил землянику в большом фужере с белым вином и меланхолично обсасывал ягоды, Кислов работал над телячьей котлетой. Саблин, которого тянуло к людям, подсел к ним.

Говорили о самоубийстве.

— По моему, — говорил Гриценко, — самоубийство признак малодушия, отсутствия воли. Это поступок недостойный мужчины и тем более офицера. Я глубоко презираю самоубийц.

— Но, позволь, Павел Иванович, — говорил Кислов, ведь могут быть такие причины, когда приходится покончить с собою. *L'honneur oblige*.*)

— Нет таких причин, — сказал Гриценко.

— Тебя ударили и ты не смог смыть кровью оскорбление, — сказал Кислов.

Гриценко устремил на него свои выпуклые круглые глаза и сказал: —

— То есть посмотрел бы я, как это кто нубудь ударил меня и ушел бы живым, или не ответил бы мне на дуели.

— Ну, ударил солдат.

— Не допускаю и мысли об этом. Расстреляю такого мерзавца.

— Ударил кто либо в толпе и убежал.

— Ну, это... Бешеная собака укусила. Это не оскорбление.

— Хорошо. Проигрался в карты, а платить нечем.

*) Честь обязывает.

— Уйду из полка. Уеду куда либо в Америку, наймусь простым рабочим, отработаю и пришлю проигранные деньги.

— Такая каторжная жизнь. Стоит-ли?

— А мой милый! Вот в этом то вся и шутка, что жизнь тяжелее, нежели смерть, а потому мужественный человек никогда и не должен застрелиться. Стреляется только кисляй, слюняй, тряпка.

— Ну, ладно... Ну, а любовь не допускаешь? — сказал Кислов.

— Менее всего. Эта болезнь излечивается проще всего. Вертеры психопаты. Пошел к девочкам и конец. А любить и стреляться, это только немцы могут сделать, у которых вместо крови — пиво.

— Но ведь застрелился же из за чегонибудь Корф, — сказал Саблин.

— Вот именно о нем то мы и говорим. По пьяному делу. Смалодушничал. Тряпка, а не человек, — сказал Гриценко.

— Как можно Павел Иванович, — сказал с возмущением Саблин, — так говорить о покойнике. Он лежит там, а ты говоришь. Ты нарочно бравируешь.

— Лежит и не слышит. И нет его. Ведь не придет же он сейчас сюда и не потребует ответа. А! Ерунда все это. Ну что застрелился? Насвинячил кровью, навонял, надымил, нагрел. Эка, подумаешь, герой! На-те мол возитесь со мной, хороните, дознания снимайте, цацкайтесь. Мальчишка, глупый мальчишка.

— Павел Иванович, — воскликнул Саблин.

— Нет, Саша, — он прав, — сказал Мацнев. — Никакой эстетики, ничего красивого, ни позы, ни жеста. Пришел пьяный. Все мы видели, как он еще у буфетной стойки напился водкой. Ну, голова заболела. Пошел домой. И вдруг, пожалуйста, — застрелился. Саша, милый друг, для чего? Саша, мазочка, для чего?

— Скучно, — сказал Саблин.

— Скучно. А мне, а тебе не скучно? Человек на то и разумное животное, чтобы уметь скучать. Да и почему скучно?

Жизненный пир идет во всю и место у него право не плохое. Девятнадцать лет. Милый Саша, да за одни девятнадцать лет стоит жить! А сколько радости в жизни! Женщины.

— Мальчики, — сказал Гриценко.

— Не отрицаю, сказал Мацнев, прелестные юноши, цветы, музыка, поэзия, картины, танцы, книги, философия... Чего хочешь, того и просишь. Я отчасти согласен с Павлом Ивановичем, самоубийца тот, у кого воли мало, кто не имеет смелости заглянуть в глаза жизни.

— И смотрит в глаза смерти, — сказал Саблин. Смотрит в глаза смерти, которой не знает и боится жизни, которую знает. Что же страшнее?

— Жизнь, — в голос ответили Мацнев и Гриценко.

— Это говорите вы, которые видите столько радостей в жизни, — сказал Саблин.

— Да, милый Саша, — сказал Мацнев — это говорю я, эпикуреец и циник. Я боюсь болезней, а живу. Я боюсь скандалов, оскорблений — а живу, живу! Понимаешь, Саша, я боюсь и не люблю ездить верхом, мне эти „повзводно налево кругом”, прямо, аж осточертели, а вот живу же и ворочаюсь по баронской указе — а ведь это дни, недели, а радости жизненного пира — это только миги. Впереди старость. Скучная собачья старость. О семейной жизни я не говорю. Она мне не удалась. Подумай, сколько тяжелого надо преодолеть, годы мучений, а тут миг один, и целое открытие.

— А если там?.. сказал Саблин.

— Ничего, — сказал Мацнев. — И чорт с ним и тем лучше. Ничего ведь ничего и есть.

— А если нирвана, — сказал Кислов.

— Смутно я представляю себе эту нирвану, — сказал Мацнев, — ведь это выходит ничего и что то. А что что то? Можетбыть это даже и хорошо.

— А если ад и черти с рогами и бычьими хвостами и котлы, где в собственном соку кипят грешники — сказал Гриценко и захохотал.

— Нет, хуже жизни не придумаешь, — сказал меланхолично обсасывая землянику Мацнев. — Но и лучше ее нет. Например, как прекрасна эта земляника в рейнвейне? Как хорош и поэтичен и сам рейнвейн? фу чорт, чего задумываться! Дурак и скотина этот Корф, ты, милый Саша, если взгрустнется и такое задумаешь, приходи ко мне. Почитаем вместе „Ars amandi”,*) Да ты дурашка, по латыни „ниц пани не разуме”. Ну я переведу тебе. Понимали жизнь бестии римляне, знали толк.

Саблин сидел, слушал их разговор и удивлялся, как могли они это говорить, как прыгали у них мысли, подход к самой бездне и отскакивая от нее, то грубой плоской шуткой Гриценки, то философскими заключениями Мацнева.

Но с ними было легче. Они были живые люди. Их глаза блестели, они пили вино, они презирали смерть и не боялись ее.

Около полуночи стали расходиться. Саблин пошел к себе. Ему надо было проходить мимо избы, где лежал Корф. Окна мутно и ровно светились. Занавески были спущены. Саблина потянуло взглянуть на покойника. Он вошел в избу. Барон Корф, важный и величавый лежал одетый в парадную форму, в белом глазетовом гробу. Тускло горели высокие свечи. Белые руки были сложены на груди. Цветы лежали подле гроба. Два рослых унтер-офицера часовых с винтовками за плечами и с обнаженными шашками, неподвижно висящими на левой руке, стояли по обеим сторонам гроба. На той самой койке, на которой он застрелился неподвижно сидела маленькая седая старушка в черном платье. Голова ее тряслась. Она плакала.

Это была мать Корфа.

В избе было тихо. Чтец еще не пришел. Наплывший на свечу воск оборвался и упал и Саблин вздрогнул от этого шума.

Старушка тихо, неутешно плакала. Саблин смотрел на нее. Если бы тогда, когда потребовал себе револьвер этот юноша, он подумал о ней. О! Почему он не подумал!?

*) Искусство любви.

Опять, как после Ходынки, возмущилась против Бога его душа. Зачем, зачем столько горя ей, старой и одинокой?

Сердце щемило от боли, глаза щипало. Саблин не мог больше выносить этого безысходного материнского горя и тихонько, стараясь не звенеть шпорами, вышел из комнаты.

Дома он застал только что проснувшегося Ротбека. Онпил чай, смотрел мутными глазами на Саблина и увидевши его сказал: —

— А знаешь, Саша, я все таки осилю этого генерала Пуфа. Не этот, так другой раз!

Он еще ничего не знал о самоубийстве Корфа. Он проспал его, а тогда в собрании ничего не понял.

XLVIII.

Маруся написала письмо Саблину. Она хотела видеть Государя Императора и проверить все то, что о нем говорил Саблин. — „Будет зари с церемонией и концерт на воздухе”, — писала Маруся, — „говорят, что туда пускают и постороннюю публику по билетам. Если это нетрудно устроить, достаньте мне билет и оставьте его у швейцара дома г-жи Мартовой. Я буду вам очень благодарна. После поговорим, поделимся впечатлениями”. —

— Простила! Простила! — чуть не громко кричал Саблин, читая эту записку. На заре, после зари он увидится с нею, переговорит и все выяснит. Устроить билет было нетрудно и Саблин в радостном волнении прожил те две недели, которые отделяли его от дня, назначенного для высочайшего объезда лагеря и „зари с церемонией”.

Утро этого дня было еще туманное, но уже с 10-ти часов засветило яркое солнце, стало жарко, глинистые дороги заблестели как стальные и стали быстро просыхать. Вечер обещал быть великолепным.

На правом фланге главного лагеря, где в квадратных, домиками, палатках стоит гвардия, на том месте, где Царскосельское шоссе пересекает переднюю линейку, у левого фланга Л. Гв. Семеновского полка, возле церкви была построена неуклюжая досчатая трибуна для музыкантов и ря-

дом с нею трибуна поменьше для публики. Против них возле березовой рощи была уже за неделю поставлена тройная интендантская палатка; валик, на котором она стояла был выложен свежим дерном и кругом посажены цветы. Подле было небольшое место, отгороженное веревками и предназначавшееся для публики почище. Сюда пускали по особым, малинового цвета, билетам. Такой билет и достал Саблин для Маруси.

К шести часам вечера трибуны наполнились зрителями. На тройках, в собственных экипажах, на извозниках и пешком сходились сюда приглашенные. Ажурные зонтики и пестрые легкие туалеты дам придавали красивый вид трибунам и скрадывали простые доски и землю, на которых были поставлены стулья и скамейки. Линейка была вычищена и усыпана красным песком, у палатки стали красивые, как херувимы, стройные, затянутые в специально для этого сшитые мундиры часовые юнкера Павловского училища. Музыканты и трубачи от всех полков лагеря, больше тысячи человек устраивались на своей трибуне, расставляли пюпитры и сверкали ярко начищенными медными инструментами. Впереди становилась рать барабанщиков и горнистов, которую устраивал старый барабанщик Л. Гв. Гренадерского полка, солдат среднего роста, крепкий, приземистый, черноволосый с большою, красиво расчесанной черной подернутой сединою бородою — типичный Русский крестьянин.

Офицеры гвардейских полков в мундирах и серебряных и золотых портупях и перевязях сходились по мере того, как Государь объезжал лагерь и становились по полкам, против палатки Государя.

Маруся глядела на небо с сдвигающимися к закату облаками, на широкие дали полей и темных Стрельнинских и Лиговских лесов со сверкающею позади, как лезвие меча полоскою Финского залива, к которому медленно опускалось багрово красное солнце.

Рядом с Марусей сидел постоянный посетитель зари, известный Русский артист К. Варламов, „дядя Костя”, обращающая на себя внимание своею толстою, умиленной, заметною и знакомою фигурой.

— Хорошо! Хорошо! — говорил он, вытирая платком пот со своей широкой лысины. — Ах и хороша матушка Россия. Красиво сверкает крест на Красносельском Соборе, а облака то, облака, точно нарочно Дубовской их написал на этом синем небе! Ни на какие Ниццы, или, там, Швейцарии не променяю я наше Красное Село. Смотрите — чистота воздуха какая! Кронштадт, как отчетливо виден! Сияет крыша Петергофского дворца. Чудятся волшебные фонтаны... Слышите... Чу!.. Государь Император едет.

Маруся прислушалась. Далеко влево гудела земля. Тысячи людей кричали „ура” и этот шум, долетая за две версты волновал и будил в Марусе новые никогда еще неиспытанные чувства. Ей рассказывал ее брат, что при приближении Государя, как бы массовый гипноз нападал на людей, все сливалось в одном умиленном обожании Царя. Уж она то, Маруся, этому гипнозу никак не поддастся. Что ей Государь? Но захолонуло ее сердце, когда услышала приближающийся рев голосов и поняла его значение.

Шум становился ближе. Слышны стали звуки гимна и маршей, резкие отчетливые на сто ответы на приветствие Государя и могучее Русское ура. Оно вспыхнуло в Егерском полку, загорелось у Измайловцев, в артиллерии.. Через шоссе переезжал верхом на могучем темногнедом коне Государь. Он был в полковничьем Семеновского полка мундире и в голубой Андреевской ленте; рядом в коляске а Daumont, запряженной четверкой лошадей ехали обе императрицы, сопровождаемые громадной свитой офицеров, генералов и иностранных военных агентов.

Маруся хотела сосредоточить все внимание на Государе, но невольно рассеивалась. Конские головы, парадные уборы всадников, меховой вальтрап Государеве седла с синими полосами по краям, красные доломаны гусар, седой толстый генерал с седыми подусками, в голубой фуражке, ни дать ни взять запорожец, соскочивший с картины Репина, юноша камер-паж, лейб казак, конвойцы в темно-синих черкесках — все казалось ей, страницей из тысячи и одной ночи, или апофеозом волшебного балета. Это не бы-

ла жизнь, что простая жизнь, зеленые поля, холмы Красного села, как виноградом, покрытые малиной на высоких шестах не допускали этой пестрой процессии на великолепных лошадях, этого рева голосов, покрывающих звуки труб. Это было явление особого порядка, явление иного мира. Государь проехал к краю лагеря, и оттуда галопом, сопровождаемый красиво скачущей свитой вернулся и слез с коня. Он остановился, окинул ясными глазами публику, поклонился на приветствие толпы, повернулся кругом и поздоровался с музыкантами. Он поднялся по ступенькам к палатке и, улыбаясь говорил с встречавшими его здесь лицами свиты. Он закурил папиросу и вошел в палатку. Маруся его близко видела. Не более двадцати шагов отделяло ее от Государя. Она видела простое лицо с чуть вздернутым носом, из под которого росли большие усы, маленькую бородку, полные белые руки. Государь улыбался и шутил с каким то старым генералом. У палатки, держась за спинку кресла и нервно чертя зонтиком по песку, стояла высокая, полная Императрица с красными пятнами волнения на щеках. Маруся старательно подмечала каждую людскую мелочь в Государе и Государыне, то, как бросил он в цветы оцрок, как стал за стулом Императрицы, когда она села, как взял за подбородок девочку, великую княжну, и что то сказал ей, как говорил со своею сестрою Ольгой Александровной. „Да ведь все же это обыкновенное, людское, почти банальное“, говорила она себе, но переводила глаза на то, что окружало палатку и чувствовала биение сердца. Тихо, как кошки, мягко ступая сапогами без каблуков, ходили стройные в длинных синих шитых серебром черкесках конвойные казаки и два юнкера стояли у палатки неподвижные, точно не живые. Марусе показалось, что они даже не моргают глазами. Одинаковые лицами, как родные братья, румяные, загорелые, с пухлыми губами, над которыми легкою тенью стали пробиваться молодые усы, затянутые черными ремнями с ярко горящими бляхами, с напряженными ногами, откинув винтовки в приеме на караул по ефрейторски они замерли в неподвижности и не было заметно, чтобы они дышали.

Оркестр играл пьесу за пьесой, а юнкера все стояли не шевелясь и на их лицах было умиленное напряжение. Кругом была свита, напротив плотным квадратом стояли блестящие офицеры и там был Саблин, Маруся знала это, но чувствовала, что теперь и Саблин и эти юнкера и все ничто перед Государем. Так, в старину окруженные боярами, рындами и боярскими детьми выходили московские цари. С далекого востока из Византии пришла эта красота обряда, она отдалила Царя от народа, сделала его непонятым и создала сказку о том, что Царь венчан самим Богом на Царство. Пошевелились юнкера, откинь, или брось они ружье и сказка разлетится в прах и никто не поверит, что Царь есть высшее существо, что Царь от Бога.

Но пьесу за пьесой играют музыканты, ниже спускается солнце, уже можно смотреть на его громадный огненный диск, а юнкера часовые стоят все так же неподвижно, не моргают прекрасные глаза юношей и восторг и обожание застыли на их лицах..

XLIX.

Оркестр замолк. Из толпы барабанщиков вышли вперед старый барабанщик и высокий, безусый горнист. Они стали и вытянулись против Государя. Двадцать пять лет в этот день зари с церемонией читает молитву старый барабанщик и двадцать пять лет он волнуется и не помнит себя. Он верит, что он читает молитву перед Богом венчанным Царем.

Полная тишина наступила кругом. Стихли разговоры. Все ждали. Маруся видела, как по широкому полному, бритому лицу ее соседа Варламова текли крупные слезы. Умиленный восторг против ее воли начал охватывать и ее.

Шелестя в воздухе взвилась ракета и лопнула где то высоко, белым дымом рассыпавшись в голубом небе. Другая. Третья. И разом, заставив всех вздрогнуть, раздался дружный залп пушек гвардейских батарей главного лагеря,

ему ответили таким же залпом батареи авангардного лагеря и эхо пошло перекатываться к Дудергофу и Кирхгофу.

Когда оно стихло, грянул оркестр и все барабанщики трескучую пехотную зорю.

То дружно гремели барабаны, всех заглушая и вдруг обрывались и тогда плавно выступали звуки труб и пели странную, неведомую песню войны, веющую стариной, говорящую о славе и смерти, о счастье умереть за родину. Были печаль и радость в этих звуках. О чем то томительно горестном начинали говорить трубы и их сразу обрывали барабаны и заглушали тоску и влекли к радости подвига.

Заря смолка. Напряжение и тишина... Офицеры и музыканты стояли не шевелясь. Маруся посмотрела на Государя. Он стоял, вытянувшись, и тоже не шевелился.

Барабанщик поднял палки над барабаном, горнист приложил золотой горн к губам.

Резкий отрывистый сигнал „на молитву” раздался и замер, одинокий и властный.

Отчетливо повернулся кругом барабанщик и скомандовал:

— Музыканты, барабанщики и горнисты на молитву! Шапки... долой!

Все головы обнажились. Дрогнули в дружном приеме юнкера, взяли ружья на молитву и сняли фуражки. Маруся видела, как Государь снял по команде старого барабанщика свою фуражку. Лицо его стало серьезно.

„Символы”, — подумала Маруся. — „Но какие глубокие символы!”

Барабанщик опять стоял лицом к Царю. Его простое Русское лицо было вдохновенно. Красные лучи заходящего солнца сзади и с боков освещали барабанщика. В огненном мареве стоял он, старый кряжистый Русский крестьянин солдат и с ним рядом высокий молодой преображенский горнист.

— Отчет наш! — коротким призывом раздалось из уст барабанщика, — иже еси на небесех!

Небо слушало эту молитву. Солнце остановилось на месте и красным заревом разлилось позади Красного села.

— Да придет Царствие Твое, — говорил барабанщик, — да будет воля Твоя! —

Все молчали. Тут, в этом углу, каждый вздох был слышен, а кругом гудел солдатскими голосами лагерь. На передних линейках роты пели молитву.

— И остави нам долги наши, яко мы оставляем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!

Просто, четко, отчетливо и ясно выговаривая каждое слово говорил молитву барабанщик, а казалось, что совершалось великое и страшное таинство. Царь молился со своими солдатами.

Сказал последнее слово старый барабанщик, не спеша накрылся фуражкой, метнул строгими глазами на горниста, поднял палки и ударил „отбой”.

— Музыканты, барабанщики и горнисты — накройсь! — скомандовал он.

Пестрые фуражки накрыли розовые загорелые лбы и все зашевелилось. Заря была кончена.

Государь надел фуражку с синим околышем и спустился вниз. От трибуны с музыкантами отделились фельдфебели и вахмистры шефских рот, батарей, эскадронов и сотен и стали подходить, сопровождаемые адъютантами, к Государю.

В вчээрнем прохладном воздухе слышались короткие ответы и в волнении голосов Маруся чувствовала, что и тут совершается что то великое, о чем потом всю жизнь будут умиленно рассказывать.

Красивый юноша стоял на вытяжку перед Государем. Маленькая рука в белой перчатке была наглухо приложена к алому околышу фуражки.

— Ваше Императорское Величество, — ясно звучал голос юноши, — в роте имени Вашего Императорского Величества Первого Военного Павловского училища юнкеров 104, больных и отпускных нет, происшествий не случилось...

Его сменил рослый старый преображенец, потом семенинец. Кругом стояла тишина.

— Какой губернии? — слышался голос Государя.

— Тамбовской, Ваше Императорское Величество.

— Третий год на сверхсрочной службе.

— Женат...

Последний, вахмистр батареи Его Величества, красавец донец, с громадной роскошной бородой и с цепочкой из перекрещенных пушек на груди, в мундире, подтянутом алым кушаком отрапортовал Государю.

Из толпы, звеня бубенцами и тихо шурша по песку резинами, подалась коляска, запряженная тройкой гнедых лошадей. Государь помог сесть Императрице и сел сам. Грянуло ура, зазвенели бубенцы и коляска понеслась по уклону шоссе к Красному Селу.

Все кончилось. Начался разъезд.

L.

Саблин со своего места долго не мог отыскать Марусю. Он уже начал волноваться. Неужели обманула и не приехала.

— Посмотри Павел Иванович, рядом с Варламовым какой свежачок сидит. Вот прелесть! не знаешь кто такая? — сказал Мацнев, обращаясь к Гриценке.

Саблин посмотрел, куда указывал Мацнев, и увидел Марусю.

— Не знаю. Это новенькая. Хороша удивительно. Это не из казачьих ли дам? Там много эту зиму свадеб было.

— Нет. Не похожа... В ней что то особенное. Это не может быть Самсонова?

— Ну. Самсонова вон сидит, видишь, третья с краю, с Заботаревой и Миллер. Нет. Это не наша, не полковая. Видишь, как робко глядит.

— Такую кралю не вредно было бы и полковой сделать.

Это говорили про Марусю, и Саблину это было приятно. Ему приятно было сознавать, что он один знает, кто она, что, может быть, она для него приехала.

Он остался после зори, дождался, когда разъехались офицеры и тогда отыскал в толпе Марусю.

Они пошли прямо по полю пешком к станции.

Толпа обгоняла их. Влево, по шоссе, вереницей тянулись к вокзалу извозчики. Им не хотелось говорить на людях. Каждый думал свои думы.

Мария Михайловна, — сказал Саблин, когда они вышли из вагона и сошли на двор Балтийского вокзала в Петербурге, — могу я вам предложить погулять немного по набережной, если вы не устали и если никуда не торопитесь.

— С удовольствием, — сказала Маруся.

Они доехали до Сенатской площади и там Саблин отпустил извозчика.

Летняя румяная заря догорала. Становилось темно. Луна еще не показывалась. Широким белым простором разливалась перед ними Нева. Вдали виднелся темный плашкоутный дворцовый мост. По всем направлениям мелькали зеленые и красные огни пароводных фонарей. На набережной было пустынно и свежо. Пахло водою и смолою.

— Ну как? Каковы ваши впечатления, — спросил Саблин.

Маруся повернула к нему голову. Она была в том же простом канотье с алой лентой, в котором ездила на Лахту.

— Я еще не разобралась в них, — сказала она. — Я остаюсь при своем мнении. Он такой же человек, как и мы с вами. Видимо добрый, ласковый, приветливый, не позёр, но в обстановке, окружающей его есть что то, что волнует.

Они замолчали. Он ничего не мог сказать. Их сердца не бились в унисон, как в прошлом году после парада у него и у Китти, где оба они одинаково просто и горячо боготворили Государя, не задумываясь ни о чем. Саблин почувствовал, что здесь была критика и анализ, а к таким предметам Саблин боялся подходить с критикой.

— Я думаю, — продолжала Маруся, — что если убрать эту обстановку, то не будет ни волнения, ни энтузиазма.

Он мне понравился. Я хочу видеть его человеком.

На Петропавловском соборе заиграли куранты. Маруся вздрогнула, робко взяла под руку Саблина и прижалась к нему.

— Как страшно, страшно, — сказала она совсем тихо, так что Саблин едва услышал ее голос. — Скажите, Александр Николаевич, — почему нельзя царствовать, не проливая крови? Почему нужны виселицы, тюрьмы, казематы, плети, ссылка, каторга, как атрибуты власти?

— Потому что есть преступники, — холодно сказал Саблин.

— Но разве преступник тот, кто думает по иному. Ну вот... Я иду с вами по этой прекрасной гранитной набережной, я получила образование, я знаю, что такое наука и искусство, я познала красоту жизни, а когда подумаю, что есть мужики, глухая деревня, темные, голодные люди, вся жизнь которых направлена лишь к тому, чтобы утолить голод. Когда я подумаю об этом страшном неравенстве людей, мне жутко, Александр Николаевич. Ужели эти мысли преступны?

— За мысли не наказывают.

— Но за слово. Если я пойду говорить это в деревню, народу — это преступление? Да? Сегодня я видела одно, что меня так поразило. Этот старик, барабанщик, простой Русский мужик скомандовал и Царь исполнил его команду. Потом он читал молитву и Царь молился по его молитве. Скажите, это нарочно придумано? Это символ служения Царя народу или это случайность? Или я не так поняла?

Саблин ничего не мог ответить. Он и сам не знал этого. Он никогда над этим не задумывался.

— Все было прекрасно, — говорила Маруся, но как примирить это прекрасное... с крепостью?

— Мария Михайловна, не забудьте, что Император Александр II убит злоумышленниками. Это убийство вряд ли была воля народа, но воля маленькой кучки людей, воля партии.

— Но как же, Александр Николаевич, народу выражать свое мнение, иначе как не посредством людей, посвятивших себя на служение ему, то есть партии?

— Разве народ от себя, из своей среды избрал этих людей, он поручал им убивать Государя? Сколько я помню, народ был поражен и возмущен этим страшным убийством.

— Мы не знаем подлинной души народа, она задавлена. При том полицейском гнете, который существует по всей России разве может народ свободно выразить свою волю, свое одобрение и неодобрение? Александр Николаевич, народ темен. Вы не можете себе представить, как он темен, голоден и жалок. Его надо учить и просвещать. Надо всей интеллигенции идти в деревни, надо вам, офицерам, учить солдат, всем надо стать на работу.

— Совершенно верно, — согласился Саблин. Он шел, не глядя на Марусю, только слушая ее. Чем больше говорила она, тем дальше становилась от него. Она уже не была желанною, точно стена выросла между ними, холодело сердце. Они шли рука с рукой, а были дальше, нежели тогда, когда переписывались, не зная друг друга. Маруся почувствовала этот холод. Она поняла, что зашла далеко и спросила саму себя: — „да верит ли она сама то в то, что говорит? Верит ли в то, что образование и политическое воспитание даст счастье народу? Хотела ли бы она, чтобы этот прекрасный с благородной осанкой Государь, который умеет держать себя перед народом и знает кому что сказать, от одного слова которого становятся счастливыми люди и вспоминают это пустое, незначительное слово всю жизнь, который умеет владеть и пользоваться этим византийским блеском, был бы убит? И вместо него стал бы править государством, как президент, умный и добрый Коржиков, неопрятный, в коричневом пиджаке, комкающий свою рыжую бородку, но любящий народ до самозабвения“. Она улыбнулась этой мысли. Но отказаться от того, что начала говорить, не хотела, решила сделать новую попытку. Они дошли до Фонтанки и повернули обратно. Летние белесые сумерки стлались над водою, переливавшею, как серебряная парча.

Толпа народа вышла с парохода, пришедшего с островов и повалила в улицы и на конки, другая толпа стремилась на пароход. Некоторое время они шли среди людей и говорить было неудобно. В эти минуты молчания ей хотелось загладить то, что она сказала, прогнать холод, ставший между ними, пригреться к нему. Она теснее прижалась к его руке и ласково заглянула ему в лицо. „Какой он милый! благородный! Вот несогласен со мною, круто несогласен, может быть сердится на меня, а не кричит, не спорит”, — подумала она.

— Александр Николаевич, а что, если бы, скажем, сам Царь оставил дворец, придворных, блестящую свиту, оделся простым пахарем и пошел бы в народ. Поселился в избе, нанялся батраком, изучил все горе крестьянское и приступил к новым реформам. Царь, зная по опыту все то, что нужно крестьянину, сам дал бы это, тогда и партии стали бы не нужны, — сказала Маруся.

— Тогда Царь перестал бы быть Царем. Царь не может быть человеком. Народ не примет и не поймет такого Царя. Он его не послушает и не исполнит своего долга.

Маруся ничего не ответила и вздохнула.

— Бог, — тихо продолжал Саблин, — послал на землю своего Сына, тоже Бога, Иисуса Христа. Бог явился на землю, как простой человек и пошел с простыми людьми проповедывать свое святое учение. Народ не принял Его и убил. Распял на кресте. Явись Христос во всей славе своей, с ангелами и архангелами в роскоши божественных одежд и в Царственном величии и народ, как самый святой закон, исполнил бы Его малейший приказ, самую малейшую Его заповедь.

— Вы верите во все это? — тихо спросила Маруся.

— Во что? — еще тише переспросил Саблин.

— В то, что написано в Евангелии, — сказала, низко опуская голову, Маруся.

— Как же не верить?.. А вы?

— Ах не знаю... Не знаю!.. Смутно у меня на душе. Сегодня эта молитва в поле, раньше вы, Александр Никола-

евич, вы разбудили во мне новые чувства, новые мысли, такие, каких я не знала.

— Вы не верите в Бога?

— Скажите, — быстро спросила Маруся, — скажите, почему же Христос явился простым человеком, а не Богом и не Царем? Почему Он проповедывал, а не законодательствовал, почему Он учил, а не приказывал?

— Он хотел, чтобы люди добровольно приняли Его заповедь, приняли в сердце своем, внутри себя и вечно ею руководствовались. Приказ, исполнение по приказу, силу, не удовлетворяло Христа и он пошел иным путем.

— Вы глубоко верите, — сказала Маруся. Я вижу вас. У вас так просто в вашем мозгу. Стоят перегородки, сделаны ящики, написаны ярлычки. Бог, церковь, свечи, иконы, поклоны. Царь, преданность, парады. Полк, мундир, честь мундира. Полковая семья, семья вообще. Позволено — не позволено, можно, нельзя...

— А у вас?

Она засмеялась. Искренно, чисто, засмеялась над самой собой.

— У меня, Александр Николаевич, — хаос. Я сама не знаю, что такое у меня.

— А учить хотите, — сказал он с укоризной. — Разве можно учить чему-либо, когда не знаешь чему.

А если хочешь, страшно хочешь, до самозабвения.

— Чего хочешь?

— Правды.

— А вы знаете ее, правду то?

— Ну так, чтобы всем было хорошо.

— А вы знаете, что такое в сем хорошо. И может быть то, что мне хорошо, вам худо.

— Ах, я перенесла бы и худо, чтобы вам было хорошо. — Это вырвалось у нее невольно.

Саблин посмотрел на нее. Она показалась ему милым ребенком, жмущимся к нему в тревоге и тоске и ищущим у него опоры. Как только посмотрел на нее — почувствовал, что холод противоречья прошел и мужчина проснулся в

нем. О! кто бы ни была она, хоть преступница, но целовать эти самые губы, эти зубы, даже и в темноте ночи сверкающие перламутром и смотреть, смотреть в эти темные, бархатные глаза!!!

Медный всадник, взметнувший коня над каменной глыбой смотрел на них, сзади били куранты, перекликались свистками пароходы и один свистел пронзительно и тонко, а другой отвечал ему густым сиплым басом. Было поздно. Сколько часов — она не знала.

— Который час? — спросила она.

— Половина первого, — сказал Саблин.

— Боже мой! Как поздно! Мне пора. Вы здесь живете. Я хочу видеть ваш дом. Это далеко?

Они перешли через площадь. Тополя бульвара таинственно шумели над ними. Темные, пустые и неприветливые стояли казармы. Сыростью и холодом веяло от них. Ей стало жалко его.

Они дошли до извошика.

— Ну, до свидания, Александр Николаевич. Спасибо большое вам за то, что доставили мне столько удовольствия, я никогда не забуду той сказки, которую я сегодня видела.

— Когда же мы с вами увидимся? — спросил он, усаживая ее в пролетку и застегивая фартук.

— Когда? Не знаю. Когда хотите. Нам есть о чем потолковать.

— Мария Михайловна, — сказал он просто, — приезжайте ко мне. Вот я здесь живу, во втором этаже. Потолкуем тихо, наедине. Ну, что вам стоит? Осчастливьте мое солдатское житье.

Она колебалась. Он взял ее маленькую руку в простой лайковой темной перчатке.

— Мария Михайловна, ну, будьте милой. Я покажу вам историю нашего полка, я покажу вам картины прошлого и тогда, когда вы узнаете наше прошлое, вы поймете и настоящее. Мы переписывались и спорили с вами, мы с вами почти ссорились, но мы не знаем друг друга... Мы не знаем, почему мы такие. Ну, будьте доброй. Прошу вас. На полчасика.

Она улыбнулась.

— Какой день сегодня? — спросила она.

— Пятница.

— Хорошо. В пятницу на одну минуту. В семь часов.

— Спасибо, милая Мария Михайловна. Ровно в семь я буду слушать шаги ваших ножек у ступени моей хижины.

— До свиданья, Александр Николаевич. Извощик трогай.

Он провожал ее глазами, пока пролетка не скрылась за поворотом. Все ликовало в его душе...

II.

Целую неделю Саблин ездил после занятий в город. Он убирал один, без денщика, свою квартиру. Он снимал бумаги с картин и зеркал, вытирал пыль, со стороны позвал полотеров и поломоек и при себе приказал вымыть и протереть полы. В пятницу он накупил цветов, конфет, пирожных, накрыл в столовой стол и сам поставил самовар.

Китти и Владя его многому научили. Много было пошлого в этом столе, заваленном сладкими пирогами, конфетами, дорогими фруктами, с бутылками тонкого вино, с цветами в вазах и цветами посыпанными по столу. Но могла ли понять и уяснить себе всю пошлость этого холостого приема женщины Маруся?

Саблин ждал Марусю и не знал кто она такая? Артистка? Но артистка с такою наружностью не могла быть неизвестной в Петербурге. Она была на высших женских курсах, она дружила с дочерью генерала Мартова, ее фамилия Любовина, она очень чистая девушка, а вот идет к нему на квартиру. Пошла бы сестра Ротбека, или баронесса Вольф, с которой он несколько раз видался зимою и танцевал? Ему в голову не пришло бы позвать их. Нелепою была самая мысль пригласить их. А ее пригласил и она согласилась придти. Почему? Потому что она женщина иного круга и ей это можно. У них это позволено.

А кто они?

Купеческая, мещанская дочка она, или дитя казармы, дочь офицера?

А не все ли равно! Она прелестна. С нею мучительно, по новому бьется сердце, хочешь ее и не смеешь, смотришь на милое лицо и даже думать не смеешь, что можно его поцеловать.

Сердце Саблина сладко билось и замирало. Он то садился в своем мягком кресле в кабинете и смотрел в окно, то ходил, потирая руки, из кабинета в столовую. Заглянул и в спальню. Он и ее прибрал и приготовил... На всякий случай... Гнал мысли об этом случае, но прогнать не мог.

Маруся отпустила извозчика на Гороховой и бежала, делая крюки к квартире Саблина. Сердце ее сильно билось. Она спрашивала саму себя — почему? Ведь бывала же она у Коржикова, когда помогал он ей осилить геометрию и повторял историю. Раза два она была у брата своей подруги, одинокого студента, лежавшего больным, когда подруга ее уехала. И тут и там ее принимали, как товарища. Она даже не помнит, что было особенного в их скромных комнатах и что было странного в этих посещениях. Она тогда не только не волновалась, но даже не думала о том, что она идет к холостому мужчине. Шла к Федору Федоровичу, шла к товарищу Андрею и только. Она говорила брату и отцу, что пойдет к ним, а тут умолчала и шла, крадучись к Саблину. Ей было стыдно. Несколько раз она останавливалась и хотела вернуться, но вернуться было еще стыднее. Ей хотелось видеть Саблина. Она любила его. Она сознала это на Лахте, когда простила его и написала ему, еще более сознала во время зари и прогулки по набережной ночью. Он весь ей нравился. С его туманными исканиями, с его заблуждениями, с его изящными, гибкими манерами и тихими вкрадчивыми речами. Он был особенный. Таких она не видала. Ее тянуло к нему.

Она несколько раз оглянулась на бульваре. Но панель была пуста. По бульвару ходили люди, но они не обращали внимания на Марусю. Она юрнула в подъезд. Подъезд и

лестница были грязные, засыпанные мусором, известкой и залитые краской. В открытые двери внизу были видны пустые залы, оттуда пахло сыростью и краской и двое мастеровых красили, напевая тягучую песню. Маруся одним духом взбежала по лестнице. Медная доска мелькнула у ней перед глазами. Ей казалось, что она теряет сознание. В эту минуту, не дождавшись ее звонка, дверь обитая зеленой клеенкой, тихо шурша открылась и она увидела перед собою Саблина в изящном виц-мундире и рейтузах, в высоких сапогах.

Она вскочила в переднюю.

Саблин молча поднес к своим губам ее руки, одна за другою и поцеловал их. Она смотрела в его глаза и чувствовала, как тепло счастья излучается из них. Она покраснела и ей стало спокойно и хорошо.

— Вот, как вы живете, — сказала она, входя в его кабинет и направляясь к большому зеркалу. Она пришла на одну минуту, в прихожей она не хотела скинуть с плеч легонькой мантильи, здесь у зеркала она медленно стала снимать шляпку и оправлять прическу со взбитыми по моде волосами. Эта прическа, которую он на ней видел первый раз, придавала ей шаловливый вид.

Маруся оглянула комнату. В ней для уюта были задернуты наглухо тяжелые суконные занавеси на окнах и горела над столом большая лампа. Не богатство обстановки, равной которой она еще не видала поразило ее, а старина вещей, солидность и их красота. Ее внимание привлек длинный ряд темных портретов, которые висели по стенам. Закинув руки за спину Маруся тихо подошла к крайнему портрету и остановилась. С темной доски на нее смотрело смуглое лицо в высокой боярской шапке. Косые татарские глаза, узкие и злые глядели строго из под нависших на них густых черных бровей. Лицо было обрамлено черною вьющеюся бородой, над верхней губой прямо лежали тонкие монгольские усы. Под ним, висел портрет белой женщины с розовыми щеками и пунцовыми губами, круглой, толстой, с большими на выкате черными глазами.

— Это предки ваши? — спросила Маруся.

— Да, предки.

— Это потом написано, или тогда?

— Нет, этот портрет сделан мастером Ивана Грозного византийцем Кампана в 1543 году, это родоначальник Саблиных, боярин „Ивашка Сабля”, и внизу его жена Мария Савишна из рода бояр Мстиславских.

Темные лица в кафтанах с высокими воротниками и в кафтанах без воротников с шарфами, в мундирах, в париках и без париков с прилизанными наперед височками, с коками над лбом, в орденах и звездах, женщины в шляпах с томными мечтательными глазами, с мушками на щеках, красвые и некрасивые смотрели на нее. Деды, прадеды, пращурь. Саблин знал их всех. Его прабабка была итальянка, бабушка была томная белокурая остейская немка, мать Русская красавица.

Саблин знал историю каждого из них. Это были дворяне Саблины. Они имели герб, они имели живых крепостных людей, хранили традиции своего рода и носили саблю на боку — потому и были Саблины. Несомненно и у нее были тоже предки. Только никто не подумал написать их портретов. Вот и портрета отца ее нет. Кто она? Она даже не знает. Слыхала, что дед был простым крестьянином, крепостным и был своим барином прислан в Петербург. А отец кажется, приписался в Кронштадтские мещане. По крайней мере в документах, которые она подавала на курсы, она значилась Кронштадтской мещанкой.

„Вот бы”, — подумала она, — „написать портреты всех этих пахарей, слесарей, в рубахах, нагольных тулупах, тех, кого секли и били дворяне Саблины и откомендоваться Саблину — кронштадтская мещанка Мария Любовина — а это мои предки. Прошу любить и жаловать!”

Отвернувшись от портретов она посмотрела на Саблина. Он стоял под лампой и не спускал восторженного взгляда с Маруси. От всей его фигуры веяло благородством и красотой. И вдруг стало приятно думать, что у него есть предки, портреты которых написаны.

Она подошла к столу. На видном месте под лампой лежала богато переплетенная книга: — история полка.

Она села в большое уютное кресло, он поместился рядом, на ручке и она стала перелистывать книгу. Это тоже были портреты предков. Старые вычурные формы, рисунки штандартов и литавров, картины конных атак и схваток, портреты героев офицеров смотрели с глянцевого страниц книги. Люди умирали на поле брани, а потомки записывали их подвиги и помещали списки их имен в назидание потомству. Создавались по капле, как здание создается кирпич по кирпичу, сложные традиции части и в основу их была положена беспредельная преданность Государю. Федор Федорович говорит: — „надо расшатать армию”. Виктор прав — ее не расшатает. Что может сделать Маруся, когда она сама подавлена и предками, и историей битв и подвигов, и портретами героев. Да. Саблин прав, он знает, что нужно и знает к чему стремиться. Он идет по крепко проторенному, пробитому вот этими самыми предками пути. А она? Среди дикого бурьяна отрывочно брошенных мыслей, ученые мыслители поставили чуть видные вехи. Люди пробовали идти по этим вехам, прокладывая дорогу — и гибли. В подпольях поминают их имена, но будет ли когда либо время, что так же открыто занесут их имена и напечатывают их портреты? Что может сделать Маруся, когда она уже колеблется и не знает на чьей стороне правда. И, если правда на стороне Федора Федоровича, то красота то несомненно на стороне Саблина.

А разве красота не сила?

— Вы позволите мне предложить вам чаю? — прервал ее раздумье Саблин. Она встала и прошла с ним в столовую.

— Александр Николаевич, что это? Разве это можно? — сказала она, посмотрев на стол. А сама была довольна. Значит, любит ее, значит хочет, чем только можно, показать свою любовь.

— Вина? Хотите шампанского?

„Что же”, — думает Маруся, — „сознаться, что она никогда в жизни не пила шампанского и только слышала про него, читала в романах?”

— Хорошо. Немного. Одну каплю. Пойдемте в ваш кабинет. Там гораздо уютнее... Под надзором предков.

Саблин принес блюдо с персиками, которых она тоже никогда не ела, конфеты и вино. Они сели в кресла, друг против друга, их разделял маленький столик с вином и фруктами.

— Вы позволите мне курить? — сказал Саблин.

Маруся маленькими глотками пила шампанское. Белое шампанское пузырьками ложилось на верхнюю губу и она шаловливо облизывала пену языком. Кровь стучала Саблину в виски. Он бросился бы на нее и смял бы и сорвал ее простое платье и унес бы свою добычу. Но на него так доверчиво, невинно и чисто смотрели глубокие синие глаза, что он не смел пошевелиться.

— Ну вот, — сказал Саблин, — теперь Мария Михайловна, вы хорошо знаете, кто я. Вы знаете историю нашего рода и нашего славного полка. Я хотел бы знать, кто же вы, прекрасная волшебница? Откройте мне свое инкогнито, познакомимся ближе... и подружимся!..

Маруся смотрит, как он сидит в кресле, заложивши нога на ногу, чуть откинувшись на мягкую спинку, как он курит медленно, небрежно, не затягиваясь и в каждом движении его сквозит леность барства и благородство жестов.

Мой принц — думает она.

ЛII.

— Зачем вам знать, кто я и кто мои предки, — сказала после долгого молчания Маруся. — Они у меня тоже были. Не с ветра же я взялась? Но пусть для вас я буду то, что есть: — знакомая незнакомка. Мы оба ищем правду. Каждый понимает эту правду по своему и никто не нашел. Я хочу счастья для всего мира. Я хочу любить всех людей, вы признаете лишь маленький кусок земного шара. Мое сердце больше вашего. Мы столкнулись в споре и заинтересовались

друг другом. Нас связал один общий кумир — красота. Вы поклоняетесь ей — и гордитесь этим, я считаю это слабостью, почти пороком... Вы показали мне сказку мира. Сказку о Царе и его царстве. Я знаю другую сказку. Когда-нибудь, не теперь, я расскажу вам ее. Теперь вы не поймете моей сказки. Но пусть я останусь для вас незнакомкой, как Сандрильона на балу у принца.

— Но принц узнал Сандрильону по потерянной ею башмачку.

— Узнайте, — смеясь сказала Маруся и чуть выставила из-под длинного платья свою точеную крошечную ножку. В легком ботинке, потоптанном и сбитом и черном фильдекосовом чулке была нога, которой можно было гордиться. Глаза загорелись у Саблина. „А что, если этот старый ботинок, этот чулок, это хорошее, но скромное платье только маскарад. Что, если у Мартовой она одна, а в своей интимной жизни она совсем другая. И, если так прекрасна она в этом убогом наряде, то как же должна быть она хороша в ажурных шелковых чулках и легких лакированных башмачках”. Дрожь пробежала по телу. Он стоял перед тайной и эта тайна волновала его. „Она Русская — это несомненно, это видно потому, как правильно и красиво говорит она, она умная, образованная, тактичная, не пьет, а только балуется шампанским, не ест конфет. Откусила одну и положила — видно, что это для нее не редкость, она либеральных взглядов... А что, если она одна из тех аристократок, которые, пресытившись удовольствиями света, ищут новых, более сильных ощущений”. Саблин подумал и улыбнулся: — „в девятнадцать лет. Пресытиться. искать чего то нового!.. Или это дворянка помещица, из рода не менее старого, чем его, „Вера” из Гончаровского „Обрыва” влюбилась в него и прибегла к маскараду?

— Бросим думать об этом, — сказала Маруся. — Вы предложили мне дружбу. Я глубоко тронута вашим предложением и верю, что оно вполне искренно. Я принимаю его. Будем друзьями. Я вижу много книг у вас. Книг, о существовании которых я не слыхала. Вот, покажите мне эти маленькие книжечки. Кавалерийский Устав! Какие забавные кар-

тинки. Я и не знала, что каждый жест, каждое движение у вас изучено и описано. Ноты сигналов! Какие странные слова: „левый шенкель приложи и направо поверни”. Что это значит? Милый Александр Николаевич, предо мною открывается новый мир и я не подозревала, что бы то, что на улице нам кажется такими пустяками, когда мы встречаем полки было бы так серьезно и важно. Наука о войне?.. Ужели будет когда-либо война? Ужели нужны для войны эти: — „левый шенкель поверни”, или как там его? Вы должны посвятить меня во все это. Я вижу теперь, что, когда мы спорили с вами у Вари, мы были глупцами. Мы думали, что это пустяки, что это только придумано вами, а это, правда, наука! И „левый шенкель укажи” тоже наука. Не правда-ли?

Слушал он ее, или нет? Больше любовался ею движением ее губ, мельканием белых ровных зубов и тем, как загоралась и пропадала краска румянца на ее щеках. Она говорила. Она инстинктивно чувствовала, что в этой болтовне ее защита. Или уйти, или говорить серьезно, смотреть книги, чем то заниматься. Иначе протянутся эти сильные руки, схватят ее и жадные губы начнут целовать. Что тогда делать?! Уйдти она не могла.

— Вот, — воскликнула вдруг она, перебивая свои речи, — пришла на минуту, только посмотреть вашу хижину, а сижу уже третий час.

Она встала.

— До свиданья. Мне пора. Пора!

— Когда же увидимся? Здесь у меня.

„Отчего нет?” — подумала она. — „Было так хорошо. Уютно. Он благородный, честный, да и она умеет себя держать.”

— Хорошо. На будущей неделе. Опять в пятницу. Но только тогда на одну минуту. Я отнесу вам ваши книги.

Маруся пожала ему руку и быстро сбежала по темной лестнице вниз. Хлопнула наружная дверь и Саблин остался со своими пирогами, конфетами, фруктами и вином. — „Что делать со всем этим?” — подумал он. — „Сведу Ротбеку — он любит сладкое”.

Вот была прекрасная девушка, сидела на этом кресле и что осталось? Пружины выпрямились и нет следа, что она здесь сидела и кресло холодное, не сохранило теплоты ее тела...

ЛIII.

Каждую неделю, в пятницу, в семь часов вечера, Маруся приходила к Саблину. Они вместе читали, он играл на фортепьяно, пел ей, иногда пела и она. В кабинете было тепло и полутемно, в столовой шумел самовар. Они были одни. Им было хорошо. Иногда, в осеннее ненастье, когда за окном хлестал дождь, у него горел камин, трещали дрова и они садились рядом и смотрели на огонь. Создавалась близость. Если Маруся только лучше себя чувствовала с ним, то Саблин страдал. Он хотел Марусю. Он уже не смотрел на нее, как на святыню, как на Мурильевскую Мадонну, но страстно желал ее. Но он знал, что она недоступна.

Мужчина любит глазами, женщина любит ушами. Саблин знал это. Он чаровал Марусю и разговором своим, и пением. Он целовал ее руки. Она смеялась. Как то на пятом свидании он подошел к ней сзади, когда она сидела за роялем, только что окончив пение и поцеловал ее в шею. Она расплакалась. Если бы она оттолкнула его, негодующая встала, ушла, как на Лахте, она спасла бы себя, но она заплакала и погибла.

Он стал на колени, стал умолять не сердиться, стал целовать ее руки, привлек к себе, сел в кресла и усадил ее на ручку кресла. Он говорил, как он несчастлив как он любит ее и как ему тяжело, что она его не любит.

Это была неправда! Она его любила, очень любила! Чтобы доказать это, чтобы показать ему, что она не сердится, она тихо поцеловала его в лоб. Они расстались друзьями и когда следующую пятницу она пришла к нему, он поцеловал ее румяную пахнущую первым морозом щеку и она ответила ему таким же поцелуем. Как брат и сестра.

Девушка неиспорченная, не знающая страсти, не жаждет страсти, но любит тихо и если девушка отдается мужчине, то это почти всегда потому, что она жалеет его. Жалость самое опасное чувство для девушки и Саблин съумел достигнуть того, что Маруся стала его жалеть и считать себя виновной в его страданиях.

Маруся видела, что он страдал. Он горел в страсти. Он похудел и глаза стали большими, темными.

Был тихий ноябрьский вечер. Она засиделась у него. Тяжело было уйти от него, такого одинокого и... больного. У него горела голова. Должно быть это был жар? Слезы стояли у него на глазах.

— Нет, Мария Михайловна, — говорил ей Саблин, — вы жестокая. Вы не видите, как я страдаю. Я готов умереть. Да смерть пожалуй, лучше будет, чем так томиться, и мучиться, и гореть.

— Чего вы хотите от меня? — спросила с мольбою в голосе Маруся. Ей так хотелось, чтобы он был счастлив.

— Поцелуйте меня.

Он сидел в кресле, она сидела против него.

— Если вы так хотите, — сказала она, встала, подошла и нагнулась к его губам. Он охватил ее руками за талию и она сама не поняла, как очутилась у него на коленях. Он целовал ее губы. Большие серые глаза были близко к ее глазам. Она оторвалась от него и заплакала.

— Разве в этом любовь? — тихо с горьким упреком сказала она. — Пожалейте меня!!!

Он не слышал ее слов. Горячими неловкими руками он расстегнул сзади ее кофточку и обнажил ее плечи и грудь, покрывая их горячими жадными поцелуями. Она не сопротивлялась. Два раза прошептала в отчаянии: — „не надо, не надо!“...

Он схватил ее поперек талии и, как перышко понес в свою спальню и она отдалась ему тихо, кротко, покорно, точно лекарство дала от его тоски и горя, пожертвовав собой.

Ей было стыдно, противно, мерзко, но увидела счастьем и ликованием горящие глаза того, кого она так лю-

била, и все забыла и поцеловала его сияющие глаза и прошептала тихо и покорно:

— Мой принц!..

LIV.

Эта любовь была ее мука, ее крестный путь. Теперь весь смысл свиданья был в одном огненном миге. Саблин ждал Марусю с горящими глазами. Едва обменявшись несколькими словами, он увлекал ее в спальню и там заставлял ее раздеваться совсем. Она горела от стыда, плакала, ломала руки, умоляла не мучить, но видела его счастье и восторг и успокаивалась и любила его и отдавалась его ласкам и целовала его. Беседы, пение, споры, высокие материи, все ушло куда то. Заговорят о чем либо, вспомнят пьесу, которую вместе видели, картину, которую вместе смотрели и вдруг Саблин прервет ее.

— Как ты хороша, Маруся! Нет, нет, повернись немножко так, как красив твой затылок, ты растрепанная еще лучше. Ну, дай мне твои милые губы. Ты сердисься на меня за это? Что же я поделаю, когда ты так хороша!

И шли безконечные поцелуи: она должна была поворачиваться ему в угоду, он покрывал поцелуями ее руки, ноги, грудь, спину и страсть овладевала им и он ничего не помнил. В эти минуты он был груб, но она... любила его.

Не приходит она не могла. Она чувствовала, как он ждал ее, как хотел. Не хотела, чтобы он страдал, лучше она будет страдать, принесет себя в жертву. И Маруся ходила к нему и не чувствовала, не замечала, что уже не может больше страстью ответить на страсть, становится холодна и раздражает его этим.

Был час ночи. Стояла холодная зимняя погода. Густой снег только что выпал и от того особенно тихо казалось в квартире и в его спальне, где горел большой фонарь, освещающая их обоих. Они лежали рядом. Она тоскующая, почти больная, он пресыщенный, уже скучающий с нею.

— Почему ты не хочешь больше меня, — капризно говорил Саблин. — Я это чувствую. Ты разлюбила меня.

— Саша, как тебе не стыдно! Чего еще надо тебе в доказательство моей любви. Я вся, вся твоя.

— Но ты... не такая как всегда.

— Не знаю, милый. Может быть, я не здорова.

Вдруг резкий звонок на кухне прервал их разговоры. Кто мог так звонить? Денщик был услан в эскадрон и не мог вернуться раньше утра. Кто то не только звонил, но и неистово стучал кулаками в дверь и ломился в нее. Этот стук могли услышать на соседней кухне. Саблин вскочил, проворно надел рейтузы и тихо, в одних чулках, подкрался к двери. Он слышал, как кто то, то дергал за звонок, то стучал и кричал грубо, по-солдатски:

— Шерстобитов, слышь, чорт! Отвори. Дело до его благородия. Приказание.

— Кто там? — спросил Саблин.

— Вестовой из канцелярии, ваше благородие. Приказание. Тревога! Полк строится... Бунт.

Саблин, не думая больше, снял крюк и открыл дверь.

Какой то среднего роста солдат бросился на него, схватил сильною рукою за грудь рубашки и увлекая за собою потащил в комнаты.

— Говори, ваше благородие, где сестра? — услышал он хриплый, задыхающийся голос, когда они в борьбе прошли столовую и очутились в кабинете. Саблин узнал Любовина.

Любовин его оттолкнул и стал против него. Он был в шинели, в городской форме, в фуражке.

На шум борьбы выскочила полуодетая Маруся. Любовин увидал ее.

— А! — закричал он в изступлении. — Так это правда! А! стерва! потаскуха несчастная! Офицерская шкура!

На стене сзади него висел щит с оружием и внизу револьвер Саблина, со шнуром. Любовин схватил его и прицелился в Саблина.

— Сволочь, ваше благородие. Мерзавец! Сволочь! На тебе!

И он, не глядя, выстрелил и опрометью бросился из квартиры Саблина.

Облако дыма застлало от него Саблина и ему показалось, что Саблин зашатался и упал.

Маруся смотрела на Саблина. Черты лица ее были искажены и полны отчаяния и муки. Она кинулась, протянувши руки к Саблину.

— Саша, ты не ранен! Ты цел! — она не думала ни о себе, ни о том оскорблении, которое ей нанес ее брат. Она думала только о нем. Только бы он был невредим! Саблин посмотрел на нее мутными блуждающими глазами. Он был бледен и растерян. Страшные мысли ураганом неслись у него в голове. Он глядел на бледную похудевшую девушку с растрепанными волосами, в нижней юбке и корсете. Не нужна ему больше была ее любовь! Кончилась сказка. Она сестра солдата, она из того же подлого сословия людей, из которого были и Владя и Китти, она искала приключения, искала своего первого. Будут и другие.

Он создал себе из ее таинственного инкогнито целую волшебную грезу, он вообразил себе, что она Сандрильона. Просто хорошенькая девочка. Но сейчас нужно спасать ее и себя. Что там наделает, нашумит, накричит Любовин? Да и выстрел был слышен на лестнице. Сейчас могут придти люди, сейчас начнется допрос, нужно, чтобы ее не было, нужно отпереться от нее, чтобы и ее не подводить и себя выгородить. И, если бы Любовин присягу принял в том, что видал Марусю, он должен клясться, что у него не было никого. Так обязывает его рыцарский долг по отношению к женщине вообще, а девушке в особенности.

— Маруся, ради Бога, уходи! сейчас могут придти сюда, — сказал он.

— Сейчас, сейчас! Но ты? Ты невредим? Пуля нетронула тебя?

— Нет, нет.. Вот твоя шляпа. Пригладишься после...

Они метались по комнатам. Она быстро надевала юбку, кофточку, наскоро сама сзади застегивалась, ей было неудобно, он не помогал ей, как всегда. Лица были бледны, глаза блуждали.

— Уходи, уходи, ради Бога! — говорил он, пожимая ей руки.

— До свиданья, родной! Храни тебя Бог! Как я буду бояться за тебя. Что то еще будет?

За себя она не боялась. Она была ко всему готова. Она давно принесла всю себя в жертву и ничего не требовала от него.

Она поцеловала его с такою нежностью, что сердце у него замерло. Он дождался пока она не спустилась вниз и не хлопнула дверью, прислушался, что на улице. Все было тихо.

Он пошел в спальню, потом в столовую и торопливо и обдуманно прибрал все следы присутствия у него женщины. Войдя с самоваром на кухню он увидал, что главное то и позабыл. Кухонная дверь была раскрыта Любовиным настеж. Но на лестнице было тихо. Он заложил дверь крюком, вылил воду из самовара, осмотрел все углы, прошел в столовую, убрал посуду, положил на стол револьвер, отвертки, тряпочки и стал ждать.

На все потребовалось какие-нибудь пять минут. Но было уже время. На парадной лестнице робко зазвонил электрический звонок.

LV.

Любовин был уверен, что он убил Саблина. Что в таких случаях надо делать? Он убил по праву. За честь сестры. Надо сейчас же заявить об этом, надо, чтобы все поняли, что он убил в запальчивости и раздражении. В таких случаях присяженные всегда оправдывают. Прямо из квартиры Саблина все с тою же книгою приказаний, которую он оставил на кухне и теперь взял с собою он побежал в эскадрон. Эскадрон спал глухим, могучим после-полуночным сном. Люди храпели на все лады. Лампы были приспущены, в казарме была полутьма. Дежурный дремал в углу у столика под лампой, дневальные сидели на койках и сидя спали.

Любовин подбежал к дежурному. Он был бледен, глаза были широко раскрыты. Он походил на пьяного.

— Господин дежурный, — невнятно проговорил он, — я убил сейчас корнета Саблина. Вяжите меня!

Но едва сказал эти слова, как понял, что совершил непоправимую глупость. Слова корнета Саблина с беспощадною очевидностью напомнили ему, что он солдат, что судить его будут не присяжные, а военно-окружный суд, а может быть, полевой суд, его ожидает не гуманный суд, который сладострастно будет копаться в сердце Маруси и вынесет ему оправдательный приговор, а жестокий офицерский суд, который постойт за своего и разстреляет Любовина. Все это Любовин почувствовал в ту минуту, когда дежурный поднял на него мутные сонные глаза и проговорил: — „что вздор мелешь. Пьян что ли?“

„Одно спасение“, — подумал Любовин, — „бежать“. Он не отдавал себе отчета, куда, и как бежать, особенно теперь, когда он уже признался, а на квартире Саблина лежит холодеющий труп, но решил, что бежать необходимо и так же быстро, как вошел, Любовин вышел из эскадрона, слетел с лестницы, перебежал двор и выскочил мимо растерявшегося наружного дневального. Впрочем тот заметил книгу под мышкой у Любовина и не придавал особенного значения его бегу. Бежит, мол, вестовой в канцелярию.

Любовин все так же, не думая ни о чем, пробежал по пустынному темному переулку, шедшему вдоль казарм и только тогда, когда вышел на большую, ярко освещенную улицу и увидел вдали постового городского, он замедлил шаг и пошел спокойно по засыпанной снегом панели. Убедившись, что погони за ним нет, он решил обдумать положение. Полевой суд и расстрел — пугающие образы вставали перед ним. Он видел взвод пехотных солдат, белый платок, священника. — „Кто его спасет? Спасти может только Коржиков, он толкнул Марусю на этот шаг, он устроил все это гадкое дело, он пускай и расстраивает.“ — Любовин знал, что у Коржикова есть квартира на Кировской улице, в том конце ее, где она уходит к Таврическому саду. Там месяца два тому назад их партия в целях пропаганды в

войсках устроила небольшую типографию и склад бланков для войск. Там сидел Коржииков и нащупывал проходящих солдат и в случае благоприятном всучал соответственные листки и брошюры... Весь склад помещался в трех комнатах. В первой была контора и приемная, во второй стоял ручной станок и были кассы со шрифтами, в третьей, маленькой комнатке, жил сам Коржииков. У него была небольшая железная койка, со смятым жидким матрасиком, дурнопахнущий железный умывальник и большой стол, заваленный бланками для войск самого невинного свойства. Брошюры и листки в очень умеренном количестве Коржииков хранил на себе. Любовин знал, что Коржииков работает по ночам, ложится очень поздно и потому был уверен, что застанет его. Главное, замести следы, скрыться хотя на время, отдалить весь этот ужас суда и расстрела.

Ворота дома, где жил Коржииков не запирались. Во дворе жило много типографских и газетных рабочих и проституток и движение ночью не прекращалось. На первый же робкий звонок Любовина он услышал за дверью мягкие крадущиеся шаги и за дверью раздался скрипучий спокойный голос Коржиикова.

— Кто там?

— Это я, Федор Федорович, — Любовин, — тихо сказал Любовин.

Коржииков не поверил. Оставляя дверь на цепочке, он приоткрыл ее и только убедившись, что это действительно Любовин впустил его в квартиру. Коржииков был в неизменном своем рыжем костюме, с лампою в руках.

— Что так поздно пожаловали? — спросил Федор Федорович, тщательно закладывая дверь на крюк и проводя гостя в свою комнату. Он поставил лампу на стол, сел на стул и предложил стул Любовину. Любовин остался стоять.

— Я убил сейчас жорнета Саблина! — задыхаясь от волнения, сказал Любовин.

— Добре. Совсем убили? — спокойно, разминая свою бородку спросил Коржииков таким тоном, как будто разговор касался самого обыкновенного предмета.

— Совсем, — едва мог произнести Любовин.

— Добре. За что же так таки вы его и ухлопали?

— За сестру, Федор Федорович. Она была у него. Я застал ее у него на квартире.

— Ну что же из этого? Мария Михайловна исполняла задачу данную ей партией.

— Это гадость, Федор Федорович! — вскипая негодованием воскликнул Любовин.

— Допустим, что так, — спокойно сказал Коржиков. — Дальше что? Ужели только романическое убийство?

— Я хотел вас спросить. У вас искал совета. Что же? Суд? Полевой суд? Расстрел!

— Да, ухлопали, батенька, офицера, своего эскадрона, своего прямого, или как это у вас — непосредственного начальника. За это по головке не поглядят.

— Что же делать?

Коржиков внимательно маленькими умными карими глазками поглядел на Любовина и сказал.

— Вы это все серьезно, Виктор Михайлович?

— О, Господи, Федор Федорович!

— Как же вы все это пронюхали?

— Да ведь она беременна!

— Кто? — спросил Коржиков и Любовину показалось, что голос Коржикова дрогнул. Но он не переменял позы и все так же сидел, скорчившись на стуле, мямл свою бородку и исподлобья быстро блестящими глазами посматривал на Любовина.

— Маруся.

— Не за-а-ме-тил, — протянул Коржиков. — А вы почему уследили?

— Я давно наблюдаю. С лета почти. Вот как мы из лагеря пришли, она как не своя стала. Заниматься на курсах бросила. — Ходит все, напекает. „Я”, — говорит, — „в консерваторию, на сцену пойду”, — а сама то краснеет, то бледнеет. Вижу своя дума у ней на душе. А мне не говорит. Спросил раз, другой, приласкала, зачаровала, она это умеет, а только, вижу, стала опасаться меня, сторониться. Ну я Мавру кухарку на допрос.

— Подло, как будто немного, — заметил Коржииков, — полицейским надзором пахнет.

— Узнал только одно, что по пятницам всегда в шестом часу уходит и дома не ночует. Ну она и раньше часто дома не ночевала. К нам далеко и страшно. И народ фабричный. Ночует у тетки, это я знал. Только, на прошлой неделе, заговорили мы о чем-то, она стояла. Вдруг побелела вся, чуть не упала и говорит мне — „что то мне, Виктор, дурно”. И тошнить ее стало. После этого стала задумчивая. В воскресенье стал я рассматривать — вижу и лицом не та и талья стала полнее — ну, я понял. Только не знал кто? Не думал, признаюсь, на Саблина. Все, и ее и его честнее считал. Сегодня отпросился у вахмистра. Пустил. Приезжаю в пять часов и еще с конки паровой не сошел, вижу она идет пешком по панели. Она и будто не она. Шляпка новая одета на бок, кокетливо так, кофточка под каракуль новенькая, муфта, а лицо, несмотря на мороз бледненькое и печальное, как бы и нехотя идет. Я, знаете, пропустил ее, слез с конки и за ней. Отошла она от дома с версту, уже к Стеклянному стала подходить, извощика взяла. Я другого, и за ней. Едет в казармы. Не доезжая до казарм сошла, пешком идет, все оглядывается. Свернула в переулок, обошла квартал, а потом сразу в подъезд и была такова. Ну к Саблину! К кому же больше? Там внизу столовая нестроевой команды, капельмейстер немец семейный живет, наверху Ротбек и он напротив. Ротбека никогда дома нет — это я знаю. Значит у Саши. Я в эскадрон. Гляжу денщик его разувается на койке у караульного. Я говорю — „ты чего же, Шерстобитов, не у барина?” — А он, сволочь, смеется. — „Мне”, — говорит, — „барин пятерку дал и велел в казарме ночевать, у него мамзель ночует. Каждую пятницу так”.

— А ты знаешь, говорю, какая мамзель? — А он, раб проклятый! — „мне”, — говорит, — „какое дело. Это его дело”. — Вижу, что хоть и знает, так зарежь его — не скажет. — Отбыли мы перекличку, лег я на койку, а сам свое думаю. Ночью встал, оделся, взял книгу приказаний, иду к дежурному. „Беда! господин вахмистр приказали в канцелярии приказание списать а я заламятовал, дозвольте

пойдти". Пустил. Я к его, значит, квартире. Подошел, слушаю. Тихо. Будто никого нет. Я думаю, часа полтора так на лестнице простоял. Холодно стало. Ноги стынут. Сердце бьется. Ну, думаю, войду в квартиру, а дальше то что? Что дальше? А там — тихо. Слышно даже, как в столовой часы двенадцать пробили. Стал я звонить. Притаились. Не отпирают. Стучу. Кричу. Нарочно голос переменял по солдатски Шерстобитова ругаю. Такой сякой, отворяй. Дело, мол, приказание. Бунт, тревога! Слышу, он стоит. Тихо дышет. Ну, не выдержал.

— „Кто такой?” — спрашивает. Я кричу: — „вестовой из канцелярии. Бунт в городе”... Крюк отложил. В рубашке и штанах одних. Видно спали. А, может быть, один? Я на него набросился, тащу его в столовую. А там Маруська, разодраная вся, в юбочке и коресте. Жалкая, несчастная. Я себя не помню. Только, точно бес меня под руку толкнул, вижу на стене револьвер его никелированный Смит и Вессон висит, значит как с дежурства пришел, повесил. Взял я и выстрелил... Ну, он упал... — задыхаясь проговорил Любовин и бессильно опустил на стул.

— Так, так, — сказал спокойно Коржииков. — Дальше что?

— Дальше я в эскадрон. И повинился.

— Как? — сказал Коржииков и опять какое то волнение почувствовалось в его голосе. — Вот уже это, товарищ, напрасно.

— Сам знаю, — глухо сказал, Любовин — а толко дурь такая нашла.

— Ну, дальше, — сказал Коржииков.

— Как сказал, вижу дежурный ничего не понял, сморщил, глаза вылупил, я бежать... и к вам.

— Дальше.

— Это я у вас хотел спросить, что дальше? — сказал с отчаянием Любовин. — Ведь значит, суд, расстрел.

Коржииков встал со стула и прошелся взад и вперед по комнате. Он остановился против Любовина и спокойно сказал: — „да, суд. Расстрел. Может быть до расстрела то

и не дойдет. Смягчающая вину обстоятельства есть, а ка- торги не избежать.

— Ну, что же делать? Научите.

— Исчезнуть надо, — снова начиная ходить по комнате, сказал Коржиков.

— То есть это в каком смысле? — бледнее спросил Лю- бовин.

— В прямом, товарищ, в прямом. Все равно расстрел. А тут сами. И так, чтобы никто не видал. И тела не нашли. Марию Михайловну спасти надо.

Любовин стал белым, как полотно. Он весь трясся вну- тренней, тяжелой дрожью. Коржиков стоял против него и внимательно с презрением смотрел на него.

— Эх вы! — вдруг сурово крикнул он. — Раздевайтесь.

— Что, — пролепетал Любовин.

— Раздевайтесь, говорю я вам. Снимайте шинель... Да, ну! Не можете. Я вам помогу. Ну, живо. До света кончить надо.

Он помог Любовину снять шинель и бросил ее в сторо- ну. Взял палаш.

— Эка громоздкая какая штука. Не легко ее будет уничтожить. Поди и с номером?

— С номером, — прошептал Любовин. Он был жалок.

— Белье снимайте, — сурово крикнул Коржиков, на бе- лье тоже клейма?

— Федор Федорович. Что же это? Ужели сейчас? — трясясь сказал Любовин.

— Да вы что, товарищ?

— Смерть, — прошептал Любовин.

Коржиков достал из комода смену белья и кинул, по- смотрел за занавеской, где висели штаны, пиджаки и жи- летки и выбрал из них костюм.

— Одевайтесь, — сказал он. — Пальто и шапку мои возьмете. Паспорт заграничный я вам сейчас изготовлю. Поедете в Швейцарию, в местечко Зоммервальд к товари- щу Варнакову. Поезд идет в шесть часов утра с Варшавско- го вокзала. Вы теперь товарищ Станислав Лещинский, по- ляк, Ковенской губернии, слесарь. Эх стрижка у вас подлая,

солдатская. Ну да лицо не солдатское. Поняли — сегодня же уехали. Да язык то на польский ломайте, а лучше молчите. Ну, что готовы?

— А как же Маруся? — спросил ободрившийся Любовин.

Коржиков гордо выпрямился и прямо посмотрел в глаза Любовину.

— О Марье Михайловне не извольте беспокоиться. Никакого срама за нею не будет.

— Что же вы сделаете? — спросил Любовин.

— Я женюсь на Марье Михайловне.

— Но... она беременна, — прошептал Любовин.

— Вот именно потому то я и женюсь на ней, — с гордостью сказал Коржиков и скрестивши на груди руки остро и строго посмотрел на Любовина.

LVI.

Саблин встал и, не спеша пошел отворять дверь. План объяснения выстрела у него созрел в голове. Главное выпытать, что Любовин успел сказать и где он.

На лестнице стоял дежурный по полку юный офицер, корнет Валуев.

— Ты жив? — сказал он, глупо и застенчиво улыбаясь.

— Как видишь, — ответил Саблин. — Да проходи ко мне. Что случилось? Что так поздно? Хочешь стакан красного вина?

Он прошел с Валуевым в столовую, достал два стакана и бутылку, налил вино. Поставил вино нарочно подле револьвера и тряпок. Он заметил, как жадно смотрел на револьвер Валуев.

— Ну так в чем же дело?

— Да видишь ли... Какая глупая история! Сейчас прибежали ко мне вахмистр Иван Карпович и дежурный по второму эскадрону и доложили мне, что только что тебя убил солдат Любовин, у тебя на квартире.

— Любовин?... Ловко, — сказал, смеясь Саблин. — И ты пошел звонить на квартиру к убитому. Кто же бы открыл тебе?

— Да, я не подумал. Я думал, что двери открыты.

— Ну, хорошо. Почему же Любовин убил меня? Так? Здорово живешь? Где же Любовин? Схватили, арестовали этого негодяя по крайней мере?

— Вот в том то и беда, что нет. Представь себе, он вбежал, как полоумный, прокричал, что он тебя убил и исчез. И чорт его знает где он теперь. Удрал.

— Какой идиот, — сказал отхлебывая из стакана вино Саблин. — Неправда ли славное вино? Это я через Палтова достал. Ему брат привез. Настоящее Бордо. Да пей. Какая, однако, глупая и смешная история. Нужно тебе сказать, ждал я тут одну особу. Ну... Она надула. Обещала и не пришла. Скучно стало. Читать не читается. Вспомнил я, что после последней стрельбы я не отдавал чистить револьвера. Решил почистить сам. Только разложился. Звонок на кухне. Кто то стучит. Я пошел отворить. Входит Любовин с книгой приказаний. Странный какой то. Точно съума спятил. Про бунт какой то говорит. Я потребовал книгу приказаний. Какой чорт, там и приказания никакого нет. Последнее о том, что каких то там людей в швальню на пригонку мундиров прислать. Я и говорю ему: — что же это Любовин? — а сам в это время взял револьвер, да уже не знаю как неловко взял, он у меня и выстрелил, вон видишь куда пуля просвистала то. Чуть чуть не задела меня. Любовин бежать — кричит, не то убил, не то убили. Вот она и вся эта глупая история. Так, — говоришь, — не нашли этого подлеца?

— Да нет же. Нет. В этом и горе, что провалился совсем. Ну, как я рад! Пойду барону доложить, а то он беспокоится.

— А ему кто сказал?

— Да вахмистр доложил Гриценке, а Гриценко по телефону командиру. Волнуется старик.

— Ну ступай. Да вино допей! За чудесное избавление от смертельной опасности.

— До свидания. Покойной ночи.

— Спасибо. И тебе того же. Скажи барону, что я завтра рапорт подам. Все по форме.

— Конечно. Покойной ночи.

Саблин проводил Валуева, запер двери и прошел в свою комнату. Он разделся, потянулся, лег в остывшую постель, загасил лампу, накрылся с головою одеялом, закрыл глаза и сейчас же встал перед ним образ Любовина с белым, искаженным злобой лицом и он услышал страшные позорные его слова: — сволочь! Мерзавец!

Так обругал его, так обозвал его, офицера, солдат. И что же он? Остается жить, замазывает следы своего оскорбления, лжет, лжет и лжет!

Он откинул одеяло с головы, открыл глаза и стал смотреть в темноту. Ему вспомнился застрелившийся этим летом в лагере барон Корф и те разговоры, которые велись по этому поводу Гриценкой, Мацневым и Кисловым. Жить труднее, нежели умереть, но и умереть нелегко, когда жизнь прекрасна. Прошлую субботу, утомленный ласками Маруси, разочарованный и усталый он приехал на каток в Таврическом саду. Там была баронесса Вольф со своими дочерьми — Верой и год тому назад вышедшей замуж за богатого помещика, баронессой Софьей. Они катались на коньках и с гор. Вера была очаровательна. Он смотрел на Веру иными глазами, нежели на Марусю. Марусю уже с Лахты он мысленно раздевал, под простым и скромным платьем старался угадать прекрасные линии ее юного тела. Он мечтал обладать ею. Совсем другое испытывал он, когда глядел на Веру Константиновну. — Осенью он провел у них два дня в имении, ходил с Верой Константиновной и ее отцом на охоту на вальдшнепов. Вера Константиновна была в высоких сапогах, шароварах, узких у колена и широких к бедрам, в длинном сером охотничьем сюртуке и мягкой серой шляпе с зеленым пером. Она казалась меньше ростом и была грациозна в мужеском костюме. Саблин, влюбленный в Марусю, не мог, однако, не заметить красоты Веры Константиновны. Но он, несмотря на близость деревенской жизни, общих охот, пикников, завтраков на траве, ни разу не подумал о ней худо и мысленно не раздел ее. Маруся умоляла

быть товарищем и другом, Вера Константиновна ничего не говорила об этом, но она была товарищем.

Почему? — Ясен был ответ — они были одного круга.

В прошлую субботу, после катка Вольфы пригласили его обедать. Он остался после обеда у них. Вера Константиновна ушла на урок балетных танцев, готовился великосветский балет и она брала, уроки, чтобы участвовать на нем. Саблин остался с баронессой Сафьей. В гостиной было полутемно, они сидели в углу и между ними завязался тот скользкий, полный недомолвок, разговор, который позволяют себе вести молодые дамы с мужчинами, которые им нравятся и которых они считают мало-опытными в делах любви. Саблин выглядел Чайл-Гарольдом. Он был мрачен. Маруся не удовлетворяла его. Ее прекрасное молодое тело было слишком бедно покрыто. Белье было грубое, простое. Сандрильона слишком долго оставалась Сандрильоной и начинала приедаться. Он вспомнил, что так же приелась ему и Китти и он несмотря на всю горячую страсть покинул ее так просто и легко. Саблин говорил баронессе Софье о любви с горечью и отвращением. Он видел в любви только удовлетворение чувственности, после которого наступит быстрое пресыщение и охлаждение. Он нарисовал намеками опоэтизированный им образ Китти, и легкими штрихами набросал воздушный силуэт таинственной Маруси. Он дал понять баронессе Софье, что он опытен в любви, что у него были романы и он имеет право говорить о женщинах грубо, считать их прекрасными, но низшими против мужчины существами.

— Все это потому, милый Александр Николаевич, — сказала баронесса Софья, — что вы совершенно не знаете женщин, не знаете любви и потому так грубо судите. То, что вы испытали и знаете — это не любовь. Любовь вам может открыть только женщина вашего круга, женщина воспитанная, светская, тонкая и только в браке, Богом, в церкви, благословленном.

— Ох, уже этот брак! — с досадою сказал Саблин. — Почему нельзя, любить свободно? А то брак, приданое, вся эта мещанская пошлость свадебных обычаев, ухажив-

ванье за невестой, а потом общая спальня, две постели рядом, дети, пеленки, грязь, какая тут поэзия, одна проза!

— Вот именно вы говорите так потому, что вы ничего этого не знаете. Мещанской пошлости свадебных обрядов нет, потому что мещане их не соблюдают и не знают. А есть трогательное, чистое горение девушки, которая сознательно готовится стать женою своего мужа и матерью его детей. В общей спальне — не пошлость и разврат, как видите вы, не единение тела, а единение душ. Как трогательно проснуться ночью и услышать тихое дыхание любимого человека и знать, что он тут, подле. Изящная светская девушка знает, что она должна всегда быть прекрасной и верьте, несмотря на близость ее тела, она далека телом, а близка душою. В этом трогательность брака между людьми высшего света, людьми одинаковых понятий.

Саблин вспомнил теперь этот разговор. Он представил себе светлую голубую спальню, громадный во всю комнату светло-серый с голубыми цветами и венками мягкий ковер, две кровати карельской березы, мягкие кресла стулики, низкую дверь с матовыми окнами, ведущую в уборную и рядом с ним баронессу Веру Константиновну в воздушном белье и кружевах. Он почувствовал, что баронесса Софья была права — это было что то непохожее на Марусю. Может быть нечто более духовное, где чувственность парит над землею, уносится в небо.

„А ведь это возможно”, — подумал он. Частые приглашения на обеды, благосклонность к нему княгини Репниной, это все подготовка к тому, чтобы сочетать его браком с Верой Константиновной.

Образ прелестной баронессы с золотистыми кудрями и тонкими чертами смелого открытого лица встал перед ним...

Но может ли он теперь придти и просить руки баронессы после всего того, что было, после того, как солдат обружал его.

„Что делать? Боже, что делать?! Ужели один исход взять тот самый револьвер и застрелиться”.

„В смерти моей никого не винить. Я уйду из жизни потому, что оставаться с несмытым оскорблением не могу, а смыть его нельзя...”

„Так,.. хорошо!” — сказал Саблин и сел на постель. Зимняя долгая ночь была за окном и оно чуть обозначалось серым прямоугольником за спущенную занавесью.

„Хорошо... Я застрелился... Оставил записку... Любовин уверяет, что он убил меня. Ведется следствие и находят Марусю. Я гордо ушел из жизни и предоставил нести всю тяжесть моего греха этой прекрасной, слабой девушке. Честно это? Благородно?”

„Корнет Саблин!” — строго сказал он сам себе. — „Вы знаете, что вы должны сделать? Вы должны жениться на совращенной вами девушке!”

Он в изнеможении опустился на подушки. — „Жениться на сестре простого солдата: Какая родня у нее? Можно разве оставаться в полку после того, как он женится на сестре солдата, который уверял, что он убил его. Ясное дело почему он женится. Солдат потребовал, и он женится на девушке с прошлым. Разве это не будет еще большое оскорбление Марусе? Ну, хорошо. Это минута, а впереди долгая счастливая жизнь в сознании исполненного долга. Он осквернил ее и он очистил. Маруся так прекрасна. Разве не считал он ее несколько часов тому назад аристократкой, богиней, снизошедшей до него. Разве не маленькие в породистых жилках у нее руки, не стройные, классической красоты ноги. Не называл ли он ее час тому назад Дианой, не лбызал ли тонкого мрамора ее тела? Изменилась она от того, что оказалась сестрой солдата? Не восхищались ею на заре с церемонией Мацнев и Гриценко и не желали иметь ее в полку?”

„Да, это она. Но у нее есть родня. Есть брат, который обругал его мерзавцем и сволочью. И еще кто-нибудь есть Мать, отец...”

„Свадьба в полковой церкви. С его стороны шафера князь, граф, барон, один Ротбек не титулованный и со стороны невесты — солдат Любовин, писарь второго эскадрона, извозчик, прикащик, не знаю кто? Ну свадьбу можно спра-

вить просто. Можно уйти из полка для этого, но ведь от родни не уйдешь. Приедет Любовин после службы. Братец! Его не выгонишь. Да и она. Она хороша теперь, пока играла роль, а потом? Распустится, разжиреет, все недостатки воспитания всплывут и будет не жизнь, а какая-то томительная нелепость”.

„Нет, лучше смерть”.

Некоторое время Саблин лежал без дум. Внутренний процесс шел в нем, минуя сознание, не вызывая образов и дум. Кровь говорила. И все то, что она говорила, вылилась в простом и отчетливом решении: — не нужно ничего. Ни смерти, ни свадьбы. Не нужно больше и Маруси. Вся забота должна быть только о том, чтобы устранить Любовина. Даже убить его можно. Вызвать на резкость, на оскорбление и застрелить, как собаку. Тогда и честь спасена. Тогда и мундир полка не замаран: — он убил обидчика. А о Марусе забыть. Оборвать этот роман. Как увидится он с нею теперь, когда между ним и ею всегда будет стоять озлобленный солдат и будут слышны оскорбления? Он не может. Она свидетельница его позора — она ему теперь в тягость и он больше ее не увидит. Если она обратится к нему за помощью, ну, скажем, будет выходить замуж и попросит на приданое, он ей широко заплатит. Ведь в их быту так водится и у них девушка с прошлым не беда, лишь бы она была девушка с приданым.

„Нет, не такая Маруся”, — сказал внутри него какой то голос, но он заглушил его и не прислушался к нему. Кровь диктовала свои властные решения. Убрать Любовина с пути, хотя бы для этого пришлось пойти на убийство, потому что он та бешеная собака, которую надо пристрелить. С Марусей оборвать. Предаться увлечениям света, чистому безкорыстному ухаживанию за Верой Константиновой и обратить весь этот эпизод в шутку. Ведь это было вне их круга.

Не легко далось это решение Саблину. Он долго лежал на спине, опрокинувшись на подушки и думал свои думы. Ему казалось даже, что он видит странный, связный сон, но это не было сном, потому что он лежал с открытыми глаза-

ми и то, что казалось сном были его думы, претворенные в образы.

LVII.

Саше Саблину четыре года. У него прелестная, но постоянно больная мама, которую он почти не видит и которая кажется ему какой-то далекой феей, у него отец, который всегда в разъездах. Громадная квартира. Лакеи, горничные, прислуга, тихо шмыгающая по комнатам гувернатка и нянька. В прихожей всегда торчат два солдата, каждый день разных полков, рядом в приемной дежурный адъютант.

Саша знает, что это потому, что его отец важный генерал Саблин, и что у них есть свой герб — золотая сабля на голубом поле. В кабинете отца висят темные страшные портреты, — это папин папа и папина мама, и еще папин папа. Много их. Все темные, страшные. У дежурного адъютанта, у солдат, сидящих в прихожей и от которых нехорошо пахнет, у горничной, у няни, у mademoiselle нет герба с золотой саблей и нет портретов папы их папы. Они — люди. С ними разговаривать запрещено.

Следующее впечатление его детства, уже попозже когда ему было лет восемь была смерть отца и его похороны. В гостиной стоял большой гроб, покрытый золотой парчю. Кругом были золотые подушки с пришпиленными к ним орденами и звездами — папиными орденами и папиными звездами. Из гроба виднелись края густых золотых эпалет, синяя лента и газом покрытое лицо. Подле гроба неподвижно стояли офицеры и солдаты. Маленький Саша был преисполнен гордостью, что так окружают и берегут его мертвого папу. Потом он помнит музыку и бесконечные ряды войск пехоты и кавалерии, которые провожали папин гроб.

— Мама, — спрашивал он свою, мать, — это все папины солдаты?

— Папины, — отвечала ему мать, — у него их еще гораздо больше было.

— Мама, а почему папу провожают только Егеря и Кавалегарды?

Ему было восемь лет, но он знал полки. Все стены квартыры были увешены картинами, изображавшими войска: — битвы, сцены на оиваках, парады, церемонии. Саша любил их расставлять так, как они и по настоящему стоят. Иногда приходил папа, смотрел его солдат и говорил: — „у тебя, брат, чорт знает, что за строй. Где же фельдфебель? Почему жалонерный попал в переднюю шеренгу? Экой какой ты” — и папа расставлял сам ему солдат и показывал ему, где должен быть ротный командир, где офицеры, где фельдфебель.

— За равнением, брат, наблюдай. Равнение чтобы чище было. Это, брат, важная штука, равнение.

— Папа, я буду офицером?

— Всенепременно.

А если, папа я не хочу офицером?

— Нельзя, брат. Все Саблины были офицерами. Что штатские! Штатские и не люди даже.

Лет девяти Саша напевал песенку, которой его научили кадеты, приходившие с ним поиграть.

Я очень штатских не люблю
И называю их шпаками,
И даже бабушка моя-а...
Их часто била башмаками!

Саша был уверен, что это правда, что бабушка могла бить штатских башмаками. Когда ему принесли новую курточку, он серьезно сказал матери:

— Мама, я не буду носить курточку. Она штатская”...

Десяти лет он поступил в корпус. Корпус был особый, привилегированный. И привилегии его состояли не в том, что в нем особенно хорошо учили, или курс наук был шире и этим он гордился. Напротив, туда сплавляли всех тех кадет из других корпусов, которые плохо учились, но родители которых могли платить повышенную плату. Но кадеты этого корпуса гордились тем, что они носили синие штаны, алые с черной полосой кушаки и готовились быть кавалеристами. Быть в кавалерии, это значило, быть выше других.

Пехота, артиллерия, инженерные войска — это было низко, недостойно, почти презиралось. Конечно не в такой степени, как штатские.

Говорили в корпусе на уроке древней истории о римских всадниках и неизменно подчеркивали их громадное значение и то, что equites были высшим сословием древнего Рима. Говорили о средних веках и опять указывалось на то, что конные войска, — рыцари, были выше всех, их окружали пешие вассалы, не имевшие прекрасных традиций рыцарства.

Саблин рос дома. Там была полубольная мать, без ума влюбленная в него. В корпус он приезжал на щегольской одиночке, запряженной рысаком и в корпусе он сходил только с теми мальчиками, которые имели таких же рысаков и которые мечтали о службе в кавалерии.

В корпусе презрение к штатским увеличилось. Каких только смешных прозвищ кадеты им не давали: — шпак, стрюцкий, штафирка, рябчик.... каких стихов про них не писали.

Впрочем и тут были исключения. Те мальчики, которые учились в Императорском лицее или училище правоведения выделялись из общей массы гимназистов, презрительно называемых „синей говядиной”...

Мать съумела уберечь его от разврата, который царил в старших классах, где многие мальчики имели своих содержанок и открыто хвастались этим. Болезни, сопряженные с развратом не смущали мальчиков и особое отделение лазарета называлось кавалерийским отделением.

Сашу спасла от этого мать. Она своим громадным влиянием и нравственною чистотою сделала то, что мальчик боялся разврата и инстинктивно сторонился от него. Мать хотела воспитать в нем человека, развить благородные инстинкты, но она не могла преодолеть с колыбели привитых ему понятий о классовом различии людей.

В корпусе и дома Саша научился боготворить Государя и любить Россию. Но какую Россию? Русскую деревню, Русского мужика он презирал, он снисходил до них — это был черный народ, годный лишь на черную работу. Те, кто

выходил из этого народа в знать своими талантами подтверждали как исключение то правило, что простому народу и простое место. Саблин любил ту Россию, которая пробивалась к Европе и в дни его детства занимала первое место в мире. Царь и его армия и флот олицетворяли ту Россию, которую обожал Саблин. Он не любил людей, но любил солдат и офицеров. Армия была все для него.

В корпусе он знал названия, номера и шефов всех кавалерийских полков, знал у кого какие приборные сукна и не знал даже приблизительно сколько дивизий пехоты в Российской армии.

Из корпуса он попал в кавалерийское училище. То, что многих юнкеров младшего класса доводило до изступления, до ухода из училища, до самоубийства, приниженное положение бесправного зверя, принужденного пресмыкаться перед издевающимися над ним корнетами для Саблина было нормальным. Он в этом унижении видел свое возвышение, потому что знал, что через год он сам будет корнетом и так же будет издеваться над зверьми. Впрочем к нему, Саблину, и корнеты относились иначе. Он был хороший зверь.

— Зверь, покажите ваши таланты? — говорили ему в курилке благородные корнеты и Саша пел и танцевал. Он был хороший гимнаст, отлично стал ездить верхом — это все, что было нужно. Он был богат, ему и зверем было легко.

В училище больше и толще стали перегородки между нами и ими.

Саблин скоро увидел, что нас немного. Мы были только гвардия и то не вся. Были полки, с офицерами которых водили компанию, считались с ними, дружили, но за своих не считали. Армейскую кавалерию признавали, но далеко не всю. Только Нижегородский драгунский полк считался вполне своим. Саблин уже в училище увидел, что предстоит жить в маленьком мире людей, где все друг друга знают, в мире, окружающем Государя. Мир этот был со своими правилами, традициями и главное нужно было изучить эти правила и традиции и следовать им, а все осталь-

ное пустяки. Он скоро понял, что то, что он Саблин, выходит в блестящий гвардейский полк, делает его выше многих. Он понял, что он, юнкер, выше офицеров и даже генералов.

— А, Саблин! Саша! — говорил ему в театре или на балу важный генерал и протягивал ему руку и не замечал старого полковника, стоявшего рядом на вытяжку и смотревшего ему в глаза. Саблин знал, что так и надо — потому что он был на ш, а тот был и х.

Саша слышал, как его старая богатая тетка, обсуждая с его матерью кого позвать на серебряную свадьбу, сказала про одного заслуженного почтенного генерала: — „ну, он такой хам, я его и звать не буду. Его отец фельдфебелем был у моего отца в роте”.

Для Саши сословие было все. А между тем он жил в те дни, когда жизнь властно разрушала сословные перегородки и во главе этого разрушительного движения шел Государь и великие князя. В замкнутую, строго военную среду стремились впустить иной, не казарменный элемент. В Л. Гв. Измайловском полку, где фототю командовал царственный поэт великий князь Константин Константинович, были организованы литературные вечера „измайловские досуги”, на которых постоянным почетным гостем был штатский поэт Майков. Почтенный старец с седою бородою, в простом черном сюртуке, окруженный офицерами читал свои стихи...

Великий Князь Главнокомандующий с своим начальником штаба, генералом Бобриковым, организовали военные лекции для офицеров при штабе округа.

В это время развивал свою деятельность Педагогический Музей в Соляном городке, там устраивались лекции для солдат гвардейского корпуса, и лекторами были призваны молодые офицеры от всех полков. Делались какие то попытки идти по новому пути от муштры к воспитанию, от господ и людей — к офицерам и солдатам. Но они наткнулись на глухую стену взаимной розни и непонимания друг друга. Талантливых лекторов не нашлось. Лекции носили чисто случайный не систематичный характер и не могли заинтересовать ни солдат, ни офицеров. Они

скоро обратились в отбывание нудного номера, к которому офицеры небрежно готовились. Солдаты спали на лекциях. Им казалось бессмыслицей месить грязь и ходить за шесть, за восемь верст строем для того, чтобы прослушать часовую лекцию на случайную тему. Барская затея — говорили они. А между тем военная литература открыто кричала, что армия — школа для народа. Требовали обязательного преподавания грамотности, развития солдата, но дальше азбуки, чтения и письма не шли. Армия не могла исполнять эту работу: не было учителей. Все эти попытки трясли старые основы суровой незыблемой дисциплины, беспрекословного исполнения даже глупого приказа начальника, возбуждали сомнения и вопросы, но не давали на них ответов. И в Саблине зародились вопросы и сомнения, но главное не было поколеблено в нем. Каста оставалась кастой. Молодежь Мартовой интересовала и влекла, как влекут новые места на прогулках, но она не давала внутреннего содержания, она задавала вопросы, но не отвечала на них, она критиковала, иногда бичевала большие места, но ничего путного не умела предолжить взамен, не могла залечить раны и ограничивалась абсурдными, совершенно неприемлемыми лозунгами и пожеланиями. — „Надо так сделать, чтобы войны никогда не было” — говорила она, но Саблин со школьной скамьи узнал и с молоком матери впитал, что война неизбежна. Теперь сейчас, через много лет, в отдаленном будущем — она будет. Единственное средство задержать приближение войны он видел только в сильной армии, в настойчивом приготовлении к войне. Отрешиться от этого он не мог. Долой армию — говорили ему. Но армия была для него все. Сказать — долой армию — значило уничтожить военный быт, в котором он жил, уничтожить его самого. Он видел, как погиб и рушился помещичий быт, романы Тургенева и Гончарова, казались уже невозможными теперь, но он не осуждал описываемый в них быт, а преклонялся перед ним, потому что это был быт его отца, его деда, его предков. Он считал его хорошим. Еще более хорошим он считал военный быт — и для него сказать — долой армию — значило сказать — что я уничтожаю самого

себя, наш полк, все, что он обожал с детства. Молодежь Мартовой его интересовала, но казалась ему опасной и вредной и он боролся с нею.

Особенно резкие рамки были в отношениях к женщинам. Если мужчины в том обществе, в котором вращался Саблин замкнулись в особенную касту, то и женщины делились на своих и чужих. К своим было рыцарское преклонение. Над ними смеялись, осуждали их мелкие страсти и недостатки, но о них всегда говорили с большим уважением. Саблин отлично помнил, как обрезал его Мацнев — философ и циник, — когда однажды в период между Китти и Марусей в театре его познакомили с женой одного гвардейского офицера. Молодая женщина на секунду дольше задержала свою руку в руке Саблина и посмотрела на него с восхищением. Саблин спросил Мацнева потом: — „а что, она доступна?“

— Милый друг, — сказал ему Мацнев, — про жен гвардейских офицеров так не говорят. Ты можешь попытаться иметь с ней роман, может быть ты будешь иметь успех и достигнешь желаемого, но ты будешь скотина и подлец, если когда-либо заикнешься об этом. И я первый несмотря на свое отвращение к дуэлям, вызову тебя на дуэль. Наши жены — святыня.

Это говорил Мацнев, — жена которого почти открыто жила с Маноцковым. Все это знали, но никто не говорил об этом и менее всего хвастался этим Маноцков. Маноцков был старинного рода, его фамилия упоминалась в актах Михаила Федоровича, связь была приличная, со своим, который умеет за себя постоять, и все молчали.

Свои, — это были матери, жены, сестры и дочери людей своей касты. Можно было, как лошадь по суставам разбирать любую женщину, заглядывая в самые интимные уголки ее тела, но нельзя было сказать что-либо циничное про жену, или дочь товарища. Это были остатки того же помещичьего быта, где женились на дочерях помещиков и устраивали гаремы из крепостных девушек. Романы с крепостными девушками заходили иногда очень далеко, но и порвать их ничего не стоило. Крепостного права не было,

девичьи были уничтожены и Саблин не застал их, но остались горничные, дамы полусвета, жены, сестры и дочери людей иного круга, с которыми не считались. Они были созданы для мелких романов, для удовлетворения похоти. Прошлою зимою на охоте Саблин, ночуя в избе, увидал девушку редкой красоты. Он пожелал обладать ею и оказалось, что это легко устроить. Когда она разделась, на ней было тонкое батистовое белье на грубом и жестком крестьянском теле. „Откуда у тебя это белье?“ — спросил Саблин.

— Мне Великий Князь подарил — сказала девушка и назвала имя молодого Великого Князя, почти мальчика. Саблин, проведший с нею ночь, не знал даже ее имени, забыл деревню, где это было. Это не считалось ни за что. Вся связь длилась несколько часов.

Пока Маруся была Сандрильоной с ней приходилось считаться, но когда она оказалась сестрою солдата, то есть из того, другого мира — стесняться было нечего. Саблин знал, что вся каста станет на его сторону, все начиная с непогрешимого Репнина будут стараться обелить его и устранить эту девушку. То, что он ее бросит, будет одобрено всем полком и никто его за это не осудит.

Что могла сделать бедная совесть Саблина, когда она осталась в полном одиночестве и за Марусю говорило только сердце, которое все-таки, как будто любило Марусю.

Да точно ли любило? Не было ли это только увлечением. Прихотью. Желанием удовлетворить страсть?

Окно стало вырисовываться мутным квадратом. День наступал.

Саблин закрыл глаза, зарылся с головою в подушки. „Надо спать“, — сказал он сам себе, но вспомнил, что запер дверь на кухне, а утром должен придти Шерстобитов, будет звонить, опять наделает тревоги. Он встал, накинул халат и прошел на кухню отложить крюк. Кухня была залита желтыми косыми лучами восходящего солнца. Наступал ясный, веселый морозный день. Ночные страхи проходили. Когда Саблин в полутемной спальне закутался с головою в одея-

ло, он моментально заснул крепким сном усталого душою и телом человека.

Проснулся он поздно от стука дров, сваленных рядом в кабинете у камина.

— Шерстобитов! — крикнул Саблин.

Молодой, румяный солдат в серой куртке, пахнувшей морозом, вошел в спальню.

— Который час? — спросил Саблин.

— Половина двенадцатого, ваше благородие, — весело ответил денщик.

— Что же ты меня не разбудил. А занятия?

— Занятий нет, ваше благородие. Мороз дюжа большой. Вахмистр посылали к командиру эскадрона. Приказано только одну поездку сделать, господ офицеров не беспокоить.

— Хорошо, — сказал Саблин.

— Ну и напугались мы вчера, ваше благородие, когда Любовин прибег в эскадрон и эдакое слово сказал. Господи! как обрадовались, как узнали, что все это пустое. Весь эскадрон можно сказать жалковал за вами. Экий грех, прости Господи!

— А Любовин где?

— Нигде сыскать не могут. Убег неизвестно куда. Люди думают, не порешил ли с собой. Совсем с ума спятил человек. Господин вахмистр довольны, говорит, так ему и надо. Бог его покарал за то, что он сицилистом был.

— Так не нашли, говоришь, Любовина? — сказал Саблин, вынимая изо рта закуренную было папиросу.

— Никак нет. Нигде даже не нашли, отвечал денщик.

— Ну ладно. Не мешай мне спать, я еще часок засну, — блаженно потягиваясь сказал Саблин. Радость избавления охватила его.

LVIII.

От Саблина Маруся пошла к своей тетке портнихе, где всегда ночевала, когда бывала на вечерах или в театре. Ночь

она не спала. Рано утром она собрала книги, чтобы идти на курсы, но на курсы не пошла, а поехала домой. Отца не было дома. Во всем тихом домике было только старая кухарка Мавра, подруга ее матери. Канарейки, обманутые солнцем, заливались в клетке в столовой, пронизанной косыми бледными зимними лучами, в которых, переливаясь радугой, играли мелкие пылинки. Зимний день был полон радости, но Маруся не замечала ее. Она, не раздеваясь прошла в свою комнату, сняла шляпку и шубку, бросила их на постель, приспустила штору и села у стола спиной к окну. Солнечный свет и скрип полозьев по снегу ее раздражали. Хотелось полутьмы, тишины и спокойствия. Ночью, ворочаясь с боку на бок на диване в мастерской тетки она не могла собрать мысли и чувствовала только непоправимость случившегося вчера и радость от того, что ее Саша жив. Теперь, облокотившись на книги, лежащие на краю стола и устремив глаза в угол, где под зеленым холстом висели ее платья и стоял небольшой сундучек с девичьим рукомои́ником, она съумела, наконец, собрать свои мысли. Положение дел казалось уже не таким безотрадным.

Лишь бы Саша любил!

Она знала, что она беременна и радовалась этому. Ребенок, которого она носит укрепит их близость с Саблиным и она уже любила его. Несколько дней тому назад она решила сказать все Саблину, но его страсть при встрече, его слепота на ее положение, заставили ее отложить до другого раза. Теперь, когда между нею и Саблиным встал брат, ей надо ускорить переговоры. Виктора она укротит и успокоит. Она глубоко верила в порядочность Саблина и знала, что он не будет мстить Виктору за его поступок. Все, что было, должно остаться между ними тремя.

О! ни единой минуты, ни единого мгновения она не думала, что Саблин женится на ней. Знала, что это невозможно. Не позволят те самые предки, которые ее так поразили в первый раз, когда она была у Саблина, не позволит полк. И не надо! Знала, что свадьба, — неизбежное знакомство с отцом, теткой — невозможны. Саблин был принцем в ее глазах и принц не мог снизойти к ним. Но

разве мало девушек имеет детей? Она будет артисткой, у ней будет своя квартира, будут поклонники, но сердце ее всегда, неизменно вечно будет принадлежать только — Саше Саблину. Пусть он женится на ком хочет, пусть любит свою жену, но пусть знает, что у него есть его Маруся и ее ребенок, которые только о нем и думают, только им и живут. Эта любовь в разлуке, любовь издалика казалась ей особенно прекрасной.

Она придет к нему в пятницу и не допустит до страстных объятий. Она коротко и просто скажет ему: — „я мать твоего ребенка. Ты счастлив?“ — А потом переговорит спокойно о будущем. Он поможет ей устроиться на отдельной квартире на то время, пока она будет больна. Она вернет ему расходы на это. Она сейчас же поступит на сцену, хотя хористкой, чтобы иметь свой кусок хлеба и не одолжаться отцу. Отец не должен знать ее падения. Он не переживет этого. От него надо все скрыть. Она скажет, что уезжает. Может быть даже отец и Варя Мартова ей помогут и тогда можно будет не обращаться к Саблину. Как было бы хорошо, ничем не быть ему обязанной, но все ему отдать!

Она улыбнулась тихой и грустной улыбкой. Так казалась ей хороша эта одинокая жизнь в далеком обожании своего принца.

Кто то позвонил, Мавра отперла. Знакомые крадущиеся шаги Коржикова раздалась в столовой. Его то меньше всего хотела теперь видеть Маруся.

— Мария Михайловна, — услышала она скрипучий голос Коржикова, — можно к вам на одну минуту, но по весьма важному делу.

— Войдите, Федор Федорович, — сказала Маруся. Она не встала ему навстречу, но с места подала ему холодную вялую руку. Коржиков по своему понял ее поведение: — в отчаянии по убитом любовнике.

Он сел напротив окна, скорчился, поставил локти на колени и упер в ладонь рук свой рыжий лохматый подбородок. Он напомнил ей статую Мефистофеля Антокольского в Эрмитаже.

— Мария Михайловна, — несколько торжественно начал Коржиков, — вы давно знаете, как я вас люблю...

Маруся неподвижно сидела в углу и мука была на ее затененном от света лице. Коржиков не видал его выражения. Он видел только то, что Маруся была прозрачно бледна и почти не дышала.

— Еще тогда, когда вы ходили ко мне, — заговорил после некоторого молчания Коржиков, — не будучи в силах уяснить себе подобие треугольников и были в коротком коричневом платье и черном переднике, я, старый студент, обожал вас. Да... Может быть, все это признание, глупо?.. Но оно неизбежно. Мария Михайловна, — я прошу вас венчаться со мною. Я прошу вас торжественно обвенчаться со мною. Быстро, скоро.. На этой неделе...

Это было так неожиданно и показалось таким необычным и диким Марусе, что она встала и стояла, опираясь руками о комод.

— Я вас не понимаю, — сказала она. — Что вы говорите. Как обвенчаться? Почему?

— Самым настоящим образом. В церкви, с попом, с шаферами, со свадебным обедом, с пьяными криками „горько“, с грубыми шутками подвыпивших гостей, словом так, чтобы весь завод целую неделю только и говорил о нашей свадьбе.

Маруся нервно рассеялась. Холод пробежал по ее телу.

— Это говорите вы, убежденный анархист, проповедывавший заводским работницам свободную любовь и гражданский брак, — сказала Маруся.

— Да, я это говорю. И только я имею право сказать **вам это**.

— Почему вы имеете на меня такие права? — спросила выпрямляясь Маруся.

— Вы скоро станете матерью, — зашептал Коржиков, не глядя на Марусю. — Вы понимаете, если узнают это? Если узнает ваш отец, он не переживет этого. Мария Михайловна — я не хочу, чтобы вы стали предметом шуток и пресудов. Я слишком люблю и уважаю вас.

— О! — простонала Маруся и бессильно опустилась на стул. Ей было дурно. В глазах потемнело, она закрыла лицо руками и упала головою на книги.

— Не оскорбляйте меня, — тихо сказала она.

— Я не оскорбляю вас. Я не осуждаю вас... Я преклоняюсь перед вами. Я вас жалею. Но поймите, Мария Михайловна, раньше, пока был жив корнет Саблин, у вас были живы надежды. Теперь...

Она вытянула руку ладонью вперед, как бы защищаясь.

— Что вы говорите? Корнет Саблин? Разве с ним что случилось?

— Но ведь вчера... ваш брат Виктор... На ваших глазах убил его.

— Он только стрелял, но промахнулся. Александр Николаевич жив, цел и невредим... Где Виктор?..

— Виктора я сегодня передел в штатское, снабдил заграничным паспортом и отправил за границу. Если он не наглупит, то он в безопасности и в надежном месте... Все это, конечно, меняет дело, Мария Михайловна, — вставая сказал Коржиков, — но мое предложение остается в силе. Я прошу вашей руки и скорой свадьбы.

— Вы знаете, что я люблю его и только его, — глухо сказала Маруся.

— Знаю, — коротко сказал Коржиков.

— Я уже теперь люблю его ребенка, — закрывая лицо руками сказала Маруся.

— Понимаю и это, — скрипучим, не своим голосом проговорил Коржиков. Он тоже необычно был бледен.

— И все-таки Мария Михайловна, я умоляю вас венчаться со мною.

Маруся отняла руки от лица и долгим пристальным взглядом посмотрела на Коржикова. Она тихо покачала головою и сказала еле внятно:

— Да кто вы такое? Я ничего не понимаю... Отказываюсь понять что либо! Вы хотите воспользоваться моим положением... Вы... циник, или... или вы святой человек.

Коржиков стоял, опустивши вниз глаза.

— Я прошу вашей руки, — настойчиво сказал он и сделал шаг к Марусе.

Она встала и отодвинулась от него в темный угол.

— Уйдите, — прошептала она. — Уйдите. Умоляю вас.

— Хорошо. Но я каждый день буду приходить к вам и требовать ответа.

— Я не могу быть вашей женой. Я не люблю вас. Федор Федорович, простите меня. Я очень уважаю вас. Я вас почитаю, как брата, но быть вашей женою, я не могу.

— Я этого и не прошу. Я прошу вас только обвенчаться со мною.

— Уйдите, — прошептала Маруся.

— Хорошо, я уйду, — сказал глухим голосом Коржиков. — Я понимаю вас. Вы не можете мне дать ответа, не переговоривши с корнетом Саблиным. Я вернусь в субботу и что бы ни было я от своего предложения не отступлю.

— Уйдите, молю вас!

— Да понимаете ли вы, Мария Михайловна, как я вас любил и люблю, — прошептал Коржиков, резко повернулся и вышел.

Маруся с трудом дотащилась до постели, сбросила на пол шубку и шляпку и в безпамятстве упала на подушки.

ЛIX.

Всю эту неделю Маруся жила, волнуясь ожиданием встречи. Каждый день она справлялась у Мартовой, нет ли ей письма. Ей казалось, что он должен написать ей после того, что было. Но письма не было. „Ждет так же как и я пятницы“, думала она, „понимает, что такие вопросы нельзя разрешить письмом“.

Она вышла в пятницу раньше чем обыкновенно, но потом решила, что лучше опоздать на десять, пятнадцать минут, потому что, если не застать его, и он почему либо задержится — это будет ужасно. Она сошла с извозчика в

начале Невского проспекта и пошла пешком. Она — рисовала себе встречу. Она видела себя взбегающе торопливыми шагами по лестнице. Дверь с тихим шуршанием клеенки по камням отворяется до ее звонка, свет огней в столовой и весело трещит камин в кабинете. Он обнимет ее и поведет в кабинет. Она поднимет голову к нему и снизу вверх посмотрит на него. Потом тихо и выразительно скажет ему: — „Саша, ты знаешь, я мать. Я скоро буду матерью твоего ребенка. Ты рад?“

Что он? Смутится наверно? Но ведь и обрадуется! Он освободит ее из своих сильных рук, посадит в кресло у камина, сядет сам рядом с нею. И тут она прежде всего скажет, что он свободен, что она и не думает о браке. И расскажет ему свой план. Он засмеется, закурит папиросу, что всегда бывало признаком того, что он взволнован и захочет протестовать. Но она не позволит ему говорить, она расскажет ему весь свой план, как она отстранится от него, уйдет вся в материнство и сцену.

— Прекрасно, милая Мусенька, — скажет он, — но ужасно наивно...

Она видела, как он это скажет ласково, с веселыми огоньками в глазах, она так видела это, что улыбнулась счастливой улыбкой. Она не замечала того, что шла по Невскому, одна, вечером, что мужчины оглядывались на нее, какой то высокий офицер в Николаевской шинели, в усах и бороде шел следом за нею и теперь, ободрившись, вероятно, ее улыбкой сказал ей: —

— Барышня нам по пути, пойдете вместе, веселее будет.

Она испугалась и чуть не бегом бросилась от него и скрывшись между мчавшимися санями вошла под ярко горящие огнями магазинов своды Гостиного двора.

Она дошла до часовни. Перед образом Богородицы с младенцем теплились сотни тонких восковых свечек. Приходили люди, ставили свечи и уходили. Маруся никогда не была верующей. Но сейчас, взглянув на образ непорочной Девы, она почувствовала небывалое умиление. И то, что у девы, на руках был святой младенец, Спаситель мира, почу-

дилось ей знаком прощения таким, как она. Святая Дева — Мать заступалась за тех девушек, которые стали матерями и съумели остаться чистыми. Марусе казалось, что нет греха и стыда в ее материнстве, потому что оно искуплено любовью. Любовь простит и покрет все то нечистое, что было.

Радостная нежность переполняла ее душу, когда, порывисто оглянувшись и убедившись, что никого нет на лестнице она стала подниматься. Она с бессознательным вниманием прочла внизу металлическую дощечку: „капельмейстер Федор Карлович Линде”. Наверху была дверь с визитной карточкой Ротбека, и она почему то подумала о том, какой из себя должен быть этот Ротбек. Вот и Сашина дверь, но она не открылась, как всегда. Неужели он не слышал ее шагов?

Она остановилась и должна была взяться руками за перила, чтобы не упасть. В глазах темнело, сердце стучало. Тяжелое предчувствие охватило ее. Она не решалась звонить. Прежде, он услышал бы самое биение ее сердца, ее тихое дыхание, да и она, уже поднимаясь чувствовала его присутствие за дверьми. Все то, о чем она так трогательно и красиво мечтала куда то ушло и в голове была странная пустота.

Робко, маленьким пальчиком в серой пуховой перчатке, она притронулась к пуговке электрического звонка. Он задрезжал, такой сильный и трескучий что она вздрогнула. Саша не слышал этого звонка. Она позвонила опять условно — точка, тире, точка. Короткий звонок сменился длинным, длинный коротким. Так у них было сговорено звонить, но ей никогда не приходилось пользоваться этим сигналом. Теперь Саша точно знает, что за дверьми стоит его Маруся.

Тяжелые, незнакомые, ленивые шаги раздались по прихожей, ключ повернулся в двери и перед Марусей появился солдат в больших сапогах и красной рубаше, заправленной в рейтузы. Он равнодушно посмотрел на девушку заспанными глазами.

— Вам кого, — грубо спросил он.

— Александр Николаевич, разве не дома? — чуть слышно проговорила Маруся. Робкая надежда мелькнула у ней в мыслях, что, может быть, он нездоров, или экстренно назначен в караул и оставил ей записку. Солдат разочаровал ее. Лениво почесываясь он ответил: — „его благородие в пятом часу уехали, кажись к невесте. Навряд раньше часов двух ночи домой будут”.

И закрыл двери.

Маруся не помнила, как сошла она с лестницы, как бежала назад темными переулками, избегая людного Невского проспекта. Пешком, изнемогая от усталости, промерзшая на морозе и ветру, она к девяти часам добрела до дома. Отец пил чай в столовой. Ей нужно было притвориться оживленной, веселой, занимать разговором. Плохо ей это удавалось. Старый Любовин зорко поглядывал на нее и наконец, спросил ее. — Да что, ты, Маруся, словно не в себе?

— Голова болит, папчик, — сказала она.

— Ну иди. Отдыхай. И то вижу пешком бежала. Далек курсы то ваши. Ну, потерпи немного. За то учена будешь.

Он поцеловал ее в лоб и перекрестил. Ласка отца ее тронула. Слезы наполнили глаза. Отвернувшись она тихо вышла из столовой и у себя в комнате бросилась в постель, зарылась лицом в подушки и погрузилась в какую то черноту.

Очнувшись, она долго не могла понять, как очутилась дома. Стояла она на лестнице в казарме и звонила: точка — тире — точка... — Потом ее комната. В комнате полусвет от уличного фонаря, светящего сквозь спущенную занавеску. Тишина в квартире, тишина и на улице. Проскрипят редкие шаги по снегу, примерзшему к деревянному тротуару и опять на долго мертвая тишина.

„Все кончено”. — Это была ее первая сознательная мысль. Вместо сцены и красивой любви к прекрасному принцу мещанская свадьба с Коржиковым, устройство семейного угла, какая-нибудь мастерская кройки и шитья, под руководством тетки. Она уже видела вывеску в плохом удаленном квартале, на двухэтажном деревянном коричневом

доме: — „modes et robes. Madame Marie Korjikoff”.*) Большая комната, заваленная материями и прикладом, девчонки — ученицы и среди них она. Поют канарейки на окнах, цветет герань, жужжит муравейник девиц. Чем не счастье? Лучше чем у многих! Ах, не о таком счастье она мечтала. Но она все перенесет ради ребенка своего принца и его то она воспитает, как принца, ему передаст всю свою любовь!

Туманным и далеким рисовался ей образ Саблина. Царь со свитой на военном поле, среди своих солдат, на прекрасной лошади, Императрица, прекрасные, как херувимы, юнкера-часовые у палатки, — музыка, грохот орудий, трогательная молитва барабанщика — все это была сказка. И Нева под покровом серебряной белой ночи с игрою курантов на крепостном соборе, со страшными мыслями о кровавом прошлом дворцов и прекрасный юноша со своими предками и историей полка это тоже все была сказка. Но этот сказочный сон был на яву и оставил того, кто родится от этой чудесной сказки. Родится герой, человек дивной красоты и великого таланта и его она воспитает в любви к человечеству, потому что нет у ней ни злобы, ни осуждения, ни упрека против его отца. Истинная любовь, ее любовь все поймет и все простит!..

LX.

В эту пятницу Саблин проснулся со смутным желанием, чтобы она пришла. Сладкие воспоминания прошлых встреч встали перед ним и до боли стала она желанной. Но сейчас же встал перед ним Любовин и те оскорбления, которые пришлось от него снести на глазах у возлюбленной. Саблин понял, что уже не сможет он подойти к этой девушке. И самое лучшее — не видаться. Ему показалось, что и она не придет к нему. Несколько раз он думал написать ей. Но что написать?

*) Моды и платья. Госпожа Мария Коржикова.

Прежнего тона серьезной беседы, откровенно высказываемых мыслей он не мог возвратить. Все мешал Любовин. Казалось, что не она, а он будет читать его письмо. Если она придет, теперь, то придет с братом. Саблин ловил себя на подлом чувстве страха всю эту неделю. Он боялся встречи с Любовиным, потому что знал что надо убить, а сможет ли он убить? Хватит ли духа? А не убить его, надо убить самого себя. Придет Маруся, — как скажет он ей, что он должен убить ее брата, как заговорит о брате, о том, что было. Это невозможно. Она это поймет и не придет к нему. Накануне Саблин получил приглашение на пятницу к Вольфам. Над ним уже трунили, что он по пятницам нигде не бывает, точно мусульманский праздник справляет. Предполагался ранний обед. Поездка на тройках, катанье с гор на Крестовском острове, чай там и поздно ночью ужин у Вольфов. День манил целой вереницей удовольствий. Против него в санях будет улыбающееся розовое от мороза лицо Веры Константиновны, ее белая горностаевая шапочка и белая вуаль, ее белая шубка из горностаевого меха и белые высокие ботинки. Настоящая Снегурка. Он услышит ее радостные вскрики, когда полетит с нею на санках с крутых Крестовских гор, он будет щеголять перед нею своим молодечеством и умением управлять санями. Как хорошо!

От стен его спальни веяло тоской. В кабинете предки хмуро смотрели со стен в утренних сумерках. Вся квартира стала невыносимой. Саблин ушел на занятия, с занятий прямо в артель, там, после завтрака играл на бильярде, послал на квартиру за свежим платьем, переоделся в собрании и свежий и чистый в пять часов был у Вольфов.

День прошел в непрерывной близости к баронессе Вере и она казалась такой неземной и прекрасной, что Саблин думал, что никогда бы он не посмел сделать ей предложение. Все было хорошо. Катанье на тройках, горы, на которых она весело и звонко кричала от восторга, хороша была баронесса Софья, хорош ее муж, хороша старая баронесса и старый барон, мрачно куривший сигары, плативший за все и говоривший что то по-немецки, над чем смеялись обе его дочери.

Саблин вернулся домой только в четвертом часу утра. Денщик раздевая, его, доложил, что вечером к нему звонила и спрашивала его какая то барышня.

— Что же ты сказал? — спросил Саблин.

— Сказал, что дома нет и до поздна не будете, — отвечал денщик.

— Она была одна?

— Совсем одне-с.

— Ладно, — сказал Саблин, — можешь идти.

„Маруся была“, — подумал он. „Зачем? Разве не поняла она, что ее братец своим диким вторжением прикончил все и больше ничего не будет“. Было досадно, мучительно и стыдно. Но Саблин поборол себя. Он был так счастлив, так утомлен морозным воздухом только что пережитым возбуждением, вином и близостью прелестной девушки, что ему было не до борьбы с совестью, он зарылся в одеяло и заснул. Что кончено, то кончено.. Утром он пошел в эскадрон с твердым намерением после занятий написать Марусе и коротко объяснить, что не он, а ее братец и она сама виноваты в том, что он принужден прекратить знакомство, что он готов, конечно, дать отчет во всем, в чем он виноват перед нею... Но написать это письмо ему не пришлось.

В эскадроне Гриценко отозвал его в сторону и сказал: — после занятий, Саша, пойдем к князю Репнину. Он хочет поговорить с тобою.

— О чем? — спросил Саблин.

— Не знаю, милый друг. Пойдем вместе.

Мучительно долго тянулись занятия. Делали шашечные приемы, маршировали по корридолу, то по одному, то рядами, отбивали твердый тяжелый шаг, потом сняли амуницию, делали гимнастику, становились на носки и приседали, ворочали головами, выбрасывали руки вперед, в стороны, вверх и вниз. Методично раздавались команды и пояснения унтер офицеров.

— Выпад попеременно с правой и левой ноги! Мотри выпадай стремительно и чтобы носок прямо был, а остающейся ноги по фронту. Кулаки у грудь, по команде — раз!

— Дела-ай — раз!

Длинные шеренги солдат с красными лицами и выпученными глазами казались дикими.

— Дела-ай — два!

Люди выпадали вперед и унтер офицеры начинали обходить и поправлять правильность стойки.

— Пальцы прямые, Изварин! вольноопределяющий Пенский, разверни носок вот так и не шатайся.

В углу, сбившись в кучу стояли и курили офицеры. Розовый Ротбек рассказывал, новый очередной анекдот, который все знали. Мацнев, притворяясь больным, кутал свое горло поверх воротника мундира в шолковое кашнэ, Гриценко, то стоял с ними, то похаживал по эскадрону. Предстоящий визит к Репнину видимо и его заботил. Занимался один поручик Фетисов, который стоял посередине фронта с часами в руках и громко командовал всем унтер-офицерам.

— Кончат пассивную! По снарядам! Болотуев на кобылу, Ермилов на шведскую лестницу, Брандт на брусья, Лохальский на наклонную лестницу.

Люди разбежались по гимнастическим снарядам и начали упражняться на них. Зимнее солнце покрывало мириадами искр красивые узоры, которые расцвел по окнам мороз. Пальмовые леса, утесы, бездны, звездное небо — все было нарисовано на стеклах корридора казарм. Из столовой пахло жирными щами и кашей, там дежурный уже резал мясные порции.

Корридор гудел и сотрясался от прыжков и бега рослых людей.

— Руки подавай больше вперед. Садись на мягкие лапы, слышались голоса унтер-офицеров.

Фетисов скинул сюртук и в рубаше с подтяжками и черном с полукруглым языком галстухе легко побежал к офицерам.

— Ну, молодежь, господа корнеты! Пример людям! — задорно крикнул он.

Черный ловкий Гриценко оживился. Он тоже снял сюртук, Саблин и Ротбек сняли шапки и расстегнулись.

— Болотуев, — крикнул Гриценко, — подымай выше, на последнюю!

Обитое кожей бревно, называемое, кобылой, поднялось на сажень над землей, Болотуев тщательно проверил трамплин, эскадрон затих.

— Готово, ваше высокоблагородие, — крикнул Болотуев, становясь за кожаным матрацем, чтобы поддержать офицеров после прыжка.

Гриценко разбежался, оттолкнулся тонкими в крепких мускулах ногами о трамплин, едва коснулся кобылы руками и ловко перелетел на матрас.

— Видал миндал? — торжествующе сказал он ставшему рядом с кобылой Мацневу.

За ним так же ловко перелетел через кобылу отличный фронтовик коренастый и простоватый Фетисов. Ротбек, которого Саблин пустил вперед себя застрял на кобыле, не смоги перепрыгнуть.

— Сиди так, Пик, — звонко, возбужденный собственной удачей, крикнул Саблин, — да голову нагни.

И Саблин, разбежавшись, так оттолкнулся о трамплин, что звонко шелкнули доски и перелетел и через кобылу и через пригнувшегося на ней кульком Ротбека.

— Ишь ты ловко как, Саша наш! — говорили тихо солдаты. Ловчей его нету в полку. Емнаст!..

— Ну унтер офицеры, становись, — крикнул Гриценко.

— Спустить надо-ть! — сказал вахмистр.

— Нет пускай так, — сказал Фетисов.

Толстый Иван Карпович солидно разбежался на крепких ногах, отчетливо оттолкнулся, и, несмотря на всю свою массивность легко перелетел через кобылу и грузно шлепнулся ногами на кожаную подушку. За ним побежали унтер офицеры.

Далеко не все могли взять эту высоту и кобылу опустили на одно деление ниже.

Прыжками закончили занятия. Гриценко, не одеваясь, в красной шелковой рубаше пошел на кухню. Бравый дежурный отрапортовал ему, повар в белом переднике наливал в специальную чашку пробу.

Офицеры, кроме Мацнева, пошли за своим эскадронным. Солдаты собирались по столам.

Гриценко, перекрестившись, взял чистую деревянную ложку и тщательно подувши на щи стал пробовать. Фетисов, Саблин и Ротбек взяли ложки у солдат.

— Славные щи, — сказал Гриценко. — А вот каша что то у тебя, друг, мало упрела, — беря за ухо кашевара, сказал Гриценко. — Поздно заложил, что ли. А?

— Виноват, ваше высокоблагородие, — сказал кашевар.

Но каша только казалась такою. Вся в зале, рассыпчатая, коричнево-красная она была мягка и нежна.

— Нет, — сказал Гриценко, — и каша хороша. Спасибо, молодец, — и он ласково потрепал ухо кашевара. — Петь молитву! — сказал он, надевая сюртук и шашку и направляясь к выходу.

Саблин шел за ним. Он был полон возбуждения от гимнастики, общения с рослыми, прекрасными людьми, влюбленными, как казалось ему, в него за его лихость и молодечество. На лестницу доносилось стройное пение.

— И исполняеши всякое животное благоволения... слышал он и любил, любил полк, чувствуя, что он с ним одно нераздельное целое.

— А не достает Любовинского голоса, — сказал Фетисов. Молитва не та.

Эти слова, как ножом резанули по сердцу Саблина, он задохнулся на ходу и должен был приостановиться.

Гриценко заметил это.

— Ничего, друже, — ласково сказал он. Перемелется мука будет. Зайдем за пальто, да и к князю. Завтракать будем после.

LXI.

У князя Репнина был Степочка. Саблин узнал его короткое поношенное, без вензелей на полковничьих погонах пальто и успокоился. Если Степочка тут, значит, есть и хо-

датай и заступник, да как видно и Гриценко был на его стороне.

Из кабинета слышался хриповатый смех князя, он рассказывал о чем то веселом Степочке. Денщик в ливрейной куртке доложил о них и их сейчас же попросили войти. При их входе князь и Степочка встали с кресел, бросили папиросы и князь принял официальный вид. Но то, что он, обращаясь к Саблину не назвал его по чину, а по имени и отчеству — показало Саблину, что ему не предстоит ничего опасного и он ободрился.

— Садись, Павел Иванович, садитесь Александр Николаевич, — сказал Репнин, указывая Гриценке диван, а Саблину стул подле громадного письменного стола.

Все сели. Несколько секунд длилось молчание. Репнин внимательно, острым взглядом умных глаз смотрел в глаза Саблину, будто хотел прочесть, что делается на душе у него. Степочка, сидевший на диване нагнулся к столу и нервно барабанил толстыми короткими пальцами по серебряной крышке бюро. Гриценко сидел, откинувшись и смотрел по сторонам.

— Алекснадр Николаевич, — начал, наконец, Репнин. — Неделю тому назад у нас в полку случилось загадочное происшествие. При особых обстоятельствах бежал из полка рядовой 2-го эскадрона Любовин. Мне кажется, что вы один можете немного распутать тайну этого случая. Все поиски сыскной полиции остались без результата. Ни живого, ни мертвого Любовина нигде не нашли, равным образом ни один солдат без надлежащего документа не выехал за эти дни из Петербурга. Мы решили пригласить вас, чтобы в частной интимной беседе спросить вас, что можете вы сказать по этому делу?

Саблин ответил не сразу. Внутри него бешено колотилось сердце, ноги обмякли и мурашки бегали по спине, но он собрал всю силу воли и спокойно сказал.

— Все то, что я знаю, князь, я изложил в рапорте командиру полка и больше я ничего не могу прибавить.

— Я не спрашивал бы вас, — сказал Репнин, — и не допытывал бы ни о чем, если бы, к сожалению, это, может

быть, и очень простое дело не получило некоторой огласки. Как ни велик Петербург, но в конце концов он мало отличается от провинциального города. Эта история на языках у светских кумушек. Имя беглого солдата связывают с вашим именем и, согласитесь, что это нехорошо для вас и нехорошо для полка.

— Что я могу еще сказать, когда я ничего не знаю, — с достоинством сказал Саблин.

Репнин внимательно посмотрел на Саблина и под острым взглядом его стальных глаз Саблин потупился.

— Скажите, тут не замешана женщина? — спросил Репнин.

— Нет, — глухо сказал Саблин и мучительно до корней волос покраснел.

— Николай Михайлович, — хриплым голосом сказал Степочка, — зачем это спрашивать? Разве может сказать кому бы то ни было офицер, если у него была интрига с порядочной женщиной.

— Я это понимаю, — серьезно сказал Репнин, — я это понимаю. Но тут, Александр Николаевич, есть особое обстоятельство, которое меня поразило и заставило вызвать вас. Дежурному по полку вы говорили тогда, что ждали одну особу и она обманула вас и не пришла... Так кажется?

— Да. Я не отрицаю этого, — сказал тихо Саблин.

— Кто эта особа?

— Я не назову ее, — сказал Саблин.

— Мы и не настаиваем, — сказал Степочка, усиленно барабанив пальцами по бювару.

Репнин молчал. В кабинете наступила тишина. Через две комнаты на рояли играли гаммы дочери Репнина и однообразные звуки, заглушенные рядом дверей с портьерами лились, нагоняя тоску.

— Александр Николаевич, — сказал Репнин поднимая сухую породистую голову, — нынешним летом вы брали на зарю с церемонией билет для Марии Любовиной?

Вопрос был таким неожиданным, что Саблин вздрогнул и снова ноги его стали мягкими и слабыми и он побледнел. „Знает”, — подумал он. „Знает все и только гоняет меня и

заставляет самого сознаться. Ну что же? Рассказать всю правду. Сказать чистосердечно, что было. Что пришел Любовин и, мстя за честь сестры, назвал его сволочью и мерзавцем, а потом стрелял и промахнулся. Сказать, что из подлой трусости он лгал все эти дни, лгал самому себе и боялся возвращения Любовина. Он это скажет. А дальше что? Есть только один честный, не марающий полка, не поднимающий истории выход. Князь Репнин тогда встанет, достанет заряженный револьвер, положить его на стол перед Саблиным и скажет: „корнет Саблин у вас есть еще средство реабилитировать себя и охранить честь мундира. Я даю вам пол часа на размышление”. После этого он, Степочка и Гриценко выйдут из кабинета и оставят его одного на пол часа. Саблин знал, что в их кругу подобный случай уже был. Не так давно один из членов знатной семьи украл брильянты своей содержанки и заложил их. Младший брат выкупил брильянты, но дело стало известным и тогда младший брат призвал старшего к себе, положил перед ним револьвер и сказал: — „ты офицер и знаешь, что нужно делать. Это постановление нашей семьи”. Старший брат застрелился. Об этом много говорили в свете. Жалели самоубийцу, но все оправдывали младшего брата и говорили, что он поступил, как молодчина и герой. Таким же героем будет князь Репнин, когда даст застрелиться у себя в кабинете... А если бы история того офицера не получила огласки, если бы его содержанка молчала, дал ли бы младший брат револьвер старшему? История тогда история, когда о ней говорят, но когда тайна соблюдена, истории нет. Саблин поднял глаза на Репнина. Он ожидал встретить холодный, бесстрастный, стальной взгляд, полный презрения, горделиво требующий смерти. Но он увидал, что князь смотрит на него с любовью и сожалением. Небывалая мягкость была в серых глазах. Он терпеливо ждал ответа и хотел, чтобы ответ был благоприятный для Саблина.

— Я смутно помню это, — сказал Саблин, не глядя в глаза Репнину. — Да, действительно, я просил билет. Любовин что то говорил мне о своей старухе матери... Или о ком, не помню хорошо... Мы тогда пели вместе. Я увлекался

его голосом. Мне хотелось исполнить его просьбу. Да, что то такое было.

Репнин опустил глаза. Ему было стыдно за Саблина. Теперь он видел и понимал всю правду. Саблин лгал. История была с Любовиной. Кто она? Жена, сестра — это все равно, но тут была женщина, которая встала между ними и из-за которой солдат стрелял в офицера, а офицер смолчал. Но, что он мог сделать? Только умереть. Репнин посмотрел на Саблина. Он любил этого офицера, гордость и украшение полка, он знал сокровенные помыслы своей жены, княгини, женить его на Вере Вольф. Неужели он погубит?!

Гаммы незатейливые, скучные лились за двумя стенами, останавливались и начинались снова. Оне говорили о милых девочках в коротких платьях, о простоте и наивности. Репнину пришла в голову та же мысль, что и Саблину, что исход один — дать револьвер. Удаление из полка не кончило бы истории, но разогрело бы ее. Оно набросило бы тень и на самый полк. Но подписать смертный приговор он не мог. Эти гаммы, разыгрываемые детскими руками, ему мешали. Оне говорили о молодой, начинающейся жизни. И в эти минуты вырвать Саблина из жизни Репнин не мог. Он ждал помощи от судей. Гриценко понял его душевное состояние.

— Я одного не понимаю, князь, — сказал он, — отчего так много шума из-за этой истории. Я два года знаю Любовина. Самый скверный солдат в эскадроне. Экзальтированный интеллигент, едва ли не социалист. Он почти сумасшедший. Вся эта глупость могла быть или просто истеричной выходкой, или скверным шантажом. Копаться в ней — это лить воду на мельницу Любовина, поддерживать ту гнусность, которую он затеял.

— Верно, Павел Иванович, — сказал Репнин, — но разговоры уже идут. Я не знаю, кто пустил эти слухи, но меня третьего дня спрашивал Великий Князь правда ли, что бежавший солдат стрелял в офицера.

— Что такое? что такое? — вмешался Степочка, который вдруг оживился. — Поговорят и бросят. Надо, чтобы все это позабылось. Любовина нет, да хоть и был бы — с

сумасшедшими не считаются, а Александра Николаевича надо на некоторое время отправить в отпуск, пусть проветрится, освежится, а главное исчезнет с Петербургского горизонта и уйдет из сферы сплетень.

Репнин облегченно вздохнул. Такой выход казался ему самому удобным и приемлемым.

— Павел Иванович, ты как на это смотришь? — спросил он.

— Ну, конечно, это отлично, а если вернется Любовин, я его в сумасшедший дом упрячу.

Саблина не спрашивали.

— Итак, господа, я считаю, что вся эта история вздор. Корнет Саблин тут совершенно не повинен. Против бешеной собаки ничего не предпримешь. Я уверен, господа, что все, что здесь у меня говорилось, дальше этих стен не пойдет. А теперь, господа, милости прошу отзавтракать со мной. Княгиня нас ожидает... — поднимаясь со стула сказал князь Репнин.

Через три дня после этого Саблин уехал на юг России путешествовать.

ЛXII.

Коржиков был точен. Он, как и обещал, явился в субботу требовать у Маруси ответа.

Он боялся только одного, что Маруси не будет дома. Но Маруся была дома. Увидав ее побледневшее, осунувшееся лицо, глаза, окруженные синими пятнами и безнадежно тоскливый взгляд, которым Маруся встретила его, Коржиков понял, что предположения его оправдались и Саблин не принял Марусю. В душе он торжествовал. Оправдалась его теория о людях, подобных Саблину, о наглых бездушных аристократах, пьющих народную кровь, достойных только презрения. Саблин будет теперь у него примером в его книге о сословной и классовой розни, которую он пишет

для народа. Но торжество свое Коржиков скрыл. Он понимал, что Маруся любит Саблина и что торжество его здесь будет неуместно.

— Мария Михайловна, — сказал он, входя к ней без приглашения, — я к вам за ответом.

Маруся вздрогнула. Она сидела за письменным столом и перечитывала старые прошлогодние письма Саблина.

— Что вам от меня нужно? — с мольбою сказала она.

— Мария Михайловна, я пришел к вам просить вашей руки... Только руки! Сердца я просить не смею. Я знаю, что ваше сердце отдано другому.

— Вы знаете, — стискивая зубы и до боли сжимая свои руки сказала Маруся, — что он меня не принял, его не было дома. Он поступил со мною, как с последнею девкой! Слышите! И после этого вы приходите ко мне. Хотите жениться на мне?

— Хорошо, что он денег вам не швырнул и за то благодарите, — сказал серьезно Коржиков и положил свою покрытую рыжими волосами бледную некрасивую руку на руку Маруси. Он сел на стул рядом с нею.

— Мария Михайловна, поговорим серьезно. Я к вам приходил на прошлой неделе и теперь пришел не для того, чтобы валять дурака. Я все взвесил и все понял. Все понять, это все простить! А мне и прощать нечего. Я сам во всем виноват. Я виноват в том, что толкнул вас на это знакомство. Я переоценил ваши и свои, понимаете, свои силы. Я считал, что настало время рушить ненавистный народу строй самодержавия. Я знал, что на пути лежит армия. Я знал, что особой системой воспитания офицеры умеют так притуплять мозги простых людей, что те становятся способными убивать своих братьев. Я хотел пошатнуть их силу, хотел развратить офицеров. Я избрал вас орудием для этого, но вы подпали под чары их, подпали под власть увлечения красотой и погибли. Теперь вы видите, что ошиблись. Теперь вы видите, что скрывается за красотой?

— Красота, — прошептала Маруся.

— Как красота? — сказал, поглаживая ее руку, Коржиков — и в том, что вас бросили? И в пороке --- красота?

— И в пороке красота! Я думала об этом, Федор Федорович, и пришла к тому, что Саша иначе поступить не мог. Их сила в красоте, а красота в легкости их с нами. Если бы Саша женился на мне... Нет не будем говорить об этом. Вы понимаете, Федор Федорович, что там я поняла, что вы неправы, а правы они. Там я поняла, что никогда, слышите, никогда равенства на земле не будет. Что все, что толкуете вы — неправда. Все утопия. Всегда будет белая и черная кость, всегда будут капиталисты и рабочие, господа и рабы. Да... понимаете ли вы, Федор Федорович, что я там пережила, когда я поняла, что он — господин, а я рабыня и была счастлива этим.

— Это слепота любви, — сказал Коржиков.

— Нет, Федор Федорович. — Мой брат Виктор оскорбил его и убежал. И я поняла, что оскорбил раб, потому что, если бы оскорбил господин — он не убежал бы.

— Это страх несправедливого закона, Мария Михайловна.

— Федор Федорович, я все вам говорю. Ваша Маруся не та. Она изменила не только вам, она изменила и партии. Я не люблю Царя и осуждаю монархию, но я ее понимаю. Я согласна с вами, что деление людей не русских, немцев, англичан, китайцев, нелепо, что это зоологические клетки, недостойные людей, но я люблю Россию и русских больше других. Я люблю — армию!

— Все это пройдет. В вас говорит не остывшая страсть, — сказал Коржиков.

— Нет, Федор Федорович, я хотела отравить его и отравилась сама. В его учении я увидела несправедливость, жестокость, кровь, но и красоту, равной которой нет в мире. А у нас все серо и бледно, вместо крови пот и гной, вместо широких порывов скучное прозябание.

— Мария Михайловна, и это я хорошо понимаю. И это пройдет.

— Вы понимаете, Федор Федорович. Вы говорите, что понимаете. Нет, ничего то вы не понимаете и никогда не поймете. У меня не было Бога — я теперь вижу, что Бог есть.

— Мстительный, жестокий, несправедливый Бог, — сказал Коржиков.

— Нет, — горячо сказала Маруся, — только непонятный и неведомый. Я шла вчера мимо часовни, где стояла икона Божией Матери и теплились сотни свечек и я подумала, если столько людей верит, отчего я не верю? Я поняла, что только оттуда идет благодать и прощение.

— Ерунда, Мария Михайловна. Нервы. Болезнь.

— Вы простите, — сказала Маруся и внимательно посмотрела в глаза Коржикову. — Нет, никогда вы не простите и не забудете.

— Я повторяю вам, мне нечего прощать. Я не осуждаю вас. Я понимаю вас.

— Все ли вы понимаете? Вот родится у меня он, и вы знаете, что я скажу ему? —

Маруся долго молча и внимательно смотрела в глаза Коржикова, смотрела в самую душу его и наконец, почти шопотом умиленно сказала: —

— Есть Бог! Вот, что я скажу ему! Я буду воспитывать его в любви к России и преданности Государю... Что же, Федор Федорович, вы скажете?

Но только он хотел что то сказать, она как ребенок протянула ладони к его рту и сказала: — Погодите. Ничего не говорите, я сама узнаю ваш ответ.

— Что вы за человек, Федор Федорович! — тихо проговорила она. — Может быть вы святой человек? Может быть то что вы проповедуете неискренно? Душа то ваша хороша! Вижу я ее! Какая чистая, прекрасная душа у вас! С такую душою на муки идут и песни поют. Вот и вы на муки со мною идти собираетесь и песни поете... А вы знаете, вот и хорошо вы и нравственно чисты вы, а все-таки никогда вас не полюблю. Всегда, понимаете, всегда буду верна ему.

Маруся встала и достала из ящика комода фотографическую карточку Саблина.

— Вот видите — это его карточка. И надпись на ней: — „моей ненаглядной Мусе”. Это он тогда дал, теперь он не принял меня, прогнал. А я целую его. Что же! принимайте муки! Смотрите! А! Ну что же, страдаете! Нет, вы счаст-

ливы. Вы улыбаются! Смеетесь... Вы безумец!!! Вы сладострастник!!! Нет. Федор Федорович, откройтесь! Кто же вы?!

— Я то, — смеясь сказал Коржииков, — я старый опытный студент, я мужчина без предрассудков с закаленной волею и сильным сердцем, а вы — маленькая девочка, целующая куклу. Что же к кукле я буду ревновать вас? Ерунда! Вздор! Сапоги в смятку все это! И красота, и Бог, и Царь и ваша любовь — это сон. Это грезы детства, нянина сказка. Вот вырастете вы и ничего не останется.

— И вырасту, а вас не полюблю, — злобно сказала Маруся. — Именно потому, что вы такой хороший я вас и не буду и не желаю любить. Его буду любить, а вас никогда. Поняли?

Мария Михайловна, нам надо кончить наш разговор. Он чисто деловой и сердца вашего не касается. Все то, что вы говорили — это от сердца, от вашего состояния, от нервов. Об этом мы поговорим когда-либо после. А теперь, сейчас придет ваш отец и вы позволите мне просить у него вашей руки. Ваш отец старой школы человек. Он не поймет ни вашего бреда, ни моих философствований. Ему надо прямо и по форме. В церковь, под венец и только.

— Вы все свое, — перебила его Маруся. Даже теперь.

— Особенно теперь, видя ваше состояние. Если этот вздор будет говорить моя жена, это пустяки, но если это будет говорить девушка — это не хорошо.

— Для улицы не хорошо.

— Да, для улицы.

— Вы считаетесь с улицей, вы боитесь улицы, — насмешливо сказала Маруся.

— Я ни с кем не считаюсь и никого не боюсь, даже вас не боюсь, сказал Коржииков, — но я не хочу лишней и новой драмы, которой можно пустым актом избежать. Для меня свадебный обряд ничто, а для вашего отца — это избежать катастрофы. С него и того достаточно, что его сын оказался дезертиром. Не добивайте его. Мы обвенчаемся и все. Живите у вашего отца в этой самой комнате, я останусь у себя — под предлогом занятий и недостатка средств устроиться как следует. За это нас не осудят.

— Но вы будете связаны браком на всю жизнь.

— Это менее всего меня стеснит. Поверьте, если я люблю, то лишь такую девушку, которая презирает все эти обычаи и пойдет ко мне и невенчанная. И вас я люблю именно за то, что говорите вы одно, а поступаете по иному. Говорите о Боге, о Царе, о России, а отдались беззаветно, очертя голову любви и страсти и забыли и о Боге и наверно не думали ни о Царе, ни о России. Если закрутит вас еще, и Бог с вами. Понадобится развод и его вам дам. Я смотрю на любовь шире, нежели вы. Ну и довольно. Вот идет по улице ваш отец, я сейчас буду говорить с ним. Вы подтвердите мои слова своим согласием?

Маруся молча кивнула головою. Она задыхалась от слез.

LXIII.

В прихожей послышалось покашливание Любовина. Он уже давно недомогал. Кашель был странный, внутренний, но пойти к доктору, лечиться, Любовин не хотел. Он поставил в угол суковатую самодельную палку, снял пальто на вате и, когда вешал его, увидел рыжее пальто Коржикова и поморщился.

Он взростил и в люди вывел Коржикова, но не любил его. Двадцать с лишним лет тому назад, когда еще ни Виктора, ни Маруси на свете не было, двадцати шестилетний Любовин, молодой рабочий в железнодорожной мастерской, горячо полюбил Федосью Расторгуеву, служившую горничной у капитана генерального штаба, Мартова, только что женившегося и устраивавшего свое хозяйство. Любовин ходил тогда по квартирам для дополнительного заработка, слесарил, чинил мебель, вешал портьеры. Человек он был с художественным вкусом, всякое дело у него спорилось, выходило на славу, его ценили в частных домах за работу и за тихую разумную речь. Был он высокого роста, красив с молодою вьющеюся бородкой и темными усами, голубоглаз, недурно певал, стоя на лестнице, под потолком и прилаживая портьеру, или вешая люстру, умел в тон подобрать краску и обои, любил прибаутки, шутки — парень был хотя

и тихий, но разбитной. В работах посложнее ему помогал угрюмый некрасивый человек с кривыми ногами и рыжими всклооченными волосами — малярный мастер Коржииков.

При работе у Мартовых к ним часто приходила подсоблять веселая смешливая Федосья.

Сидя на лестнице под самым потолком, Любовин прилаживал тяжелые кронштейны для занавесей и сверху вниз поглядывал на Федосью, в переднике и чепчике поддерживавшую лестницу. Папироска была в углу его рта, но она не мешала ему петь в полголоса:

Федосья, Федосья, голубка моя,
Когда же я снова увижу тебя?
В среду!
Ах еслибы были всегда,
Понедельник, вторник и среда.
Я видел бы Федосью всегда!
Фе-е-до-о-сья!

— Будет вам, Михаил Иванович, — говорила ему Федосья. — Нехорошо это. Господа услышат, ну что подумают!

— А я стихи сочинил, Федосья Николавна. Ей Богу так. Вот, слушайте: —

Папироска, друг мой тайный
Кто курить тебя не рад,
Дым твой сладкий, ароматный
Полон для меня отрад.

— Вот пустяки, ей Богу! И как вам такое в голову приходит? Право даже невероятно.

— Эх и что вам скажу, Федосья Николавна. Полюбили бы вы меня, да честным манером, пирком, да за свадебку?

— Пойду я за вас непутевого. Шиш в кармане, да вошь на аркане у вас, а вы что — жениться задумали!

Но видел Любовин, что счастьем загорелось красивое лицо и покраснело до самых корней русых волос.

— Не всегда так. Вы послужите пока тут при господах, господа хорошие, деликатные, а к осени я может на стале-литейном устроюсь, вот и ладно будет.

Федосья задумалась.

Стал Любовин часто бывать у Мартовых. Так и называли его: „Федосьин жених”, а летом обвенчались, Федосья

осталась на месте и стал Любовин именоваться — „Федосьин муж”. Мартовы полюбили молодую чету, покровительствовали ей, а когда пошли у них дети, помогли им обучить их, а младшую, Марусю, родившуюся в один день с их первенцем — Варварою, воспитывали вместе с дочерью. У одних гувернаток они учились и вместе поступили в гимназию.

Все радовались счастью Любовина. Протестовал и прочил ему всякие беды только Коржиков.

— С господами связался..., говорил он. — Господа что, — гниль. Ты от них только баловству детей научишь. Ранжерейными растениями поделаешь. Пакостям научат. Их надо крепкими делать, чтобы жизнь их не осилила.

У Коржикова была забитая, задавленная работой, преждевременно состарившаяся жена и сын, Федя, такой же угрюмый, как отец.

— Однако ты своего мальчика в гимназию отдал? — сказал ему Любовин.

— Ну да! Образование нужно, а так, чтобы на господ походить не надо.

Коржиков умер внезапно.

Красил пятиэтажный дом, сорвался со стремянки и разбился на мостовой на смерть. Вдова осталась с сыном без медного гроша. Любовин становился тогда на ноги, он приютил несчастных. Не прошло и года, осенью, от холеры умерла мать Коржикова и Федя стал круглым сиротою. Он был в гимназии, хорошо учился, подавал большие надежды, его поддержала казна, зачислили стипендиатом, Любовины помогали чем могли, выбился Коржиков в университет, помогал учиться Виктору и Марусе, стал почти членом семьи, каждый вечер бывал у Любовина.

Любовин не обращал сначала на это внимания. Федю он хотя и не любил и не понимал, но, как сына своего желчного друга, приграв в своей семье. То, что Федя бросил университет, стал шататься среди рабочих, два раза был арестован, сидел две недели в доме предварительного заключения, ему не нравилось. Не нравилось и то, что Федя в Бога не веровал, смеялся над обрядами. Любовин сам был не тверд в вере, но обряды любил. Любил, чтобы икона

висела в углу, чтобы лампадка теплилась перед нею под праздник, чтобы священная верба от Лазарева воскресения до Троицы неизменно стояла, любил в праздник пойти в собор и в толпе и давке слушать пение. Ему была неприятна насмешка Федя над всем этим, но уже справиться с ним не мог.

Дети отбились от рук, переросли родителей и родители не понимали их.

— Непутевый твой Федор, — говорила Федосья мужу. — Подальше бы его от детей то. Книга хорошему не научит. Чует мое сердце — зло несет с собою. Не зря в народе говорится: рыжий, красный, человек опасный.

— Ну что, дети махонькие! Что им Федя. Латынь подрепертит с Витькою, аль-бо Марусе задачу решить поможет. На глазах ведь. А так смиренный парень: не курит, не пьет. Рабочим худого никогда не скажет.

— А он не из этих?.. Социлистов, прости Господи. Вот, что в Бога не веруют.

— Кто его знает. Только злого за ним не вижу.

— Ох! Оборони Господи, коли из этих. Боюсь я их.

— Ну, что Феня! Они ведь добра народу желают.

— А знают они, где добро то это лежит?

Федосья умерла, не доживши до несчастий в своем доме. Умерла, надломившись на работе. Все хотелось ей дом на господскую ногу поставить, детей господами сделать, в баре вывести.

— Витя, чтобы дохтуром был, — говорила она незадолго до смерти. — На военной службе. Я у барыни Мартовой видала. В аполетах, — ну все одно, как полковник. А Маруся, чтобы за офицера замуж вышла. Вот ладно было бы! Упокоились бы мои кости.

Виктор не кончил гимназии. Влияние Коржикова сказалось. В седьмом классе нашли у него Герцена, стали выговаривать, а он Бакунина выложил и об анархии заговорил. Исключили с волчьим паспортом... „Коржиков хорошему видно не научил... Теперь дезертиром стал. Отца на старости лет по участкам тягали, к следователю на допрос требовали, а этого с рода он не знал. И в участке то бывал

только на именинах письмоводителя, которому кумом доводился”.

„Все Коржиков!” — думал Любовин, вспоминая прошлое.

С этих тяжелых дней и кашель нутреной появился и тянуть и сосать внутри Любовина стала какая то странная болезнь. Серебром пробило темную бороду и обострился нос.

Все это, — вся жизнь промелькнула в несколько мгновений перед Любовиным, когда он вешал свое пальто и увидел пальто Коржикова на вешалке. И как с Федосьей кронштейны у Мартовых вешали и о свадьбе заговорили и как Федю у себя пригрели, и как сын Виктор со службы бежал.

„Одно горе от него”, — подумал Любовин.

„И чего шатается так часто?” —

И вдруг почувствовал, как что то тяжелое подошло к его сердцу. „Маруся... да Маруся.. Не та.. Не та.. Как я, старый дурак, проглядел.. С лета пошло. Задумывается, то краснеет, то бледнеет... На прошлой неделе дурнота были.. Господи твоя святая воля, ужли же Маруся и с рыжим чертом согрешила? Так, так. Где же больше? Не у Мартовой же.. Тетка строгая, не допустила бы.. Без матери! Эх, Феня, не уберегли мы дочку! Рано оставила меня ты, Феня!”

— Что же делать?.. Что же делать? — прошептал Любовин, с ненавистью глядя на рыжее пальто. И Мавра намекала. Я, старый дурак, не верил. Маруся и этот рыжий жук.. Ай Боже мой! Больно... больно как..

Любовин застонал от внутренней тяжелой боли, но собрался с силами и вошел в столовую, где с красным лицом и заплаканными глазами стояла Маруся, а рядом с нею Коржиков мял свою рыжую бородку и узкими глазками поблескивал на входившего Любовина.

LXIV.

— Что часто стали изволишь жаловать к нам? — сказал Любовин и голос его дрожал от волнения.

— Дело имею к вам, Михаил Иванович, и все застать не могу, — отвечал Коржиков. Любовин с недоумением посмотрел на него. Необычная серьезность была в голосе у Федора Федоровича, всегда говорившего с ним шутками.

— Кажись время известное. Когда с завода возвращаюсь все здесь знают, — сказал Любовин и недружелюбно посмотрел на дочь.

Маруся опустила голову.

— Какое дело? говори, — сказал Любовин и тяжело сел спиною к окну. Ноги не держали его. Та внутренняя боль, что недавно завелась у него точно радовалась всякому несчастью, кидалась свинцом в ноги и холодным липким потом пробивала в спину. И от этого темнело в глазах и мутный туман застилал комнату. Сквозь него видал Любовин только, что не счастливо и безрадостно было лицо дочери и жалко ему становилось Марусю.

— Вы знаете, Михаил Иванович, каковы мои отношения к вам и к вашей семье. Вы меня вырастили и воспитали и вы знаете, как я всегда любил Марию Михайловну и Витю.

— Да, сына дезертиром сделал..., прошептал Любовин, и не посмотрел на Коржикова. Знал, что если в эту минуту посмотрит, бросится и исколотит его за все. А не мог этого сделать. То внутреннее, что сидело в нем мешало. Слабы были руки и голова жаждала прижаться к подушке и забыть все, жаждала только покоя. Хотя бы даже вечного покоя смерти. Узкий гроб не казался страшным, но желанным, — он давал затишье от физической боли внутри и от страшных душевных мук от сознания, что все рухнуло и ничего из того, о чем он мечтал не осуществилось.

— Об этом не будем теперь говорить, — сказал Коржиков. Я не могу вам сказать, что было, но знайте одно: — я спас вашего сына.

— Спас!.. Что же, еще что худшее было?.. Говори... Добивай отца.

— Я не скажу теперь. Скажу одно: ваш сын поступил благородно, честно и вы не стыдиться им должны, но гордиться.

— Все загадки! Все тайны от отца. И дочь стоит в сле-
зах и дома кругом непорядок.

— Будет порядок, — сказал Коржиков. — Я Михаил
Иванович, сейчас получил согласие вашей дочери быть
моею женою и ожидал вас, чтобы, просить вас благосло-
вить наш союз... Сейчас..

— Сейчас-ли? — хриплым голосом перебил его Любо-
вин и замолк, опустивши голову на грудь.

Коржиков не обратил внимания на его восклицание.
Маруся страшно побледнела и бессильно опустила на
стул.

— Сейчас мы решили умолять вас не откладывать дела
в долгий ящик и справить свадьбу еще до великого поста.

— Маруся!..

— Что, папчик?

— Правда это?

— Да...

— Ты этого хочешь? Твое желание, твоя воля!?

— Да.

— Маруся... Я никогда не неволил... Я понимал всегда,
что образованность и там прочее.. Я и в религии не стеснял.
Потом, как вы новые люди. По новому... Мы, отцы, вас не
понимаем. Ты хочешь этого? Почему?

Любовин встал, тяжелыми, неровными шагами подо-
шел к дочери и положив руку на ее лоб поднял ее лицо к
себе и пытливо заглянул в самую ее душу.

— Милая..., родная! — проговорил он и слезы слыша-
лись в его голосе. — Ты этого хочешь? Хочешь?... Да..
Покинуть отца?... Мне недолго уже осталось жить.. Подожди
смерти...

— Хочешь? Да? Нужно?.. Скажи!.. Хочешь?

— Хочу, — еле прошептала Маруся и свалилась к ногам
отца, охватив бессильными, вялыми руками его колени.

LXV.

Саблину казалось, что это судьба, невидимые силы, его
Ангел Хранитель, устраивают все так, чтобы баловать его и

давать ему радости и наслаждения. Ему и в голову не приходило, что Петербургский свет вмешался в его интимные дела, и княгиня решила, что молодца пора женить. Она переговорила со своею старою приятельницей баронессой Вольф, и та согласилась помогать свадьбе Саблина со своей дочерью. Барон собирался присмотреть себе участок земли на Кавказе, „где апельсины зреют” и было решено, что он со всею семьею поедет на весну в Батум. История Саблина ускорила их отъезд, все было подстроено, княгиня Репнина дала письмо к своему троюродному брату, губернатору, на Кавказ и несмотря на то, что гораздо проще было отпразднить это письмо по почте заказным, она просила Саблина лично передать его в Новороссийске.

Саблин не знал, куда он поедет. Письмо княгини толкнуло его ехать в Новороссийск и он и не подозревал, что в этом письме он вез и весь свой дальнейший маршрут и свою судьбу. Ему это казалось случайностью, фатумом, а все было устроено с математически точным расчетом княгиней Репниной и баронессой Вольф, которая считала, что Саша Саблин хорошая партия для Веры.

Губернатор, которому Саблин лично передал письмо принял его сухо. Он был занят и озабочен. Губерния только что образовалась, город был в стройке, губернаторский дом не отделан. Приезд молодого красавца гвардейца с письмом от властной и влиятельной княгини Репниной был очень подозрителен. Губернатор боялся, что его будут просить о протекции, о месте, а ему красивых бездельников, выгнанных из гвардии, было совсем не нужно. Он, не спрашивая извинения, деловым жестом вскрыл письмо, но когда ознакомился с его содержанием стал любезен и пригласил Саблина в пять часов на чашку чая.

— Увидите местное общество, — сказал он, — может быть и кое кого из знакомых Петербуржцев встретите. А, когда вернетесь к очаровательной княгине, скажите ей, что ее просьба всегда для меня закон.

Губернатор поднялся, давая понять Саблину, что ему некогда и что он может откланяться.

Чай у губернатора был сервирован в гостиной и на большом балконе, с которого открывался вид на море, на рейд, стесненный с обеих сторон белыми горами с покрытыми снегом зимы вершинами. Море вдали было темносинего цвета, а у берега, в порту, мутно-зеленое. Синее небо громадным куполом опрокинулось над морем. Февральское солнце грело жарко, местные дамы были в летних белых платьях с букетами фиалок на груди. Общество было большое и разнообразное. Лакеи грузины, одетые в темные черкески с белыми гозырями тихо скользили между гостями и разносили на подносах чай и фрукты.

Когда Саблин вошел в гостиную и глазами стал отыскивать хозяйку дома, с которой познакомился два часа назад на коротком визите, он услышал, как знакомый голос произнес с милой картавостью.

— Чай с бананами? Действительно очаг'овательно.

Он посмотрел в ту сторону и увидел, что это говорила баронесса Вера, сидевшая с хозяйкой дома.

Он подошел к ним.

— Вы знакомы? — спросила губернаторша.

— А как же! — радостно воскликнул Саблин. — Вот неожиданная встреча. Какими судьбами, Вера Константиновна, вы здесь?

— Папа пг'иехал покупать себе здесь дачу и мы все пг'иехали с ним.

— Ну поболтайте, милая Вера, я вас оставляю, мне надо быть любезной с нашим профессором и певцом нашего края.

Кругом жужжали голоса. Полная красавица гречанка, владелица пароходного общества Клеопатра Месаксуди, широко раскрыв громадные с поволокой, томные глаза смотрела то на Саблина, то на баронессу и точно сравнивала их. Профессор, среднего роста мужчина с живыми глазами и вьющейся бородкой, никогда не знавшей бритвы, в длинном сюртуке, широко размахивая руками громко говорил губернаторше.

— Да, Марья, Львовна, — Вашему мужу дано быть новым Язоном. И золото, золото, извлекать из этих серых скал. Не в буквальном смысле, а золото плодов субтропи-

ческой флоры. Вы получили мои миканы? А какисы? Я надеюсь, что в будущем году мы уже будем в это время пить чай своих Чаквинских плантаций.

— Вы не поедете с нами? — сказала Вера Константиновна. — Мы завтг'а бег'ем билеты и послезавтг'а едем... Нет... так не говог'ят, — плывем... Павлин Серг'еевич, — обратилась она к сидевшему у балюстрады балкона пожилому морскому офицеру, — как говг'ят, когда едут на паг'оходе? ъ

— Идут, пришли, — сказал моряк.

— Мы идем на паг'оходе „великий князь Константин” в Батум, чег'ез Гагг'ы, Сочи, Адлег' и еще что то. Будет очень интег'есно. Павлин Серг'еевич пг'ог'очил хог'ошую погоду.

— Февраль здесь всегда хорош, — отозвался Павлин Сергеевич, — у Черного моря только слава плохая а то самое приятное море. Это не то что в Бискайском заливе, или Северном море, тут одно удовольствие плавать. Вы первый раз на море?

— Да. Я только видала Финский залив, — сказала Вера Константиновна.

— Ну это не море, — снисходительно сказал Павлин Сергеевич.

— А ваш отец и баронесса здесь? — спросил Саблин.

— Они у губег'натог'а в кабинете. Папа вы знаете такой пунктуальный, он хочет все знать. Губег'натог' не говог'ит по-немецки, мама у них переводчицей.

— За золотым руном едете, баронесса, — сказал, подходя к ним с чашкой чая и печеньем в руках, плотный армянин. — Хорошее дело делает ваш папаша. Вы туда приедете со своими золотыми волосами сами станете золотым руном. Все аргонавты за вами поплывут.

— Колхида — слышался голос профессора, — конечно, это Колхида древних и так понятно почему греки устроили здесь свои виллы для отдыха. Увидите, Марья Львовна — волшебный край. Там всегда что либо цветет... Теперь? Теперь мимоза. Азалея начинает цвести. Это самое плохое время февраль, и все таки волшебный край.

Саблин слушал обрывки разговоров, его захватывало могучее биение жизни в новом краю, чувство колониста просыпалось в нем. Он слышал знакомые имена — „граф Витте строится в Сочи”, — говорили подле — „да, там, где дача Боткина, повыше принца Ольденбургского. А вы где?”

— Я — не знаю право. Колеблюсь между Гаграми и Батумом.

— Стройтесь в Махинджаури, рядом со мною.

— В Махинджаури пляж плохой и сыро. Давайте в Цихидзири, там уже отбили участки, Петлин...

— Это который?

— Гусар. Помните Катю Ракитину?

— Что же для нее?

— И для себя.

„За что мне такое счастье?” — думал Саблин. „За что, как из сказочного рога изобилия сыплется на меня дар за даром. Едва оборвется одно, как выступает новое, лучшее. Любовь Китти пряхая и жаркая, потом чистая Маруся и вот теперь баронесса Вера. Золотое руно! Что же и он помчится за ним и станет аргонавтом”.

На минуту встало перед ним искаженное злобой бледное лицо Любовина.

„Сволочь, мерзавец!” — услышал он оскорбительные слова.

Но они уже потускнели. Полк, князь Репнин, Гриценко и Степочка заслонили его от Любовина. И опять, преисполнилось сердце Саблина горячим чувством любви и признательности к Государю, к тому строю, который устроил он, к полку, в котором так хорошо живет.

„Какой хороший, какой умница Репнин”, — подумал, Саблин. „А было время когда я ненавидел его!”

LXVI.

Море было тихое и ласковое. Синие волны набегали на пароход и разбивались о его высокие черные борта. Большой бело-сине-красный флаг реял за кормою. Иногда бе-

лая пена вспыхивала длинным гребешком на вершине волны и катилась с тихим шипением к пароходу и, не дойдя до него разливалась по воде и исчезала. Солнце смеялось. Веселые молодые дельфины стаями прыгали из воды, показывали темные спины и исчезли, чтобы появиться впереди парохода и вспенить синюю, сверкающую воду.

Берег тянулся с левого борта. Вплотную подходили к синему морю горы, обрывались в него отвесными белыми скалами, скалы подпирали долины, поросшие густым, еще голым лесом. На вершинах лежал белый снег, на них ходили седые, косматые тучи, закрывали их, по долинам клубился туман, а на воде играло яркое солнце, прыгали дельфины, плескали синие волны и было тепло, как летом.

Чуть чуть качало. Нос парохода, украшенный золотыми барельефами медленно поднимался над водою, закрывая окраину моря и потом снова уходил вниз, открывая сверкающий горизонт. Кое кого укачало. Саблин сидел на скамейке на корме парохода, против него, полулежа на мягком соломенном кресле, читала книгу Вера.

Ветер, набегая, играл прядками золотых волос, бросал их на глаза, заставлял хмурить темные брови, и откидывать волосы назад. У Саблина тоже была книга, но он давно отложил ее в сторону, отдался красоте моря и берегов и неясным мыслям, которые навевал на него мерный бег парохода, плескание волн и тихая песня теплого ветра. На капитанском мостике, каждые пол часа колокол отбивал склянки, показывая время. Солнце поднималось к полудню.

— Вы пойдете завтракать? — сказала Вера Константиновна, откладывая книгу в сторону.

— Непременно, а вы?

— О, да. Я ужасно голодна. А Соня лежит. Ее укачало. А вас?

— Нет. Ни капли. Совсем хорошо.

— Я бы хотела, чтобы сильная буг'я была, — сказала Вера Константиновна, — чтобы узнать что я? Могу выносить море?.. Что вы на меня так смотрите.

— А что?

— Нет, в самом деле, Я очень растр'епалась.

Вера Константиновна хотела встать.

— Оставайтесь, не уходите. Мне очень нужно с вами поговорить.

— Поговог'ить? Но мы с вами уже два дня, как школьники болтаем и смеемся.

— Вот именно, болтаем, а мне хочется поговорить серьезно, о жизни.

— О жизни?

— Да. Почему одним дано столько радостей и счастья и жизнь улыбается им сплошным праздником, а у других горе, нищета и несчастья.

— Так г'одились, а кг'оме того, кому много дано, с того много и взыщется.

— Ну, например, как же взыщется с меня?

— Не знаю. Но ведь может быть война. На ней пг'идется пег'енести стг'адания душевные и телесные. Я думаю, что Госудаг'ъ вас, военных, так балует в миг'ное вг'емя именно потому, что он знает сколько тяжелого пг'едстоит вам в случае войны.

— Ну, а если войны не будет. Солдат тогда надо баловать еще больше, нежели офицеров.

— Кто знает будущее? Вот и я. Я так счастлива. Я люблю приг'оду, охоту, могое людей, семью, уже для меня то тепер' жизнь вечный пг'аздник. И вот как то, на пг'ошлой неделе пошли мы с Соней к хиг'омантке. Вычитали по объявлениям, оделись победнее и пошли. И, знаете, пог'азительно! Она узнала кто мы. Она сказала мой хаг'актер, сказала где и как я училась, сказала, что я тепег'ъ пг'и двог'е, что я ског'о замуж выйду, сделаю блестящую паг'тию, буду иметь двоих детей, мальчика и девочку, а потом всплеснула г'уками и говог'ит: что то барышня, конец ваш какой ужасный. Я не буду вам говог'ить. Бог даст я и ошибаюсь. А только наука это непреложная. Да, ужасно вег'но она сказала все. Даже сказала, что мне пг'едстоит очень интег'есное путешествие.

— Что же эта хиромантка была старая гримза какая-нибудь?

— О нет совсем молоденькая баг'ышня. Худенькая, хог'ошенькая. Она два года всего как гимназию кончила,

изучила по книгам хиг'омантию и заг'абатывает себе этим хлеб. Она вег'ующая. У ней иконы в углу висят, лампадка теплится. Она так говог'ит: каждому человеку судьба его установлена и пути ему указаны Господом Богом. И пг'и-ставлен Ангел Хг'анитель пг'и нем и чтобы Ангел Хг'анитель знал пути человеческие, вся судьба человека написана как в книге, на ладонях рук. И ночью пг'иходит Ангел и смог'ит ладони и говог'ит: вот то-то и то-то должно сделать с этим человеком. От этого убег'ечь, а на то натолкнуть.

— А что Софье Константиновне она предсказала?

— Соня не такая хг'абрая, как я. Она побоялась.

— Но, Вера Константиновна, если поверить всему этому, то надо отказаться от того, что воля людей свободна. Тогда преступление не преступление, подвиг не подвиг и.. оскорбление не оскорбление.

— Не знаю. Говог'ю вам, ничего не знаю. Но только она все пг'ошное удивительно вег'но сказала. Да вспомните вашу жизнь, г'азве и у вас часто не было так, что вы поступали совсем не так, как вам хотелось бы. Потом досадовали, да и г'аньше думали иначе.

Саблин вспомнил всю историю с Марусей. Ведь нашло же на него ослепление и не подумал он о том, что она и солдат его эскадрона носят одну и ту же фамилию. Когда Любовин его оскорбил, почему так растерялся он и ничего не предпринял? И все вышло к лучшему. Любовин исчез неизвестно куда, а он едет с этой прелестной девушкой, во всем равной ему, с которою так легко говорит, которая задевает струны его сердца и они отвечают ей так просто, без всякого напряжения. С Марусей было иное. Струны души были натянуты у обоих. Сердца горели. И не знал никогда Саблин, где кончалась любовь и начиналась классовая рознь. Когда после зари он гулял с Марусей по набережной, он чувствовал душевный холод. Он не любил ее. Возможен ли такой холод к этой девушке? Она сидела, мечтательно откинув голову на спинку кресла, и синие глаза ее отражали синеву неба. Она была женщина, но он не видал в ней женщины и не прелюбодействовал с нею в сердце своем. Она была для него прежде всего баронесса, происходя-

щая по прямой линии от Курляндских герцогов. Ее интимная жизнь была полна глубокой тайны. Вольфы занимали четыре каюты рядом, с ними ехала англичанка и когда вечером, в присутствии мисс Уилькокс она говорила ему жеманно кланяясь и чуть приседая по институтской манере: — good night*) и уходила к себе, она уходила в волшебную таинственную мглу, проникнуть в которую он не мог своим мысленным взором. И снова прозвучали ему слова Софьи Константиновны, что любовь интеллигентной женщины, сочетавшейся браком с равным мужчиной совсем не то, что случайная любовь — всех этих „паршивок”, как назвала „женщин” баронесса Софья.

— О чем вы думаете? — сказал Саблин.

— О, глупости. И не спг'ашиваете. Я думала о том, отчего так долго не звонят к завтг'аку.

Это было сказано прозаично. Но Саблину и это показалось прелестным.

Из кают компании поднялся лакей в синей куртке с золотыми пуговицами, в белых штанах и зазвонил.

— Идемте, лапы мыть! — сказала Вера и легко побежала вниз.

LXVII.

К вечеру засвежело. Море к закату покрылось беляками и красное солнце опускалось в красный туман. Немногие пассажиры толпились на палубе, ожидая зеленого луча, который должен был появиться на небе в тот момент, когда море покроет солнце. Одни видели этот луч, другие его не заметили. И только что солнце скрылось и последние лучи еще играли пурпуром на дробящихся волнах, как серебром на востоке заискрились волны, ярко засветилась вечерная звезда и под нею появилась луна. Пароход зарывался в волны и опускался в них грузно, то носом, то кормой. С шумом

*) Покойной ночи.

разлетались серебряные брызги и трудно было говорить за шипением волн и свистом ветра в стальных вантах. Соленые брызги летели на палубу. Пассажиры исчезли. Капитан, кутаясь в черное морское пальто, ходил по мостику, посматривал на компас и на звезды, напевал что то и изредка заглядывал к рулевому в рубку.

Саблин и Вера Константиновна, закутавшись в один общий громадный плед сидели под мостиком на скамейке, смотрели, как над морем торжественно плыла полная луна и сверкали под ее лучами снега высоких гор недалекого берега.

— Вам страшно, Вера Константиновна? — спросил Саблин, когда качнуло особенно сильно и несколько раз волны ударили с силой по пароходному дну и разлетелись с грозным шипением.

— Ничуть. Капитан, слышите, ходит и поет. Значит так надо. Это мог'е.

— Вы любите море?

— Ужасно. Так хог'ошо на мог'е. А ветег' какой ласковый и аг'оматный.

— Вам не достанется за то, что мы так долго сидим?

— От кого? Все лежат и стоют. Мама спит, мисс так хг'апит, что мне совестно. Соня плачет. А мне только весело.

— И мне тоже.

— Пг'авда, мы молодцы!

— Я удивляюсь на вас, Вера Константиновна.

— Смотрите на луну и не удивляйтесь. Я потомок г'ыцаг'ей.

— Потомок рыцарей и не можете выговорить этого слова.

— Оставьте. Мне за это и в институте доставалось.

— А вы бы камешки в рот, как Перикл клали.

— И не Пег'икль, а Демосфен.

— Хороши, а еще с шифром кончили. Конечно Перикл.

— Как вам не стыдно! Вы офицер?. Как вы солдат учите.

— А вы знаете, кто был Сократ?

— Ну, конечно, знаю. Ученый, философ. В бочке жил и днем с фонаг'ем искал человека.

— Вот и не правда.

— Как не пг'авда. Извините, милостивый госудаг'ь, но я никогда не говог'ю непг'авды.

— Сократ был конь 2-го эскадрона, фланговый моего второго взвода.

— Глупости. Вы любите лошадей?

— Очень.

— Как зовут вашу лошадь?

— Мирабо. Он выводной из Ирландии гунтер.

— Я обожаю лошадей. Лучше лошади ничего не может быть. У меня в имени чистог'овная Каг'мен, что за душка! Она меня знает. Я и собак люблю. А кошек ненавижу и пг'езиг'аю. Оне подлые.

— Как вы думаете на луне есть люди? — спросил Саблин.

— Отчего им не быть? — Только, я думаю, не такие как мы.

— Говорят на Марсе есть люди. Открыли какие то их работы на Марсе.

— А где Маг'с?

— Не знаю.

— Пойдемте к капитану. Спросим его.

Они говорили глупости. Перескакивали с предмета на предмет, смотрели на Марс, который им показал толстым пальцем капитан.

Ничего не было сказано особенного в эту ночь, которую они просидели на палубе, но ни Саблин, ни Вера Константиновна, долго не могли заснуть в своих каютах. Море шумело за железными бортами, скрипели переборки, где то хлопала не запертая дверь, занавеска колыхалась, то надвигаясь в каюту, то приликая к двери, крепко спала измученная баронесса Софья, у Саблина попутчик стонал и пил жадными глотками воду с лимоном и всякий раз говорил Саблину плачущим голосом: —

— Вас не укачивает. Счастливцев! А меня на изнанку выворачивает. Говорят в Сочи заходить не будем!

Саблин чувствовал себя новым, чистым и свежим. Сладко и чисто мечтал о баронессе и не знал, чего хотел. Путе-

шествовать по морям, скакать по степи на кровных лошадях, танцовать, петь ей песни, или мечтательно сидеть у окна волшебного замка, смотреть на чудный парк, на луну и думать о том, есть или нет на луне люди.

Два дня они шли по морю. Сходили на берег в Гаграх и в Новом Афоне, заходили в Поти. Три недели прожили в Батуме, каждый день ездили в коляске на паре бойких кабардинских лошадях по окрестностям, старый барон мерял землю рулеткой, сверял планы, считал деревья, сердился на Веру, на Софью, на зятя и на Саблина за то, что они невнимательно переводят то, что говорят ему грузины, турки и русские, покупал растения, покупал камень, цемент, разговаривал с архитектором, десятскими, каменщиками грузинами, бесился, топал ногами, бегал по своему участку, таскал Саблина за рукав и рассказывал ему, что, где должно быть посажено, что и как устроено, где надо снять землю, где насыпать террасу... Кругом шумел девственный лес. Орехи и ольхи одевались легким зеленым пухом, птицы пели и перекликались, густые папоротники лезли отовсюду нежными молодыми листьями. Внизу громадный банан из увядшего побуревшего ствола выпускал молодой ярко зеленый лист. Бамбуки тонкими палками выступали из влажной земли и, казалось, было видно, как они росли. Мимозы были, как золотом покрыты пушистыми шариками цветов, которые нежными кистями свешивались из за перистой зелени и красных стволов. Громадные эвкалипты трепетали тонкими листьями и сосны, ели, криптомерии и веллингтонии стояли во всей красоте своего весеннего убора. Вдоль тропинок у дач росли камелии и пунцовые, белые и розовые цветы ярко выделялись в темной листве. Пряный аромат мимоз сливался с запахом прелого листа, парными испарениями тучной, пропитанной влагой земли, и опьянял людей. Саблин, обе барышни, баронесса мать забывали зачем они приехали и то любовались громадными веерными листьями мохнатой пальмы хамеропс, выпускавшей на вершине фонтан золотистых цветов, или перистыми листьями муз и финиковых пальм, — то, отрешившись от прекрасной земли с ее бесконечно разнообразным убором, смотрели на море. Оно, неизменно

прекрасное, то длинными белогребными рядами волн шло к земле и рассыпалось белой пеной, шумя камнями, то тихо млело под голубым небом, нашептывая сказку о царе Язоне и о привольной жизни в царственной Колхиде.

Старый барон призывал их к порядку. Они бегали за ним и объясняли садовникам его желания.

Вечером на веранде, на берегу бесконечного моря, тихо ласкавшегося о песок, они ужинали. Барон размякал. День был удачный. Он находил возможным выпить „бутылочку, другую”. Он хлопал Саблина толстой ладонью по колену, часто говорил: „natuerlich”*) длинно по немецки, рассказывал, как он служил в прусских уланах и был знаком с генералом Розенбергом, генералом „vorwärts”**) и называл Саблина на „ты” и „Саша”.

Саблин смотрел на весело хохотавших баронесс и чувствовал себя прекрасно.

Но все кончается. В один темный дождливый вечер барон вдруг объявил Саблину, что он блестяще окончил все свои дела, что он вписал Саблина своим компаньоном и получил участки на него и на своего зятя и что пора по домам. На мызе „Белый дом” скоро начнут, пахать, а пока что он хочет поохотиться на току на тетеревов, а то и тока пройдут: весна наступает ранняя.

— Я очень прошу вас, Александр Николаевич, — по немецки говорил он Саблину, — остаться за меня здесь на три месяца, пока идет стройка дома и посадка апельсиновой и чайной плантации. Herr профессор обещал руководить вами, а вам все равно делать нечего.

— Natug'lich — забавно надувая губы и передразнивая, отца, сказала Вера Константиновна, — Александр Николаевич останется. Он обещал мне уст'оить тут дивный сад из г'оз.

Саблин посмотрел на смеющуюся Веру, на солидного толстого барона и... согласился.

*) Естественно.

**) Вперед.

Жить в этом раю, мечтать об этой девушке, заколдовавшей его, разве это не будет хорошо?... Да в сущности куда ему деваться до осени, а Гриценко писал ему и советовал приехать к маневрам, когда уйдет старый командир и выяснится кто будет командовать полком. Называли фон Штейна, Акимова и Розенталя...

LXVIII.

Каждое утро, то на моторной лодке, то по железной дороге, то в коляске Саблин отправлялся из Батумской гостиницы, где он жил, на баронский участок на Зеленом мысу. Он оставался на участке до вечера, иногда, в жаркие душные ночи, он ночевал прямо на земле под сенью густых криптомерий.

Утром он купался в море, долго сидел на берегу, любуясь синевой воды, а затем по узкой дороге, заросшей лесом шел на участок. Там шла работа. Каменьщики складывали дом из серых кубиков. Обнаженные до пояса в черных башлыках, босые грузины, тихо ходили и носили камни, или бочки с цементом. Рядом строгали бревна и доски. Несколько пониже на скате горы красивые турки в красных фесках сажали деревья и кусты. Работа кипела кругом. Каждый знал, что ему нужно делать, каждый уходил вечером с усталым телом, напевая веселую песню, счастливый трудом. Только Саблин томился. Он хотел помогать, но что он мог делать? Люди носили растения, с корнями завернутыми в рогожи, сажали их в лунки, Саблин смотрел и не знал хорошо или нет, правильно или нет. Другие люди лепились кругом стропил. Они свешивали на нитке свинцовый груз, смотрели на него, обтачивали камни, подкидывали лопаткой цемент под камень, выравнивали и делали все это уверенно, мурлыкая песню на непонятном языке. У одного Саблина не было дела, он один не знал, куда применить силы молодого тела.

В те времена по всему Батуму гремело имя того профессора, которого Саблин видал на чае у губернатора. Профессор насаждал какой то особенный сад подле Чаквы, где должна была быть собрана флора всего мира.

Саблин пошел к нему. Он застал профессора на работе. В легком чечунчевом пиджаке профессор ходил с китайцем в синей кофте и заботливо подстригал маленькие кустики с темными острыми листьями. Он ласково поздоровался с Саблиным и провел его показывать свой сад.

— Этот сад, — говорил профессор, — не забава. Это будет место, где шутя и балуясь, Русский человек познает какую драгоценную жемчужину он имеет в Батумской области. Тут может расти все то, что нужно человеку и что до сих пор нам за большие деньги приходилось выписывать из за далеких морей. Теперь мы будем иметь все свое. Свой чай, свои лимоны, апельсины, сахарный тростник, каучук, питательные и здоровые, более полезные чем картофель американские бататы... Моя мысль создать сад так, чтобы он приносил большую пользу народу и в полной красоте и гармонии давал бы ему нужные сведения. — Вот это группа эвкалиптов...

Профессор нагнулся и поднял какой то предмет похожий на жолудь.

— Посмотрите, это плод эвкалипта. На нем совершенно такая же звезда, как на ваших погонах. Если разломить его, вы найдете в нем как бы пыль. Каждая пылинка, — зерно эвкалипта, из которого вырастает такое громадное дерево. Помните в Евангелии Христос говорит, что вера подобна зерну эвкалипта. Стоит только зародиться ей и она вырастает громадным могучим деревом... Но вот мое любимое место. В этой аллее, среди полных странной загадки китайских роз и этих мексиканских цветов, похожих на наши подсолнухи, подле таинственных кактусов и алое, на площадке, откуда виден весь мой сад, видны Потийские горы и в ясную погоду можно видеть главный хребет Кавказских гор с его ледниками и вечными снегами, я хочу построить свой дом и здесь умереть и быть похороненным.

— Зачем такие грустные мысли, — сказал Саблин. — Вы несчастливы?

— О нет, — горячо воскликнул профессор, — я очень счастлив. Я нашел, где счастье, я знаю то, вокруг чего ходят люди, и не могут открыть. Я знаю, что такое счастье.

— Вот как, — сказал Саблин. — Если не секрет, поделитесь со мною своим открытием. Я не могу сказать что я не счастлив, но мое счастье бессознательное и потому хрупкое.

— Счастье в творчестве, — торжественно сказал профессор и замолчал, опускаясь на скамью, стоящую над горным обрывом.

Под ногами их было море. Синее, прозрачное, оно тонкой каймой белой пены набегало на берег, казавшийся отсюда розовым от мелких круглых камней гранита и мрамора. Чуть приподнимаясь над берегом росла зеленая трава и стояли на самом берегу кряжистые могучие карагачи. Горы отступали в этом месте от моря и красивая долина реки Чаквы подходила в нему. Обрамлявшие ее холмы красноватого цвета были усажены правильными рядами маленьких кустиков. Кое где широкие дороги, обсаженные деревьями перерезали долину, по склонам холмов лепились небольшие домики рабочих грузин, это была Чаквинская чайная плантация. Под самыми ногами Саблина на ровной площади, покрытой бархатной зеленой травой среди красивых деревьев розовой акации росли кусты роз. Это был громадный розарий. Когда легкий ветер набегал с моря он приносил с собою томный аромат цветущих розовых кустов... Задний план этой широкой тянущейся на многие версты картины замыкала гряда фиолетовых гор. Их низы были темны от густых лесов покрывавших подножия и долины, а синие вершины тонули в мареве дали. Там чуть намечались прозрачные облака, сверкающие как опал снеговые вершины Кавказских гор и видна была снежная шапка Эльбруса. Столько силы и мягкости было в этой воздушной широкой картине. Влекли и тянули переливающиеся молочными тонами опала далекие горы, манила их высь и даль, ворожило море, сливавшееся с небом, сверкающее всеми синими тона-

ми от тона нежной бирюзы у берегов, темного сафира в дали и снова бледневшее под горизонтом и так сливавшееся с небом что горизонт едва намечался нежной полосой тумана. Море казалось там таким же прозрачным, как воздух. Эта картина меняла свой вид и краски каждую минуту. Надвинулись на горы облака, закрыли сверкающие ледники, набросили глубокие тени на долины, море потемнело, вдруг рядами повалили по нему белые зайцы пенящихся волн, цвет его стал другой, оно стало угрюмее, и тем больше был контраст между ним и зеленой смеющейся лужайкой Батумского розария...

— На этот вид никогда не устанешь смотреть. Он прекрасен всегда, — сказал профессор. — Равного ему нигде не найдете. Я любовался Нагасакским рейдом, я видел южную красу Босфора и северное величине Стокгольма, я видел берега Америки, видел биение волн Индийского океана у Коломбо и Джибути но нигде нет такой полной гармонии богатого красками моря, роскошной природы земли и неба, постоянно бороздимого облаками и тучами. Я вам говорил, что я счастлив. Я счастлив тем, что я открыл, изучил и пропагандирую этот край. Многие из моих коллег по университету ударились в другую пропаганду. Они ищут разрешения проблемы человеческого счастья в отыскании особых условий социального устройства. Они считают, что люди будут счастливы тогда, когда они получают свободу личности и равенство перед законом, другие идут дальше и требуя абсолютной свободы, и полного равенства доходят до проповеди анархии. Счастье дает только труд и творчество. Раб, трудящийся над землею, раб творящий красоту может быть счастлив и свободный тунеядец покончит с собою, потому что разочаруется в свободе, лишенной творчества и труда. Вы посмотрите, как счастливы люди, одаренные талантом — художники, скульпторы, архитекторы, писатели, актеры. Они творят! Годами вынашивают они в сердце своем свое произведение и, когда приступают к творчеству их охватывает ни с чем не сравнимое лихорадочное возбуждение. Они забывают про пищу, они отказываются от комфорта и живут теми образами, которые создает их фан-

тазия... Простой сапожник, столяр, портной — имеют минуты счастья, потому, что они творцы. Ничтожную мелочь творят они, но творят. Я создаю теперь этот сад. О! прожить бы еще десять лет, чтобы увидеть, как покроются золотыми плодами эти сады апельсинов, как потекут сюда Русские люди со всей России смотреть и учиться тому, что может дать им угрюмое Закавказье! Тогда в великом счастье почить, как Бог, от дел своих и уснуть навеки среди этого сада и слышать пение птиц, журчанье горного ручья, песню грузина и жужжание пчел, собирающих мед с пестрых цветов. Как понимаю я легенду библии о Боге! Бог назван всеблаженным, то есть вечно счастливым потому, что он сотворил мир. Когда рушились горы и кипела лава, когда море клубилось парами и выступала из него твердь, когда из носящихся в беспредельности мириадов атомов вдруг сцепились одни и, воспламенившись, создали солнце и свет, когда другие, вращаясь образовывали новые миры, когда набухла горячая земля и выбрасывала из недр своих ростки первобытных растений, а из зачаточных слизней выростали пресмыкающиеся и лениво, точно во сне бродили среди сплошных пальмовых и папоротниковых лесов страшные ящерицы, все эти бронтозавры и ихтиозавры, — это было творчество Разума, это было великое мироздание Богом и творя этот мир Бог был счастлив! И каждый, кто творит, как бы мало ни было то, что он творит носит в себе частичку Божества и счастлив, как Бог!

— Но, тогда, мы, военные, никогда не можем быть счастливы, — сказал Саблин.

— Почему?

— Потому что мы готовимся к войне и разрушению. Наша цель, наше назначение разрушить культуру. Пожары городов и селений, потоптанные нивы, разграбленное имущество жителей и смерть врагов — вот, что несет с собою война. Я почти не видал батальной картины, фоном которой не служило бы алое зарево пожара. Счастья на военной службе не может быть.

Профессор молчал. Тихо шелестели листья громадных карагачей, внизу методично роптало море, рассказывая что

то земле и в накалившемся воздухе сильнее был медвяный запах роз.

— Я думаю, что вы не правы, — сказал профессор, — вы смотрите на войну в тот момент, когда она идет. Ведь и эти глыбы развороченной земли, покрытые лунками, куда мы бросим семя не красивы, и знаменуют не творчество, а разрушение, но вырастет растение, покроется цветами и мы дивимся его красоте. Есть войны творческие и есть войны разрушительные. Освободительная война 1877--1878 годов была ужасна. Я помню ее. Я помню рассказы о доблести наших солдат на Шипке, страшный Балканский поход, тиф в долинах Марицы и на берегах Черного моря, но эта война дала свободу Сербам, Болгарам и Черногорцам, эта война дала нам этот золотой край — и, смотрите, как расцвел он под Русским владычеством! Тут, при турках, была только кукуруза, а мы возобновили роскошь садов, которая была здесь во времена владычества Византии и Рима... Нет, вы ошибаетесь! И в войне есть творчество и в войне есть счастье. Это счастье победы. Создайте победоносную Российскую Армию, — вдохновляясь и возвышая голос говорил профессор, — воспитайте Русского солдата так, чтобы враг не смел бы напасть на Россию, охраните, охраните это мое творчество, защитите этот сад от ленивых турок, от хищных грузин, от всех, кто протянет к нему свои грязные лапы, создайте армию. Такую армию, где не авось, небось, да какнибудь правят полками, а настоящую, достойную, великую, необходимую для России и вы будете счастливы! И каждый день мира будет вам наградой за вашу творческую работу!

Профессор встал. Он был в сильном возбуждении.

— Теперь, — сказал он, — так много говорят о мире. О! как это страшно! Это несет войну. Пусть лучше говорили бы о войне, делали маневры, готовились к войне, я был бы спокойнее. Ведь этот райский уголок в случае распри окажется всем нужен и погибнет мой сад. Защитите его, Александр Николаевич. Я боюсь за него!..

LXIX.

В первых числах августа Саблин, не дождавшись конца отпуска, но получивши от Гриценки телеграмму — „командиром Петровский, все по новому, приезжай”, — оставил совершенно готовую дачу и только что посаженный сад на попечение присланного Вольфом какого то Vetter'a*) — и поехал в полк.

Три причины заставляли его сердце биться и сладостно сжиматься по мере того, как поезд приближался к Петербургу.

Первая — была радость увидеть полковых товарищей, черноглазого Гриценко, румяного Ротбека, серьезного Фетисова, болезненного Мацнева, увидеть рослых красивых солдат, лошадей полка, родные цвета петлиц, околышей и фуражек, услышать звон шпор по улицам, звуки родных трубачей и плавные торжественные аккорды полкового марша.

Вторая радость была после маневров поехать на мызу „Белый дом” увидеть Веру Константиновну, и, если он не ошибся и девичье сердце никем не занято, сделать ей предложение. Это немного расходилось с третьей причиной, но противиться мечте испытать эту особенную любовь утонченной женщины своего круга, о которой ему говорила баронесса Софья он не мог. Из того, что барон и баронесса усиленно звали его гостить на мызу, что Вера Константиновна на половину по французски и на половину по русски и в русском тексте не без милых маленьких ошибок написала ему, что она очень соскучилась „за ним” и у ней радостное воспоминание о поездке по морю, он мог надеяться, что предложение его будет принято.

Третья причина была — жажда творчества, а следовательно и счастья. Творчества победы, создания армии. Слова профессора запали ему глубоко в душу. Он их все повторял себе, вспоминал свои первые годы службы и с ужасом чувствовал, что профессор был глубоко прав.

*) Vetter — двоюродный брат.

Ретивая, лихая Русская тройка — авось, небось, да как-нибудь — везла всю Россию и с нею вместе и армию. Армия занималась муштрой, немного маневрами, но о войне не думала. На наш век хватит. Повоевали и довольно, авось войны не будет. У Саблина было три пары лакированных ботинок, но если бы ему зимою пришлось ехать верхом — он не знал бы, что одеть и отморозил бы себе ноги. Ни у офицеров, ни у солдат не было полушубков. Цейхгаузы ломились от тяжелых медных касок и кирас, но в зимний поход выступали в легеньких фуражках без козырьков. Лошади были жирные, не способные к походу.

Как-нибудь справимся, если война. Авось нас не пошлют, а пошлют, так, небось, не подгадим.

На западе и на востоке шла тревожная лихорадочная работа. Агенты и просто путешественники доносили о новых изобретениях в области военного дела, о громадных программах вооружения, у нас все шло по рутине. Авось войны не будет, небось били раньше, побьем и теперь, какнибудь да управимся. После введения магазинного ружья армия успокоилась и остановилась. Реформы были только в переменах формы, в даровании цветных фуражек, в подготовке к возвращению к старым формам обмундирования. Военная литература застыла. Писали о мундштуке и уздечке, да пережевывали описания старых давно изжитых походов.

Что мог сделать при таких условиях Саблин? Как и где мог проявить свое творчество в полку, предназначенном для тыловой службы, для охраны порядка в столице? Когда в 1877 году вся гвардия пошла на фронт, их полк оставался в Петербурге. Авось останется и в будущей войне — говорили офицеры. Но Саблин мечтал о творчестве даже в своей маленькой роли командира взвода.

Он приехал в полк за два дня до выступления на маневры. На другой день он обошел дворы, занимаемые его людьми, везде нашел непорядки и пробрал людей и взводного. Утром, в половина шестого он пришел на уборку. Взводного не было, но он явился через пять минут, а следом за ним пришел и вахмистр.

— Где ты был Болотуев? — строго спросил Саблин.

— У господина вахмистра, ваше благородие, — сказал Болотуев. Вахмистр крикнул и промолчал.

„Что он?“ — думал вахмистр, — „какая муха его укусила? Ну был бы пьян и с кутежки — дело понятное, а то совсем трезвый, видать нарочно встали. Нового командира что ли боится?“

„Не господское это дело“, — думали солдаты. Для них было выгоднее, чтобы офицеры не заглядывали, куда не следует. Они хотели, чтобы офицеры оставались господами. Так было легче и проще. Но Саблин хотел стать офицером и стал тянуть свой взвод.

„Тянется, выслужиться желает“, — говорили солдаты и не знали, что ему надо. Понятия о службе у них не было, понятие о выслуживании было крепко. Никто не мог представить себе, что можно служить по идее, а не ради похвалы начальника.

— И чего он, — говорил Болотуев своему другу, взводному первого взвода, угрюмому Петрову, — все равно никто его старания не увидит. Гриценко так даже недоволен с него.

— Ничего. Обшарпается. Новая метла.

— Книжки для донесений, карты на свои деньги купил — унтер офицерам роздал. К чему деньги тратил! Как-нибудь и без этого справились бы. Вчора Адамайтиса в боевую поставил за то, что Нурколово назвал Пулковым, а за что? Я и сам разницы то не больно много вижу. Эка невидаль, что ошибся солдат. Меня пол часа отчитывал.

— Старается.

— А что толку с его странья. Авось и так не сплеховали бы. Как-нибудь и маневры бы отбыли, небось не в первый раз, очки бы кому надо втерли.

— Н-да... Не барское это дело. Хотит доказать что то. А что докажет? Хочет стараться, ну просил бы в учебную команду?

— Так и там офицеру делать нечего. Вахмистр Макаренко кулаком то лучше научит.

Саблин видел, как хмурились лица солдат и становились недовольны вахмистр и взводный, но он продолжал свое

дело. Гриценко сказал ему мягко — „ты не очень горячись. Вахмистр и взводные без тебя все сделают”. Ротбек заметил ему, что стоит ли дворянскую голову ломать и с солдатами возиться, они сами свое дело знают. Но Саблин упрямо решил переделать себя.

На маневрах от полка потребовали разведку реки Стрелки. Надо было сделать съемку с приложением легенды. Требовал штаб генерал-инспектора. Командир полка, молодой генерал генерального штаба, призвал адъютанта.

— Прикажите корнету Саблину исполнить эту работу, — сказал он.

Адъютант, штабс-ротмистр Самальский, привыкший при бароне Древенице самостоятельно отдавать распоряжения, почтительно заметил генералу Петровскому:

— Саблина невозможно назначить, ваше превосходительство. Тут нужно совершенно другого офицера.

— Почему? — хмуря брови спросил командир полка.

— Саблин на ординарцы или в караул хорош, а насчет съемки я думаю швах. Не дворянское это дело. Не послать ли штабс-ротмистра Грюнталя, он, командуя учебной командой, это дело тонко знает.

— Пошлите корнета Саблина, — сказал командир полка тоном, не допускающим возражения.

— Слушаюсь, а только, — начал было Самальский.

— Я сказал, — сказал командир полка.

„Ну, будет скандал”, — думал адъютант, передавая приказание Саблину. — „Чорт знает, чего там не нарисует милый Саша. Придется на гауптвахту вести”.

Но Саблин совершенно иначе отнесся к задаче. Это маленькое кроки было творчество. Первая его работа после беседы с профессором. Напряжением ума и воли он вспомнил все то, чему учился в училище, вооружился планшетом, сел в три часа ночи на коня, взял вестового и с первыми лучами солнца принялся за работу. День был прекрасный. Августовское солнце заливало лучами густую траву, росшую в лесу по берегам задумчивой речки. Саблин, оставив лошадь, пешком шел вниз по реке, сверяя по компасу ее изгибы. Он наносил мосты, зарисовал их профили и делал

описания. Проходили часы, он не видел их. На мельнице он пил молоко и ел мягкий черный хлеб и они казались ему лучше лучшего обеда в ресторане. Неподалеку купались женщины, он слышал женские визги и крики, но даже не посмотрел туда, где на траве мелькали розовые тела и белые рубашки. Руки и ноги ныли от усталости, он не чувствовал их. Он был счастлив. Он т в о р и л. На большом листе бумаги, графленой бледно-зелеными и розовыми квадратами на дюймы ярко выступала со всеми своими изгибами река. Ее пересекали броды — он и броды проверил и описал. Через нее нависли мосты. Каменный мост на шоссе, деревянный у мельничной гребли, легкий пешеходный на тонких подпорках у дачного места. Саблин нарисовал их все. Планшет ожил. Это была картина. Она казалась Саблину верхом совершенства. Он был влюблен в нее.

Поздно ночью, сделавши семьдесят верст, он нагнал полк и передал свою работу командиру полка, сидевшему в избе с адъютантом.

Петровский внимательно посмотрел на чертеж.

— Да, это работа офицера генерального штаба, — сказал он задумчиво. — Корнет Саблин, от лица службы благодарю вас.

Когда Саблин вышел из избы, Петровский сказал адъютанту:

— Что же вы мне говорили, батенька мой. Да он во всех смыслах отличный офицер!

„Подменили в отпуску нашего Сашу”, — подумал адъютант.

Саблин был счастлив. Легкими шагами, не чувствуя усталости он прошел на свою квартиру. „Да”, — думал он, — „профессор прав, счастье в творчестве, в чем бы творчество это ни выразалось!”...

LXX.

По окончании маневров Саблин не воспользовался разрешением ехать домой по железной дороге и по доброй воле пошел с полком походом. Он оказался старшим из.

корнетов и вел полк. В полном порядке он совершил трехдневный поход и под мелко сеющим, как сквозь сито, холодным осенним дождем, во главе полка, часов около двенадцати входил на полковой двор.

Полк стал развернутым фронтом, люди с заводными лошадьми проскочили в конюшни, Саблин поднял шашку над головой и скомандовал: — под штандарт! Полк шашки вон, слу-ша-ай!.

Чувство гордости и счастье исполненного долга, сознания своей красоты и великолепия, рыцарской честности охватило его, когда зазвучали трубы величественный гвардейский поход и мимо, шлепая по покрытому лужами песчаному двору тяжелыми забрызганными грязью похода сапогами прошел штандартный унтер-офицер, предшествуемый молодым корнетом и пронес мокрый, закутанный в кожаный чахол штандарт с большим металлическим двуглавым орлом на древке.

В сыром воздухе трубы неполного оркестра — солисты уехали по железной дороге, — звучали далеко не величаво и сипло ввали. Штандарт в чухле казался безразличным и ненужным.

Щемящее чувство тоски вдруг охватило Саблина. Восторг исчез. Жалкими казались маленькие эскадроны с неполными рядами, пустою заднею шеренгой, нахохлившимися небрежно одетыми усталыми людьми. Серое небо их давило, Петербург со своим гулом и шумом езды по мостовой казался скучным.

„Что как это неправда! Неправда все”, — подумал Саблин, — „и полк, и штандарт, и военная служба, и Россия. Тоска одна. Слякоть и дождь”.

Он отпустил полк, сходил к командиру полка, не заставши его написал в книге о том, что он прибыл с полком благополучно и в самом тяжелом настроении вошел к себе на квартиру. Она была переделана. Комнаты переставлены по иному, ничто не напоминало Марусю и Любовина. Но и в ней продолжалась все та же тоска. Саблин, промокший насквозь, переоделся, прошел в собрание, где были только три корнета из его спутников и вернувшись лег отдохнуть. В пять ча-

сов он хотел напиться чаю и в девять ехать на мызу Белый дом, где должна была решиться его судьба.

Но грусть не уходила. „Это от усталости”, — решил он, кутаясь в одеяло, — „это от дождя, от того, что я промок. Не простудился-ли я?” — В тяжелом настроении, с томиительно сжимающимся от тоски сердцем он заснул.

Ему снилась быстрая глубокая река с холодной водой, которую он легко переплыл. А кто то, неведомый ему, плывший сзади него и нагонявший, которого он боялся, не дотянул до берега и утонул.

Саблин открыл глаза. В душе еще дрожало сознание, что кто то сейчас погиб в холодной пучине.

„Да ведь это сон”, — подумал Саблин. — „Какие глупости”. — За окном все так же сеял мелкий дождь, струи воды текли по стеклам, глухо шумел дрожками извожиков и вагонами конок город. Саблин совсем очнулся. „Да”, — подумал он, взглянув на часы, — „еще несколько часов и я буду на поезде и сегодня же к ночи буду в этой милой семье”. — Тоска, налетевшая вдруг, так же внезапно и исчезла. Радостное ожидание охватило его и он начал поспешно одеваться и укладывать в маленький дорожный чемодан вещи для поездки.

В столовой денщик, не Шерстобитов, а другой, гремел самоваром и чайной посудой. „Напьюсь чаю”, — думал Саблин, — „и съезжу к Балле и Иванову купить конфеты, которые любит она и ее мать”.

Резкий и длительный электрический звонок раздался в прихожей и денщик пошел отворять.

„Кто бы это мог быть теперь, в такую пору. Как не кстати!” — подумал Саблин. — „Если из полковых товарищей надо будет отделаться, а то не успею уехать.

— Там какой то вольный вас домогается. Такой назойливый, — сказал, входя, денщик.

— Какой вольный? — спросил Саблин.

— Кубыть из студентов, или так просителей каких. А может кредитор.

У Саблина долгов не было. Он пожал плечами, надел первый попавшийся ему виц мундир и сказал, проходя в кабинет: — „проси!“

Денщик пропустил в кабинет невысокого плотного человека. Рыжий помятый пиджачек, рыжая жилетка и рыжие брюки, рыжая короткая и смоченная дождем борода и рыжие спутанные, взъерошенные волосы — все было одного цвета. Он был совсем, как старый воробей, напыживший свои перья и только что выкупавшийся в дождевой луже. У него и вид был задорно обиженный и голову он нагибал на бок.

Саблин остался стоять, как вошел, за письменным столом и вопросительно смотрел на гостя. Он не предложил ему сесть и не подал ему руки. Денщик остался в кабинете, ожидая не понадобится ли его помощь выпроводить незванного гостя.

— С кем имею честь говорить? — холодно сказал Саблин.

— Я, Коржиков, — сказал вошедший, глядя на Саблина печальными, воспаленными, красными, как у пьяного, глазами.

— Чем могу быть полезен? — спросил Саблин.

— Ах, чорт возьми, но вам ничто не угрожает. Уберите вашего... солдата, — нервно сказал Коржиков.

— Петренко, выйди, — сказал, пожимая плечами, Саблин. — Что за секреты могут быть между нами!

Денщик неохотно ушел из кабинета и остался в столовой, где нарочно громко переставлял чайную посуду. Коржиков подошел вплотную к столу Саблина и тихо, едва шевеля губами, сказал: —

— Мария Михайловна Любовина просит вас сейчас к ней приехать.

Саблин не шевелился. Какая то тень пробежала по его лицу. Все это было теперь позабыто и так ненужно! Коржиков заметил его колебание.

— Она умирает, — сказал он отрывисто, — хочет проститься с вами... Да едемте же! — воскликнул он повелительно. — Тут минута опоздания может решить все дело. Едемте!

— Кто вы?.. Почему вы от Марии Михайловны? — сказал бледнее Саблин.

— Ах, Боже мой! Не все ли вам равно! Я муж Марии Михайловны... Ну, слышите, я муж ее! Она так просила, чтобы я привез вас проститься с нею.

Саблин еще раз посмотрел на взъерошенного воробья. Нет, он не врал. Тоска, не злоба, а только тоска была в его глазах. Саблин пожал плечами и пошел в прихожую одеваться.

LXXI.

Извозчик, привезший Коржикова, стоял у подъезда. Измученная лошадь дымила на дожде густым паром, извозчик в мокрой глянцевой клеенчатой накидке ходил подле.

— Как хотите, барин, — заговорил он, когда Коржиков указал Саблину на извозчика, — а дальше я не поеду. Вишь лошадь совсем заморилась. Куда-же! Нет, увольте!

— Да вы доведите меня до первого извозчика. Я полтинник прибавлю, — сказал Коржиков. — И ради Бога скорее!

Они сели и поехали. Оба молчали. Саблина стесняло его новое, сизого цвета элегантное пальто, цветная яркая фуражка и весь его холеный вид рядом с этим потертым рыжим человеком, забившимся в угол пролетки. „Муж и любовник едут рядом”, — думал Саблин и гадливое чувство подымалось в думе. — „А какое же чувство должно быть у него ко мне? Для чего я еду? Для того, чтобы этот господин привел меня к Марусе, может быть и правда страдающей, и ткнул меня носом, как тыкают провинившегося щенка, и стал бы меня упрекать. На, мол, смотри, что ты сделал!..

Они переменили извозчика, сели без торга за три рубля и покатали дальше. Между спиной извозчика и верхом пролетки был виден мокрый Невский. Было сумрочно от туч, тротуары чернели длинными вереницами зонтиков, впереди блестели мокрые пролетки с поднятыми верхами. Они

обогнали конки, стоявшие на разъезде. Саблину почему то особенно приметились потные серые лошади со всклокоченной шерстью, тяжело поводившие боками. Навстречу, звеня и гроыхая, неслись три другие вагона и маленькие прочно сбитые лошади с облипшей шерстью громко цокали подковами по мокрым бульжникам. У Николаевского вокзала их объезжали громадные, черные с желтым, платформы, запряженные четверками отличных сытых лошадей. Ямщик в черном азыме и шапке с павлиньими перьями сидел на козлах. На тюках и ящиках почтовых посылок, накрытых брезентом, лежали почтальоны и чему то смеялись.

„Почему я все это так теперь примечаю”, — подумал Саблин. — „Может быть я это вижу в последний раз. Куда везет меня этот Коржиков? Не завезет ли куданибудь на окраину города, где вместо Маруси меня ожидает Любовин, и они покончат со мною? Я и револьвера не захватил”. — Одну минуту его охватило желание остановить извозчика, соскочить с него и оставить Коржикова в дураках. Но ему стало совестно показать свою трусость и он посмотрел искоса на своего соседа. Он сидел в углу и думал какую то свою невеселую думу. Лицо Коржикова было так печально и сам он выглядел таким жалким нахохлившимся воробьем, что Саблину смешным показались все его мысли о том, что его везут в западню. Саблин стал думать о Марусе. -- „Какая она теперь? Как примет? Правда-ли что умирает, и если умирает, то от чего? А может быть, просто соскучилась и придумала способ с ним повидаться. Где ее брат?” — Этот господин все знает, но язык не поворачивался заговорить с ним. „Хорошо, что идет дождь и не видно”, — подумал Саблин, — „а то красивую картину представляем мы оба на одном извознике”.

„Муж и любовник”.

Он хотел вспомнить Марусю, но образ ее, затемненный образом Веры Константиновны, уже стерся. Осталось воспоминание о чем то нежном, и вместе с тем жутком и жгучем, да резко вставала в памяти последняя сцена. Любовин в шинели, его грубые руки, схватившие его за рубашку, ругательства и выстрел. — „Как это все тяжело”, — думал Саблин.

— „Господи! хоть бы скорее конец всей этой истории. Как долго мы едем. Мне кажется, я никогда не был на этих пыльных улицах”.

Каменную мостовую сменило грязное разбитое шоссе, по сторонам потянулись заросшие канавы, деревянные тротуары, низкие домики, кое-где жалкие палисадники, из которых торчали мокрые ивы и чахлые березы. Наконец, Коржиков остановил извозчика, вылез, расплатился и стал звонить у небольшого крылечка одноэтажного желтого, охрой крашеного дома в три окна.

Саблин стоял сзади. На него нашло полное безразличие. Он не подумал о том, что ему следовало заплатить извознику, а не этому видимо бедному человеку, что в этой глухой местности он не достанет извозчика и что надо бы задержать этого. Он машинально и бездумно следовал за Коржиковым.

Седая простоволосая женщина отворила им. Коржиков прошел вперед. Они очутились в небольших узких сенях, оклеенных старыми, местами отстающими коричневато желтыми обоями. Стоял сундук накрытый истертым ковром, висело зеркало в ясеновой раме и под ним полочка. В сенях было сыро, пахло свежей капустой и пригорелым луком. Саблин последовал примеру Коржикова и снял пальто и фуражку. Зеркало отразило его красивую фигуру в изящном виц мундире и узких рейтузах, такую неуместную здесь.

— Ну что? — спросил Коржиков тревожным шопотом у старухи, которая стояла, опершись кулаком в подбородок, и смотрела старыми выцветшими глазами на Саблина.

— Сейчас затихла. Все вас ждала. Думала, не дождется. Кончается.

— Идете, — сказал Коржиков. Они прошли в столовую, где был стол, накрытый белой клеенкой с узорами. На окне стояла герань и над нею в клетке прыгали чирик и канарейка.

— Подождите одну минуту, — прошептал Коржиков и на цыпочках прошел в дальнюю комнату.

Сердце Саблина сжималось тоскою по Марусе. Резкий запах капусты и лука раздражал его и мешал представить

Марусю так, как надо. Мундир и фуражка, которую он по военной привычке держал в руках, казались нелепыми в этой низкой комнате с геранями и канарейками. Минуты тянулись медленно. Их отбивал плоский медный маятник больших белых деревянных часов с гирями, висевших на стене.

— Пожалуйте, — сказал Коржиков.

В комнате, куда они прошли, был полумрак. Белая штора была опущена и серый день скупно пропускал через нее белесоватый свет. У стены, на низкой железной кровати, по грудь накрытая простым серым байковым одеялом, на низких белых подушках лежала Маруся. Распущенные черные волосы волнистыми прядями рассыпались по подушке и окруженное ими белое лицо казалось еще блее. Тонкий нос обострился, губы едва намечались фиолетовыми полосками. И только в глазах, громадных, лучистых, черно-синих устремленных на Саблина была еще жизнь. Тонкие белые руки поднялись над одеялом навстречу Саблину.

— Ну вот... Пришел... Я знала, что придешь... Как хорошо!..

Саблин нагнулся к ней. Она охватила его шею руками и старалась прижать его к себе. Слезы омочили щеки Саблина. Она плакала.

— Ничего... Ничего..., сказала она. — Посмотри.

Она указала глазами на угол у печки, где в старом клеенчатом кресле, на каком то тряпье, устроенном на подобие гнезда, лежал красный сморщенный, с тонкими руками и ногами, тихо шевелившийся, как паучек младенец.

— Твой! — прошептала она. — Твой! Ты счастлив? Да? Возьми его... Воспитавай!.. Он твой...

Саблин перевел глаза на Марусю. Ее глаза потухали. Руки беспокойно шарили по одеялу, пальцы сжимались и разжимались. Она точно искала что то на одеяле и хотела схватить. Жизнь покидала ее.

Глаза стали синими. Зрачек уменьшался. Но любовь все так же горела в них.

— Мой принц! — с тоскою и страстью прошептала Маруся... — Мой принц!.. — и заплакала. Губы обнажили два ряда стиснутых белых зубов. Саблин нагнулся, чтобы по-

целовать ее губы. Оне были холодны и жестки. Он отшатнулся.

Губы опять зашевелились. Маруся приподнялась, лицо ее стало прекрасно, точно выточенное из мрамора. Волосы закрыли всю спину и оттенили исхудалую тонкую шею и белую рубашку.

— Мой принц! — Она упала на подушки и затихла. Глаза еще раз открылись на Саблина, но жизни в них уже не было. Они были тусклые и темные. Метнулись черные густые ресницы и легли суровыми тенями на веки и веки сомкнулись.

Саблин стоял, не зная, что делать. У окна нервно плакал Коржиков.

Он повернулся к постели Маруси, подошел к ней и сложил на груди мертвые руки. В углу завозился и заплакал **ребенок**.

— Уходите! Ну! Уходите же! — сказал Коржиков, с страшною ненавистью глядя на Саблина. — Я вам говорю — уходите!

Саблин пошел на носках в столовую. Коржиков шел за ним. В столовой Саблин остановился. Из тихой спальни Маруси доносился беспокойный плач ребенка. Саблин представил его себе красного, ворочающего руками и ногами, как паучок и вдруг что то вспомнил нужное и тяжелое.

— А мой ребенок? — сказал он, глядя на Коржикова. Она просила...

— Что!.. закричал Коржиков, сжимая кулаки. — Никогда не ваш ребенок. Слышите. Я муж. Я законный муж ее. По закону ребенок мой. Понимаете. А вы кто? Кто вы такое!?

Саблин молчал. Тупая боль сжимала ему сердце. Он решительно не знал, что ему надо делать.

— Ну! — крикнул Коржиков со злобою: — Скоро ли вы тут! Убирайтесь... Да скорее!..

Саблин повернулся и пошел в прихожую. Нелепо и пошло серебряным звоном звенели шпоры, канарейка и чижик испуганно забились в клетке. Пошлый мещанский запах пригорелого лука и капусты бил в нос. В сенях на железной ве-

шалке нагло сверкали металлические погоны его нового пальто. Все казалось диким и нелепым сном. Он торопливо надел пальто и вышел на улицу.

Мелкий холодный дождь бил по лицу и рукам. Темное шоссе покрытое лужами было пустынно. Ни одного извозчика не было видно на нем. Саблин торопливо, неровною походкою шел по скользким доскам деревянного тротуара. В голове было пусто и сквозь мозги его прорезывался звенящий, как колокол и больный, как бич возглас Маруси, полный страстной любви и муки:

— „Мой принц!.. Мой принц!..”

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Зимний дворец был ярко освещен. Все четыре подъезда — Комендантский, Ее Величества, Салтыковский и Иорданский были открыты. У каждого стоял швейцар в красной ливрее с громадной булавой и толпились лакей и скороходы в красных фраках и кафтанках. Каждую минуту на возвышение Салтыковского подъезда въезжала карета, запряженная крупными серыми русскими рысаками с длинными, волною расчесанными хвостами, дверца отворялась и из кареты выскакивали нарядно одетые дамы и барышни, чуть прикрытые поверх бального платья мехом, или легким *sortie de bal**) из шелка и пуха. Тихо, скрипя резинами по снегу, отъезжала карета и на смену ее, нервно фыркая тонкими ноздрями входили легкие ганноверские вороные кони с остриженной шерстью и короткими чуть подрагивающими хвостами. Из подвезенного ими купэ выходила дама, сопровождаемая сановником в треугольной шляпе с плюмажем, или генералом в распахнутой шинели, из-под которой видна была грудь, перетянутая красною, или синею лентою и сверкающая орденами и звездами. Едва откатила эта карета, как на подъезд величаво вступил, потряхивая черною гривую буланый рысак в темных яблоках и из санок с медвежьей полостью, легко соскочил моложавый генерал в белой свитской меховой шапке с алым верхом в легкой шинели с бобрами.

— Пожалуйте ваше сиятельство.

*) Бальная накидка.

— Вашу шинель, ваше превосходительство. Номерочка не надо. Якова спросите. Я следить сам буду. Ваши привычки знаем, — раздавались мягкие солидные голоса бритых лакеев.

В ярко освещенном вестибюле, пахнувшем дворцовым куреньем, все сильнее становился нежный аромат духов, который шел от тонких мехов, кружевных косынок и шелковых капоров. Дамы охорашивались перед громадным зеркалом, поправляли прически и разглядывали свои подрумяненные морозом, волнением, а кое где и искусно наложенной краской лица. У молодых глаза сверкали восторгом и удовольствием. Они волновались. Для многих это был первый и, может быть, последний дворцовый бал. На большие балы кроме узкого своего придворного круга приглашались и так называемые городские дамы, жены и дочери сановников по особому заранее составленному списку.

На обнаженных юных и старых плечах блестели золотые вензеля императриц на красных лентах — институтские шифры первых учениц и горели брильянтами шифры Их Величеств, приколотые к бледно голубым шелковым бантам платьев фрейлин Двора.

— Тетя, да посмотг'ите же сзади. Сзади ничего не г'а-стегнулось? — картаво говорила прелестная блондинка лет 25-ти, начинавшая полнеть, но прекрасно сложенная, с широкою белою грудью, стыдливо прикрытою газом и кружевами шелкового платья цвета сгеме*) по которому акварелью, были нарисованы цветы.

— Право, Вера, все отлично.

Вера Константиновна Саблина, рожденная Вольф, праправнучка Курляндских герцогов, была не новичек во дворце, где была фрейлиной Их Величеств, но, приезжая на бал она всякий раз волновалась. Ее опьяняли роскошь дворца, обилие молодых и свежих лиц и ей хотелось быть — лучше всех. Высокого роста, со свежим чистым здорового румянца лицом и голубыми васильковыми глазами, в короне золотистопепельных волос она издали напоминала молодую

*) Сливок.

Императрицу, которую боготворила и которой во всем подражала.

— Как жаль, что Александр дежурный сегодня. Вот он бы осмотрел. Он все увидит. Каждую пылинку заметит. Военный взгляд. А вы, тетя, все отлично, отлично, а между тем не видите, шифр откололся.

— Ах, Вера. Ну я сейчас поправлю.

— Вы не заметили, тетя, Бетгищева, как похудела. Совсем цыганенок какой то. А все таки хог'оша! Сохнет по Ламбину, а ему хоть бы что. Скачет, воюет, в экспедиции какие то носится. А, ваше пр'евосходительство, приветливо улыбаясь повернулась она к почтительно подходившему к ней генералу генерального штаба в темно красной Анненской ленте.

— Вера Константиновна, вы как всегда, великолепно. Позвольте пока не надели перчатку поцеловать вашу художественную ручку, — сладким голосом сказал генерал.

— Какой вы милый, Яков Петрович, — смеясь проговорила Вера Константиновна, протягивая действительно прелестную руку, украшенную кольцами с бриллиантами и опалами.

— А ваш супруг?

— Он сегодня пр'и Его Импер'атор'ском Величестве.

— Какая вы дивная пара. Вот уже семь лет люблюсь вами в свете. Ведь вы семь лет, как замужем.

— И не говорите! Дочь невеста ског'о будет. Сын уже ходит и говорит. Стаг'ухой ског'о стану.

— Позвольте вам представить моего старого друга Николая Захаровича Самойлова. Он только вчера приехал из Японии, где прожил двенадцать лет.

— О, это должно быть ужасно! — воскликнула Вера Константиновна, протягивая руку пожилому и как бы облезлому полковнику генерального штаба. Большая умная, лысая голова с толстым и длинным носом, с шишкой на виске, с седеющими черными неровными усами, бритым выдающимся подбородком и острыми карими глазами сидела на невысокой шее. Сам полковник был среднего роста, неважно сложен, одет в черный помятый, давно сшитый и

редко одевавшийся парадный мундир с аксельбантами, который неловко сидел на нем. Высокие сапоги были велики и шаровары тяжелыми складками ложились на них. Шашка болталась спереди и видно было, что он отвык ее носить.

„А voilà c'est fameux*) Самойлов, о котором только и говорят при дворе”, — подумала Вера Константиновна. Он вчера, как передавал ей ее муж, сильно расстроил своим докладом Государя. „Да, такая фигура и может расстроить. Квазимодо какой то! Совсем японец и надо полагать женат на японке”.

— Вы там не умег’ли со скуки? — сказала она.

О, ему некогда было скучать, — смеясь сказал Яков Петрович Пестрецов. — У него целый гарем гейш был.

Полковник ничего не сказал на эту шутку, которую он слышал здесь уже не первый раз и только внимательно посмотрел на Веру Константиновну. Проницательный взгляд его был полон тревоги и тихой грусти.

— Пойдемте, господа, — сказала Вера Константиновна. — Вы не знакомы с моей тетей?

— Как же, — воскликнул Пестрецов. — Я давно имею удовольствие знать баронессу Адель Карловну.

— Вот, вместо мужа, шапероннирую племянницу, — сказала баронесса Вольф, протягивая пухлую руку Пестрецову.

II.

У Иорданского подъезда непрерывное движение офицеров. Тут редко подлетит рысак с санями с медвежьей полостью, больше извощики на вспотевших под серыми полонями лошадях. Многие идут пешком. Николаевские шинели, прикрывающие эполеты, далеко не у всех. Кое-кто напялил темносерые пальто на парадные мундиры и завернул шитье воротников шолковыми цветными платками. Дам и барышень нет совсем. Длинная мраморная галлерея, уста-

*) А вот этот знаменитый.

новленная статуями и художественными группами теперь занята простыми деревянными вешалками за ними стоят по полкам солдаты, присланные по наряду и одетые в парадную форму без оружия. Они внимательно следят за движущимся мимо них по малиновому ковру потоком офицеров и то и дело слышатся их голоса.

— Ваше высокоблагородие, пожалуйста, наш полк здесь.

— Ваше благородие сюда. Здесь наши.

Они принимали шинели и пальто, прятали галоши и должны были охранять все это и помогать одеваться при разъезде. Вдали, из полутемного, скудно освещенного мраморного корридора они видели яркое пятно горячей тысячью лампочек, отраженных зеркалами лестницы, мрамор, золото, ковры и пеструю сверкающую золотом, серебром и брильянтами толпу гостей Царя, поднимающихся в его хоромы. Мимо них во время ужина носили ароматные блюда на серебряных подносах, кувшины с винами и отсюда из блеска и света слышались звуки музыки и неясный гомон толпы.

То было для господ. Там Царь был с господами, а им, солдатам, предоставлялось исполнять обязанности слуг и дремать в корридоре возле шинелей в ожидании разъезда.

Царь со всею сказочною роскошью его дворцов, где зимою цветут ароматные цветы, где громадные залы и множество слуг был для господ офицеров, но не для солдат.

Приближался час, возвещенный пригласительными повестками и пушечными выстрелами, гулко отдающимися над замерзшей, белым саваном покрытой Невой, час начала бала. Последние запозданные офицеры бегом, придерживая шашки бежали по ковру к горячей огнями лестнице. Там была роскошь опьяняющая, роскошь и красота, равных которым не было в мире. По широкой, белого мрамора лестнице, украшенной громадными каменными вазами, из которых каждая представляла из себя чудо искусства отраженная зеркалами, поднималась толпа. На маршах лестницы, через ступеньку стояли недвижно царские доезжачие в темнозеленых, шитых золотом кафтанах, русских шапках, с но-

жами за поясом, ловчие и егеря с медными трубами, жокеи в черных бархатных шапочках, красных до пояса куртках, вышитых золотою бахромою и в белых кожаных лосинах, заправленных в лакированные с желтыми отворотами сапоги. Русская мужская красота была выставлена на показ. Юноши жокеи с безусыми чистыми лицами и большими красивыми глазами, опущенными длинными ресницами, и солидные егеря, с лицами, обрамленными окладистыми бородами с густыми кудрями, выбивавшимися из под шапок были один лучше другого. Иностранные агенты и послы останавливались перед ними и дивились красоте Русского народа.

В потоке, поднимающемся по лестнице преобладали мундиры и эполеты. Редко виднелись черные фраки дипломатов, расшитые золотом кафтаны сановников и красные кафтаны сенаторов. И тут и там, как нежные цветы на металлическом поле, видны были весело болтающие дамы. Они поднимались со своими кавалерами и у них бились сердца не только от высоты лестницы с низкими ступенями, но и от ошеломляющей роскоши, блеска и красоты ярко освещенных, горящих хрустальными люстр и золотом отделанных дворцовых зал.

В зале около гигантской плоской малахитовой вазы толпились входящие и направлялись потом, одни в громадный Николаевский зал где высилась убранный цветами и лавровыми деревьями эстрада для музыкантов и неподвижно стоял против портрета караул рослых кавалергардов в белых колетах, красных супервестах, обшитых белым с синим и в медных касках с серебряными орлами, другие в дивную Помпеевскую галлерею, у входа в которую замерли на часах два громадных бородача лейб казака в алых мундирах с желтыми жгутами и черных барашковых шапках. Все было красиво и сказочно богато, как нигде в ином государстве. Сукно так сукно, мех так мех, кожа так кожа, люди так люди, богатыри так богатыри — все настоящее, все слаженное веками домовито и широко поставленной жизни.

Хорош был военный агент, австрийский гусар, стоявший в плаще из леопардовой шкуры и длинных сиреневого цвета рейтузах, но маленький ловкий, смуглый загорелый

штабс ротмистр Кольцов в алом доломане, расшитом шнурами, с белым ментиком на опашь и с громадной, едва не до пола висящей ташкой с большим шитым золотом вензелем Государя был много лучше.

Весь зал, вмещавший до пяти тысяч человек приглашенных шевелился, подбираясь по полкам. Чины дипломатического корпуса со своими женами группировались у дверей с маленькими пажами, ведших в Арабскую комнату и внутренние покои Государя возле толстого турецкого посланника в алой феске, старейшего соседа, друга и врага Московского Царя. Тут видны были фраки и изящные туалеты посольских дам, тут в модном, из Парижа выписанном костюме, стояла хрупкая маленькая японка и недалеко от нее виднелись китайцы. Все ждали выхода Русского Царя.

На окруженной зеленью эстраде музыканты в красных кафтанах приготовили инструменты и впереди них стоял красивый жгучий брюнет капельмейстер Гуго Варлих и, небрежно опираясь на пюпитр, острым взглядом всматривался в двери, ожидая появления державного хозяина.

Разговоры постепенно смолкали и зал, наполненный людьми временами совершенно затихал.

III.

— Ах, ну как же я рад, что ты приехал, — говорил Пестрецов, ведя под локоть полковника Самойлова и проталкиваясь с ним через толпу офицеров по Помпеевской галлерее. — Тут ведь у нас чорт знает что делается. Ты и представить себе не можешь — я положительно не узнаю Его.

-- А что? От миролюбия и следа не осталось? — улыбаясь спросил Самойлов.

— Пойдем куданибудь. Тут много лишних ушей, а разговор наш будет интересен. А вот хоть сюда. Тут, если кто и будет, то только влюбленная парочка, которую мы спугнем.

Пестрецов сквозь стеклянные двери провел Самойлова в тихую прохладу Зимнего сада. Он угадал: при их приближении высокий Измайловец поднялся со скамейки, на которой он сидел рядом с молодой сильно взволнованной дамой и сказал: *Alors a demain.**)

Они вышли.

— Ну вот и прекрасно, сказал Пестрецов. — Обрабатывает он ее завтра, — кивнул он в сторону Измайловца — первый ловелас у нас в корпусе. И нахал страшный. Я не понимаю, как графиня Палтова рискует ехать с ним куда либо. Ну, это пустяки. У нас ведь все по старому. Любовь на первом плане. И какая! Рассказывай, что там?

— Там я оставил лихорадочную работу по подготовке к войне. Мобилизация не объявлена, но фактически она уже произведена. Морально весь японский народ так обработан, что он нас ненавидит. Бреет тебя какой-нибудь Камумото, а у самого руки так и ходят, чтобы тебя зарезать только за то, что ты Русский.

— Не обошлось, конечно, без английской дипломатии?

— Само собой разумеется. Милый друг да всем выгодно. Ведь напугали мы всех этой железной дорогой до крайности. „Русские хотят сделать Великий океан Русским морем!“ „Зачем вам концессии на Ялу?“ Ах Боже мой и как все это бездарно! Приезжаю в Порт-Артур. Флота нет. То есть, конечно, не всего, а половина во Владивостоке. Я докладываю. Смеются. „Ничего подобного“, — говорят. „Вы ошибаетесь“. Это я то ошибаюсь, который с ними не один пуд соли съел. „Войны не будет“. „Макаки не посмеют“. — Какие макаки? — „Да эти ваши желтые!“ Да что у вас здесь есть? — „На Ялу-то?“ — Ведь туда первый удар будет. „Бригада Кашталинского, да и та не вся“. — Я так и ахнул. „А вообще на Дальнем Востоке?“ Никого. Как было, так и осталось. А? Понимаешь ли? Ну, вижу разговаривать не стоит с ними. Я прямо сюда.

— Ну, хорошо, но ведь Куропаткин был у вас, он все это видел. Как он нашел? Ты был у него?

*) Тогда — до завтра.

— Третьего дня. Прямо с вокзала.

— Ну что же?

— Посмеивается. Вижу, что знает все. Японская армия на него произвела страшное впечатление. „Что же”, — говорит, — „я сделаю. Здесь не хотят войны да и только”. — Как не хотят? — спрашиваю я, — однако ваша дипломатия делает все, чтобы она была. — „Это — говорит, — уже не мое дело. Обратитесь к графу Ламздорфу”. — А ведь там смеются над макаками! Они ноту, да какую! — слезами и кровью написанную, а мы молчим, а то еще хуже — обещали к ноябрю убрать войска из Маньчжурии, а вместо того взяли, да усилили их. Каково впечатление! Русские лгут, с Русским Царем нельзя дела иметь, он обманщик! Да, усили так, чтобы приступа не было, а то только дразнимся, кукиш из кармана показываем. А там это производит впечатление красного плаща перед разъяренным быком.

— И ты думаешь, бык бросится?

— Всенепременно. Иначе быть не может. Они боятся нашего солдата, но мы слишком их задели.

— Да ведь и то правда наша армия лучшая в мире.

— Наружно, Яков Петрович, — кладя руку на локоть Пестрецова сказал Самойлов. — Да, наружно, это так. Но внутри. О! Боже мой. Был я в Артуре у своего приятеля Тишина, полком там командует. Распрашивал его. Пулеметы есть? Нет. Бинокли у офицеров? нет... И так до мелочей. Защитных рубах и тех нет, наши, — говорит, — белые рубахи не хуже защитных. Она, как в поту, да в пыли, да в земле вывалиется, так станет, что твоя защитная... Шутки, Яков Петрович, босые шутки! А дух? Одни так макак боятся, что не выдержат их появления, другие, напротив — шапками закидать хотят. Ни маневров толковых, ничего. Так прозябают. Тоска и пьянство. И все это кишит японскими шпионами. В самом Порт Артуре в корабельном порту работают японцы. А ведь что ни японец, то шпион.

— Хорошо. Ты докладывал Ему?

— Вчера. Был принят Им и очарован. Но опять только наружно. Выслушал меня крайне внимательно. Задал ряд вопросов, показавших поную, как бы тебе сказать, осведо-

мленную неосведомленность. Он все знает, но только с той стороны, как Ему приятнее. Он не слушает ни меня, ни Куропаткина, ни других специалистов, но молодежь, флигель адъютанты, окружающие Его вдолбили Ему совсем не то представление о Японии, которое нужно. Один провел в Нагасаки неделю, другой был на маневрах японской роты, третий жил с японкой, четвертый путешествовал по Корее — и это все нарисовало Ему Японию какою то кукольною слабенькою странюю. А?

— Ну, разве она так сильна?

— Сильна не сильна, но воевать мы с нею не можем. И мы должны все сделать, чтобы этой войны не было.

— Да мы, сколько я знаю, и не хотим войны.

— Ну, как? Надо сейчас, ни минуты не медля, убрать все с Ялу. Кончить эти нелепые лесные концессии.

— Но это невозможно. Ты знаешь чьи капиталы туда вложены?

— Знаю. Тем более надо убрать их. Чтобы повода не было к войне. Чтобы солдаты не могли говорить о том, за что их гнали умирать. Ведь внутренний враг тоже не дремлет и, конечно, использует все это. Наш долг спасти трон.

— Николай Захарович, ну разве ты видишь какую либо опасность?

— Всякая война, Яков Петрович, потрясает народ, срывает с него маску безразличия. Это — или, или? Или венки победителя, и тогда вся кровь прощена — или, напротив, оправдания, подавай отчет. Наш народ, да и не только простой народ, но и интеллигенция никогда не поймет, что мы воевали за открытое море, воевали для будущего. Бесы разрушители, та левая часть нашей интеллигенции, которая угомониться никак не может и все грезит о конституции раздует слух о том, что Русская кровь лилась для защиты высочайших капиталов и неудовольство готово. В какое положение будем тогда поставлены мы, офицеры и начальники, кто об этом подумает? Я чувствую, что та каша, которую заварили теперь наши финансисты на Востоке, выходит крутенька, а расхлебывать ее придется нам, генералам и

офицерам и дорого придется платить тогда за этот блеск балов и даровые ужины и шампанское.

— Это наш долг. Наш долг перед Ним, — сказал Пестрецов. Вот, кажется, и Он.

Молодой, прекрасный собою офицер в темнозеленом в сборках свитском кафтане с белыми погонями с вензелями и белым муаровым кушаком, с аксельбантами и в высоких лакированных сапогах с бальными незвенящими шпорами заглянул в оранжею и торопливо сказал:

— Ваше превосходительство... Государь Император!..

— Иду, иду, Саша, — поднимаясь с дивана сказал Пестрецов.

— Это муж той самой очаровательной блондинки, которой я тебя представил при входе на бал. Отличный офицер во всех отношениях и образец той беспредельной преданности к Государю, которая теперь ценится выше всего.

Пестрецов с Самойловым пересекли галерею и через арку незаметно вошли в толпу офицеров, ожидавших Высочайшего выхода.

IV.

Вдруг по всему громадному Николаевскому залу как то особенно застучали о пол тонкие трости церемониймейстеров, зал вздрогнул, насторожился и стих. Все повернули головы к дверям, многие поднимались на ципочки стараясь смотреть через головы толпы.

Гуго Варлих обернулся к оркестру, быстрым взглядом окинул музыкантов от первых скрипок до турецкого барабана и треугольника и взмахнул палочкой. Плавные могучие звуки полонеза из „Жизни за Царя” Глинки потрясли громадный зал, повторились в согласном созвучии и полились мягкие и нежные.

Сквозь толпу, открывая в ней живой корридор, проходил поспешными шагами церемониймейстер в черном шитом мундире с маленькой палочкой из слоновой кости с Государевым вензелем, и голубой ленточкой, повязанной бантом и просил дать дорогу.

Государь шел под руку со своею сестрою, великою княжною Ксенией Александровной. Он был в мундире Преображенского полка. И это обстоятельство **сделало счастливыми** офицеров Преображенцев. Первый увидал это рослый и могучий граф Палтов, здоровый детина атлетического телосложения. Он через головы толпы рассмотрел Государя и сейчас же сказал командиру полка.

— Ваше превосходительство, Государь Император в нашем мундире.

— В нашем мундире... в нашем мундире, — стали повторять другие офицеры Преображенцы. Они просияли, точно именинники. Весь вечер от них только и было слышно. — „Вы знаете, Государь сегодня в нашем мундире”... „О! это знаменательно”... „Он давно, с самого полкового праздника не одевал нашего мундира”... „Лейб казаки рассчитывали, что он будет в лейб-казачьем”...

„Он никогда еще не одевал красного мундира. Это к нему не идет”. — „Павловский полк думал, что Государь будет в их мундире, потому что сегодня караулы по городу и во дворце от Павловского полка”. — „Это ничего не значит. — Прошлый раз”.

Тот самый высокий измайловец, которого спугнул Перестрецов с Самойловым, целуя руку повыши перчатки у Палтовой говорил ей.

— Поздравляю вас Наталья Борисовна, Государь Император в вашем мундире. Пари выиграно. Завтра ровно в час у Фелисьена.

— Ах, какой вы... Но вам везет!

Во второй паре зятянутая, с красными пятнами волнения на щеках, под руку с красавцем великим князем Владимиром Александровичем, шла Императрица Александра Федоровна. Она приветливо кланялась на обе стороны, отвечая на низкие поклоны мужчин и глубокие реверансы дам. Ей было тяжело и неприятно от жадных взглядов, которыми Ее оглядывали все и особенно городские дамы.

— Нет, совершенно белая, — говорили в толпе.

— И декольте глубокое, но кожа очаровательная.

— А что же говорили, что у нее экзема.

- Мало ли, милая моя, чего не наговорят.
- Она прекрасна.
- И как царственно величественна!
- Как приветливо поклонилась!

За нею, в следующих парах, шли великие князья, министры и чины Двора под руку с великими княжнами княгинями и фрейлинами.

Это красивое шествие, где на дамах горели брильянты, а на кавалерах золото и серебро мундиров, эполет и шарфов под плавные звуки полонеза обошло весь зал и вернулось в угол, к дверям, где стало группой. Императрица, у которой от волнения подкашивались ноги, села на стул, Государь стал подле.

Красивый, черноусый лихой ротмистр Уланского Государыни Александры Федоровны полка Маслов подошел плывущими шагами к Императрице и спросил у нее разрешение начинать танцы. Она молча кивнула головою. Капельмейстер заиграл мелодичный вальс и Маслов предложил свою руку Императрице. Все сидевшие дамы, согласно с придворным этикетом встали и стояли пока Императрица танцевала. Стоял и Государь.

Танцевали только в одной половине зала, ближе к Государю. Танцевало всего несколько пар. Вера Константиновна, танцевала с красивым гусаром Кольцовым, другой гусар, ротмистр Ламбин, танцевал с молоденькой девушкой Верочкой Бетрищевой, молодая изящная графиня Палтова танцевала с неотстававшим от нее измайловцем, а ее муж с сестрою Государя великою княжною Ольгою Александровной. Все остальные гости-офицеры, как только кончился полонез и раздались первые звуки вальса повалили в помпеевскую галерею и малахитовый зал. Там по обычаю, заведенному еще со времен ассамблей Петра Великого и утонченному императрицей Екатериной были приготовлены столы с питьем и сладостями. По всем углам и вдоль окон малахитового зала и в Помпеевской галерее были накрыты столы. На них стояли художественные серебряные канделябры и

surtout de table.*) Каждое было произведением искусства, каждое говорило о старине. Ковши с Петровскими распластанными орлами, целые сцены охот из серебра с деревьями, кабанами, оленями и собаками, с людьми в разных одеждах поддерживали хрустальные блюда и фарфоровые плато, на которых горами были наложены фрукты, печенья и пирожные. Под ними стояли чашки для чая и хрустальные стаканы для оршада, лимонада и клюквенного морса, то здесь, то там были в особых серебряных вазах во льду бутылки шампанского Удельного имения Абрау и подле них хрустальные бокалы.

Хотя конфеты Петергофской придворной кондитерской ничем особенным не отличались и были хуже конфет многих Петербургских кондитерских, почти каждый офицер старался взять их себе, чтобы отнести жене и детям. Но особенно много офицеров толпилось около ваз с шампанским. Были знатоки, которые уверяли, что в разных углах и буфетах и вино было разное и особенно хорошее было в углу малахитового зала.

Гриценко в белом колете, обшитом по борту широким кованным галуном, сверкая своими черными глазами, тонкий, худой, настоящий цыган, стоял у буфета и медленными глотками, мокая свой черный ус в янтарное вино пил пятый бокал.

— Хорошо выпить у Царя! — говорил он подмигивая Саблину только что подошедшему после танцев.

Тут же стоял и нарядный гусар Ламбин и мешал ложечкой чай в чашке.

— Славный это, Саша, обычай. Старый Русский обычай. Руси есть веселие пити. Стою я здесь, смотрю, а предо мною так уроки истории и лезут. Владимир Красное Солнышко, жбаны этакие в хороших пол ведра греческого какого нибудь вина и богатырь Илья, осушающий их одним духом... Эх! в старину живали деды веселее своих внучат. А, Ламбин! Правда! Ну как твой эскадрон?

*) Настольные украшения.

— Верно, Павел Иванович, — отвечал Ламбин, грациозно облакачиваясь о стол. Поднявшийся ментик окружил соболиным мехом загорелое лицо и придал ему особую нежность.

— Мне вспоминается и Петр, — продолжал Гриценко, — со своим кубком большого орла, вспоминается ласковая царица Екатерина — богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды и вся пестрая толпа, ее окружавшая. И Азия и Европа, восток и запад стекались к этим столам и пили, быть может, из этих самых бокалов.

— Пить и есть хорошо, — сказал Саблин, — но я не понимаю одного. Посмотри, видишь, вон тот офицер с серебряными эполетами взял громадную грушу дюшес и прячет в карман, а она не лезет, а шапка полна конфетами. Вон и еще берет в бумажке завернутую. Лакеи смотрят. Смеются поди. Что это? Жадность? Дорвался до дарового и берет.

— Нет, Александр Николаевич, серьезно глядя на Саблина, сказал Ламбин и его распушенные усы поднялись как у кота, — это не жадность. Подойди к человеку не с осуждением, а с любовью и ты увидишь другое. У этого офицера есть жена и дети, которые так же, как и мы обожают Государя. Для них это Царские конфеты, Царская груша. Они подъялят ее и будут есть по кусочкам, а конфеты, может быть, спрячут и во всяком случае съедят их как конфеты из сказочного царства. Оне будут им иллюстрацией к его рассказу о бале, на который они не были приглашены.

— Я согласен с ротмистром, Саша, — сказал Гриценко. — Не нужно быть таким *prude*.*) Ты расскажи это на дежурстве Государыне Императрице и, я уверен, она будет тронута.

— Ну, я понимаю, взять цветы со стола их величеств, а это... нет... Людям смешно.

Скороход принес серебряные чайники с чаем и кипятком. Ламбин взглянул на него и улыбнулся.

— А Виноградов, — сказал он. — Ну как служишь?

— Вашими милостями, Вадим Петрович, век не забуду.

*) Чопорным.

— Ты, слава Богу, не полнеешь а вот Кумбов на царских хлебах совсем непозволительный чемодан завел — кивнул Ламбин на толстого лакея неливавшего ему чай.

— Емнастикой мало занимаюсь, — солидно посмеиваясь сказал лакей.

— Все унтер офицеры мои, Александр Николаевич, — отходя от буфета с Саблиным сказал Ламбин. — Славные ребята! Я хорошо их устроил. Этот пузач когда то лихой наездник был, призы за выездку брал. А теперь... Чай разливает. Да, *tout passe, tout casse, tout lasse****) Хорошо это сказано. Все проходит... Одно не проходит...

Ламбин вздохнул. Саблин знал, что Ламбин четыре года тому назад потерял свою возлюбленную Наташу Блом, но никогда не думал, что страсть его так сильна и постоянна.

— Как вы всех их знаете? — сказал Саблин.

— Ну еще бы. Четыре года вместе отгубили, одною жизнью жили, одними думами думали. Хорошие люди, чудные Русские солдаты! Я их очень люблю... Да, вот как буд-то и война надвигается, а что будет — кому известно.

— Война, — сказал Саблин, — и наклоняясь к уху Саблин добавил — смею заверить вас, Вадим Петрович, что войны не будет.

— Это ваше личное мнение?

— Это мнение Его Величества.

— А..., сказал Ламбин. Это „а” было так многозначительно, что Саблин с удивлением посмотрел на Ламбина.

— Пойдемте танцевать, — сказал Ламбин, — Государь нас пригласил сюда не для того, чтобы политикой заниматься, а для того, чтобы мы танцевали с его гостями. Ведь это бал, Александр Николаевич, бал!..

V.

В пестром Арабском зале, за ломберными столами, с только что распечатанными свежими картами старые савонники и старые дамы играли в карты. Через открытые

**) Все проходит, все исчезает, все оставляет.

двери сюда глухо доносился гул голосов танцующих и всплески музыки.

— В пиках, Адель Карловна? — говорил Пестрецов своей партнерше.

— В пиках.

— Пас.

— Я пас, — объявили остальные партнеры.

— Ну что же, вы думаете, Мария Петровна, что он шарлатан, — обратился Пестрецов к старой седой даме с длинным носом и светлыми серыми глазами.

— Ох уже, Яков Петрович, и говорить не хочется. Стана и Милица верят, что когда он без шапки, то невидим.

— А вы?

— Сама же видала. Волосы черные, гривой распущены, лицо жирное. Какое же невидим!

— Вы им говорили!

— Осмелилась... Да что. Стана упрекать меня стала, что я в святость его не верю. Это верить, — говорит, — надо.

— По моему это опасно становится.

— А что вы поделаете? Куропаткин его медиком сделал.

— Да ведь он ничего в медицине не понимает.

— Ничего, как есть. Аптекарский ученик из Лиона.

— Филипп и медик!

— Смотрите еще лейб-медиком сделают.

— А Она?

— Пока не верит, а поддается. Ее тянет к таинственному и к мистике.

— А вы не думаете, что тут масоны замешаны?

— Не думаю. Слишком все это глупо.

Пестрецов покосился на соседний столик, за которым немецкий посланник играл со старою седою дамою и двумя почтенными генералами в лентях и крикнул.

— Кажется кончили танцевать, — сказал он.

— Да, сейчас кадрили, — сказала Адель Карловна.

В Николаевском зале музыка только что кончила играть и лакеи разносили на громадных серебряных подносах хрустальные тарелочки с мороженым. Светложелтое сливочное,

оранжевое, темно-фиолетовое из черной смородины и розовое земляничное, оно имело форму персиков и виноградных кистей с листьями. Зал гудел неясными голосами и на их фоне раздавался громкий сочный красивый картавящий баритон великого князя Владимира Александровича.

— Вы говорите, что она кг'асива? По моему нет. Она совг'ешенно без, — тут Великий Князь сочно загнул такое чисто русское круглое слово, что окружающие ахнули, а дамы нервно засмеялись, но Великий Князь нисколько не заметил этого, потому что был уверен, что сказал очень тихо.

Ротмистр Маслов пробежал по залу, устанавливая пары для кадрили. — *Messieurs engazes vos dames. Et a vos places s'il vous plait,**) — кричал он.

Придворный бал шел по часам и ровно в двенадцать надо было идти к ужину. Танцующие, занимали стулья для кадрили, не танцующие, а таких было большинство, толпились к дверям, чтобы идти к ужину. Каждый хотел попасть в ту залу, где будет сидеть Государь. Каждому хотелось видеть Государя за ужином, но кроме того опытные люди говорили, что там и блюда лучше и провизия свежее.

— *La premiere figure! Avancez...***) — кричал ротмистр Маслов, танцовавший с Императрицей.

Ламбин был недалеко от них. Он танцевал с племянницей бывшего своего командира Верочкой Бетрищевой, первый раз бывшей на придворном балу, в качестве городской дамы, против них была Вера Константиновна с Гриценко.

— Этот бал — чудо, не правда ли, Вадим Петрович, — сказала садясь на золотой стул и обмахиваясь кружевным веером, Верочка.

— Да, это хороший обычай, — сказал Ламбин, — но я шел бы и дальше. Я бы устраивал такие же, или подобные

*) Господа приглашайте ваших дам. И, прошу, по местам.

***) Первая фигура. Начинайте!

балы и для крестьян, для солдат и рабочих. Сословия падают, Вера Ильинишна и Царь должен думать о том, что опираться на одно дворянство он не может. Вы молоды, Вера Ильинишна и я боюсь, что вам много придется увидеть тяжелого.

— Но, Вадим Петрович, мне кажется Россия так счастлива теперь, впереди столько радостей. Государь полон стремления к миру.

— *Cavaliers solo! Tournez et balancez vos dames,**) — кричал Маслов.

— На этих балах не приходится говорить совсем — говорила Вера Константиновна Гриценко. — Вы видали Палтову. Как к ней идет ее туалет *gg'is peg'les***) Она самая к'асивая военная дама этого сезона.

— После вас, Вера Константиновна.

— *Quelle betise! Croyez vous?****) Я не очень постаг'ела.

— Вера Константиновна, я не дамский кавалер, вы это знаете, я не умею говорить комплименты, я говорю серьезно.

— О, я знаю. Вы г'азбиг'аете каждую женщину, как лошадь.

— Старый кавалерист. И притом во мне цыганская кровь течет.

— А когда же мы к цыганам?

— Когда хотите. Ваш муж против этого.

— О! Александр! Он никогда не пустит. Не находите вы, что Палтова немного слишком окг'ужена Измайловским полком?

— Это так понятно, ее брат измайловец.

— А Г'отбек! Какой он милый. И жена его такая душка. Почему не п'игласили его сестер? Они такие симпатичные.

— Вы ставите им смертный приговор.

— Нет, в самом деле. Г'отбек нашего полка. Что до того, что его отец в какой то там тог'овой компании диг'ек-

*) Одни кавалеры! Кругом и вертите ваших дам.

***) Цвета серых жемчужин.

****) Какие глупости! Вы находите.

тором. Г'азве мало тут всякой дг'яни пг'иглашено. О! Я бы на эти были пг'иглашала только *fine noblesse**).

— Для этого созданы концертные балы и спектакли в Эрмитаже.

— *J'adore ces petits bals!***)) А эти ужины за кг'углыми столами в Эг'митаже. Какая г'оскошь. Вот, где настоящая сказка Шехег'азды.

— *Et grand rond. Chaine chinoise****), — командовал Маслов.

Кадриль кончилась. Танцовавшие парами, не танцовавшие беспорядочной толпой, толкаясь и шумя под звуки марша устремились через залы запасной половины к ужину.

— Тимка, — кричал плотный казак своему ушедшему вперед товарищу — захвати место мне и Конькову.

— Ладно, все вместе, всем полком.

— И поближе.

— Господа не толкайтесь, видите дама.

— Извиняюсь.

Пестрецов с Самойловым подвигались в этой толпе.

— Ты говоришь мне о высокой дисциплине Русской армии, — говорил Самойлов, — но я ее не вижу. Где она? Разве мыслимо что либо подобное при дворе Микадо. Тебя, генерала, толкают офицеры, бегут жадной толпой. Вон смотри, кто то, обгоняя, толкнул великую княжну Ольгу Александровну и не извинился. Что это такое?

— Жратва. Даровая жратва и пойло, — спокойно сказал Пестрецов.

— У нас отдавание чести и остановка во фронт и рядом с этим закурят в вагоне для некурящих, пустят дым в лицо генералу, или даме. Там отдания чести нет, но посмотри какая подтяжка. Месяца три тому назад я обедал в Токио в офицерском собрании 1-го кавалерийского полка. Офицеры собрались и стали по приборам. Никто не сел, пока не при-

*) Высшее общество.

***) Я обожаю малые балы.

***) Большой круг. Китайская цепь.

шел командир полка. Тогда общий поклон и сели. Обедали в гробовой тишине. Никто не говорил ни слова.

— Ну это уже слишком.

— Но отучает от болтливости.

— Не забывай, Николай Захарович, что мы славяне.

— Так то так, но история нас действительно тянет из нашего халата и требует, чтобы мы облеклись в европейское платье.

— Но чего ты хочешь?

— Хочу не только муштры, но и воспитания. Хочу, чтобы гвардейские офицеры не толкались, спеша к Царскому столу, хочу, чтобы, когда все будут умирать от жажды и кто либо найдет горсть воды, чтобы он принес ее к Государю и отдал Ему. Жертвы, жертвы я хочу, а вижу жадность. Яков Петрович, наступает время великих потрясений. — Нужны такие солдаты, которым сказать, как сказал Петр своему гренадеру в Потсдаме — прыгай в окно... В которое прикажете? — чтобы разбежался и прыгнул. Понимаешь, как в книге солдатских анекдотов и прописей рассказов. Есть такие солдаты?

— Я думаю, что есть.

— А офицеры?.. Ты молчишь. История скоро потребует от них подвигов. Дадут ли они? Съумеют-ли дать?

VI.

За ужином Пестрецов и Самойлов сидели рядом в дальней комнате. Они не стремились вперед, не искали близости солнца. Они были рады встрече. То и дело из за плеча их просовывалась рука лакея в белой перчатке и почтительный голос говорил: —

— Херес... Мадера... Красное... Рейнвейн.

Кругом гудели голоса. Оркестр одного из гвардейских полков играл на хорах залы.

Они ели уже индейку с каштанами, когда вдруг все бывшие в зале, гремя стульями встали и повернулись в одну сторону.

Из зала, где ужинали Высочайшие особы торопливой походкой проходил Государь. Он оглядывал большими ласковыми глазами гостей и приветливо улыбаясь говорил:

— Прошу пожалуйста. Кушайте на здоровье.

У многих офицеров глаза были полны слезами. Державный хозяин земли Русской обходил гостей. Где то вспыхнуло непринужденное ура и оно загремело и полилось из зала в зал сопровождаемое величественными звуками Русского гимна.

Саблин сопровождал Государя. Его лицо было замкнуто и сосредоточенно.

Государь прошел в следующую залу, звуки гимна стихли и офицеры и дамы стали садиться.

— Как это мило и любезно со стороны Государя, — сказал Самойлов.

Да ведь Он у нас charmeur^{*)} И, знаешь, это все таки несчастный человек. Носится Он со своим самодержавием, как курица с яйцом, а между тем так распустил министров, что не Он, а они правят Государством, и если, что хорошо, или плохо, то Он то в этом менее всего виноват. Вот тебе маленький, но очень характерный пример. В прошлом году я еще командовал здесь полком, приезжает Он ко мне на полковой праздник. Я докладываю Ему за обедом, между прочим, о трудности для офицеров не иметь казенных квартир и необходимости постройки офицерского флигеля. Слушает. Мило так берет меня за руку и говорит; — „не беспокойтесь, весной будет у вас и флигель”. Ладно, — думаю, — Ты то этого хочешь, а как посмотрит на это инженерная дистанция? Заметил ли Он на моем лице недоверие но только, вставая из за стола, говорит мне снова. — „подавайте проект и будьте уверены, что весной вам построим флигель!” Вскоре Он стал уезжать. В прихожей, окруженный офице-

*) Чаровник.

рами Он еще раз говорит мне: — „Пестрецов, вы как будто не верите мне, что у вас будет флигель?” — „Смею-ли я не верить”, — говорю я, — „когда это говорит мне мой Государь”. — „У вас будет флигель”, — сказал Государь, пожимая руку и глядя мне прямо в глаза. Выпили мы за флигель. А весною инженерная дистанция спокойно отклонила мой доклад с указанием на слова Государя. В смету не вошло.

— Но почему же ты не напомнил, — сказал Самойлов.

— По опыту многих лиц знаю, что это ни к чему. Это только, раздражило бы Его, а дистанция уперлась бы на своем и доказала Ему, что никакого флигеля не надо. Он не властен в своих словах. Я думаю, что и в деле войны Он говорит одно, а Алексеев и Ламздорф делают свое дело, не обращая на Него внимания. И особенно самодержавен Сергей Юльевич Витте. Государя доведут до раздражения, поставят Его перед *fait accompli**) и тогда Он подписывает все, что угодно. А Императрица!.. вот, кто злой гений нынешнего царствования.

— Ну, разве Она имеет такое влияние?

— И еще какое! Стоит Ей не взлюбить кого либо и конечно, пропал человек. Император хочет — надо спросить — хочет ли Императрица, как Она посмотрит? Она привыкла у себя в Гессене всем двором вертеть, вертит и тут. И притом всегда всякая дрянь подле Нее. Один Филипп чего стоит.

— Да,... задумчиво проговорил Самойлов, — а мы то, в своем далеке считаем Его самодержцем и виновником всех наших бедствий.

— Ты знаешь насколько я предан Монарху. Но уже и я иногда начинаю думать о конституции. Если министры не ответственны перед Царем, так пусть будут ответственны перед парламентом, а то каждый делает, что хочет, каждый ведет свою линию. не думая, куда приведет она Россию, а Государя развлекают проектами различных значков, которые Он с удовольствием рассматривает и утверждает. Это же поддержание традиций, спайка между частями. На глазах

*) Оконченным делом.

у правительства рабочие организуют без всяких значков союзы и я убежден, судя, по вождям, что вовсе не для защиты профессиональных интересов, а с политическими целями, а мы думаем значками спаять крестьянство с солдатством. Однако, кроме дворников и швейцаров никто не носит этих значков во время пребывания в запасе. Он Самодержец, — но чем ближе я стою к Нему, тем более убеждаюсь, что в Нем нет главного, что нужно для Самодержца — широкого ума и непреклонной воли. Да, иногда Он упрям и настойчив в безответственных мелочах, а в государственном деле Он ребенок, слепо верящий окружающим. Своей матери, жене, великим князьям и тем министрам, которые съумели войти к Нему в душу.

В большом зале, где ужинал Государь послышался шум и движение. Государь встал из за стола. И сейчас же, на Его глазах, дамы и барышни, офицеры, генералы и сановники бросились на штурм его стола. Каждый старался захватить что либо с его прибора. Ветку гиацинтов, пучек ландышей, иные более предприимчивые набирали целые букеты ландышей, охапки гиацинтов и нарциссов и шли торжествующие к своим дамам. Саблин принес своей жене одну тоненькую веточку ландыша и, подавая ее, сказал:

— Эту веточку Императрица одно время держала в своих руках. Поставь ее, Вера, к образу у постельки нашей Тани.

— О, спасибо, — сказала Вера Константиновна благоговейно принимая веточку из рук Саблина и поднося ее к губам. — Я засушу ее в своем Евангелии.

Атака стола продолжалась. Брали фрукты, горстями брали конфеты под тем предлогом, что это с Царского стола. И уже целым потоком направлялись к выходу и торопливо одевались. Бал был кончен, начинался разъезд.

— Ты так думаешь? — говорил чернобородый армейский артиллерийский подполковник своему спутнику юному подпоручику. — Ты полагаешь, что это царская роскошь, царский дворец, царская музыка, царское угощение?

— Ну, да, конечно..., отвечал подпоручик. А то как же.

— Брось, Коля, свои груши и не носи их матери. Это все — народное. Это все создано трудами и средствами народа, на его деньги, на его пот и кровь. А народ это мы все. Ты, я, мы народ, а следовательно это наше. Мы были у себя самих и мы ели свос. Вот и все. Он только наш управляющий и распорядитель. И заметил — лососина за нашим столом была не свежая, а провансаль какой то кислый. Да... И от фазанов пахло. Только, что крыльями да хвостами их поубрали, а так вообще то — пахло. Утверждаю, что на этом балу кто либо основательно набил себе карман. И при том немец.

— Постой, Иваницкий, ты пешком?

— *Per pedes apostolorum*,*) по старому бурсацкому обычаю. Погода отличная, а на лекции я завтра не пойду. Вот и все. Да, милый друг. Это для простого народа: — Царь и Бог. А мы, образованные люди, отлично понимаем, что Царь — это только вывеска на предприятии. И блекнет эта вывеска, милый друг. Ты говоришь Царь — потому, что шампанского выпил, сколько хотел, а я говорю, что плохвата наша вывеска, плох и Царь. Помилуй и шампанское удельное. Что за квасной патриотизм! А главное — утверждаю — лососина была не свежая. Это все Фредериксы да Мейендорфы над нами, русаками, измываются.

Подполковник покосился на застывшего в положении смирно часового в медной шапке, чуть пошатнулся и продекламировал:

— Сиянье шапок этих медных насквозь простреленных в бою. У тебя, друг, простреленная шапка? А? -- обратился он к часовому, останавливаясь перед ним.

— Миша пойдем, — тянул его за рукав его спутник. Ведь это часовой.

— Очень понимаю. Лицо неприкосновенное. Разговаривать на посту невозможно никак. Так ведь, мил человек, это по уставу немецкому, а мы по Русскому обычаю, сердечно, по душам. Вот я у Царя был да клюкнул, брат, основатель-

*) По апостольски — пешком (буквально — апостольскими ногами).

но. Водчонки этой самой после шампанского хватил, а ты на часах мерз. Так?

— Пойдем, Мишель, нехорошо.

— Постой! Брысь. Ничего ты не понимаешь. Ведь у них, у Павловцев, у каждого шапка с исторической дыркой, а внизу фамилия того солдата, который эту дырку получил. Так то!

— Идем Миша. Ну, Иваницкий, будет.

— Молчит.... А потому что не Русский человек, а холуй. Холуй холуем и останется.

Подполковник, пошатываясь, отошел от часового и зашагал рядом со своим спутником по небережной.

VII.

С тех пор, как Саблин был пожалован флигель-адъютантом к Государю Императору, его чувство любви и преданности к Царской Семье дошло до предела. Иногда вечерами, сидя у себя в кабинете — (он после сводьбы с Верой Константиновной уже не жил в казармах полка, но снимал роскошную квартиру в бельэтаже на Малой Морской) — Саблин у камина мечтал о каких то особых подвигах, которые он совершит для того, чтобы спасти Государя. То он кидался на преступника и выхватывал из рук его бомбу и она разрывалась у него в руках, то он грудью своею заслонял Государя от удара кинжалом, то становился во главе полка вел его на страшный штурм неприятельской позиции. Так же, если не больше он любил Императрицу и Императрица заметила это и, одинокая среди чужих и враждебно к ней настроенных людей, она приблизила Саблина к себе. Он стал во время дежурства получать приглашения на интимные завтраки Государя. Императрица спрашивала его о семье, показывала ему своих детей, и увидавши, что он также любит детей, как она, еще более стала к нему ласкова и приблизила к себе Веру Константиновну.

— У вас сколько детей? — спросила она Саблина.

— Двое. Мальчик Коля -- шести лет и девочка Таня -- пяти.

— Так же, как и моей Татьяне.

— Она и названа Татьяной в честь Ее Императорского Высочества.

— А дальше, почему нет детей? Ваша жена не здорова? — спросила Императрица.

— О нет. Она так молода. Любит свет. Ей хочется выезжать.

— Скажите вашей жене, — сказала серьезно Императрица, — что это не хорошо. Дети — благословение Божие и отказываться от них грех.

Саблин сконфузился и промолчал.

— Ах! — сказала Государыня. — Эти новые теории. Не доведут они до добра Россию.

Саблин снимал Государыню с детьми на фотографию, сопровождал Государя в его прогулках верхом. Государь любил ездить верхом и часто с Саблиным и двумя конвойными казаками Он уезжал далеко, до самого Гатчино. Саблин видел в Государе большую любовь к природе, верховая езда Ему нравилась, но не увлекала. Он не был спортсменом, холодно, почти равнодушно относился к лошадям. Он не спрашивал, почему Ему подали другую лошадь, требовал только, чтобы лошадь была приятна в езде. Больше всего любил Государь Русский простой народ. Он боготворил его, считал чутким, верующим, носящим Бога в себе. Мужик, солдат, кучер, лакей, егерь на охоте казались Ему особенными людьми, неизменно преданными, не могущими Ему изменить. Страсти к женщинам у него не было. Он полюбил один раз. Однажды, юношей, на вечере Ему представили скромную белокурую девочку с волнистыми волосами, распущенными по спине. Девочка эта забилась в кресло в углу комнаты, и ни с кем не сказала ни слова. Государь, — тогда Наследник Престола, без ума влюбился в эту девочку и сказал об этом родителям. Эта девочка была принцесса Алиса Гессенская. Наследника хотели отвлечь от Его любви. Роман с корифейкой балета, Марией Лабунской, на котором настаивал ради здоровья, Его отец — так и не вышел. Связь

юных лет с балериной Кшесинской была сильнее. Властная, энергичная, нахальная, циничная полька пыталась овладеть умом и волею наследника. Он не поддавался ей, оставался верен своей мечте и настаивал на браке с принцессой Гессенской. И как только женился на ней — он забыл Кшесинскую, настолько забыл, что спокойно ездил с Императрицей на спектакли, где та танцевала и не понимал мук ревности и обиды своей жены, Императрицы. Он совсем ушел в семью.

Императрица сразу почувствовала всю свою силу и Его слабость. Она изучала Русскую историю. В скромной Цербстской принцессе, обратившейся в Великую Императрицу, прославившую Россию и себя, Она видела сходство с собою. И она была скромная, никому не нужная, Гессенская принцесса, изучавшая медицину и имевшая звание доктора философии, а стала Российской Императрицей. Влиять на мужа Она могла, но Она очень скоро убедилась в том, что муж Ее далеко не Самодержец, что кругом Него плетется сложная интрига, что Он легко поддается влияниям. Ее считали немкой, Она же не любила немцев, ненавидела императора Вильгельма и преклонялась перед английской королевой Викторией. Весь двор Императора Александра III гордился созданием французского союза и ненавидел немцев. Старые придворные группировались подле вдовствующей Императрицы, имевшей влияние на сына. Сломить это влияние Александра Федоровна поставила себе целью. Она стала бороться. Россия и Русские любили Царя Миротворца и почитали вдовствующую императрицу и Александра Федоровна почувствовала, что борьба будет нелегкой. Постоянные роды, нетерпеливое ожидание сына и наследника престола, темные разговоры о том, что Она порчена, что у нее сына не будет, волновали Ее, мучали и делали несчастной. Муж раздражался всякий раз, как Она приносила Ему дочь, в народе было разочарование, придворные министры, чувствуя, что Она не в силе, были холодны с Нею. Она ударилась в мистику. Черногорские принцессы Анастасия и Милица Николаевны, называвшиеся в придворных кругах просто: Стана и Милица, ставшие великими княгинями, увлекли Императрицу в ряд темных суеверий, вывезенных ими из родных

гор, смешанных со слащавым сентиментализмом Русского института. Они выписали к себе и представили ко Двору Лионского аптекарского ученика, француза-проходимца — Филиппа Низие. Филипп называл себя святым, говорил, что он может творить чудеса, в Лионе у него был яко-бы особый „*cour de miracles*”,*) где он исцелял больных. Он заверил Императрицу, что, когда он с непокрытой головой — он невидим. Он ездил в шарабане по Царскому Селу с Государем, Императрицей, Станой и Милицей, без шапки и уверял, что он невидим. Все видели жирного, волосатого француза в черном платье в обществе Государыни и великих княгинь. Ей говорили, что видели его. — Она возмущалась. „Ах, полноте”, — говорила она — „этого не могло быть. Филипп невидим. Вам лишь казалось, что вы его видели, потому что вы не верите, надо верить”.

Филипп занимался предсказаниями и некоторые предсказания были очень удачны — это усиливало веру в него. Сознательно или безсознательно, Стана и Милица втягивали Императрицу в мир предрассудков, суеверий, какой то чисто средневековой веры в чудеса, предвидение, предопределение. Этим пользовались. За Филиппом ухаживали, искали его расположения, назначения попадали в руки проходимцев, подкупных людей. Филипп сказал Императрице, что Она беременна и несколько месяцев Она морочила окружающих и даже врачей своею мнимою беременностью. Филипп внезапно умер за границей, но он оставил глубокий след в душе Императрицы. Она жаждала иметь подле себя другого прорицателя, который взял бы на себя Ее судьбы и судьбы Родины. Услужливые люди искали заместителя Филиппу.

Александра Федоровна любила Государя по своему. Она считала Его ниже себя и иногда безсознательно третировала Его в присутствии других. Она ревновала Его ко всем, и мужчинам и женщинам. Стоило Государю привязаться к кому либо — Она удаляла его, стоило Государю завести длинный разговор с кем либо — Императрица разводила их.

*) Двор чудес.

Саблин был свидетелем, как на небольшом приеме Государь оживленно говорил с одним умным и красноречивым собеседником. Императрица внимательно посмотрела на него, раз, другой, — Государь смутился, осел, разговор завял. Она любила тех, кто Ей льстил. Она полюбила маленького простого и умного Куропаткина и ненавидела Столыпина.

Застенчивая от природы Она в этой борьбе становилась еще более застенчивой. Она хотела сблизиться с войском, подчинить его своему влиянию. Но Она плохо ездил верхом. На параде своего Уланского полка Она хотела представить сама свой полк Государю, но никак не могла заставить лошадь идти галопом с правой ноги. Наконец Ей подыскали лошадь из упряжи, которая ей повиновалась. Она выехала на ней, но сознание, что Она сидит на тяжелой некрасивой лошади отравило Ей удовольствие и Она ни слова не сказала с офицерами. А вскоре после этого Ей восторженно рассказывали, как великая княгиня Ольга Александровна приехала в свой Ахтырский гусарский полк, в гололедку подлетела к нему карьером и сама произвела лихое ученье полку, ночевала в офицерском собрании полка с горничной, провела целый день в полку и свела съема всех офицеров.

Она не могла этого сделать. В мечтах Она говорила прекрасные речи, учила Русских культуре и любви к Родине, которой по Ее мнению у Русских было слишком мало, но когда выходила к этим Русским, лицо Ее покрывалось от волнения красными пятнами и Она не знала, что сказать. На аудиенциях, если представляющиеся Ей были ненаходчивы, Она минутами стояла в молчании, или задавала глупый вопрос, или так помолчавши и уходила. Она злилась на себя, но не могла побороть застенчивость. Ей казалось то, чего не было. Ей казалось, что Ее не любят и не скрывают этого. Когда прием обеих Императриц был общий и вдовствующая императрица задавала вопрос за вопросом, царственно любезно улыбалась и подавала свою маленькую надушенную руку для поцелуя и Александра Федоровна видела каким восторгом сияли глаза того, с кем говорила Мария Федоровна. Она завидовала, злилась и, выслушав привет-

ствии, молча подавала руку и отпускала представлявшегося, обиженного Ее гордым невниманием.

Ее считали сухой, холодной, презиравшей Россию. Она была не в меру самолюбива и потому застенчива. Она была невоспитана для светской жизни, как были невоспитаны и Ее сестры. Но Елизавета Федоровна, чуткая, без ума влюбленная в своего мужа, великого князя Сергея Александровича, покорилась ему и он своими насмешками воспитал ее и дал ее сердцу подняться на недостижимую высоту дивной любви к человечеству и Богу. Другая Ее сестра, Ирена, бывшая замужем за Генрихом Прусским, попробовала на приеме, в присутствии императора Вильгельма, молчать и быть не любезной. Император Вильгельм призвал ее и сказал: „милая моя, вы не умеете себя вести при Дворе. Я дам вам воспитателя: он научит вас, а до тех пор вы не будете бывать во дворце”. И три месяца ее не приглашали ко двору. Она научилась царственной любезности.

Александрю Федоровну некому было учить. Она презирала Русских и ставила себя выше их — это было Ее несчастье.

У Нее не было привязанностей, но подле Нее группировалась маленькая кучка людей, которых Она любила болезненно любовью.

Саблина до глубины души трогала привязанность и доверие Александры Федоровны. Она часами говорила с ним о детях.

— Tell me Sablin, сказала Она ему однажды, — whom should I be before all. An Empress or the mother of my children.*)

Саблин, проникнутый нежной любовью к своей семье быстро ответил: —

— A mother.**)

Императрица с благодарностью устремила на него свои прекрасные глаза.

*) — Саблин, кем я должна быть прежде всего, Императрицей, или матерью моих детей?

***) — Матерью.

— Thanks! Oh thanks. You understood me. Others have told me that I am only Russia's Empress, but those are words of harsh and heartless people.***)

Императрица хотела влить на воспитательную систему всей России. Ей разрешили только построить образцовую школу нянь в Царском Селе. „Какое же это самодержавие?“ — думала она. Если Государь Самодержец и неограниченный монарх, то, казалось бы, что и Государыня может делать все, что хочет. Она стала мечтать упрочить власть Государя и стала противиться всем реформам, которые могли ослабить или уменьшить царскую власть. Она затаила в себе свои планы и ждала только того, чтобы у Ней родился сын — когда Она воспитает из него послушное орудие своих целей и выступит на политическую арену...

VIII.

Саблин завтракал у Государя в интимном кругу его семьи. Государь был задумчив и чем то расстроен и это не ускользнуло от Саблина. Завтрак проходил почти в молчании. Государь и Государыня обменивались редкими фразами на английском языке, да неумолчно на своем детском языке болтала веселая великая княжна Татьяна. Детей увели, Императрица, поцеловавши в лоб Государя, ушла в свои покои, Государь встал. Ему надо было в час дня ехать на заседание, но Он не уходил. Он подошел к окну и смотрел на расчищенные дорожки Царскосельского парка и на меланхолическую грусть голых лип и дубов, аллеями уходящих вдаль.

— Расскажите что-нибудь веселенькое, — задумчиво сказал Саблину Государь.

Саблин умел хорошо рассказывать анекдоты из еврейского и армянского быта, умел хорошо рассказать о каком-либо трогательном и чистом поступке солдата, или мужика и Государь любил его послушать в часы завтрака.

***) — Благодарю, о благодарю вас. Вы меня поняли. Другие говорят, что я только Русская Императрица, но так говорят сухие безсердечные люди.

Саблин молчал. Грустное настроение Государя передавалось ему и веселые истории не шли на ум. В столовой было тихо. Беззвучно, не звеня посудой, лакеи быстро собирали со стола. Мерно тикали большие часы. Саблин с тревогой наблюдал за ними. Он боялся, что Государь опоздает на заседание.

— Прошло лето и золотая осень прошла, — сказал в пол голоса Государь. — И вот зима. Я люблю Русскую зиму, снег, мороз, катанье на санях, охоту... Так хорошо! Снег чистый и честный. Правда, Саблин... Почему люди не могут быть чистыми и честными? Почему одни подкапываются под других, интригуют. Вы знаете Саблин, я никогда не слышал, чтобы кто-либо говорил, хорошее про другого, но непременно какую-нибудь гадость. Почему? Какая выгода?

Саблин молчал. Он чувствовал себя смущенным.

— Приходят министры с докладами. И не любовь, а ненависть в их словах. Не выгода Родины, а личная. И все думают, как мне угодить. Угодать надо России, а не мне. Я Самодержец, Саблин, и я когда-нибудь покажу, что я Самодержец...

Государь большими ясными глазами смотрел на Саблина, как будто ожидая протеста с его стороны. Но Саблин молчал. Волнение Его увеличивалось. Он не понимал Государя и с тревогою следил за Его словами.

— Вы думаете, мне что-нибудь нужно? Нет, Саблин, как дорого бы я дал, чтобы быть простым, совсем простым человеком. Земля, цветы, сад, фрукты. И тихое небо. И Бог. И никого. Никаких интриг. Никакой борьбы. И чего они борются за власть? Как пауки душат друг друга и падают, за что? За мишуру. Если бы они только понимали, что такое власть? Какая это попытка, как в фокусе стекла собирать в себя всю эту мелкую злобу людей, которые стараются потопить и очернить один другого лишь для того, чтобы самим возвыситься. Вы читали, Саблин, в трилогии Алексея Толстого „Царь Феодор Иоаннович” — как прекрасно говорит Феодор Годунову о интригах и жалобах боярских...

Государь задумчиво обвел столовую печальным взором и, повернувшись к окну, тихо барабанил пальцами по стеклу.

— Ваше Императорское Величество, — сказал Саблин с тревогою глядя на часы.

Государь быстро обернулся и вздохнул.

— Пора ехать, — сказал он. Да, знаю. Государь не может опаздывать. Это вызывает тревогу у ожидающих — не случилось ли что. Всегда спешить, всегда торопиться, всегда куда-нибудь нужно поспеть, кого-либо принимать и говорить и отвечать на вопросы. Свобода царей? — ее нет!

Государь быстрыми шагами вышел из столовой. Когда через несколько минут он сел в одиночные сани на подъезде дворца, Его лицо было обычно приветливо и тени печали не было на нем.

IX.

В конце января 1904 года в Эрмитажном театре был спектакль. Давали оперу „Мефистофель” с Шаляпиным. Спектакль удался отлично, Шаляпин превзошел самого себя. Потом был ужин и Государь сидел за большим круглым столом под пальмами. Он был весел. Казалось, что тучи, сгушавшиеся на дальнем востоке рассеялись, Россия шла на уступки. На спектакле все следили за японским посланником и военными агентами. Они, как всегда, шипели при разговоре, втягивая в себя воздух через зубы, были сдержанны и на нетактичные вопросы некоторых офицеров: „будет ли война между Россией и Японией” отвечали спокойно: — „это воля Микадо и вашего Государя. Наш долг повиноваться”.

Саблин после спектакля был с женою на балу у графини Палтовой, которая очень веселилась эту зиму. Вернулись они под утро. Саблин только что начал вставать в одиннадцатом часу, когда горничная подала ему принесенную из полка книгу приказаний. Командир полка приглашал всех офицеров собраться в полковой артели по делам службы. Ничего необычного в этом не было. „Опять какие-нибудь

выборы”, подумал Саблин, „или обсуждение собранских вопросов. *A la longue**) это надоедает”. — Станным показался только час. Одиннадцать — часы занятий.

В собрании уже собрались в ожидании командира полка все офицеры. Командир полка запаздывал. О причинах вызова догадывались. В утренних газетах было известие о нападении японского флота на нашу эскадру без объявления войны и о том, что три наших крупных судна не то погибли, не то были выведены из строя. Были убитые и раненые. Телеграмма была короткая и не вполне понятная. Чувствовалось одно: — прозевали. И было обидно, жутко и гадко.

В ожидании командира полка офицеры разбрелись по собранию. Мацнев в библиотеке достал большой атлас и офицеры разглядывали в нем карту Японии, Кореи и Квантунского полуострова. Немногие знали, где Порт Артур. Другие смотрели газеты и журналы. В столовой толстый Меньшиков на всякий случай жевал бифштекс с яйцом, Фетисов, пришедший из манежа, где он гонял смену, пил чай с сухарями. В бильярдной Гриценко в расстегнутом виц мундире, из-под которого торчала шелковая алая рубашка, катал кием шар, ставя себе самые разнообразные задачи. Румяный Ротбек, что то жуя, следил за ним и давал советы.

Павел Иванович, девятого положи от борта, — сказал Ротбек.

Гриценко прицелился кием.

— Хор-шо! — сказал он. — Кладу девятого одиннадцатым. Хочешь пирамидку?

— Не успеем, сейчас командир придет. Уже четверть двенадцатого.

— Ну ладно. Кладу пятого в угол. Так. Идем, Пик, в библиотеку. Что там такое?

В библиотеке философствовал Мацнев.

— Войны не будет, — говорил он. — Ну сами посудите, кому она нужна, эта война? Нашумели япоши, погорячились и довольно.

*) В конце концов.

— Ну как! Такое оскорбление Российской державе, — сказал Репнин. — Мы уже раз спустили им, когда Государь путешествовал еще будучи наследником и на него напал японец.

— Тогда это бешеная собака была. А теперь это война, — сказал Корнев.

Война без объявления. Дикость какая то! — заметил Самальский. — Так в цивилизованном мире не поступают. Только желтокожие дикари посмели сделать такой опрометчивый шаг.

— Ну и взлупят же их теперь, как Сидорову козу, — сказал Фетисов, пришедший из столовой.

— Нет, а мне нравится, — сказал Ротбек. — Подумаешь, маленькая этакая Япония, а как заносчива. Взяла и напала. Ай, Моська, знать она сильна!

— Покажите мне господя Японию, — говорил молодой, в этом году поступивший в полк из камер пажей Оксенширна — я что то смутно помню: Лиу-киу, Киу-сиу. Сикото, Киото, Токио.

— Трикото и Лимпопо, смеясь договорил Ротбек. Это ты, брат, заврался. Это совсем из другой оперы.

— Какие нахалы, — сказал, манерно ломая голос Самальский. — Я вчера говорил на спектакле с их военным агентом. Был совершенно спокоен. Говорил, что война в руках у нашего Государя и что, если он не захочет, то войны никогда не будет. Ведь знал же он, что война фактически уже началась!

— Откуда же он знал? — спросил Фетисов.

— Да если газеты знали, то знал и он.

— Я могу заверить одно, — сказал Саблин, — что Государь Император этого не знал. Его Величество был спокоен и весел.

— Государь умеет владеть собою. Он не выдал бы себя даже если бы и знал.

— Значит война. Война бесповоротная, — сказал Мацнев печально.

— Да, война. Я хотел бы, чтобы мы взлупили этих япошек, — задорно крикнул Оксенширна.

— Экзотическая экспедиция, — снисходительно сказал Репнин. — Это и войной не назовешь. Так что то в роде усмирения боксерского восстания.

— Я себе там виллу построю на завоеванной земле. Подле Нагасаки. Говорят там великолепно, — сказал Ротбек.

Я думаю, что война будет серьезная и тяжелая, — сказал ротмистр Бобринский, год тому назад окончивший академию. — Как бы и гвардии не пришлось в поход собираться.

— Что такое, что такое, — нервно заговорил Степочка Воробьев. — Никогда гвардия ни на какую войну не пойдет. Ее задачи совершенно другие и гораздо более важные. Тронуть гвардию из столицы — это безумие.

— Почему? — спросил Бобринский.

— Потому, что кроме врага внешнего, всегда есть враг внутренний. Петербург, в котором столько учебных заведений и рабочих оставить нельзя.

— Ну, студизусов то этих самых казаки в лучшем виде нагайками разгонят, — сказал Фетисов.

— Не забывай рабочих. Их больше двухсот тысяч.

— Безоружных.

— Сегодня безоружные, а завтра какая либо услужливая держава под предлогом присылки машинных частей и вооружить сумеет.

— На это есть полиция, — сказал Мацнев. — Но держать гвардию для того, чтобы разгонять рабочих и студентов. Excusez du peu*) — это немного слишком.

— Тут вопрос не в рабочих, а в охране трона и династии, — серьезно сказал Репнин. — Только гвардия в полной мере сознает все великое значение для России империи, только гвардия в полной мере свободна от вредных идей...

— Но в 1824 году, — вставил Мацнев.

— Это было недорозумение, вызванное отречением великого князя Константина Павловича.

*) Извините на малом.

— А Елизавета, а Екатерина, разве не Преображенцы и Измайловцы устраивали перевороты, а еще раньше в дни Москвы стрельцы, — говорил Мацнев.

— Вот именно потому то гвардейская кавалерия, искони веков верная Престолу и не может быть выведена из Санкт-Петербурга, — сказал Репнин. — Речь идет не о дворцовом перевороте, он немислим теперь и ненужен, а о революционном восстании вооруженной толпы.

— А въ общем это хорошо, что мы не пойдём на войну, — сказал Мацнев. — Нехорошая штука это война. Кровь, раны, трупы. Не люблю я всяческой мертвечины. И ехать так далеко. Бог с ней. Пусть дерутся другие, кому есть охота. А мне — что то не хочется.

В большом зале, увешанном портретами командиров полков раздался звонкий уверенный голос дежурного, поручика Конгринина, рапортовавшего командиру полка. Петровский румяный от мороза и взволнованный вошел в библиотеку. Он поздоровался с офицерами, обменявшись рукопожатиями и сказал: —

— Я прошу вас, господа, извинить меня за то, что я опоздал. Я сейчас от Великого Князя Главнокомандующего... Господа! Случилось неслыханное, неожиданное, возмутительное событие. Японский флот вчерашнюю ночью изменнически подкрался к нашим судам на Порт-Артурском рейде и подорвал несколько из них. Три больших броненосца надолго выведены из строя. Посланник не принес извинения, да и никакого извинения быть не может. Государь Император объявил войну Японии.

Командир полка перевел дух. Волнение охватило его и передалось офицерам.

— Я искренно сожалею, господа, что не имею возможности поздравить вас с походом. Гвардия остается. Мы надеемся справиться с врагом, не трогая нашей западной границы.

— А что? — спросил Репнин и тревога послышалась в его голосе. — Разве и оттуда идет угроза.

— Сколько я, знаю, Государь уже получил заверения от императора Вильгельма в полном благожелательном для

России нейтралитете Германии. Наш благородный друг и недавний гость остался верен своей рыцарской чести. Но гвардия нужна здесь. В дни войны столица и трон должны быть надежно охранены.

— Ты не слышал, кто будет главнокомандующим, — спросил князь Репнин.

— Пока Линевиц. Но, кажется, будет назначен Куропаткин, который сам на это просится. Не исключена возможность, что наш Августейший Главнокомандующий отправится туда.

— Ваше превосходительство, — волнуясь и в упор глядя в глаза командиру, сказал, вставая и вытягиваясь, вдруг побледневший Фетисов, — а тем офицерам, которые захотели бы... добровольно пойти на войну, это будет позволено?

— Я не знаю... Отчего нет? Я спрошу у Великого Князя. Господа, я не кончил. Его Величество желает сам лично передать о случившемся своей гвардии. В тяжелые минуты испытаний, ниспосланных ему Господом Богом, Государь желает объединиться в общей молитве перед Престолом Всевышнего с офицерами своей гвардии. Мы должны сейчас переодеться в парадную форму и ехать во дворец.

Командир хотел идти. К нему подошел штабс ротмистр Фетисов и с ним четыре молодых корнета.

— Ваше превосходительство, — сказал Фетисов — я, корнеты Оксенширна, Мальский, Туров и Попов просим вас исходатайствовать для нас разрешение отправиться на войну добровольцами, хотя рядовыми.

— Хорошо, — недовольно сказал Петровский. — Князь, запиши их.

— Запишите и меня, — твердо сказал, выступая вперед Саблин.

Х.

В маленьком дворцовом зале подле церкви было душно от переполнивших его офицеров. Гудели голоса. Только и разговора было, что о нападении японского флота и о пред-

стоящей войне. Война обсуждалась кругом и для большинства она рисовалась веселой экспедицией каких то других войск в экзотические края, новыми победами, новыми завоеваниями и новой громкой славой. Иначе и быть не могло. Давно ли Россия приобрела чудный Батумский округ, давно ли завоевала знойный Туркестан, Кавказ, Польшу, Бессарабию, Крым. Все добыто силою Русского оружия и камень за камень, кровью Русского солдата и офицера, складывалось дивное здание великой Российской Империи. Завоеuem и Японию. Говорят, она прелестна, эта миловидная страна игрушка, полная хорошеньких маленьких женщин. Уже срывались слова — Токийская губерния, Иокогамский и Нагасакский уезды. Гвардейские офицеры были уверены, что гвардию так далеко не пошлют. Им война рисовалась со стороны и они видели только славу и победы. Несколько иначе смотрели на нее армейцы. Уже взяли от них батальоны на дальний восток, могут взять и еще и это заботило и тяготило их. Вдруг встали те вопросы, о которых старались как то не думать, забыть и забыться.

Что делать с семьею, в случае если пошлют? Куда ее девать? Как жить на два дома, как воспитать детей? А если убьют? Война ведь совсем не то, чем она кажется издали. В группе армейских офицеров настроение было менее восторженное, но озабоченное и тревожное. Каждый думал: „кого то пошлют и как это все обернется? Справятся ли тамошние войска? А если нет, как будет отправка. Какие округа пойдут?“!

Тревожно застучали по полу палочки церемониймейстеров, сквозь открывшуюся и сейчас же закрывшуюся дверь ворвался клочок молитвенного пения. Пели — многолетие.

Раздалась команда: господа офицеры! смирно! — и все сразу стихло.

В толпу офицеров вошел Государь. Саблин видел его, слышал его тихий и как будто взволнованный голос, но ничего не услышал и не понял из того, что говорил Государь. Он сам был взволнован своим внезапным решением ехать на войну и потому не мог понять слов Государя. Государь.

говорил тихо и коротко. И едва он кончил кто то из близь него стоящих крикнул ура! и это ура вдруг вспыхнуло и пошло перекатываться по залу, а, когда офицеры спускались по лестнице, это ура катилось за ними молодое, задорное и лихое. В победе не сомневались.

Саблин, выйдя из дворца, подозвал извозчика, стоявшего на площади и без торга сел, чтобы ехать домой.

Ярко светило зимнее солнце, блестел чистый примерзший снег. Бежали по панели мальчишки и радостно кричали.

— Большая победа Японии над Россией! Нападение на Порт-Артур! Большая победа Японии.

— Что такое кричат они? — подумал Саблин. — Как смеют они так кричать? Победа Японии! И никто не останавливает! Идет офицер, остановился, купил газету. Стоит городской и полное равнодушие к тому, что кричит этот глупый мальчишка. Что это? Отсутствие патриотизма, непонимание важности минуты.

...,Большая победа Японии! Три броненосца погибли!.. Где я? В Токио, или Санкт-Петербурге? Но почему я сам не остановлю его и не надеру ему основательно уши за эти ужасные выкрики?... Никому, никому, это не режет сердца, никто не обращает внимания. Идет барышня, студент... Кто же мы, Русские, если мы не видим и не понимаем этого?"

Извозчик, выехав на Малую Морскую, пустил лошадь бежать мерною дробною рысью и, обернувшись с облучка к Саблину и показывая свое румяное лицо, обросшее молодую курчавую бороδοю, сказал:

— А что, барин, правда что Государь войну объявил этим самым... японцам-то что-ли.

— Да. Ты не слышал разве, что они напали на нас и три корабля едва не потопили.

— Слышать то слышал. Как не слышать. Все говорят. А только неужто война? По иному бы надо.

— Как по иному? — с удивлением спросил Саблин.

— Да так... По хорошему. Чтобы, значит, без войны этой самой.

— Этого нельзя.

— Нельзя то нельзя, а только надо. Царь то Он все может. Как Бог все одно.

Извозчик помолчал немного, подергал озабоченно вожжами и снова повернулся к Саблину.

— Слышь, значит, и мобилизация будет?

— Да. Конечно, будет, — отвечал Саблин.

— Во! Это самое я и говорю, что не надо. Ты пойми. У меня жена, трое детей, значит. Теперь, месяц тому назад я, значит, лошадь купил, сани, — сам от себя езжу, хозяином стал. А тут мобилизация. Да как же это так? А? Э-эх. Не надо, говорю. Не надо. Миром бы лучше кончили.

Саблин заплатил извознику и с отвращением посмотрел на его румяное, доброе, красивое лицо.

„Это Русские люди!“ — думал он, поднимаясь по лестнице. — „Японцы напали. Ведь они пощечину дали Русскому народу, а Русский народ облизнулся и что -- ничего? Другую щеку подставить готов. Свой печной горшок ему всего дороже. Что ему красота подвига, слава, честь! непонятные звуки. Ему вот это — жена, да трое детей, да сам хозяин. Ужас! ужас один кругом и пустота! Никакого патриотизма!“

XI.

Шестилетний Коля в синей суконной матроске и штанишках с голыми коленками и голубоглазая светловолосая пятилетняя Таня по звонку узнали, что это звонил отец и, не слушаясь бонны немки, побежали, топоча ножками в прихожую.

— Папа плиехаль, папа плиехаль, — пел Коля, хватая отца за холодный палаш и играя темляком. — Я пелвый плибежал к папе.

— И я пелвая, — говорила Таня, теребя темляк.

— Ну, идтите дети. А то я с мороза, простудитесь.

— Папа! И я с молоза..., говорил Коля следуя за отцом. Папа, а почему велблюд — велблюд?..

— Возьмите их, фрейлейн, — сказал Саблин, -- Вера Константиновна дома?

— Они у себя в малой гостиной, — отвечала кокетливая белокурая бонна.

— Попросите ее ко мне.

Саблин прошел в кабинет и, снявши колет, повесил его на спинку стула и остался в рубашке и рейтузах. Вера Константиновна вошла к нему. Они поцеловались.

— Алексанг', — сказала тихо Вера Константиновна. — Неужели это пг'авда? Война объявлена?

— Да, сейчас Государь сам сказал нам об этом. Да ведь иначе и быть не могло! Такое оскорбление Русскому народу!

— Наш полк, конечно, не пойдет, -- сказала Вера Константиновна.

— Да, не пойдет, но офицерам разрешено идти с другими полками, переводиться туда на время войны и я пойду...

— Как, -- хмуря темные брови, сказала Вера Константиновна. — Ты не сделаешь этого.

— Почему? — быстро спросил Саблин и остановился у окна, спиною к свету. Вера Константиновна стояла подле кресла. На ней был утренний кружевами отделанный бледноголубой капот. Волосы были не причесаны и капризными прядками набегали на белый лоб.

— Кто же идет от полка? — тихо, едва шевеля губами, спросила Вера Константиновна.

— Фетисов, Оксенширна, Мальский, Попов и Туров, — отвечал Саблин.

— Фетисова я понимаю. Буйная голова, безумец, авантюг'ист... Оксеншиг'на, мальчишка головог'ез, котог'ого ског'о не будут пг'инимать в пог'ядочных домах и выгонят за пьянство из полка, Мальского и Попова г'одители никогда не пустят. Туг'ов пусть идет — он никому не нужен, пг'ыщавый уг'од, но ты. Ты?.. Ты думал о том, что ты делаешь, когда записывался?

— Вера, я думал об этом. Я знаю одно, что раз война, мой долг, как офицеда идти на войну. Иначе я не понимаю. Стыдно будет ходить по улицам, носить офицерскую форму, когда идет война. И я не понимаю Вера, как можешь ты быть против... Ты ведь против этого?

— Пг'отив, -- спокойно, и гордо сказала Вера Константиновна и ее ноздри раздулись. Голова поднялась кверху и бледно голубые глаза устремились в глаза Саблину. Он не выдержал ее взгляда и опустил голову.

— Ты Вера, потомок Ливонских рыцарей. Ты не можешь этого говорить. Если бы я колебался, ты должна была бы убедить меня и послать. Твой долг сказать мне — или со щитом, или на щите, — сказал Саблин.

— Я свой долг понимаю, — сказала Вера Константиновна, — но понимай и ты свой долг. Скажи, твой полк идет? Твой эскадр'он, люди котор'ых ты учил и воспитывал идет?.. Что же ты молчишь?

— Нет, не идут.

— Твой долг быть с ними. Ты никогда не знаешь, что будет дальше. А если... Если гваг'дия понадобится здесь для защиты тг'она, а все офицер'ы г'азбегутся за дешевыми лавг'ами побед над японцами. Кг'асиво это будет?

Саблин долго ничего не отвечал.

— Я не гово'ю пг'о то, что ты не можешь так бг'осить меня. Я молода, я так тебя люблю. Без тебя мне не жить. Пожалей меня!

Она протянула к нему руки. Широкие обшитые кружевами рукава капота соскользнули с них и обнаженные по локоть, белые, полные, прекрасные руки простерлись к нему. Саблин боролся с собою. Он стоял у окна, опустивши голову и тяжело дышал. Кровь прилиwała к вискам и мешала трезво мыслить. Возбуждение от слов Государя, от того подъема, который был во дворце, когда раздавалось громовое ура офицеров проходило и сменялось другим возбуждением. Возбуждением от прекрасного женского тела, такого ароматного и так хорошо ему знакомого.

— Как хочешь? — печально сказала Вера Константиновна и протянутые к Саблину прекрасные руки упали. — Как хочешь?! Я ни слова не сказала бы, если бы шел наш полк. Тогда это был бы твой долг. Но твой долг — защита Пг'естола и Г'одины. Завоевательная война, экспедиция в Японию — это удел авантю'истов, для котог'ых личная слава дог'оже нежели суг'овое исполнение долга. Но, подумай о

Госудаг'е. Госудаг'ъ снискал тебя своими милостями. Он сделал тебя своим адъютантом и в г'озную минуту войны и, может быть, смуты, когда ему будет тяжело ты оставишь Его.

Она стояла скорбная и синие глаза ее были устремлены на него из под темных, пушистых ресниц. Почти черные брови нахмурились, складка легла на лбу, тонкие губы были сурово сжаты.

— Ну, хог'орошо! Ну, поезжай..., вдруг слабым, плачущим голосом сказала она и слезы брильянтами заискрились в заблестевших глазах и упали на розовые щеки. Она бессильно опустила в широкое кожаное кресло. В одну секунду он был у ее ног, обнимал ее колени, покрывал поцелуями маленькие душистые руки, целовал ее щеки, покрытые слезами, искал ее губ, но она отворачивалась от него и прятала лицо на его груди и то отталкивала, то притягивала к себе.

Страсть овладела ими

.. .. .
Вера Константиновна, покрасневшая, растрепанная и счастливая одержанной победой вышла из кабинета. Саблин остался один. Он сел на диване, взъерошил свои густые волосы и задумался. Чем в сущности, он лучше того извощика, который вез его и рассуждал о войне и мобилизации. Там — только что начатое хозяйство, лошадь, сани, жена и дети, зарождающееся счастье собственника, которое надо разрушить во имя долга, здесь — уют и комфорт богатой квартиры, любовь прелестной молодой женщины и то широкое счастье беззаботной жизни, которое ощущал он в себе все эти годы. Кто патриот? Где бескорыстная сильная могучая любовь к Родине, не знающая той жертвы, которой она не могла бы принести? Но слова Веры Константиновны глубоко запали в его душу. Извощик, если его призовут должен идти. А, может быть, его и не призовут и тогда, при нем останется и его семья, и его лошадь, и все его хозяйство. О чем же думать? Его — Саблина — не призвали. Его долг, действительно быть на тяжелом посту, а не на веселой экзотической экспедиции. Ощущение близости неж-

ного тела еще жило в нем, он улыбнулся счастливою улыбкою, потянулся и подумал: „да, права Русская пословица, — ночная кукушка всех перекукует”.

ХII.

Война шла неожиданно трудная. В Петербурге не понимали, что случилось, недоумевали, искали виновных. Ждали скорого конца. Когда спросили отъезжавшего из Петербурга Куропаткина, когда окончится война он ответил: — „терпение, терпение. Может быть придется и год и два повоевать!” Этому не верили. „Запрашивает”, — думали в Петербурге. — „чтобы, потом, к весне, к дню рождения Государя или ко дню Его коронации преподнести Токио и Микадо в клетке. Иначе быть не могло. Шла Русская армия, а против были какие то япошки. Как очутится Куропаткин со своими войсками на Японских островах, об этом никто не думал. Где же флот для этого — это мало кого интересовало, но ждали с лихорадочным нетерпением побед. На все смотрели сквозь розовые стекла. Пошел Мищенко в Корею и его движение с полками, полными молодых необученных казаков, не умеющих стрелять, не знающих полевой службы, сравнивали с рейдами американской конницы, а Мищенко, скромного, храброго, честного артиллерийского офицера, случайно попавшего в начальники конницы возвели в сан выдающегося кавалериста. Почему пошел за Ялу Мищенко, без базы, с необученными казаками, на плохих лошадях? Он знал японцев и не был плохого о них мнения, но пошел на авось. Авось, дорогой подучимся, небось, как-нибудь, да и протолкнемся. Ничтожное дело у Чонджу, где участвовало менее тысячи человек возвели в блестящую кавалерийскую победу, после которой пришлось отступить. Как всегда — в простом народе особенно, верили, что война — это пустяки. Шапками закидаем. Газеты были полны хвалебных статей по адресу Русской армии и ее вождей. Все шло по старому. Гром победы раздавался и храбрый Росс веселился, а

побед не было. Было какое то затишье. „Чего они там медлят”, — думали в Петербурге. В Порт-Артуре строевой генерал Стессель, типичный пехотный командир полка, отличный муштровщик солдат готовился к обороне крепости. Крепость была только начата. Передовая позиция не разработана и не укреплена, форты не имели водопроводов и электрического освещения, во многих местах бетонирование не было закончено и укрепления насыпали землю и поспешно копали рвы как во времена гладкостенной артиллерии. Надеялись на исключительное мужество Русского солдата. „Четыре месяца продержусь”, — доносил Стессель Куропаткину, — „дальше, что Бог даст. Запасов не хватит”. — „Четыре месяца” — говорили в штабе, — „о, это слишком достаточно. За четыре месяца успеем помощь подать и освободить и крепость и флот”.

Японцы не торопились. Медленно и систематично выгружали они войска в Корею и у Бицзыво, подле Артура, и препятствовать этому было некому. Флот чинился в Артуре, войска собирались в Ляояне и выдвинули за триста верст вперед авангард — бригаду Засулича к Шахедзы и Тюренчену на переправы через Ялу. Для чего был авангард, которому помочь нельзя, каково было чувство у Засулича и его отряда, оторванного от армии и не имеющего хорошо разработанных дорог — об этом не думали. Знали одно — убрать войска без боя — Мищенко из Кореи и Засулича с Ялу — это произведет нехорошее впечатление на Петербург. Это расстроило бы Государя, это возмутило бы общественное мнение, которое обвинило бы Куропаткина в трусости перед япошками, а этого Куропаткин боялся больше всего. И опять властно выступал могущественный Русский авось и как-нибудь и думали, что хотя роль Восточного Отряда не поддается никакой стратегии, авось и вопреки стратегии что либо будет. Как-нибудь русские солдаты справятся. И не считались с нервами и настроением тех, кому было поручено справляться с невозможной задачей.

Мищенко, совершивши чудо выносливости и в ледоход вплавь переправившись через реку Ялу, ушел из Кореи с совершенно расстроенной и нуждавшейся в отдыхе Забай-

кальской дивизией и японцы надвинулись к самому Ялу. Было очевидно, что тут будет переправа. Тогда начальство растерялось. Весь отряд, начиная от Засулича и кончая последним солдатом стрелком, отлично понимал, что он задержать переправу всей армии Куроки не может, что его пребывание на берегах Ялу не только бесполезно, но и вредно для дела, так как сразу дает легкую победу японцам. Об этом писали Куропаткину. Куропаткин и сам понимал, что Восточный отряд обречен на гибель, но общественное мнение требовало боя и не позволило убрать Засулича из Шахедзы. Ведь противник был яп о ш ки, которых считали немного лучше китайцев, а бил же китайцев Линевиц, не считая их сил. Вопреки разуму, вопреки военной науке отряду приказано было задержаться „по мере возможности” у Шахедзы и Тюренчена. Если бы Засулич был истинным героем, таким богатырем, какими были Василий Шуйский, Суворов, Ермолов и другие — он ушел бы из Тюренчена без боя — но он тоже считался с тем, что скажут, боялся общественного мнения и потому решил принять бой и задержать врага сколько можно. Он начал с того, что при первом признаке готовившейся переправы посадил весь свой отряд в окопы под огонь тяжелых батарей, отвечать на который он не мог. Нервы солдат и офицеров от этого бесцельного сидения днем и ночью в окопах под огнем были напряжены до крайности. Несколько офицеров покончили жизнь самоубийством, не в силах будучи выносить бездействия в окопах. Солдаты были потрясены, утомлены бессонными ночами и плохо питались, так как раздавать в окопы горячую пищу было трудно. Когда началась переправа под Тюренченом, а не под Шахедзы и японцы начали охватывать левый фланг Засулича, стрелки дрогнули и стали покидать окопы. Напрасно был совершен целый ряд подвигов для спасения положения и горы были прокрыты телами убитых стрелков, в отряде поняли, что он будет скоро окружен, что до своих триста верст тяжелой горной дороги со многими бродами через глубокие реки и все побежало на единственную дорогу к Фын-хуан-чену. Отрезанный японцами 11-й Восточно — Сибирский стрелковый полк с музыкой и развернутым знаме-

нем бросился в штыки и пробился с громадными потерями, поразивши даже японцев своим мужеством и презрением к смерти. Но сражение было проиграно, отряд уходил в полном беспорядке и, если бы японцы имели кавалерию, был бы уничтожен. Военная наука не позволила играть с собою, „авось” был посрамлен.

В Петербурге не хотели понять причины поражения. Не хотели сознать, что Куропаткин был прав, требуя прежде всего терпения, что план его устраиваться у Харбина, бросив Порт-Артур был разумным и верным планом. В Петербурге искали виновных. Виноват оказался Засулич, виноваты все, кроме тех, кто настаивал на непрерывном бое. В Армии скоро почувствовали, что Куропаткин связан Петербургом, скоро поняли, что Государь хочет наступательной войны и ведения операций от Ляояна.

Всю свою жизнь Куропаткин провел на вторых ролях. Он всегда был талантливым исполнителем чужих планов. Слава Скобелева его покрывала. Он служил, основываясь на мудром и никогда не знающем ошибки правиле: — „чего изволите и что прикажите”.

Он был Туркестанским генералом губернатором, царьком в средней Азии, но он прислушивался к тому, что ему приказывали Государь, министр внутренних дел и военный министр. Он никогда не осмелился бы нарушить, или изменить приказание. Он видел часто неправильность того, что ему указывали, доказывал большими красноречивыми докладами, что надо делать и как, но исполнял беспрекословно то, что ему приказывали. В этом была его сила и в этом была его слабость. Он привык делать дела с разрешения и одобрения. Ставши военным министром он продолжал свою политику. Он мог творить лишь тогда, когда на его докладе было собственною Его Величества рукою начертано: — с о с л а с е н у т в е р ж д а ю , и л и б ы т ь п о с е м у . Без этой санкции он ни на что не решался.

Он был сыном скромного армейского капитана и мелким Псковским помещиком. Рожденный ползать, он не мог летать. Его ум, широкое образование, богатые знания, личная солдатская храбрость и честность разбивались о робость

перед кем то высшим, перед начальством. Он не мог воспарить и презреть все и идти на пролом. Он был притом честолюбив и хватался за власть. Он себя любил больше нежели армию и армию любил больше России. Он стал главнокомандующим, но он не был им. Полная мощь была не у него. Он боялся адмирала Алексеева, ревновал к каждому генералу, которого выдвигала война и продолжал держаться прежней политики, добиваться на все утверждения Государя.

Государь, отправляя его на Дальний Восток сказал ему: — „Я не могу командовать армией за десять тысяч верст. Вам на месте виднее, что надо делать”. Полная мощь полководца, на которой всегда так настаивал Суворов была дана ему. Но, зная хорошо характер Государя, изучивши Его, Куропаткин Ему не верил. Он не имел мужества взять все на себя и поступать так, как ему велит его совесть и его глубокие знания военного искусства. Он боялся ответственности. Он давно составил в предвидении войны с Японией отличный план, он доложил его Государю. Государь этот план не одобрил. Куропаткин, ставши главнокомандующим, не рискнул пренебречь неодобрением Государя и бросил свой план. Он слишком хорошо знал Государя, Его недоверчивость, Его болезненное самолюбие, чтобы пойти на разрыв. Да и к чему? Ему дали бы отставку, поставили бы на его место мало образованного Линевица, дело от этого не выиграло бы, а он пострадал бы. Потерпевши поражение со своим единственно разумным планом затяжной войны, войны на измор, сокращения своих операционных линий за счет удлинения линий противника, Куропаткин пошел по другому плану — прислушиваться к — воле Государя и стремиться делать то, что угодно Монарху. Недостатка в советниках не было. Почти каждый день приезжали из петербурга разные лица — офицеры, корреспонденты, военные агенты и говорили Куропаткину чего хочет Петербург и Двор.

После Тюренченского боя и гибели „Петропавловска” с адмиралом Макаровым, идею Петербурга было помочь Порт-Артуру, прервать его блокаду с суши и доставить в

крепость все необходимое. У Куропаткина не было достаточно сил, чтобы заслониться от Куроки, наступавшего с востока и идти на юг, но исполняя волю Петербурга, он пошел к Вафангоо. Вафангооский бой был очень красив и могуч, в нем выявились во всей силе мощь и удаля Русского солдата и все недостатки нашей техники. Наши батареи, стрелявшие с открытых позиций были сметены огнем невидимых японских батарей, мы не умели применяться к местности и были слишком видны для совершенно невидимых японских пехотных солдат. Проливной дождь спас корпус генерала Штакельберга от полного разгрома и он с музыкой и песнями по непролазной грязи отступил к Дашичао.

После этого сражения армию обуял дух критики и самооплевания. Вера в вождя, в свое искусство была потеряна, не верили ни в технику, ни в науку. Японцы мерещились всюду.

Петербург один не унывал. Там почему то уцепились за Ляоян. Ляояна никто не видал, о нем не имели никакого представления, но в понятии Петербурга Ляоян должен был стать поворотным пунктом всей кампании. Не мог не видеть Куропаткин, что Ляоянская позиция глубокая тарелка, что форты его просто ловушки, оплетенные проволокой, что выход из Ляояна легко может быть отрезан и с севера и с юга, что в тылу течет горная река с капризным руслом, что главная позиция на горах только намечена и не выполнена, но таково было преклонение Куропаткина перед Петербургом и боязнь обмануть Петербург в его ожиданиях, что он решил дать под Ляояном генеральное сражение. Гипноз Ляоянской позиции был так силен, что и войска стали верить в победу и в страшные августовские дни Ляоянского боя показали мужество удивительное. Японская армия была надломлена и готова была отступить, но в трудную минуту для японцев с нашего шара усмотрели глубокий тыловой обход армии Куроки, там дрогнула бригада генерала Орлова, и хотя положение сейчас же было восстановлено уверенными действиями 1-го восточно-сибирского корпуса, Куропаткин поверил донесениям шара и не поверил докладу молодого казачьего офицера, который прискакал к нему и доложил,

что Куроки вследствие разлития реки Тайдзы — не смог переправить свою артиллерию нам во фланг, что переправилась лишь бригада пехоты, которая осталась без продовольствия и питается только сухим рисом, что ничего не угрожает нашему флангу. Риск не был в характере Куропаткина. Он приказал отходить от Ляояна. Армия отступила в относительном порядке. Когда китайцы донесли японцам, что Русские ушли от Ляояна, японцы не поверили им. Это казалось так нелепо, когда они сами готовы были отходить.

Надломленная японская армия вошла в Ляоян, но дальше не пошла. Русская армия отошла к Мукдену и стала готовиться к новому наступлению.

ХIII.

Саблин не поехал на войну. Но он и не взял своего рапорта от командира полка. Этого ему не позволило сделать самолюбие, да на этом Вера Константиновна и не настаивала. Она поехала к Императрице. Императрица горячо взяла ее сторону и перевод Саблина в Забайкальское казачье войско был отказан по приказанию свыше. От полка поехали только Фетисов, Оксенширна и Туров. Рапорты Мальского и Попова были взяты обратно ими самими.

Саблин всеми мыслями ушел в войну. Он жадно читал все, что писали тогда с театра военных действий, он старался видаться с людьми, приезжавшими с войны, спрашивал их и чем больше жил войною, тем меньше понимал Русский народ, особенно образованное общество и его отношение к войне.

Война шла сама по себе, а Россия жила сама по себе и одна не интересовалась другою. Уже после Тюрэнчена стало ясно, что это не шутка, не экзотическая экспедиция, не прогулка в страну гейш, но тяжелая серьезная война, которая несомненно отразится на всей жизни Русского народа. В обществе же отношение к войне было презрительно насмешливое.

Фетисова, Оксенширна и Турова проводили торжественным обедом с музыкой и речами, но не восторгались ими,

не преклонялись перед их подвигом, а как будто осуждали их за то, что они бросают полк. Много смеялись и шутили и проводы не походили на проводы на войну.

— Привези мне парочку гейш, — говорил, целуясь с Фетисовым, подвыпивший Ротбек.

— Куда тебе! Ты же женат, — отшучивался Фетисов.

— Ничего. Они у меня будут только танцевать и петь и больше ничего.

— Жена тебе задаст.

— А я не боюсь.

И только, когда Мацнев сказал, кивая на Фетисова — „у меня какое то предчувствие, что он не вернется”, — все притихли и страшная мысль пронеслась в затуманенных вином головах — что ведь провожают на войну, где ранят и убивают.

В Русском образованном обществе не поражались неудачами, не скорбели о них, не носили национального траура по „Петропавловску”, Макарову и Верещагину, но после минутного огорчения, задумчивости, снова предавались шуткам над самими собою. Эх — мы! сунулись туда же. Тоже вояки!

Не искали глубоко внутри себя причин поражения, но смеялись над собою. По рукам ходили шуточные стихотворения. Письмо, будто бы в стихах написанное императрицей Александрой Федоровной императору Вильгельму, где беспощадно осмеивалась война и другое стихотворение, где говорилось:

Россия Японии мир предложила

А та у нее запросила:

и перечислялись разные предметы, какие по мнению остряка, в России достать было нельзя: — честность, храбрость, доблесть и пр. Россия же в ответ предложила — Витте, Победоносцева и других деятелей тогдашней эпохи.

Но ответил Микадо:

Нам такой дряни не надо.

Присяжный остроловец и большой циник военного дела генерал Драгомиров, в свое время окрестивший Русского солдата крылатым словом: — „серая скотинка” не мог не

отозваться на неудачи войны. „Да”, — говорил он, — „это хорошо, что назначили главнокомандующим генерала Куропаткина, но не хорошо, что забыли назначить к нему Скобелева”. У Куропаткина начальником штаба был генерал Сахаров и по этому поводу старый остряк сказал: „не вкусная это штука куропатка с сахаром”.

Для поднятия чувства в народе правительство выпускало лубочные картины, где изображалось, как Русский флот топил японские каробли, кавалерийское дело у Вафангоо, портреты Куропаткина, Стесселя, Линевича, их старались поднять в глазах толпы, корреспонденты различных направлений описывали войну, но и в благожелательных корреспонденциях кое-где сквозила нотка тяжелой правды.

Враги правительства, те, кто мечтал о низвержении существующего строя подняли голову и начали свою работу.

Саблин скоро почувствовал, что в народной душе лопнула какая то струна. Народ разошелся с Царем. Может быть и раньше он с ним не шел, но по крайней мере, казалось, что Царь и народ были одно. Вражды пока не было, но было полное равнодушие. Летом, Саблин с маневров на один день поехал на почтовых в имение жены, на мызу „Белый дом”. Его вез ямщик, лет тридцати, спокойный и рассудительный. Разговор вертелся подле войны.

— А что барин, наших все бьют? — спросил он.

— Ничего не бьют. Идут тяжелые бои. Пришлось немного отступить. Но подойдут подкрепления и мы погоним японцев.

— Брат мне оттуда писал. Кончать надо. Сдаваться. Его все одно не осилишь.

— Как можно сдаваться. Да ведь тогда у нас вместо Государя будет Микадо! — воскликнул Саблин.

— Да нам, барин, все одно, что Микола, что Микадо. Одну подать плати, а Микадо может и поменьше наложит... Нам земли бы, не иначе, как землю поделить бы.

Ямщик был простой добродушный парень, никакой „революционности” в нем заметно не было. Слова эти заставили Саблина глубоко призадуматься о дикости и серости Русского народа. Возясь с новобранцами Саблин натал-

кивался на первобытные понятия, но, как и многие люди его круга, он в этой дикости и некультурности Русского крестьянина видел силу России. Ему казалось, что это дает серому мужику возможность свято и чисто верить в Бога, чтить царя и повиноваться начальству. С серой толпою, казалось Саблину, легче справиться, она послушнее. Война открыла народу глаза. Она приподняла завесу темной народной души и Саблин с ужасом увидел, что в ней нет ни патриотизма, ни святой веры в Бога, ни любви к Царю, но есть только одна жадность к земле, стремление к собственности, к обладанию землею, скотом, лошадьми, инвентарем. Вспомнился извозчик в день объявления войны — сам хозяин, вспомнились мальчишки. Мальчишки и теперь продолжали кричать тяжелые вещи о положении на фронте и никто им ничего не говорил.

Перед Саблиным во всей ясности стал вопрос о том, что народ надо учить и воспитать, создавать школы патриотизма, внушать сознание Русской великодержавности. Но кто будет учить? Те, кто для этого кончил гимназию и университеты? Замелькали перед ним образы молодежи, с которой он в дни юности встречался у Мартовой. Но это общество само надо учить патриотизму. Оно само не верит в Россию и не любит Россию... Это оно пустило стихи, это оно на всех перекрестках кричит крылатые Драгомировские слова и злобно хихикает над нашими неудачами.

Царь, народ и интеллигенция и все три разные, не понимающие друг друга и друг другу противоположные. Царь любит Россию и верит в Русский народ. Он видит его в своем сводном пехотном полку, среди своих егерей, кучеров и прислуги. Лучше Русского народа нет людей — говорил не раз ему Царь. Царь не знает, что народ спокойно говорит: — „нам все одно, что Микола, что Микадо... Нам земли бы!“...

У народа свой Царь. Страшный царь голод и царя земля, спасающая от голода.

Интеллигенция стала между народом и царем. Она не любит и не признает царя, она всеми силами старается, — одни сознательно, другие бессознательно, пошатнуть его

авторитет, но она разошлась и с народом. Она не знает и не понимает народа. Она его идеализирует, приписывает ему качества, которых народ не имеет. В громадном Российском здании случилось несчастье, сохлась известка, выпадал цемент, крошились кирпичи. Кто то в эти тревожные дни пустил новое слово о России. Россия-де колосс на глиняных ногах. Осели и размокли ноги и вот-вот колосс полетит кувырком. Это сказал Саблину вдумчивый серьезный офицер князь Шаховской, Рюрикович, дальний родственник графа Л. Н. Толстого, много читавший и изучавший.

Саблин усомнился в народе. Он стал чаще бывать в эскадроне, беседовать с людьми, с вахмистром.

Старый Иван Карпович негодовал и бранился.

— Совсем, ваше высокоблагородие не тот народ стал. Сдурели люди. Ты ему указываешь: — железо, мол, почище до блеску, а он тебе японской войной тыкает. Там все защитное, так зачем, мол, до блеска. Образованны очень стали, много рассуждать позволяют.

С Саблиным солдаты говорили мало. Они боялись его, но Саблин по некоторым вопросам заметил, что они что-то знают и таят про себя.

— Ваше высокоблагородие, — спросил его взводный, лихой ярославец Панкратов, — почему же мы так оплошали, что карт японских не приготовили. Без карты разве можно воевать?

— Ваше высокоблагородие, а вот теперь пишут, что кавалерии совсем не надо. У японцев кавалерии нет, а как хорошо орудуют. А то, судите сами, лошади сколько стоят. Этих лошадей в хозяйство бы, говорил солдат Баум из богатых колонистов.

У солдат появились вопросы, чего раньше не было. Раньше солдат, не вдумываясь и не рассуждая исполнял все то, что приказывал ему офицер. Солдат верил офицеру.

„Хорошо это или худо, что у солдата появился интерес к военному делу?“ — спрашивал сам себя Саблин. — „Да“, думал он — „если вопросы, это хорошо, но если критика и недоверие — не дай Бог. Если солдатская масса станет пов-

торять пошлые анекдоты о куропатке под сахаром, читать эти гадкие стихи — тогда все пропало”.

Солдат стал интересоваться газетами, стал много читать, доискиваться, спрашивать, разговаривать с офицерами. Тут то и надо было бы его поддержать и слиться с ним, но офицеры этого не могли, не мог это сделать и Саблин. Быт мешал. Саблин невольно вспомнил уроки Любовина и Марусю. Да, предки стояли между ними. Солдат искал равенства, дружной беседы, Саблин шел на эту беседу, хотел ее сам, но выходил урок. Вставание, вытягивание, титулование и опять: барин и слуга.

Говорить было трудно. С войны писали о значении защитного цвета, окопов, разведки, о том, что японцы невидимо избивают нас, о невозможности конных атак, — а на военном поле были все те же белые рубахи, равнение, направление, сомкнутость и бесконечные заезды повзводно налево кругом. Война говорила одно, но рутина делала свое дело, маневры были бледны и исполнялись неохотно. Саблин толкнулся к Дальгрону.

— Чушь эта японская война, — сказал ему недовольным голосом Дальгрэн. — Она нам всю военную науку испортила. Конные атаки будут!. Не артиллерия, а по прежнему кавалерия царица полей сражений, но Куропаткин не имеет кавалерийских вождей, а история конницы это прежде всего история ее генералов.

Дальгрэн, несмотря на всю свою сдержанность, осуждал Куропаткина и обвинял его в отсутствии смелости и недостатке решительности. Опять была критика. Она проникла и в Генеральный Штаб. Критиковали много, но ничего не делали для того, чтобы исправить недочеты.

Итак, — думал Саблин, — война ударила по зданию Российской империи. Царь, интеллигенция и народ отбились друг от друга. Народ не верит Царю, интеллигенция не только не верит, но не любит и жаждет освободиться от него. Враг Царя не столько народ, как интеллигенция и борьба за Царя должна быть с ней. Теперь, или никогда Царь должен был сказать какое то слово, порвать с пошлой, все критикующей интеллигенцией и пойти с народом, по-

тому что народ еще мог вернуться к Царю. Но какое слово сказать народу, как привлечь его к себе и с ним ополчиться против интеллигенции? — Саблин этого не знал.

Чтобы лучше разобраться во всех этих вопросах Саблин решил добиться хотя бы временной поездки на фронт, чтобы там повидать офицеров и солдат и прислушаться к тому, чем живет и о чем думает фронт.

XIV.

В середине сентября Саблин получил от Императрицы Александры Федоровны приказание отправиться с подарками от Нее в армейский корпус, стоявший под Мукденом. Подарки были заботливо приготовлены и многие собственноручно уложены Государыней. Они состояли из большого красивого платка, в который были увязаны: смена белья, четверка табака, чай, фунт сахара, коробка леденцов, гребенка, карандаш, записная книжка, бумага, конверты и большой фотографический портрет Императрицы снятой с новорожденным Наследником на руках. Императрица любовно собрала все эти вещи крестным отцам своего сына.

Была золотая, сверкающая красками, тихая Маньчжурская осень, когда Саблин с четырьмя гвардейскими солдатами, сопровождавшими вагоны с подарками высадился в Мукдене, и, добывши из ближайшего транспорта подводы и лошадей, отправил их к штабу корпуса, а сам верхом, в сопровождении двух солдат — своего унтер офицера и маленького транспортного солдатика, на монгольских niskорслых белых лошадаках поехал верхом через Мукден к штабу.

Мукден кипел жизнью. Русские солдаты, кто в серых защитного цвета рубахах, кто в рубахах зеленых, кто в голубых, беспорядочною толпою наполняли улицы города. Отдания чести, той подтянутости, к которой Саблин привык в Петербурге не было. Не было и товарищеских равных отношений, которые могла создать война, но было просто безразличное, полное равнодушие отноше-

ния одних к другим. Серые, запыленные, почти такие же неопрятные, как солдаты, офицеры в ярких золотых и серебряных погонах толкались подле китайских торговцев, покупали разную дрянь с лотков, или бесцельно шатались по пыльным улицам. Китайцы синеею толпою наполняли улицы. Тяжелые китайские повозки на двух лакированных колесах с широкими ободами и множеством тонких точеных спиц с синим полукруглым навесом над ними, запряженные громадными холеными мулами медленно двигались сквозь толпу. Проезжали конные китайцы и с ними Русский солдат артельщик или фуражир в китайской соломенной шляпе, в рваной рубашке, без сапог, в китайских туфлях. Тяжелые двухколесные арбы, запряженные лошадей, коровой и ослом, жалобно скрипя, везли китайский скарб: ящики, красные сундуки и узлы из черной и синей материи, на которых сидели пестро покрашенные китайки с узкими глазами. Пестрые тряпки у вывесок, длинные доски с яркими золотыми китайскими буквами, красные шесты с золотыми шарами, характерные китайские дома с крутыми загнутыми на краях крышами, храмы, подле которых сидели каменные ш и д з ы — не то собаки, не то драконы, страшные изображения богов на черных воротах — смесь самобытного, яркого. китайского: черных кос, круглых шапочек с цветными шариками чиновников, брадобреев, бреющих на улице полуголых рабочих, пекарей, готовящих тут же на улице на жаровнях китайские пельмени из сырого теста, или голубцы с мясом, вонючие столовые — чофаны, в которых за столами длинными рядами сидели китайцы — и Русского: солдат и офицеров, темнозеленых двуколок, везущих ароматный горячий ржаной хлеб — поразила и развлекла Саблина. Он скоро заметил, что солдаты и офицеры были разные, разного качества и достоинства. Он видел прекрасно выправленных и чисто одетых молодцоватых стрелков с государевым вензелем на малиновом погоне. Эти отлично отдавали честь и смотрели бодро. Он видел части Петербургского округа со знакомыми по маневрам номерами на погонах, одетые в желтые рубашки — и эти были хороши. Но рядом с ними он видел оборванцев, потерявших всякое подобие солдата, оде-

тых в полукитайскую одежду, оборванных, наглых и противных. От Саблина не ускользнуло, что те, которые носили венезля Государя на погонах были чище и аккуратнее других. Имя Государево их к чему то обязывало и они тянулись. Чтобы проверить себя он заговорил с транспортным солдатом и спросил у него, какой части солдат, так отлично отдавший ему честь.

— Первого восточно-сибирского стрелкового Его Величества полка, первые щеголи у нас, — ответил солдат.

— А дерутся как? — спросил Саблин.

— Однако, первый полк — сказал солдат сибиряк. Японец бежит перед ним.

— А почему же не все такие, как они? — спросил Саблин.

— Почему? — солдат, видимо, никогда не задавался этим вопросом. — Кто-же его знает почему? Значит так вышло. Это точно, разные есть. Иной полк хоть и на позицию не станови — все одно убежит, а эти один на десять идут и песни поют. Кто его знает, почему так.

Через ворота с башней, проделанные в толстой зубчатой стене выехали за город и пошли между полей снятого гаоляна, торчащего острыми пеньками, мимо желтой колосящейся громадной чумизы, мимо высоких, как кукуруза, уже сохнувших на корню гаоляновых полей. Навстречу попадались тяжелые арбы, груженные снопами гаоляна, мешками с зерном, клетками с курицами. Богатый край жил осеннею жизнью. Широкая дорога вилась между полями. Слева и спереди туманными силуэтами рисовались на темном небе фиолетовые горы и дымка тумана в дали дрожала перед ними в теплом неподвижном воздухе. В поле китаец орал нескладную песню, носились стаями черные галки, собираясь в путь, у дороги стояла небольшая серая китайская кумирня величиной с голубятню. В ней были запыленные доски с изображением китайских богов. На межах росли громадные карагачи со стволами в несколько охватов и осень не тронула желтизною их ярко зеленых вершин. Большой ханшинный завод с серыми, высокими и прочными, как стены крепости стенами, с башнями по краям, с рядом серых черепичатых

кровель был по пути и у ворот его толпились арбы, запряженные мулами и ослами. Саблин ехал мимо домов китайских помещиков. Из-за высоких стен груши протягивали темные ветки, усеянные золотистыми плодами. В ворота видны были дорожки уложенные кирпичом, фуксии и герани в ярком осеннем цвету, серые фанзы с длинными окнами с частым переплетом и бумагою вместо стекол.

Всюду было довольство, тишина теплой осени, покой и счастье, и ничто не говорило о войне.

Саблин переехал быструю речку с усеянным камнями дном, проехал мимо китайского кладбища и попал в небольшую деревушку. Часто стали попадаться солдаты. Во дворе большого дома стояли двуколки, а подле на коновязи были привязаны рослые российские лошади. Маленькая речка с массивным каменным мостом первобытной постройки отделяла деревушку от китайской усадьбы. Раскидистые карагачи росли у въезда, черные ворота, прикрытые стенкой от злого духа, были распахнуты настежь и подле них ходил в серой рубахе brave оренбургский казак. Это и был штаб того корпуса, в который Саблин вез подарки.

XV.

Командир корпуса, высокий красивый старик, бывший гвардеец и флигель-адъютант Императора Александра II ласково принял Саблина. Он помещался в одной половине кикайской фанзы, в другой жили его ординарцы. Ординарцы, гвардейские офицеры, знакомые с Саблиным по Петербургскому свету шумно и радостно приветствовали его и стали спрашивать про Петербург и про те настроения, которые там были. Саблин скоро почувствовал, что война им надоела, что их тяготило отсутствие комфорта, веселой жизни, балов, вечеров, светских знакомых.

— Надоела эта война, — капризно говорил ординарец штабс-ротмистр Кушковский. — То есть, ты себе и представить не можешь, как надоела. Все равно не победим японцев. Они хитрее нас.

— Наши как?..

— Чорт их знает как. То подвиги храбрости, то бегут без оглядки. А главное все как то глупо и бесцельно. Неуверенно как то. Вот завтра наступление. Ляоян брать будем. А спроси меня прямо, возьмем, или нет. Скажу откровенно — не возьмем.

— Так для чего же тогда наступать? — спросил Саблин.

— Общественное мнение требует, — сказал Бобчинский, другой ординарец корпусного командира.

Корпусный командир рассматривал подарки.

— Как это хорошо, — сказал он, что Ее Величество свой портрет прислала. Это ободрит солдата перед боем. Умирать за Нее легче будет.

Командир корпуса лично решил ехать после обеда в ближайшую дивизию передавать подарки. Отдали по телефону приказание собрать полки, и в пять часов Саблин сел с командиром корпуса в просторную коляску, запряженную парюю сытых лошадей и поехал на биваки. Его сердце билось. Он думал о том, что сейчас он увидит людей, уже знающих, что такое война и смерть, сейчас перед ним будут люди, обвеянные славой войны, люди, которые завтра пойдут умирать. „Что это за люди?“ — думал он, — „поднялись ли они духом в предвидении подвига и смерти, или полны мелочными заботами повседневной жизни“.

На широком желтом истоптанном и пыльном поле показались ряды низких палаток. Это был полковой бивак. В стороне от него темносерыми квадратами вытянулись батальонные колонны. На правом фланге ближайшего полка тускло сверкали давно нечищенные трубы музыкантов.

Полки взяли на караул и музыка заиграла встречный марш.

Командир корпуса подошел к первому полку, поздоровался с ним и приказал взять „к ноге“.

Саблин стоял сзади командира корпуса. Перед ними тянулась неподвижная шеренга солдат. Серые фуражки, скатанные шинели, одетые через плечо на рубахи, серые шаровары, высокие сапоги, все было привычно для Сабли-

на, мирное, хорошее, говорящее о маневрах, но не о войне. Люди смотрели серо и тупо. Их глаза ничего не выражали.

Корпусный командир старческим, но громким голосом человека, привыкшего к строю, говорил о том, что Ее Императорское Величество среди своих царственных забот не забыла про армию, вспомнила о солдате и пожаловала каждому свой портрет и подарок на память.

— В сердце своем храни эту царскую милость, — говорил командир корпуса. — Помни матушку-Царицу и иди смело умирать за Нее и за Россию.

У командира корпуса на глазах были слезы. Он был глубоко растроган тем, что он сказал. Солдаты дружно крикнули: — „постараемся ваше высокопревосходительство” и опять замолчали.

Приказали составить ружья и стали выдавать по ротам подарки.

Саблин попросил разрешение остаться на биваке полка и пошел бродить между палатками. Он был чужой здесь. Он разговаривал с офицерами и старые подполковники говорили с ним, штабс-ротмистром, почтительным тоном. Солдаты только тупо смотрели на его вензеля и аксельбанты и улыбались. Саблин напился чая у командира полка и, сказав, что он пойдет в штаб корпуса пешком, вышел с бивака.

Яркое маньчжурское солнце тихо опускалось в золотистую дымку тумана. И, как бы прикрепленная к одному громадному коромыслу, по мере того, как опускалось солнце, медленно поднималась из-за темных гор громадная красная луна. Вся красота красок маньчжурской осени сверкала на небе пурпуром пламени закатного пожара, ударявшимся в розовые нежные тона с золотыми облаками, в зеленые тона изумруда и в темносинюю парчу глубокого неба, начинавшую серебриться на востоке, где уже ярко сверкали хребты далеких гор. В воздухе было тихо и тепло. Каждый звук разносился далеко и приобретал особое значение. Лаяли в деревне собаки, кричал икая и окая осел, мычали коровы. Серый бивак затихал. От него пахло щами и хлебом и укрываясь в палатки он гомонил и казался громадным звездом с тихим ворчанием укладывающимся спать.

Саблин подошел к краю бивака и сел у дороги под раскидистым карагачем, прислонившись к его широкому стволу. Тень от дерева, бросаема луною, становилась отчетливее и темнее и наконец скрыла Саблина. На биваке желтыми пятнами стали обозначаться палатки. Солдаты зажигали в них свечи, укладываясь спать. Неподалеку три голоса, и должно быть офицерских, тенор, бас и баритон согласно пели песню. Тенор начинал, баритон ему вторил, бас временами дрожал, создавая красивую гармонию. Пели печально и трогательно, видимо хорошо спевшиеся ладные голоса. Саблин прислушался и ему гадко стало на душе.

Серый день мерцает слабо,

Я гляжу в окно...

пели певцы и песня безотрадно грязная, противная, циничная, рисующая до мерзости гадко серую русскую жизнь, неслась в красивом за душу берущем напеве:

— Вид чудесный, вид прелестный.

Чисто Русский вид...

закончили певцы и замолчали.

„Неужели в этой грязи, в этом сплошном сквернословии укрылась вся Русская интеллигенция, неужели это, а не молитва, не гимн, не широкая бодрая великая песня Русского солдата напутствуют их в бой?.. Ведь завтра поход и бой!” подумал Саблин, встал и пошел к биваку.

XVI.

Он проходил темной тенью, никому неизвестный и незнакомый мимо палаток и заглядывал в те, где горели огоньки, где слышны были солдатские голоса.

— Кто там? — иногда спрашивали его из палатки.

— Свой, — отвечал Саблин и шел дальше. Ему была приятна сверкающая луною ночь, тепло, близость к людям, идущим на подвиг.

— Эх, и спасибо большое матушке-Царице, — услышал Саблин сильный, душевный голос, чуть нараспев, — вот угодила, вот подумала, и ладно все придумала. Или посоветовал Ей это какой-либо разумный человек? И рубаху при-

слала. Ее и одену, в ней и в бой, и коли убьют меня, так в Царицыной рубаше и в Царствие Божие предстану перед трисятельные очи Господа моего и Бога.

— Ну и дурак!, — перебил его мрачный хриплый голос.

— От такового слышу, — сказал первый голос.

— Туши огонь, а то вишь разложился как. Не один. Да и огарок беречь надо.

— Да, ладно.

Саблин подкрался к палатке и заглянул в нее. На гаюляновой соломе лежало четверо солдат. Пятый разложил у самого входа платок от подарка и на него выкладывал вещи, присланные Государыней. Он вынул теперь портрет Ее и долго смотрел на Него.

— А вот за портрет спасибо особое. Ух и красавица Она у нас и с детьми своими распрескрасными. Много господ я на своем веку поперевидал, ну то господа, а это особая статья, это и над господами господин.

— Холоп! — сказал лежавший ближе к нему мрачного вида худой солдат.

— А вы, Филипп Иванович, разве от крестьянства совсем отстали, — спросил лежавший у стены палатки бородастый солдат с добродушным лицом.

— Я и не занимаюсь им вовсе. Отец буфет держал на добровольном флоте и я с малых лет с ним на „Саратове” плавал. Много повидал я заморских чудесных стран, четыре раза кругом земного шара обогнули. Да... Ну а потом, как подрос, завел я самостоятельное дело и прогорел. Вот тогда мне и удалось устроиться буфетчиком в N-ском драгунском полку. Да. Славное это время было, знаете. И наживали и проживали. И долгов мне не платили и на волоске я висел, и золотили меня и колотили меня, а бросить я не мог, потому весело мне было. И господа меня любили и я господ, могу сказать, обожал совершенно.

— Потому что холуй!

— А вы Захар Петрович, не ругайтесь. Между прочим и не для вас это все говорится.

— Слушать противно ваши холуйские рассказы.

— А вы и не слушайте. Вас к этому не обязывают ни сколько... Да... Перебил меня господин Закревский, с мысли столкнули... Весело жилось в драгунском полку. И такие господа были хорошие. Полком командовал полковник фон Штейн. Бывало закутят, загремят, перепьются и начнут за столом собранским полковое учение устраивать. Трубачи сигналы подают, а они, значит, хором командуют, ну, прямо, соловьями заливаются. Чудно! А потом фон Штейн и кричит — „господ нет!” и, значит, все, один перед другим стараются, чтобы скорее под стол залезть. Толстый у нас такой был подполковник Усов тоже пыхтит, лезет. И сидят так под столом, притаясь. Щиплются, смеются. А фон Штейн опять кричит — „есть господа!” и, значит, все кидаются из-подстола и каждый хочет проворство свое перед командиром показать. Занятно!

— Вот, мерзавцы. А еще дворяне. Этакие холопы!

Филипп Иванович скосил на говорившего глаза, но промолчал.

— Помню еще как то поручика Сережникова вдруг хоронить вздумали.

— Умер что-ли? — спросил солдат, похожий на мужика.

— Ничего подобного. Живехонек. Только выпивши очень. Устроили ему из шинелей катафалку, читали всякое над ним, а потом с пением „со святыми упокой” понесли к его жене. И что вы думаете, через месяц на маневре упала под ним, значит, лошадь и придавила. Промучился недели две и умер. Что значит шутка то была Господу сил неугодная.

— Туда ему и дорога, — проворчал сосед.

— И что вы все ворчите и всем недовольны. Ну чем, чем мешали вам эти господа?

— О! м-мерзавцы — воскликнул Закревский.

— Что мешали они вам, Захар Петрович? Они баловались, а кому-нибудь убытка от того не было. Если кого побьют, или обидят, непременно щедро заплатят и тот еще и доволен, что без труда нажил себе деньги... Да... был у нас еще Красильников ротмистр. Хороший барин. Как то

вот так понапились все и под утро решили все заведения объезжать. Собрали извозчиков и поехали. Ну, а ему, не знаю уже как, не хватило извозчика. Выходит он со мной, я его поддерживаю, потому что хмельны они очень были, и говорит: — „Филипп Иванович, скажи мне, друг сердечный, прилично, чтобы столбовый дворянин, будучи пьян, пешком шел?“ Я молчу, знаете. А он мне опять: — „нет Филипп Иванович, дворянин, ежели пьян, никогда пешком не пойдет, потому что тогда он достоинство свое дворянское утеряет. Хоть на чем ни на есть, а должен он ехать“. — А в пору ехали дроги погребальные за покойником. „Стой! — кричит Красильников, — „хоть и не вполне прилична колесница сия, а все же лучше, нежели пешком мне идти! Помогай Филипп Иванович!“ Воссели они на колесницу и приказали гнать лошадей вскачь, догонять господ, к заведению Марии Львовны! Да, Захар Петрович, вам не понять этого. Тонкие были люди и веселая была жизнь!

— Плюнул бы я в морду вам, Филипп Иванович, кабы не считал это ниже себя, ибо и скот уважает себя больше, нежели вы. Уже очень вы подлы для меня и гадки!

Филипп Иванович сделал скорбное лицо, покачал головою и тихо сказал.

— Вижу, что метал бисер перед свиньями и не поняли меня. Нет таких людей уже видно не будет.

Он аккуратно завернул портрет Государыни в платок и уложил его в сумку, потом стал укладываться сам и улегшись спросил:

— Гасить, что-ль?

Никто ничего не ответил. Филипп Иванович загасил огарок и палатка погрузилась в мрак. Саблин тихо отошел от нее и стал выходить с бивака. То тут, то там гасли огни и бивак, посеребренный луною, казался таинственным.

У края бивака два солдата встретились с Саблиным. Они шли пьяные и ругались скверными словами.

— У! манза проклятая, за сахар да за рубаху всего три шкалика дал. А портрета и вовсе брат не хотел, — говорил один.

— И чего Она портрет прислала, — сказал второй. — Очень нужен он солдату!

— Куражится! Как же! эмператриса, подумаешь! Брильянтов что на ей. Деревню купить можно. Она бы брильянты продала, да солдату водки послала, вот то дело было бы. А то подарки, портреты.

— И весь то подарок ходя косоглазый в три шкалика оценил. Вот те и царский подарок!

Они разминулись с Саблиным, и пошли, ругаясь и спотыкаясь о колышки палаток, искать свое место.

И эти завтра тоже пойдут умирать, пойдут на подвиг, — подумал Саблин. И Филипп Ивонич с его любовью к господам и мрачный Захар Петрович и мужичек, все серыми рядами пойдут брать Ляоян... И не возьмут... Как все непонятно и чудно. Какие разные Русские люди и как невозможно для них один шаблон, один закон!

XVII.

Чуть свет Саблин пошел на бивак. Но бивака уже не было. Кое-где горела подожженная солома у палаток, да остались жестянки, бумаги и кости на притоптанном пыльном поле. Вместо палаток, сжатыми рядами, стояли густою колонною солдаты. Командир полка на рослой лошади, оборотясь лицом к полку, ждал, когда появится адъютант со знаменем. Солнце поднималось из-за фиолетовых гор и бросало косые лучи на солдат. Штыки блестели и искрились.

„Будет ли штыковая работа? — подумал Саблин. Он старался угадать, где стоит Филипп Иванович, где пьяницы солдаты и что они думают.

От деревни показался взвод. Несли знамя. Заиграли армейский поход, полк взял на караул... Сзади, звеня и дымя пристраивались кухни.

На глазах Саблина полк взял на плечо и стал вытягиваться в колонну по отделениям. Головная рота вышла вперед и дозоры стали расходиться по сжатым полям. Сверкнули штыки, музыка грянула модный марш „Разлуку” и колонна стала виться змеею по пыльной дороге.

Саблина потянуло за нею. Ему захотелось испытать ощущения боя и опасности.

Он стоял и смотрел. Солдаты шли мимо, кто в ногу в отделениях, кто шел свободно, стороною. Песенники выходили из рядов и то тут, то там начиналась песня и полк становился все меньше, покрывался пылью, уходил в даль. Уходил добродушный и благожелательный Филипп Иванович, уходил желчный Захар Петрович, уходили те, которые продали китайцу царицыны подарки, всех подхватила и влекла к золотящимся на солнце розовым горам судьба, всем несла тяжелые испытания, может быть, раны, мучения и смерть.

Разлука ты разлука,
Чужая сторона,

неслось отрывками из туманом сверкающей дали, где синели горы причудливыми очертаниями рисуясь на голубеющем небе. Становилось жарко. Ветра не было Густая пыль поднималась над колонною. Вправо шла такая же колонна, влево еще колонна, N-ская пехотная дивизия выдвигалась авангардом и шла к реке Шахе.

Саблин должен был ехать обратно в Петербург с докладом Императрице о всем, что он видел. Что же расскажет он Ей? Расскажет ли умиленную речь Филиппа Ивановича, или расскажет о том, как пропили Ее подарки и Ее же ругали за них? Чувствовал Саблин, что ему придется лгать Императрице, потому что правда сера, неинтересная и никому не нужна.

— Уже нельзя стало различать отдельных людей в колоннах и штыки сверкали и горели, как брильянты в пыли, да иногда вдруг донесется обрывок песни, звуки корнета и тяжелые удары барабана, отбивающего такт. И кажется, что слышишь этот марш, от которого веет печалью:

Разлука ты разлука,
Чужая сторона!
Зачем нас разлучила,
Японская война?

XVIII.

Саблин вернулся в Петербург. Дорогой у него было желание рассказать правду. Но что правда? Разве он ее знал? Он видел прекрасные части и видел оборванцев. Но почему одни прекрасны, а другие оборваны он не знал. Кто командует хорошими и кто плохими он не мог указать. Он представлялся Куропаткину и Куропаткин очаровал его. Все, что говорил Куропаткин было мурдо и разумно. Выходило так, что Куропаткин совсем не виноват в том, что война неудачна. Он все предвидел и обо всем своевременно докладывал. Сказать это Государю значило обвинить самого Государя во всех неудачах. Саблин не мог этого сделать потому, что по чистой совести не считал Государя виновным. Это была судьба. Саблин знал, что Императрица будет его спрашивать о том, как были приняты Ее подарки. И Саблин решил передать речь корпусного командира, потом охарактеризовать Филиппа Ивановича мягкими теплыми штрихами, рассказать, как красиво уходила в поля Шахейской долины N-ская дивизия. Создавалась красивая картина батального свойства, в роде нежных акварелей Адама, правда была прикрашена, приглажена, отполирована и лаком покрыта. Саблину было совестно такой правды. Он любил Государя, он был Ему искренно предан и он будет Ему лгать. Кто же тогда скажет истину, если Саблин будет лгать! И Саблин мучился. Но когда настал день аудиенции и Государь принял его вечером, после обеда, вдвоем с Императрицей, в присутствии только одной фрейлины, Саблин весело, бодро и ярко рассказал те сцены, которые он видал. Армия была великолепна, порядок в ней образцовый, Куропаткин талантливый и понимающий обстановку вождь, солдаты кроткие чудо богатыри, обожающие Государя и идущие в огонь и в воду. Все обстояло благополучно.

Государь печальными большими глазами смотрел на Саблина. Он как будто спрашивал, так почему же четырнадцатидневное Шахейское сражение окончилось в ничью? Почему еще погибло пятнадцать тысяч одних убитых солдат и сколько, сколько раненых, почему война остановилась и затихла и маленькая злобная Япония не усмирена и не

обузdana? Но Государь ничего не сказал. Он поблагодарил Саблина за его доклад, наградил его боевым орденом за поездку на фронт и, прощаясь как то особенно глубоко взглянул на Саблина, будто упрекнул его за ложь. Когда Саблин вышел, он горел мучительным стыдом, точно он сделал какую то подлость. Но когда думал о том, что он мог бы сделать, понимал, что иного доклада он сделать не мог. Обвинять кого бы то ни было, не было ни данных, ни оснований и он должен был или молчать или сделать то, что он сделал...

Шла тревожная печальная зима. В декабре совсем неожиданно пал Порт-Артур. Сдался. Этого никогда не бывало в истории России. Заколебались тени Российских горододержцев — Василия Шуйского, оборонившего от Батура короля Псков, защитников Севастополя и Баязета. Оставляли крепости, — да, но сдавать никогда не сдавали. Это было ужасно потому, что показывало новое течение в армии — недостаток духа. Но обвинили во всем Стесселя, приклеили к нему ярлык изменника и как то слишком скоро успокоились. Война была далекая и не затронула Петербурга. Петербург по прежнему жил шумною веселою жизнью. Веселились больше, нежели всегда и если бы не появление то тут то там громадных лохматых бараньих папах на головах людей, отправляющихся на войну, то о войне и не думали бы. Все шло по заведенному порядку. 6-го января в Крещение на Неве было водосвятие. В этот день был сделан первый выстрел по Государю. Шрапнель, поставленная на картечь была пущена рукою злоумышленника солдата от Биржи по Императорскому павильону. Но Бог не допустил совершиться злодеянию и пули пролетели поверх павильона, порвали знамена и выбили стекла во дворце. Признать покушение не хватило мужества. Это затрагивало слишком многих. Батарея была та самая, в которой служил Государь и которою командовал раньше его дядя великий князь Сергей Михайлович. Признать, что там была крамола, что в гвардии могли найтись люди, посягнувшие на Государя не смогли. И приписали все несчастному случаю. Так было проще.

Саблин, глубоко пораженный этим случаем, ожидал чего либо со стороны, командира батареи. Не оправдания, а казни. „Вот”, — думал он, — „тот случай, когда есть только два выхода — для маловерующего и могущего дерзать — самоубийство, для верующего и считающего самоубийство грехом — монастырь”. — Но командир батареи оправдывался, а самое дело затирали и ограничились только переводом его в армию. Никто наказан не был.

Саблин возмущался, но нигде не нашел сочувствия. Он с ужасом увидел, что загнивало и старое дворянство, высшее общество, опора трона и Государя. Мы оказались дороже Его. Честь мундира, свои традиции, благополучие отдельных личностей были поставлены впереди Государя и гвардия промолчала и признала это. Государь в своей бесконечной доброте ничего не сказал, а те, кто обязан был охранять Его, не принудили, не заставили Его поступить иначе и примерно покарать дерзнувших.

Но, когда Саблин оглянулся кругом, он увидел, что некому было возмущаться, потому что все были заняты личными делами. Все веселились и свое веселье ставили выше всего.

XIX.

На 9-е января между Саблиным, Палтовыми, Ротбеками, Воробьевым, Мацневым и Гриценко было условлено, что они поедут слушать цыган в трактир за Строгоновым мостом. Решено это было давно. Тогда, когда пал Порт-Артур на Наталью Борисовну Палтову нашел особый стих веселиться во что бы то ни стало, чтобы забыть все ужасы войны и позор поражений. Но 9-го января произошли в Петербурге крупные беспорядки, войска стреляли в народ, было убито много людей, на Невском кое где выбиты стекла в магазинах и подожжены газетные киоски и Саблин был уверен, что поездка к цыганам не состоится. Но в одиннадцать часов, как то было условлено, приехал Степочка Воробьев, за ним следом в роскошном вечернем туалете из черного шелка с пальетками графиня Палтова с мужем, а потом и Ротбек со своей маленькой, веселой женой Ниной

Васильевной, доставало только Мацнева и Гриценки. В ожидании их сидели в гостиной и обменивались впечатлениями дня.

— Я полагаю, господа, что поездку надо отложить, — сказал Саблин. — По моему ехать даже небезопасно.

— Ну вот, милый друг, что за пустяки. Сегодня то лучше чем когда либо. Не только вся полиция на ногах, но половина гарнизона бивакирует на улицах. Эти коновязи на площадях, костры — это очаровательно. Какие то картины 1814 года. Точно Париж, — сказал Палтов, — полагаю, что дамам интересно будет все это повидать.

Он был в возбужденном, повышенном настроении. Его рота провела весь день на улицах, стреляла, действовала удачно и он был счастлив тем, что все обошлось хорошо и что то, чего он так боялся утром, не случилось. А боялся он многого. Говорили, что солдаты не пойдут, откажутся стрелять, а, когда их начнут арестовывать, перебьют офицеров. Офицерам приказано было прибыть задолго до рассвета. Палтов вместе со своими младшими офицерами в шесть часов утра входил в темные мрачные казармы. Жутко было подниматься по лестнице, тускло освещенной прожженными закоптелыми лампочками и входить в темные коридоры подле спалень. Там слышался гомон людей, какие то громкие выкрики, Палтову показалось даже, что он услышал свист. Но, когда он открыл тяжелую дверь на блоке, он увидел обычную картину поднятой до рассвета роты. Кисло пахло портянками, лампы скупо освещали большую залу с койками, поставленными рядами, с гимнастическими снарядами, литографиями и расписаниями в рамочках по стенам. Против окон — была еще зимняя ночь, длинной шеренгой стояли люди в шинелях и фуражках, с патронными сумками на белых ремнях и ружьями у ноги. Фельдфебель командовал смирно. Все было, как всегда. Точно шли на обыкновенное ученье, или зимний маневр. Палтов поздоровался, люди дружно ответили на приветствие и когда он проходил вдоль фронта он видел знакомые, хмурые, невыспавшиеся лица. Фельдфебель шел сзади, недовольно кричал и рукою управлял у людей ремни амуниции. Палтов подумал, что,

может быть, нужно что либо сказать людям, предупредить их, напомнить о присяге. Но что сказать? Он и сам хорошенько не знал, что происходит в Петербурге. Говорили, что рабочие собрались идти к Государю с какими то требованиями, кто говорил экономическими, чтобы поменьше работать и побольше получать, кто говорил политическими, что они, подстрекаемые социалистами требуют Учредительного собрания, отречения Государя от престола и немедленного мира с Японией. Государя в Петербурге не было, но допустить безобразия было нельзя и потому приказ был в случае неповиновения — стрелять боевыми патронами. Что же сказать? Поймут ли солдаты? Все было так туманно в голове у самого графа Палтова, что он понял одно: лучше не говорить ничего. Он спросил ни к кому не обращаясь — „розданы патроны?“ — Кто то из фронта глухо и мрачно сказал — „розданы“. Палтов скомандовал „направо“, рота тяжело, грузно, в два приема повернулась и замерла.

— Шагом марш! — Сапоги застучали и заскрипели по корридору.

На улице казалось светлее. Фонари еще горели, но уже были бледные предрассветные сумерки. Прохожих не было. Дворники отчищали тротуары и посыпали их песком. Был легкий мороз и очень тихо в воздухе. Снег скрипел под ногами выстраивавшейся роты. Выравнились вдоль улицы, потом повернули, вдвоили ряды и пошли на назначенное место. Палтов отлично помнил, как спокойствие и уверенность вернулись к нему. Ему только хотелось спать. На улицах появились редкие прохожие, горничные с корзинками для булок, почтальоны, какие то старики и старухи, которых только и можно видеть в Петербурге ранним утром. Фонари погасали сразу целыми улицами, но от этого становилось светлее. Рассвет уже наступил, небо казалось зеленым и легкие тучи теснились над домами. Из труб дружно валил дым. В церквах благовестили к ранней обедне.

Потом было долгое и скучное стояние на перекрестке двух улиц. Не знали, что делать. Один из офицеров роты разыскал по близости трактир и граф Палтов с офицерами, оставив роту на фльдфебеля, пошли пить чай. Надо бы-

ло протянуть время. Они сидели в маленькой комнатке за небольшим столиком, накрытым чистой скатертью, перед ними стояли громадные белые чайники с — кипятком, гра-ненные стаканы, тарелка с баранками и масло. Рядом в большой низкой комнатке пили чай извошники и дворники. Приходили и уходили люди, деловито стучали мерными пятаками по столу и заказывали „пару чая” и ситный.

Когда, после чая, вышли на улицу, был яркий день. Улица была полна народа, люди ходили взад и вперед, одни спешили, другие шли медленно, движение было необычное, но ничего опасного в нем не было. Солдаты составили ружья в козлы и толпились за ними. Некоторые, сидя на тумбах дремали. Прохожие пытались останавливаться подле роты, но городовые, которых было много, прогоняли любопытных.

Около полудня, где то не подалеку, квартала за два, раздался раскатистый залп и после некоторого затишья другой. Потом все смолкло. По улице пробежало несколько человек с бледными лицами. Один был без шапки. Толпа прохожих сразу стала реже. Палтов приказал разобрать ружья и построил роту. Прошло еще с пол часа. В конце улицы появились люди. Они не только заполнили тротуары с обеих сторон, но стали выходить и на середину улицы и скоро вся улица вдали затянулась сплошной черною массою народа. И вдруг над народом развернулись в двух, трех местах красные знамена. В толпе что то пели, но что, разобрать еще было нельзя. От толпы отделился извошник и помчался к роте Палтова. Маленькая лошадка в серой попонке неслась полным карьером. В санях с незастегнутой полостью сидел смертельно бледный полицейский офицер с оторванной шашкой, без шапки, с синяками и кровоподтеками на лице.

Он подскочил к Палтову и, вылезая из саней и прикладывая руку к голове, очевидно забывши, что у него нет шапки, доложил прерывающимся голосом.

— Господин капитан! Не иначе как стрелять придется. Озверел народ. Городового убили. Меня, сами видите, в какой вид привели.

Палтов завел роту поперек улицы и посмотрел на солдат. Они были спокойны и угрюмы. Озлобление на толпу накапливало в Палтове. „Чего им надо”, — думал он. — „Дурачье на рожон лезут! Жиды их учат, а они идут”. Толпа подошла совсем близко и остановилась. Над нею тихо реяли красные кумачевые знамена, на которых грубо, аляповато, черными буквами было что то написано. Палтов вгляделся в эти надписи. „Долой самодержавие! — было написано на одном. „Да здравствует социализм. П. С. Р.”, — значилось на другом. Палтов почувствовал как кровь отлила у него от головы. Темные круги пошли перед глазами, зашумело в ушах, он уже плохо слышал то, что докладывал ему полицейский офицер о каких то убитых, о поваленных столбах телефона, баррикадах. Он отделился от роты и сопровождаемый горнистом, легко ступая по снегу, пошел к толпе. Он никогда так легко не ходил. Снег был местами глубокий, местами на раскатах от саней, придавленный полозьями, был скользкий. Палтов не замечал этого. Ему казалось, что он идет по паркету.

— Господа, — сказал он и сам удивился, как твердо и спокойно звучал голос, но ему казалось, что это говорил кто то другой, так глухо доносились ему звуки собственного голоса.

— Я прошу вас спокойно разойтись и не делать безобразий.

Толпа молчала. Слышно было тяжелое дыхание запыхавшихся взволнованных людей. Вдруг от толпы отделились двое. Гимназист лет шестнадцати с бледным лицом и большими глазами шел, обнявши за шею человека лет двадцати с синевато белым лицом, покрытым угольною копотью, худым, испитым и мрачным. На нем было темное пальто и простые длинные штаны.

Гимназист, ставши в двух шагах от Палтова и обращаясь к солдатам заговорил громким прерывающимся от волнения голосом.

— Товарищи! мы рабочие и жители города Петербурга, наши жены, дѣти и беспомощные старцы родители, мы идем к Государю искать у Царя-батюшки защиты и правды.

Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам. Мы и терпели, но...

Я прошу вас замолчать, — сказал громко и властно Палтов, — и разойдитесь немедленно.

— Не могу молчать, — воскликнул бледнея гимназист.

— Расходитесь господа! Я имею приказание стрелять. И я исполню свой долг! — твердо сказал Палтов.

— От японцев побежали, а на нас свою храбрость показываете! — выкрикнула из рядов женщина одетая просто, но хорошо, в шубке и с муфтой на руке.

— Я еще раз прошу вас разойтись, иначе я открою огонь и вы — вы будете виноваты в том, что падут невинные, обманутые вами люди, — сказал Палтов.

— Убийцы! Палачи! Опричники! воронье! — раздалось из толпы.

— Как Царь с нами, так и мы с Царем! Он хочет, чтобы мы за Него умирали в Маньчжурии, пускай теперь дожидается! — сказал рабочий, бывший с гимназистом.

— Нет у нас Царя! что это за Царь! — крикнула опять та же женщина.

— Разойдитесь, господа! Я сейчас открываю огонь. Палтов повернулся и пошел за роту.

— Не бось, товарищи, вали вперед. Холостыми ведь, — раздалась крики из толпы.

Палтов подал команду. Рота послушно дрогнула и взяла на изготовку. Палтов почувствовал, что военный механизм его роты действует верно и безотказно и стал совершенно спокоен.

Толпа мялась на месте.

— Нам назад хода нет, — кричали из толпы. — Так, или иначе подохнем.

Но никто не шел вперед.

Тогда вышел перед толпу тот человек, что шел обнявшись с гимназистом и крикнул:

— Идем, товарищи, вперед, не трусьте! Смотрите я первый лягу за народ!

Он пошел вперед и толпа двинулась за ним. Задние напирали на передних и передние должны были идти.

— Рота! — скомандовал Палтов.

Наступила зловещая тишина. Кто то жалобно вскрикнул: — „холостыми, небось”.

Толпа подалась вперед.

— Пли! — едва выговорил Палтов. Сухой треск ружей прорезал воздух. Раздались отчаянные крики... Красные знамена исчезли, толпа бежала в беспорядке. На улице остались лежать гимназист, та женщина, что размахивала муфтой и еще несколько человек. По всей улице были видны бегущие люди и слышались крики. Полицейский офицер появился из за толпы. Он был весел и счастлив. Румянец возвратился на его щеки. Он вызвал дворников убирать убитых и раненых и сердито кричал.

— Живо прибрать эту сволочь. Ах, мерзавцы, трусы паршивые!

— Вынь патрон! — командовал Палтов. Он тоже торжествовал. Его рота оправдала себя.

В шесть часов вечера пришло приказание идти в казармы. Отведя роту Палтов поехал домой. Обедать ему не хотелось, слишком он был взволнован, он прилег отдохнуть в кабинете на диване и крепко заснул. В десять часов к нему заглянула его жена.

— Что же, едем? — спросила она его.

— Ну, конечно, едем, — сказал Палтов и стал поспешно одеваться. На душе у него был праздник. Победа осталась за ними. Он чувствовал себя героем дня. Ехать в веселой компании ужинать и слушать цыган было теперь так хорошо и приятно.

XX.

Гриценко и Мацнев, наконец, приехали. Они опоздали потому, что решили объехать город, чтобы убедиться можно ли ехать. Саблин высказал им свои опасения.

— Ну, конечно, можно ехать, — сказал лениво Мацнев.
— От этих негодяев и следа не осталось.

— В театрах идут представления, — сказал Гриценко,
— я сам видал, как туда ехали.

— Это удивительная мерзость, придуманная господами социалистами, — сказал Мацнев. — Как ваши солдаты? — спросил он у Палтова.

— Великолепны. Такой залп — ни один не сорвал.

— И уложили много?

— Я думаю человек тридцать.

— А я, признаться, немного сомневался в ваших. В Семеновском полку восемь человек не выстрелило. Суду предают. Московцы и егеря совсем не стреляли, — сказал Мацнев.

— Сбиты с толка этим негодяем Гапоном, — сказал Саблин. — Несли хоругви, иконы, пели молитвы, чорт их знает галиматья какая то, ерунда. Откуда взялся этот поп?

— Хорош поп, — сказал Степочка. — Вы знаете их требования, я читал копию прошения Государю: — передача земли народу и отмена выкупных платежей: дешевый кредит. Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом.

— Ловко, — сказал Ротбек.

— Дальше лучше: — прекращение войны по воле народа.

— Это уже на японские денежки очевидно. Это тогда, когда мы подходим к победе, — сказал Гриценко.

— Но самое хорошее я запомнил — это: — ответственность министров перед народом, отделение церкви от государства, созыв учредительного собрания...

— Я сам видел на их знамени „долой самодержавие” — сказал Палтов.

— Что же это, революция? — спросила графиня Наталья Борисовна.

— Да, если хотите, — сказал Воробьев.

— И когда! Во время войны, — сказал Ротбек.

— Нет, каковы мерзавцы! — сказал Саблин, — но я уверен, что придумали не рабочие.

— Ну, конечно, нет, — сказал Мацнев. — Это работа социалистов. Это все наша интеллигенция, которая ищет чего то, жаждет чего то и сама не знает чего.

— Ваша фг'анцузская г'еволуция им головы вскг'ужила, — сказала Вера Константиновна.

— Ах, оставьте, в моей французской революции был Наполеон, — сказал Мацнев.

— А здесь — поп Гапон, — смеясь воскликнул Ротбек.

— И вы думаете, что все это кончено? — спросила Вера Константиновна.

— О, абсолютно, и навсегда, — сказал Палтов. — Пока есть наша прекрасная гвардия, пока солдат повинуется офицеру, а офицер верен Престолу, ничто не грозит России. Когда я скомандовал сегодня роте, я чувствовал, что я большой и сильный. Моя воля — была воля сотни людей. И сотни людей были, как послушная машина в моих руках.

— Ну так и едем, — сказал Ротбек. — Павел Иванович, все готово у тебя?

— Все. Программа такова, mesdames, две певцы — одна лирическая.

— Конечно, Моргенштерн, — сказал Саблин.

— Она, — со вздохом, нарочно потупляя глаза, сказал Гриценко.

— О! — воскликнула Нина Васильевна, — наконец то мы увидим вашу... вашу пассию!

— Другая французская.

— Она очень? — спросила Вера Константиновна.

Очень, — смеясь сказал Гриценко, — но во первых я сказал, чтобы она была легче на поворотах...

— Зачем? — наивно сказала Нина Васильевна.

— Во-вторых, mesdames, это будет на французском языке, а на французском языке многое прощается, чего нельзя простить на русском. Мы притворимся, что не понимает. Потом ужин. После, цыгане со Стешей и Сандро Давыдовым.

— Ах, как это будет интересно. Не будем терять золотого времени, — сказала Наталья Борисовна и первая пошла в прихожую.

Первоначальный план был ехать на тройке, но в силу обстоятельств от него отказались и Саблины поехали в своей карете, Ротбек в парных санях, Палтов на своем знаменитом буланом рысаке, Степочка с Мацневым на извозчике лихаче и Гриценко впереди всех на своей прекрасной одиночке Воейковского завода.

XXI.

В загородном ресторане их ждали. Швейцар распахнул перед ними двери и они вошли на широкую деревянную лестницу, покрытую красным ковром с черными разводами. Зеркала в золотых рамах отразили красивых раскрасневшихся от мороза дам и офицеров.

Вера Константиновна была смущена. Она не того ожидала. Ей представлялась в ее воображении сказочная роскошь, но этого не было. Роскошь была грубая, аляповатая, бьющая в глаза, безвкусная. Толстый бритый татарин лакей во фраке и белом жилете провел их по корридору, устланному широким ковром к отведенному для них кабинету. Пол кабинета был покрыт сплошным мягким ковром. Посередине был стол, накрытый для ужина. У окон были засушенные пальмы. Окна были плотно занавешены тяжелыми портьерами. Пьянино у стены, широкая оттоманка, покрытая ковром, с мутаками и подушками, стулья, кресла и пуфы все это придавало кабинету нежилой и неуютный вид. Дамы, презрительно морщась, осматривали обстановку. У дам была одна мысль: „Вот здесь наши мужья ищут забвения от нас с разными певичками и танцовщицами. Вот он знаменитый отдельный кабинет”. Они брезгливо клали свои шляпки на подзеркальник. „Кто, кто не клак сюда свои шляпки”, — думали они.

— Смотри Вера, — сказала Наталья Борисовна, — все зеркало мутное от надписей.

— Ах пг'авда. Сег'дце пг'онзенное стг'елою. Внизу А. С. Не ты ли это, Александр'?

— А тут, гляди Вера, кто то написал: — здесь был Мурчик, свеж как огурчик, а другой добавил — и глуп как осел! Какой душка!

— А здесь... Ой.... ой.... Нет, в самом деле!

— Mesdames, — сказал Гриценко, надписи на зеркалах и заборах вслух читать не принято. Раскроете чужие тайны. Что вы предпочитаете — провансаль к рыбе, или соус из белых грибков?

Ужин был заказан, но до него, чтобы согреться, Гриценко приказал подать чай и шампанское. Дамы запротестовали было против шампанского, но Ротбек уселся за пьянино и скверным фальцетом, бренча на клавишах, запел: — „по обычаю петербургскому, отдавая дань чисто Русскому, мы не можем жить без шампанского и без табора без цыганского!“...

Подали чай и шампанское. Разговор не клеился, офицеры стеснялись перед полковыми дамами и не могли взять верного тона, дамы нервно смеялись. Ждали начала обещанной программы. Пришла певица Моргенштерн. Все знали, что она живет с Гриценко, что это поздняя, но прочная любовь Павла Ивановича и ожидали от разборчивого жениха чего то особенно великолепного. Вошла скромно одетая в белое глухое платье барышня невысокого роста, с простоватым лицом, скрашенным большими синими, испуганными глазами. Гриценко и Ротбек бросились к ней.

— Александр Николаевич, — громким шопотом спросила у Саблина графина Палтова — как ей? Надо руку подавать?

Саблин пожал плечами. Выручил Мацнев. Он подошел к ней и представил ее дамам.

— Марья Федоровна Онегина — графиня Наталья Борисовна Палтова, Вера Константиновна Саблина, Нина Васильевна фон Ротбек.

Дамы обменялись с нею холодными рукопожатиями. Как то незаметно сзади представляющихся гостей к пьянино проскочил молодой, но уже лысый черный человек во фраке и взял несколько аккордов. Дамы уселись на оттоманке, брезгливо подбирая платья, офицеры кругом на стульях

и креслах. Наступила минутная тишина. Певица смущалась перед дамами, дамы безцеремонно разглядывали ее и перешептывались на ее счет.

— Люди всегда ищут противоположностей, — тихо сказала Вере Константиновне графиня Палтова — черный Гриценко и Онегина — совсем хорошенькая чухонка.

— И не хо'ошенькая вовсе, — сказала Вера Константиновна.

Певица показала глазами аккомпаниатору начинать и он взял несколько плавных аккордов.

Утро туманное, утро седое,
низким полным грудным голосом проговорила певица и безотчетная грусть засверкала в ее расширившихся куда то ушедших глазах.

Нивы печальные, снегом покрытые.

Нехотя вспомнишь и время былое.

Вспомнишь и лица давно позабытые.

Пела она хорошо, верно и вкладывала много силы в каждое слово. Но она нагнала тоску и задумчивость, а не этого хотели гости.

Вера Константиновна тихо мешала чай в чашке.

— Попробуйте, — шептал ей Степочка, — глоток шампанского и глоток чая, как самая лучшая конфета выходит.

— Ничего подобного, — тихо говорила Нина Васильевна. — Я пробовала, совсем монпасье.

Онегина кончила и обвела гостей печальными глазами.

— У г о л о к, — сказал Ротбек.

„Дышала ночь восторгом сладострастья, --

Неясных дум и трепета полна..“

— Какой вы нехороший, что так обманули ее, бедную, — шептала задорно блестя глазами Нина Васильевна на ухо Гриценко.

Любовь сильна не страстью поцелуя,

Другой любви вы дать мне не могли.

О, как же вас теперь благодарю я,

За то, что вы, на зов мой не пришли!

пела со страстным упреком Онегина.

— Как это вег'но, как это вег'но, — шептала Вера Константиновна Палтовой, но Палтова улыбалась и ничего не

говорила. Она думала другое. Гриценко почувствовал, что его „Муська” успеха не имела и проводил ее, за нею покорно как собака вышел и аккомпаниатор.

В кабинете было неловкое молчание.

— Эти романсы со слезою хороши, — сказала графиня Палтова, — но.... они требуют другого настроения.

— Ты Павел Иванович, не во время подал это блюдо, — сказал Мацнев. Она хороша, когда уже много выпито, когда грусть бороздит пьяное сердце и тянет плакать и мечтать, вот тогда и эти русалочки очи, и этот голос с надрывом в груди и слова печали и „Ах!” и „ох!” и „ой!” и „ай!” И страсти не надо после страсти, а перед страстью нам надо огня. Мы и так холодны.

— По обычаю Петербургскому, — снова запел уже без аккомпанимента Ротбек, — мы не можем жить без шампанского и без табора без цыганского!

— Оставьте Пик! — сказала Наталья Борисовна.

В эту минуту дверь кабинета распахнулась и живой розово-черный чертенок — как определила Нина Васильевна, вбежал в кабинет. Это была *diseuse* Jvette. Громадная копна черных волос была вся усыпана брильянтами и два тонких черных *esprit**) точно рога торчали из них. Узкое декольте длинным треугольником спускалось до середины живота спереди и до конца спины, покрытой у хребта маленькими темными волосами, сзади. Черный корсаж, обшитый кружевами, скрывал только бока и груди и от того она казалась совершенно раздетой. Черная, пышная, воланами, кружевная юбка едва доходила до колен. На юбку было брошено несколько красных роз. На ногах были шелковые, вышитые черными цветами ажурные чулки, такие ажурные, что местами нога выступала из них. *Mam'selle* Jvette ни с кем не здоровалась, но быстро каким то танцующим шагом пробегала между дамами и офицерами, чуть не садилась им на колени и говорила слова приветя. Она наполнила весь кабинет раздражающим запахом мускуса, рисовой пудры,

*) Украшение в волосах из перьев.

духов и острым запахом страсти. Вера Константиновна увидела, как от одного присутствия ее раздувались ноздри у мужчин и глаза стали масляными и... глупыми.

То стоя посередине кабинета, то разваливаясь на стуле, то хватая бокал шампанского и нервно делая глоток *Mam'selle Jvette* рассказывала живо, быстро, красиво грассируя, как пригласили гостей, как их принимали, угощали, провожали, а потом ругали. Рассказ был совершенно приличный и дамы были разочарованы.

— Где же тут очень? — спросила Нина Васильевна.

Сейчас, — сказал Гриценко. — *Mademoiselle Jvette*, „C'est ici", je vous en pris.*)

— Oh! — с ужасом воскликнула *Jvette* делая большие глаза и начала свой рассказ.

Теперь дамы закрывались салфетками и веерами, чтобы не видеть кавалеров. Им было стыдно своих мужей.

После рассказа, *Mam'selle Jvette* хлопнула в ладоши и тот же аккомпаниатор, что аккомпанировал Онегиной проскочил к пьянино. Она спела задорную песенку „*Les noisettes*.”**)

— Я никогда не думала, что смысл этой песни такой, — сказала Нина Васильевна.

— Ужас..., сказала Вера Константиновна.

— Как мужчины развратны! — протянула графиня Палтова.

Охмелевший Ротбек, заставлявший каждую даму пригубить особый бокал и потом выпивавший его напевал: *Ils queillirent six noisettes dans leur apres midi...***)*

— Саша ты бы мог так? А... *Six?****)* Я бы не мог.

— Оставьте вы, Пик. Вы съума сошли! — говорила графиня Палтова, — бедную Нину в краску вогнали.

— Петя, если ты не оставишь этого, — говорила со слезами на глазах Нина Васильевна, — я уйду.

*) — Госпожа Иветт „Это здесь”, прошу вас.

***) Орешки.

****) — Они после полудня нашли шесть орешков.

*****) — Шесть.

— Six! а каково! Ну quatre еще бывало, а то six... Экий здоровяго был этот Colin!

XXII.

За ужином было очень весело. Смеялись, шутили, рассказывали анекдоты.

— Нет, ради Бога, кричали дамы, — не ставьте точек над *i*, и так понятно.

И сейчас же ставили эти точки. Нина Васильевна разыгрывала из себя наивную и задавала совершенно невозможные вопросы. Теперь уже Ротбек, окончательно пьяный, останавливал ее укоризненными возгласами:

— Нина, постыдись!

Степочка был неподражаем. Саблин блистал анекдотами на Русском и на французском языках. Дамы раскраснелись и обстановка отдельного кабинета сделала их для их мужей какими то новыми и заманчивыми. Уже кончили есть мудреный пломбир и лакеи расставили стулья для цыганского хора, а хор все не шел. Метр д'отель два раза подходил к Гриценке и шептался с ним и Гриценко выходил из кабинета и возвращался красный и чем то недовольный.

— Что такое, что такое? — спрашивал его Степочка.

— Ерунда. Стешка отказывается петь. Говорит, что сегодня много народа убито.

— Ах, как глупо. Что она? Из таких? Левая? — спросила Наталья Борисовна.

— Просто дура! Да придет. Это, чтобы только кокетничать, да цену себе набавлять.

И действительно хор входил в кабинет. Впереди шли цыганки. Их было восемь. Все темные, черноволосые, некрасивые, с большими таинственными глазами, одетые в вычурные платья, смесь бальных с яркими цветами дикого табора, с черными кружевными накидками, сзади шли мужчины, кто в сюртуках, кто в коротких шитых цыганских куртках. Сандро Давыдов с гитарой на белой ленте выступил вперед.

Они сразу, одним своим появлением, внесли особый колорит в кабинет с разрозненным столом, с бутылками шам-

панского, торчащими из серебряных ваз со льдом, с фруктами и цветами. Пошлая позолота, красные ковры и темно-малиновые бархатные портьеры стали осмысленными и нужными. С ними вместе вошли целые столетия кутежей, пьяной страсти, дикого разгула и дикой безудержной любви. Оленьи глаза цыганок, тонкие носы, острые подбородки, говорили о ином мире и иных страстях. С ними вошли хмель и разгул и ушел тот цинизм, что принесла французенка. От страсти пахло кровью, от любви тяжелым надрывом, страданием и мукой.

Дамы разглядывали цыганок, цыганки смотрели на дам, смеялись и переговаривались между собою. Мужчины стояли сзади серьезные, важные и некрасивые. Толстый Сандро не походил на цыгана. Плешивый, бритый, он смахивал на актера.

Пара гнедых, запряженных с зарею,

Тощих, голодных, и жалких на вид..

начал Сандро красивым баритоном, аккомпанируя себе на гитаре.

Это было для начала. Хор вторил ему, тихо гудя и всем известный романс приобрел новый характер.

Сейчас же после раздалась лихая плясовая песня. Цыганки взвизгивали и вскрикивали, сначала пустилась танцевать одна, потом другая...

Песня шла за песней. В кабинете становилось жарко и душно. Сколько времени, никто об этом не думал. Степочка предложил открыть на минуту окно.

— Соса Гриша, соса Гриша

Ту сан барвалэ

пели по-цыгански цыгане.

— Что же Гриша, что же Гриша

Хот ты и богат,

А однако, а однако

Ты не честен, брат!

Любить вечно, любить вечно

Хоть ты обещал,

А цыганку, а цыганку

Замуж ты не взял,

Ай-ай-а-а-я-яй!

Мацнев оттянул портьеру. Бледное утро стояло за окном. Подняли штору. В окно были видны большие черные деревья, маленькие деревянные дачи, клумба с деревянным столбом, на котором был стеклянный серебряный шар и на всем этом толстым слоем лежал пушистый белый снег. Мутный свет утра освещал землю. По пустой улице проехало рысью трое чухонских саней с закутанными в серые большие платки чухонками. В город везли молоко.

Открыли форточку и в душный кабинет вместе с паром ворвался крепкий запах свежести, мороза, снега и утра.

— Не простудите только дам, — сказал Степочка.

В окно вдруг донесся обрывок стройной величественно печальной песни. Все вздрогнули и прислушались. Цыганки сорвались со стульев и бросились к окну. Песня становилась слышнее и громче. На лицах у дам был испуг. Нина Васильевна забилась лицом в угол оттоманки, Вера Константиновна встала и оперлась на мужа. Все смотрели в окно.

В улицу медленно входила громадная черная толпа народа. Над нею тихо колебалось четыре гроба, простых, дощатых, убранных красными лентами и бантами.

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу
Вы отдали все, что могли, за него.
За жизнь его, честь и свободу!

пела толпа молодыми мужскими и женскими голосами.

— Хоронят жертвы революции, — низким грудным голосом сказала Стеша. — Ваши, господа, жертвы! — и дико вскрикнув бросилась из кабинета.

За нею стал выходить хор.

— Что такое? Что такое? — говорил Степочка.

— Увозите дам, я рассчитаюсь за все, — сказал Гриценко.

— Какая м-м-мерзость! — проговорил Мацнев.

— Думают что то показать, — сказал Саблин, подавая ротонду на соболях своей жене.

Ротбек и Палтов одевали своих жен. Нина Васильевна тихо плакала. Вера Константиновна была бледна, графиня Палтова нервно смеялась.

— Хамы! — сквозь смех говорила она. — Отреклись от Бога, от религии и довольны! Жертвы! Борьба! О Боже мой! Мало их казнят.

Толпа удалялась. Никто не закрыл форточку и вместе с утренним морозным воздухом в кабинет долетали слова волнующего душу напева:

Настанет пора, и проснется народ
Великий, могучий, свободный!
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Ваш доблестный путь — благородный!

— Этакие мер-р-р-завцы! — стиснув зубы проговорил еще раз Мацнев.

XXIII.

16-го октября 1905 года Саблин во главе двадцати конных солдат въезжал во двор большой фабрики на окраине города. Моросил мелкий, как самая тонкая пыль холодный дождь. Во дворе фабрики выстраивались казаки, которых Саблин приехал сменить. Рослые люди выводили из сарая легких гнедых лошадей и становились в две шеренги. Молодой подъесаул с небольшой серебрящейся от мелкой капли рыжеватой бородкой стоял у подъезда под железным зонтом и дожидался Саблина.

— Нашли нашу дыру, штабс-ротмистр? — сказал он, здороваясь с Саблиным и представляясь ему. — Глупое место. Тут совсем тихо и никакой забастовкой не пахнет. Работают больше женщины. А между прочим вы очень уютно проведете время. У вас уголок в конторе — и конторщица — просто прелесть и такая монархистка — один восторг. Вот обедать придется у управляющего. Стеснительно немного, но управляющий такой славный швед, так хорошо кормит и так сам любит покушать, что всякая неловкость пропадает. Между прочим очень образованный и просвещенный человек.

Взводный казачий урядник показал унтер-офицеру Саблинского взвода куда и как поставить лошадей. Казаки садились на коней.

— Ну, между прочим, до свиданья. Счастливо. По не-
лепой и неприятной для меня случайности я же вас и сме-
няю завтра. Весь наш полк в разгоне, на прошлой неделе я
трое суток подряд просидел на Путиловском заводе. Парши-
вая штука, но ничего. Рабочие бастуют, но нас не обижали.
Глупо это все.

Подъесаул легко вскочил на свою лошадь и поехал в
ворота впереди казаков. Саблин посмотрел, как проскаки-
вали, стуча по мокрым камням казаки в ворота, посмотрел
как завели лошадей в сарай его солдаты и стал подниматься
по узкой каменной лестнице в контору.

Контора представляла из себя большую в три окна ком-
нату со стенами, покрашенными масляной краской. В ней бы-
ло пять столов. За тремя сидели какие то очень молодые
вихрастые и прыщавые люди в пиджаках и писали, шелка
на счетах, за четвертым миловидная шатенка, немного ра-
стрепанная, с непокорными локонами набегавшими на лоб,
на уши, на щеки и на глаза. Нос у ней был задорно вздер-
нутый, губы пухлые, полуоткрытые, влажные, зубы пре-
красные мелкие, небольшой подбородок с ямочкой и боль-
шие, смелые, карие глаза, опущенные длинными черными
ресницами. Пятый стол был предоставлен Саблину. Саблин
поклонился общим поклоном.

— Здравствуйте, господин офицер, — быстро заговорила
шатенка. — Как мы рады, что вы пришли. Мы так боялись,
что останемся без войск и Борис Николаевич, это казачий
офицер, все нас пугал, что он уйдет, не дождавшись смены.
А вас как зовут?

— Александр Николаевич, — сказал Саблин.

— Вот это, Александр Николаевич, вам стол. Если хо-
тите книгу, я вам дам. Только не знаю понравится ли она
вам. Князь Серебряный. Какое хорошее у вас
имя, Александр Николаевич! А меня зовут Анна Яковлевна,
только я больше люблю, чтобы меня звали просто — Нелли.
Вы любите театр?

— Да, — сказал Саблин.

— Я очень. Обожаю. И, знаете, всякий, оперу, балет,
но драму больше всего. В художественном театре я видала

„Три сестры”, ах какая прелесть, или у Суворина „Царь Феодор Иоаннович” с Орленевым. Я не знаю, что лучше. Чехов мой любимый писатель. А вам кто больше нравится Чехов или Горький?

Вопрос остался без ответа.

— Но теперь с этими забастовками стало ужасно трудно. Кому нужны эти забастовки? Кто от них выигрывает? Знаете, наш завод ни одной минуты не бастовал. От этого на нас так злятся все кругом. Сюда приходили студенты, нас как то обзывали, ну да мы их выгнали сами, а потом к нам казаков поставили. И какой милый этот Борис Николаевич, просто прелесть. Деликатный такой.

Сторож принес на подносе чай и хлеб с маслом. Он поставил на каждый стол по стакану, принес и Саблину. Саблин отказался, но Анна Яковлена настояла, чтобы он взял.

— Пейте, кушайте на здоровье. Это от хозяина. Обедать вы к управляющему пойдете. Оскар Оскарович зовут его, чудесный человек. Такой занятный и очень умный, — сказала она.

Саблин слушал эту болтовню, а сам, не раздеваясь, сидел у окна и посматривал во двор. Двор был маленький узкий. Против окон был низкий сарай крытый железом. Коричнево красная крыша блестела от дождя. За сараем были черные огороды, на которых уныло торчали кочерыжки, еще дальше мокрые бурозеленые набухшие дождем поля, вдали чернел густой лес. Туман застилал дали, поезд прорезал поля и густой белый пар сначала шел большими клубами, а потом разрывался и низко летел над темной землей. Все было сыро, серо и безотрадно грустно.

Какой то человек в черной мягкой фетровой, блестящей от дождя шляпе и черном мокром пальто заглянул с улицы во двор, постоял в нерешительности и потом вошел и пошел к сараю. Из сарая вышел солдат Кушинников. Саблину было видно его круглое лицо с черными усами; он был без шинели в расстегнутом мундире. Он стал, опершись о притолку двери, и закурил папиросу. Саблин залюбовался им, так он был красив. Человек в черном подошел к нему и заговорил. Кушинников слушал внимательно. Человек в чер-

ном достал из бокового кармана листочек и они стали вместе читать. Кушинников смеялся. Потом взял листок и ушел в сарай. Человек в черном быстро ушел со двора.

— Это он ему прокламацию передал, — подумал Саблин и поспешно вышел во двор.

На дворе уже никого не было. Он вошел в сарай. В сарае стояли поседланные лошади и мирно жевали сено. В дальнем углу дремал дневальный. Саблин приказал позвать к нему взводного и Кушинникова. Взводный явился заспанный, недовольный, он уже успел заснуть. Кушинников пришел сейчас и смело, ясными серыми глазами смотрел в глаза Саблину.

— Кушинников, — сказал Саблин, — здесь сейчас был вольный, штатский человек и передал тебе бумажку. Где эта бумажка? Дай мне сейчас ее.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, никакой бумажки я не видал. Никого здесь и не было, — сказал, бледнея, Кушинников.

— Зачем ты лжешь! — сказал Саблин. — Зачем!? Я видел. Ты вышел к дверям сарая и закурил папиросу. К тебе подошел вольный в черном пальто и дал бумагу. Вы вместе читали, ты смеялся, потом ушел.

— Никак нет, — сказал Кушинников. — Этого не было.

— Что же я лгу что ли?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие, только никакого вольного я не видал. Вот хоть под присягу пойду сейчас.

— Ах ты каналья! Лгать! Я под суд тебя отдам!

— Воля ваша, — покорно сказал Кушинников.

— Обыскать этого негодая.

Взводный вывернул карманы, залез за пазуху, но нигде ничего не нашел.

— Ничего нет такого, — сказал взводный.

— Осмотрите все помещение, а этого негодая арестовать и отправить в полк. До моего приезда содержать на гауптвахте. Лгать! Получать прокламации...

— Никак нет, ваше высокоблагородие. Я под присягу сейчас. Воля ваша. Вы засудить можете, вы офицер, — говорил ставший бледным, как полотно Кушинников.

— Молчать! — крикнул Саблин.

На дворе, привлеченные шумом, собрались рабочие и работницы. Саблин сдержался и пошел в контору. Кровь кипела в нем от негодования. Он ошибиться не мог. Проверил себя, Кушинников ли это был? Да, Кушинников. Он отлично помнил, что подумал какой это типичный Русский солдат, так и просится на картину... Впрочем, подумал он, у меня есть свидетели. Двое писцов и Анна Яковлевна сидели у окон, неужели никто из них не видал штатского с прокламацией. Он поднял голову к окнам. Вся контора была у окон. Она интересовалась тем, что происходило на дворе. Она и тогда не могла не видеть происшествия.

— Господа, — сказал он войдя в контору — Минуту тому назад во двор вошел штатский и разговаривал с солдатам, вы не видали?

— Мы ничего не видали, — сказал за всех пятнадцатилетний юноша, садясь за свой стол.

— Мы не смотрели в окна, — подтвердил и его товарищ.

— Анна Яковлевна, а вы, неужели и вы ничего не видали?

Анна Яковлевна смутилась. Ее милое лицо стало пунцовым.

— Я не смотрела в окно, Александр Николаевич, я разговаривала с вами. На дворе так неинтересно. Может быть, кто и приходил. Я не заметила.

Саблин по их глазам видел, что они все видели, но все держали сторону солдата и того черного, потому что боялись их, а его, офицера, не боялись. Ему стало противно. Он снял амуницию, шинель, повесил на вешалке против своего стола и сел на стул. Он достал книжку французского романа, привезенную с собою и сделал вид, что читает ее. Писцы шелкали на счетах и скрипели перьями по бумаге. Анна Яковлевна вздыхала. Наконец она отважилась.

— Что вы читаете, Александр Николаевич? — спросила она.

— Книгу, — ответил он.

— Ах я очень люблю читать книги. Только мне современная литература нравится меньше, нежели старая. Я ничего так не обожаю, как *Обры* в Гончарова. А вы, кого предпочитаете Леонида Андреева, или Тургенева?

Саблин не отвечал. Писцы фыркнули и громко защелкали на счетах, Анна Яковлевна покраснела и углубилась в громадную конторскую книгу, но молчать она не могла.

— Вы знаете итальянскую бухгалтерию? — спросила она.

Саблин опять не отвечал. Писцы снова фыркнули. Анна Яковлевна надулась. — „А мне что до нее”, — думал Саблин, — чорт с нею совсем!”

XXIV.

В три часа все ушли. Писцы не кланяясь и не прощаясь, Анна Яковлевна, протянувши маленькую ручку дощечкой и жеманно сказавши: *au revoir**) до завтра!

В конторе зажглась одна лампа под зеленым абажуром на столе у Саблина. Сторож подметал комнату и открыл форточку. За окном без занавеси сгущались осенние сумерки непогожего дня. Фабрика мерно стучала и весь корпус ее тревожно трясся.

В шесть часов за Саблиным пришел сторож.

— Господин управляющий просят вас обедать. Я вас провожу.

Заметив, что Саблин потянулся к амуниции он добавил: это здесь оставьте, не извольте беспокоиться, все будет сохранно.

По лестницам и корридорам он вывел его к двери, открыл ее и Саблин очутился сначала в большой светлой, пахнущей лаком прихожей, а потом в кабинете, где навстречу к нему на низких толстых ногах как бы подкатился маленький лысый человек, бритый и пухлый с заплывшими жиром глазами.

— Рад, сердечно рад принять вас, — говорил он, пожимая теплой, мягкой рукой с толстыми, жиром налитыми

*) До свидания.

пальцами руку Саблина. — И прошу покорно сразу в столовую, все готово. Старка нас ожидает.

Он говорил по-русски отлично, с едва заметным акцентом.

В столовой было тепло. Ярко горели дрова в громадном камине, висячая лампа с абажуром освещала безупречной чистоты стол, со скатертью с накрахмаленными складками, накрытый на два прибора. Громадный жирный копченый сиг, бледно розовая семга, нарезанная тонкими ломтями, белые грибы в соусе, сосиски, ветчина покрывали стол.

— Я люблю, господин ротмистр, покушать, — говорил управляющий, наливая в толстые хрустальные рюмки желтоватую водку. — И не так выпить, как именно закусить и покушать. Я швед. У нас тоже этот обычай, что и в России перед обедом немного заморить червячка, раздражить аппетит. Сига рекомандую особо. Сам за ним на Неву ездил, сам выбирал и приказал закоптить. Сливки, а не сиг.

Оскар Оскарович положил покрытую прозрачным слоем жира спинку сига на тарелку Саблина. Сиг был очаровательный.

— И семгу рекомандую. Я любитель нашей северной рыбки, — говорил Оскар Оскарович, наливая по второй.

Радушие хозяина, водка, закуска, треск больших поленьев в камине, уют столовой, радушный жирный человек, совсем чужой — прогнали черные мысли Саблина и он с аппетитом ел простой, но вкусно изготовленный обед.

После обеда оба закурили сигары. Саблин хотел было встать, но Оскар Оскарович удержал его пухлой рукой и подкатывая кресло к камину сказал:

— Посидите, господин ротмистр. У меня на заводе все спокойно. Да и вообще все эти забастовки, рабочие беспорядки все это вздор, это неумение правительства понимать обстановку. Бьют по оглобле, а не по лошади. Это все политика, имеющая целью уничтожить в России православие и самодержавие и поработить Россию. Сделать Русских рабами.

— Как, Оскар Оскарович, но революция идет к нам под знаменем свободы, — сказал Саблин.

Оскар Оскарович положил горячую мягкую руку на колено Саблину и, пыхнув засипевшей у него во рту сигарой, сказал:

— Вы знаете, что такое интернационал?

— Слышал что то, но не знаю, — сказал Саблин.

— Эге. И слава Богу, что не знаете. О нем разное толкуют. Видят в нем нечто высшее нежели христианская религия. Обще человеческое. Хотят создать не государство, не нации, а что то особенное, обще мировое, ну, словом, Вавилонская башня какая то наизнанку. Да... Но только я смотрю на это иначе. Я не знаю, господин ротмистр, верующий вы или нет человек, но мне кажется, что интернационал это есть учение Антихриста. Это начало конца мира и гибель культуры. Наше правительство близоруко и не видит его зла. Ему говорят: восьмичасовой рабочий день, участие рабочих в управлении предприятием, доступ рабочих к управлению государством. Отлично. Все это не так страшно. Но почему рабочих, а не крестьян?

— Они всех допускают, — сказал Саблин.

— Нет, господин ротмистр. Если бы всех, мы могли бы бороться. Они только себя допускают. Всеобщая, прямая, равная и тайная — построена для них. Надо знать их вождей, чтобы понять всю опасность такого голосования. Судите сами. Всеобщее, прямое, равное, тайное... Вы пойдете? нет. Потому что вам это противно. Купец пойдет? Нет, потому что лень. Крестьянин пойдет? — нет, потому что некогда, да и далеко ехать с хутора, или из деревни. И ведь тайное, тайное! Поймите страха то сколько в этом слове. Кто же пойдет? Пойдут бездельник, пролетарий, хулиган, бездомный, безродный и никчемный. За кого подаст он голос? За того, за кого ему укажут. Он проголосует список вождей, указанных партией, а партия настроена и приготовлена за границей. Им нужна прежде всего амнистия, чтобы все эти агенты сатаны могли прибыть и работать. Вы мне сказали слово свобода. Вернее вы его повторили. Что такое свобода? Понимаете ли вы это слово? Свобода от чего?

— Свобода собраний, слова, стачек, неприкосновенность жилища и личности, так говорят они, — сказал Саблин.

— Отлично, отлично. Но разве этого нет? Разве вы не можете собраться в театре, в церкви, на сходке, в клубе, просто у себя, на балу. Вам мешают только собираться для разрушения, для убийства, для казни. И разве это неразумно? Разве можете вы тронуть, или оскорбить последнего нищего? Предусмотрено уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Нет, господин ротмистр, им нужна другая свобода.

— А вы знали их вождей?

— Видал-с. Не далее как два месяца тому назад был я по делам нашего предприятия в Швейцарии. Там я встречался с неким Коржиковым. Страшная личность.

Саблин вздрогнул и насторожился.

— Как вы назвали его?

— Коржиков. А вы слышали про него?

— Нет, — глухим голосом сказал Саблин, — так что же этот Коржиков?

— Я не говорю про самого. Он у них подручный, так сказать, не посвященный во все тайны, но у него есть мальчик девяти лет, которого он воспитывает. Представьте себе малютку с лицом херувима. У итальянских художников есть такие головки. Может быть, вы в Эрмитаже видели картину Рейтерна, в Русской школе, жертво-приношение Авраама. Так вот там у Ангела такое лицо. Ах, господин ротмистр, посмотришь на этого малютку раз и всю жизнь его будешь видеть.

— Откуда у него этот мальчик? — спросил Саблин, опустил свою голову на ладони и устремил глаза на красные головни в камине.

— Сын его.

— Сын? Коржиков женат?

— Он овдовел. Жена, — говорят, это была писаная красавица, родила сына и умерла. И сын то говорят не Коржикова, а плод любви несчастной...

Оскар Оскарович замолчал. Он тщательно раскуривал потухшую сигару.

— И ваша потухла. Не хотите ли другую. Настоящая гаванна.

— Ну так что же сын? От кого же этот сын? Как звали его мать?

— Не знаю. Дело не в матери, а в том, как Коржиков этот воспитывает своего сына. Мальчик не знает совсем Бога. Когда он видит храмы, иконы, Коржиков, толкует ему их так, как толкуют какую-нибудь греческую мифологию. У мальчика нет иллюзий. Он знает, как он родился и ему внушено, что души нет, что „Я” уничтожается со смертью, а потому все позволено, потому что нет будущей жизни, нет ни награды, ни наказания. Мальчику девять лет — он возвращен до последней степени, он нагл, он резок до противного. Это будущий бес — антихрист.

— Вы его сами видали?

— Да. При мне он изподтишка подбил камнем ногу богатой девочки англичанки. Он резал ножом котят и выковыривал им живым глаза. Я сказал отцу. Комкает свою паршивую рыжую бородку и смеется. „Пусть” — говорит „приучается к крови. Победит тот, кто сможет дерзать. А ему придется дерзать”. Вот господин ротмистр, какие люди будут в Россию революцию. Вы думаете Гапон писал свое воззвание и письма к Царю? Нет, это все сделано там, где хотят разрушить весь культурный европейский мир, довести народ голодом до отчаяния и тогда поработить его и создать свое царство, царство Сатаны. Коржиков говорил мне откровенно и смело: — „у вас три кита, на которых держится ваш христианский мир: вера, надежда и любовь. Нам надо разрушить веру и доказать, что Бога нет, нам надо надежду заменить отчаянием и любовь сначала классовою, а потом всеобщую ненавистью”. Я говорю ему, что люди обратятся тогда в животных, станут ютиться по пещерам и избегать друг друга. „Во — во” — говорит он, — „это то нам и нужно. Ибо мы останемся... А рабочие, что рабочие — это рабы. Их взяли как орудие, как темную силу, как пушечное мясо”. Социалисты не понимают этого и работают на них. „Социалисты Русские” — сказал мне Коржиков — „это послушные идиоты, это Маниловы, мы их дразним

красным платком, и они идут на плаху. Все эти Рысаковы, Желябовы, Коляевы это наши рабы". Трудно, господин ротмистр, правительству. Оно всегда на пять минут опаздывает. Конституцию надо было дать при воцарении Императора Николая II — тогда Дума и ответственное министерство, самое слово конституция разрушило бы работу этих бесов — ее дают завтра, когда она завоевана забастовками и мятежами и вырвана у правительства. Ах, господин ротмистр, они сильнее нас. С ними зло, а зло сильнее добра.

Оскар Оскарович замолчал. Его сигара мерно попыхивала, сам он сопел.

— Что бы вы предпочли, господин ротмистр, к ужину — отварную осетрину в шампиньонах и белом соусе, или белых куропаток с брусничным и клюквенным вареньем? Есть и то и другое.

— Вы меня простите — сказал Саблин, вставая, — если я откажусь от ужина. Мне немного нездоровится. Я бы пошел к себе и пораньше лег спать.

— Промокли верно, как сюда ехали, а может быть, я надоел вам своею болтовней. А знаете, — я вам пошлю и того, и другого, бутылку согретого Бургундского. На ночь покушаете. Уже больно хороша осетрина и жирны куропатки. Сам покупал. А мне доставит такое удовольствие сознавать, что и вы кушаете.

XXV.

Станный вид представляла из себя ночью эта большая комната с пятью столами и тремя окнами без штор и занавесок. Саблин погасил лампу, стоявшую на его столе. В углу была поставлена ему постель и умывальный столик. Но спать он не мог. Внизу за окнами, на дворе тусклым красноватым светом горел фонарь. Дождь перестал, подморозило, грязь и лужи затянуло льдом. Наверху небо сияло звездами и месяц ясно светил. Влево видны были белые стены кладбища и постройки Новодевичьего монастыря. Там кое-где мигали огоньки неугасимых лампад на могилах. Пря-

мо были огороды, кочерыжки капусты и поля; он присмотрелся к ним утром. Над головою жужжала и стучала тысячью станков фабрика. Работала ночная смена. Монотонный ровный шум был хуже всякой тишины. Он будил воспоминания, тревожил совесть и призраки прошлого вставали из глубины. На столе, освещенном луною, стояли тарелки и блюда, бутылка вина и чайный прибор. Саблин ни к чему не притронулся. Постель свежим холодным бельем манила тело, уставшее быть целый день в мундире, но Саблин не думал ложиться. Он ходил взад и вперед по комнате и смотрел как мелькала по стене его тень, отброшенная лунными лучами. Иногда он останавливался у окна, заложивши руки за спину, и долго вглядывался в серебристую мглу лунной ночи.

„Мой принц! Мой принц!“ — слышался ему звенящий, будто из загробного мира несущийся голос и он видел прекрасное лицо с лучистыми громадными глазами и рядом в кресле маленького красного паучка. Своего сына. „Отчего он не подумал о том, что это маленькое, противное существо его сын? Отчего не взял? Прекрасный, как ангел на картине Рейтерна, и злобный и жестокий, как дьявол! Сын его и кроткой Маруси. Но мог ли он тогда его взять? Что стал бы он делать с ним на своей квартире, куда девал бы, куда отвез? Раскрылась бы тайна Маруси и оскорбления нанесенного Любовиным“.

Саблин ерошил свои волосы. „Нет... Тогда это было невозможно. Да и Коржиков бы не отдал ему сына. Не драться же из-за него! Не судиться, да и как судиться, когда закон на его стороне. А вскрывать всю тайну зарождения этого младенца было невозможно. И вот, там где то, на чужбине, в далекой Швейцарии, растет его сын. Оскар Оскарович сказал, что он не крещен, но что его назвали Виктором, так как он должен победить мир. Сын Виктор. Ему теперь идет десятый год. Поехать в Швейцарию, привезти его сюда. А что скажет Вера Константиновна? Это значило бы разрушить все свое семейное счастье. Николай, Татьяна и Виктор. Воспитанный в безверии и глубоком цинизме, приученный к крови брат его прекрасного Николая и кроткой, сердечной

Тани!? Да и опять на дороге стоял Коржиков и, если тогда он не отдал, то как отнять от него теперь? Как доказать? Ну допустим, что за большие деньги ребенка выкрадут и привезут к нему”.

— „Вера, — скажет он, — это мой сын. Внебрачный”. И вся история Маруси, Любовина, оскорбления, которую наконец то удалось забыть, выплывет снова.

Глухо шумела и стучала тысячью станков фабрика и содрогался ее флигель. Мерцали огоньки лампадок на кладбище, желтым пятном печально горел на дворе фонарь. Непохожая на жизнь — уродливая и искусственная суета шла кругом него. Громадный город жил и копошился, как комок червей в жестянке. В каждом доме, в каждом темном или светлом окне совершалась тайна. Люди жили. Люди думали. Люди страдали. Вдруг длинная страшная вереница самоубийств показалась Саблину во тьме холодной ночи. Это Петербургская ночь, каждый час уносит новые жертвы. Мы узнаем о них из полицейских протоколов, мы не видим их, потому что они таятся от людей и умирают одни. Саблину почудилось, что он видит темный сарай на втором дворе, заставленный старою ненужною мебелью, диванами с вылезшей из обивки мочалой, трехногими стульями с прорванным сиденьем, мокрыми склизкими сырыми дровами, и среди этого хлама старик, мостящийся к балке, чтобы привязать веревку и сделать себе петлю. О! какой ужас, какой холод должен быть у него на душе в эти грозные минуты расставанья с жизнью... Ему казалось, что он видит девушек в платках, бегущих к темным водам грязных каналов и стирающих руки над омутом. Что видят они в эти страшные минуты в темной глубине? Он видел маленькие комнаты грязных гостинниц или меблированных квартир на окраине города, чад и копоть, лоскутьями ободранные обои и юношу с револьвером в руках. Ему казалось, что во тьме ночи он различает деревья громадных парков. Они стоят голые, без листьев, черные. Кривые сучья переплелись во мраке и на них висят вытянутые тела юноши, или девушки. Ему грезились скамейки у самой воды, на которых уснули вечным

сном отравившиеся. Призраки ночи неслись, обступали, тянули его к себе и за собою.

„Что твоя жизнь”, — говорили они ему. — „Позор и мука! Как совместишь ты Виктора, воспитываемого, как анархиста и твою богатую жизнь с Верой? Не заблуждение ли это? Не живешь ли и ты призраками и только не видишь их, а мы увидали и поняли, что такое жизнь и ушли из нее”.

Лукаво мигали лампы на монстырском кладбище и тени мертвых манили в свой холодный покой. „Вера, Царь и отечество” — шептали ему они. „Мы поняли, что ничего этого нет. Вера в Бога. Но Бога нет, потому что, если бы был Бог, то было бы и чудо. Ну вот, ну вот! Помолись горячо! Устреми свои взоры туда на югозапад. Там Швейцария. Там Коржиков и твой сын. Ну, молись: Господи, покажи мне его! Господи, со всею силою своей веры я молю Тебя, протяни мой взор далеко, пусть своими глазами увижу во тьме ночной образ того, кто от меня родился”. Саблин ждал. Ему казалось, что чудо будет.

Раздвинется сумрак холодной октябрьской ночи и, как на экране волшебного фонаря, он увидит лицо своего сына. Ведь есть же какие-либо нити, которые связывают их незримыми путями. А, если нет ничего, то нет и Бога. Но стояла серебряная ночь, кротко мигали тихие звезды, блестела замерзшая крыша и желтый фонарь внизу говорил о томящей и вечной скуке.

Нет, Бога нет. А, если Бога нет, то во что же верить?

Отечество, состоящее из людей, подобных Коржикову, людей пишущих прокламации и развращающих народ. Бастующие рабочие, поп Гапон, это отечество? Любить этих глюнов, любить Кушинникова, как это глупо!

Но оставался Царь. Он предстал перед Саблиным во всем своем царственном блеске и великолепии и стоило жить за Него. Царь-семьянин, со своею прекрасной женою и прелестными детьми. Уют своей семьи, нежные чистые ласки Веры Константиновны, Коля и Таня, такие прекрасные вдруг встали перед ним и прогнали призраки. Ему представилась спальня его детей, громадный образ Божией Матери и лампадка перед ним. Ради них, ради них...

На стене висели его шашка и револьвер. Было темно. Только свет фонаря на дворе тускло и скупое входил в комнату, а Саблин видел револьвер. Почему револьвер? Не знамение ли это? Не ответ ли Господа на дрезкий вызов его? Возьми, решишь, дерзай и ты увидишь чудо.

Саблин вспомнил барона Корфа с простреленною грудью в гробу. Как холодно и презрительно было его лицо! Он точно узнал что то важное. Там узнал. Здесь все будет то же самое. Муки совести. Сын Виктор анархист и хулиган, в котором течет благородная кровь Саблиных, оскорбление Любовина, Кушинниковы, забастовки и крики толпы: — опричники!..

Ему рассказывал граф Палтов. Молодой офицер пехотного полка вел караул. Какой то рабочий подбежал к нему, с размаха ударил по лицу и убежал. Караул ничего не сделал. Офицер растерялся. Он явился командиру полка, ничего не сказал о происшествии, пришел домой, лег на диван и провалялся до глубокой ночи. Ночью он застрелился. Солдаты рассказали о том, как ударил их офицера рабочий. Их спросили, почему они не задержали рабочего? Одни сказали: — мы не смели сделать это без приказа, другие: — мы шли караулом и думали что нельзя выйти из строя, третьи прямо сказали: это дело его благородия, нас не касается. Большинство тупо и мрачно молчало. Граф и графин Палтовы и те гости-офицеры, которые были у них, считали, что офицер иначе поступить не мог.

А Саблин после оскорбления Любовина живет.

„Мне отмщение и Аз воздам!“

Встает эта месть. Из туманного далека сверкают наглые глаза мальчика, прекрасного как ангел. Мечь идет оттуда.

Холод прошел по спине и мурашками пробежал по рукам и ногам.

— Боишься?

Саблин твердыми шагами подошел к стене и вынул револьвер из кобуры.

— Я ничего не боюсь, сказал он сам себе.

„Нет, ты трус!” — ответил тот же голос. — „Дерзай! И ты увидишь, что нет ни Бога, ни вечной жизни. Ничего не будет. И твоего „я” не будет”.

Саблин чувствовал это „я” всеми уголками своего тела. Нет, это невозможно, чтобы „я” пропало. Он посмотрел на кладбище, где чуть светились огоньки лампадок. За кладбищем были стены монастыря и оне казались белее. Ночь проходила.

„Ну! пока не поздно!”

„А зачем?” — спросил Саблин сам себя.

„Затем, чтобы не мучиться из-за сына Виктора, не страдать за Родину, забыть всех этих Любовиных, Кушинниковых, всю эту грязь жизни”.

Саблин разглядывал револьвер. Он блестел ярко никелированный и, казалось, манил испытать свою силу.

— Собственно из-за чего я? Фу! Как глупо! Можно ли так поддаваться нервам. А ведь другой с меньшим равновесием в нервах, может быть и дерзнул бы. Мы балансируем на канате над пропастью. Один неверный шаг и кончено...

Саблин положил револьвер обратно и подошел к окну.

Ясный белесоватый день нарождался. Кочерыжки блестяли на косых лучах проглянувшего из-за земли солнца. Фонарь уже не давал света, но глядел желтым пятном. Никого нигде не было.

— Есть, есть Бог! — прошептал Саблин. — Да воскреснет Бог и расточатся врази Его! Боже, избави меня от беса полунощного!

Что то ухнуло над ним, заревело странным гулом, затопотало, затарахтело тысячью ног, сбегавших по лестнице и загомонило людскими криками. Саблин схватился за сердце. Фабричный гудок ревел густо и надоедливо, в ушах звенело. Смена рабочих и работниц с криком и шутками наполняла двор. Ночная смена кончила свою работу. Ден вступал в свои права.

XXVI.

Саблин получил по телефону приказание снять охрану и возвращаться в казармы. Была объявлена конституция, дарована свобода совести, личности, сходок, народ получил то, чего он так добивался.

Солнце тускло сверкало с бледного неба и растопляло лужи. На тротуарах и мостовой была грязь. Толпы народа, по праздничному, ходили по улицам и собирались в кучки. На домах развевались флаги, кое-где над толпою реяли красные тряпки и раздавалась исковерканная марсельеза. Полиция ходила равнодушная, пришибленная, она была побеждена. Саблин со взводом чувствовал себя глупо. Он был ненужным и лишним в ликующей толпе.

— Да здравствует армия! — кричал какой то уже подвыпивший мастеровой.

— Опричники! — несло с другого угла.

Толстый купец на легкой одиночке обгонял взвод.

— Кормильцы наши! что то теперь будет. Не выдавайте, родимые! — воскликнул он, махая Саблину бобровой шапкой.

У Саблина на душе было смутно. Его поразила неожиданность манифеста. Три дня тому назад Саблин видел Государя в Петергофе. Государь не шел ни на какие уступки. Он считал, что Он не вправе отказываться от самодержавия из за сына. Сам Он ничего себе не желал. Готов был удалиться совсем, но сына Он не хотел лишиться чего бы то ни было. Великий Князь Николай Николаевич был растерян. Он не ручался за войска. Саблин видел во дворце генерала Пестрецова. — „Помяни мое слово, Саша”, — сказал ему Пестрецов, — „как Сергей Юльевич укажет так и будет. Россия уже во власти масонов. История повторяется. Был Царь Феодор Иоаннович умный, кроткий, богобоязненный Царь и был правитель Годунов. Мы нажили себе своего Годунова. Он из Америки вывез не только позор Портсмутского мира, но кое что и много похуже!”...

Но Саблин твердо помнил, что и Витте и Государь были против конституции. Приехав домой и переодевшись Саблин схватился за газеты.

Да... Манифест был. И свободы были. Но оставались золотые для Саблина слова: „Божиею милостью, Мы... Самодержец"... Пока Царь милостию Божиею, все эти свободы не страшны. Саблин читал дальше о свободе печати, собраний, совести, личности, о созыве Государственной Думы.

Краска залила его лицо. „Но ведь это обман”, — подумал он... „Обман, подписанный именем Государя. Как мог Он это подписать?”

„А очень просто. Ему принесли манифест готовым и сказали, что его нужно подписать для блага народа”.

— „Для блага народа? — сказал Государь и поднял свои прекрасные глаза на докладчика”. О! Саблин как бы видел это, видел чудный блеск серых больших глаз, твердую руку медленно и четко выводящую свой характерный росчерк. Государя обманули. Саблин почувствовал, как еще пустее стало в его сердце. Разочарование в Царе закопшилось в нем. Феодор Иоаннович! Он слышал часто, как сравнивали Государя с Царем Феодором... Последний Царь! А там... правитель Годунов, семибоярщина, Тушинский вор, Заруцкий и поляки, кровь и стоны, разбитая поработенная Московия, долгие годы смуты и Михаил Феодорович... и Петр... История повторяется. Но доживу ли я до Петра?!

Бессонная, в муках совести проведенная ночь сказывалась не утомлением, но нервным подъемом. Сердце билось горячо, в виски стучала кровь и глаза сверкали в опухших красных веках. От холодной воды лицо горело. Саблин справился у прислуживавшего ему лакея, где Вера Константиновна.

— Оне-с в столовой? Вас ожидают с завтраком. У них господин Обленисимов, — отвечал лакей.

— А дети где?

— На прогулке с фрейлейн. Погода больно хороша. Совсем весна...

— Ну хорошо, — сказал Саблин и строго посмотрел на лакея. Он уже слышал и читал в газетах это слово весна. Он не верил ему. Не бывает весна в октябре.

Егор Иванович Обленисимов, муж родной сестры матери Саблина был крупный, речистый мужчина, земский деятель, всем увлекающийся, то боготворящий мужика и народ, называющий его народом богоносцем, едущий в деревню, либеральничавший там, то проклинающий мужиков, ругающий их хамами и залечивающий в Ницце и Монте-Карло раны, нанесенные его барству. Барин в полном смысле этого слова, рослый, дородный, с седеющими висками и холеной бородкой на красивом упитанном сытом лице, с большими руками в перстнях, всегда по моде одетый в какие-нибудь смокинги, пиджаки особого цвета и фасона, умеющий со вкусом и политическим значением завязать свой галстук и вставить цветок в петлицу пиджака, Обленисимов последнее время ударился в политику и шумел, сочиняя петиции и письма к Царю и министрам. Саблин не любил его, потому что чувствовал в его словах ложь и карьеризм, основанный на заигрывании с тем народом, который Обленисимов эксплуатировал и презирал. Но теперь ему интересно было посмотреть и послушать Обленисимова и узнать, что почуял он в манифесте.

XXVII.

— А, наконец-то, — вставая ему навстречу и широко раскрывая объятия воскликнул Обленисимов. Красная гвоздика сверкала в его пиджаке. — А мы чуть без тебя не сели. Ну поздравляю, Саша. А?! Весна? Весною повеяло. Начинается эра жизни. Царь пошел с народом. Народу вручена власть и закон. Весна, Саша! А!

— Чему вы рады, дядя, — сказал Саблин, освобождаясь из его объятий и подходя к жене.

— Вот я тоже говорю Егор'у Ивановичу, — сказала Вера Константиновна, — что г'адоваться пг'еждевг'еменно.

— Свобода! — сочно выговаривая оба „о” воскликнул Обленисимов. — А у меня дух захватывает. И мы теперь Европа. Не нагайка, не кнут и тюрьма, а свобода! Народ выбирает своих избранников и они идут и наполняют законодательную палату.

— Кого избирает народ? Чего требует наш народ — земли и воли! Черного передела, того, что требовал некогда от Пугачева и что Пугачев давал ему именем Царя. Пугачевщины хотите вы, дядя, иллюминаций помещичьих усадеб и гибели культуры?..

— И пусть и пусть! Без эксцессов не обойдется такое великое строительство. Народ, Саша, не так дик и глуп, как ты про него думаешь и потом у народа есть вожди.

— Кто эти вожди? Народные учителя — социалисты. Вы читали их девизы: „пролетарии всех стран соединяйтесь”, кто такое современный пролетарий, вы знаете? Максим Горький набросал вам их дивные образы во всей их первобытной простоте. Что же Макары Чудра во главе управления? Пролетарии всех стран — поймите это, — Россия по боку, — бездомники, ни к чему негодные люди, не съумевшие создать даже и личного своего благополучия со всего света приглашаются творить счастье России. Люди, разрушающие все, все презревшие приглашаются создавать силу и красоту страны, ее мощь. О! Боже мой, — при таком начале я не вижу хорошего конца.

— Но кто сказал тебе, Саша, что босяки и хулиганы будут в нашем парламенте?

— Пролетарии, — отвечал Саблин.

— Нет, партии. Будет жизнь! Будет борьба партий. Я был вчера на собрании нашей новой, молодой партии. Конституционно-демократической. Говорили Родичев и Муромцев. Боже мой — вот ума палата! Как ясно, четко, красиво нарисовали они счастливое будущее России. Царь вручил Россию великому Русскому народу и народ съумееет сберечь достояние Романовых.

— Пролетарии всех стран, то есть жиды, армяне, греки, грузины, свои отбившиеся от рук семинаристы и выгнанные из гимназий мальчишки, вот кого зовет ваш народ!

— Саша! Саша! грех! Профессора, светила юридической и политической науки. Имена! Патриарх с седою бородой Муромцев, авторы ученых трудов, мужи света и знания.

— Я не читал.

— Ты не читал и стыдись. Ты, Саша, застыл в понятиях средневековья. Рыцари, горожане, крестьяне. Рыцарь охотится и пирует, горожанин работает на него, крестьянин пашет для него. Это дикость.

— И красота, — вставил Саблин.

— Нет, красота в общем труде.

— Рыцарь пашет, а крестьянин жжет замок и ножом режет Ван-Дейков и Теньеров — так что-ли?

— Ты бы послушал Муромцева.

— Ладно. Я одиннадцать лет бок о бок с этим народом и знаю его. Потребности его ничтожны, культура плохая. Оставить его одного — он будет работать только на себя и на семью. Города подохнут с голода, заграница тоже. Помещичьи земли истощат и бросят.

— О, как ты отстал. Что говорил вчера Родичев! Эти люди испытали тюрьму и ссылку. Им и книги в руки.

— Преступникам?

— Нет, страдальцам за правду, за народ!

Саблин только рукой махнул.

Пришли граф и графиня Палтовы. Наталья Борисовна, едва поздоровавшись с Верой Константиновной, бросилась к Саблину и Обленисимову.

— Егор Иванович, что же это такое? Александр Николаевич, объясните мне, я ничего не понимаю. Ужели это *egalite, liberte и fraternite**) Наше Спасское отбирать будут? Я не графиня?

— Гражданка — Наталья Борисовна! — пребасил Обленисимов, — чем гражданка хуже графини. Великие заветы французской революции.

— При Русском народе, — успела вставить графина.

— Казнь ког'оля. Тег'г'ог', Г'обеспьег'ры, Маг'аты, Дантоны... сказала Вера Константиновна.

*) Равенство, свобода и братство.

— Я уже видал одного такого. На фонарном столбе сидел и призывал толпу идти в Петропавловскую крепость освобождать преступников. Насилу полиция стащила. Он вопит: — свободы! Ну и прописала же ему полиция эту свободу нагайками, — сказал Палтов.

— Граф! Что вы! Какая косность! Нет, господа, вы не понимаете великого акта Царской милости. Вы плохие — Государевы слуги.

— Что же делать, позволять натравливать одних на других. Выпускать негодяев, — сказал горячо Саблин. — Государь подписал этот манифест против воли. Он не хотел этого. Его заставили.

— Что делать? — гремел Обленисимов. — Идти на торжища и проповедывать слово царское, Его волю святую. Да. Распускать армию, перековывать мечи на орала, отдавать землю крестьянам и, обнявшись с рабочим и пахарём, идти к Государю, и звать Его с собою в святой Русский народ, в Русь кондовую, избяную, православную тихую Русь. Свобода! Весна. Весною веет, не могу сидеть! Иду на улицы, слушать, что говорят, идти в партии и восхищаться тем, что „может собственных Невтонов и быстрых разумом Платонов Российская земля рождать”. Великий день сегодня! Точно Пасха. Хочется Христос Воскресе запеть!

Обленисимов попрощался со всеми и ушел.

— Что он, твой дядя, с ума спянул? — спросил граф Палтов.

— Да, хог'ошо ему, — сказала Вера Константиновна, — он два месяца тому назад все свои имения очень выгодно пг'одал и деньги пег'евел в Швейцаг'ию. Вот и куг'ажится.

— Чудной! — сказала Наталья Борисовна, — красную гвоздику в петлицу вставил и орет, как.. мастеровой?

— Ужасы надвигаются. Мне отец из имения писал. Сладу с эстонцами нет. На пг'ошлой неделе пожгли молодые лесные посадки, на пять тысяч слишком убытка. Аг'енду нынешний год, кто заплатил, а кто и нет.

— У нас подле имения, — сказал Палтов, — стражника убили. Рара вызвал казаков. Хорошо, что знаком с губернатором,

а у соседей всю экономию пожгли и наказывать некого. Мир порешил. Виновных нет.

— И кто эти Муромцевы, Родичевы, — ты не слышал? спросил Саблин.

— Нет, Саша, не слышал. Ученые какиенибудь, писатели.

— Писатели! — задумчиво проговорил Саблин, — ну я понимаю Лев Толстой, Менделеев — это имена со всемирной славой, а то... пошли, Бог их знает кто.

— Цenz имеют, — ядовито сказала Наталья Борисовна.

— Какой? — спросил Саблин.

— В тюрьме, сидели.

Саблин пожал плечами и ничего не сказал. Молчание было тяжелое. Каждый по своему переживал событие, но все были мрачны.

XXVIII.

Шли годы. Все оставалось по старому — так хотелось думать Саблину. Государь писался самодержцем и подчеркивал то, что Он Самодержец. Первую думу, заговорившую слишком вольным языком распустили. Она собралась в Выборге. Ее арестовали. Народ ответил кровавыми вспышками погромов и пожаров — войска усмирили мятежи. Смертная казнь, о которой давно не слышали, стала частым явлением. Вешали и расстреливали поджигателей, убийц и громил, подстрекателей к мятежу. Саблин считал, что виноваты в этом они сами, зачем идут против закона, народ во всем винил Правительство и... Государя. Явилось слово ненавистное Правительство.

Одни превозносили Государственную Думу — называли ее „думою народного гнева“, пророчили ей великое будущее, другие смеялись над нею, называли г о в о р и л ь н е й. Саблин разговорился как то с Пестрецовым.

— Государь делает большую ошибку, — сказал ему Пестрецов, — идя по такому пути. Или Дума парламент, который правит и перед которым трепещут ответственные ми-

нистры и которая является оком Государевым, или совсем не нужно думы и только „мы, Божиею милостью”.

— Мне кажется, что у нас и есть второе, — сказал Саблин. — Сколько я знаю Государя, Он и не думал отказываться от своего самодержавия.

— Тогда, Саша, не надо Думы.

— Отчего, пусть говорят. Это тешит народ. Я прислушивался к речам в Думе, читал отчеты, Боже мой! Какая пустота! Борьба партий. История о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, вынесенная во всероссийский масштаб. Клоунские выходки Пуришкевича и Гегечкори, умные речи Милюкова. Как будто что то и делают, а на деле ничего, потому что министры не только ее не слушают, но и не прислушиваются к ней. Государь тем более.

— Ты ошибаешься, Саша. Дума в том виде, как она есть — страшный вред. Народ через своих представителей не творит, но только критикует. А критиковать легко. Дума готовит людей, способных только говорить и критиковать, а страна скоро и весьма настойчиво потребует творчества. Саша, волнения не прекращаются. Войска стали ненадежны, дисциплина шатается. Это Дума! Дума подтачивает государство, Дума развращает народ. Своею критикою, основательною, или неосновательною, это все равно, Дума внушает народу недоверие и презрение к министрам. Дума выносит язвы наружу и показывает все темные стороны правительства и Царя народу. Дума стала между Царем и народом. Она закрывает глаза на все то хорошее, что делает Царь и подчеркивает одно худое. Саша, ты бываешь у Государя, ты говоришь с Ним просто, — скажи Ему, что так быть не может. Надо Думу сделать ответственной, надо привлечь ее к управлению, а не к критике, не суживать, но расширять надо ее полномочия. Нужно все свалить на Думу, а самому остаться только Царем. Только царствовать... Или все взять на себя и тогда разойтись с дворянством, пойти с народом и из своих рук подарить ему землю.

Саблин присматривался к Государю. Да, в нем была перемена. Он стал задумчив, раздражителен. За обедом, или

завтраком Он иногда выпьет две, три рюмки водки — точно забыться хочет от чего то, прогнать тяжелые думы. Он не пьян, Его глаза не блестят, но как то равнодушно смотрят вдаль и такая печаль в них, что сердце разрывается, глядя на Него.

Саблин по прежнему боготворил Государя. Ему хотелось подойти и узнать причину Его грусти. Но как подойти к Богу? Государю было тяжело. Министры валили все тяжелое на Него. Казни, расстрелы, осадное и военное положение — все делалось именем Государя. Милости и льготы давала Дума, она добивалась их у Государя дерзкими наглыми речами. Она требовала с запросом и когда появлялся закон, выходило так, что Царь урезал права народные — Дума хотела одного, Царь дал другое. Государь не мог не видеть этого, не мог не понимать этой игры с Ним тех, кого Он поставил своими помощниками, кого осыпал милостями. Эти люди Его предавали.

В Царской Семье было неблагополучно. Императрица все чаще показывалась с красными пятнами на лице, или и вовсе не выходила к столу. Она была больна. Подле нее появились новые лица и они оттеснили Саблина. Императрица бросила честолюбивые мечты и ушла в семью и в сына. Вне семьи были странные мистические связи, навязчивые идеи. Анна Вырубова, ненормальная жена мужа, которого к ней не допускали, стала Ее наперсницей. Вместе, по своему, они молились, вместе доходили до экстаза и искали святых, искали откровения, помощи Божией, указания свыше. Императрица часами стояли на коленях и раны были на Ее коже. Счастливый так не молится. Она была несчастлива.

Сердце Саблина разрывалось при виде горя Царской Семьи. На дежурстве он наблюдал министров и Государя. Часто приезжал высокий дородный председатель думы Родзянко. И все они презирали Государя. Они делали доклады, они убеждали Государя, но делали это все, не любя и не жалея Государя. Их „я” стояло выше Государя. И Государь это чувствовал.

Саблин видел измученное лицо Государя после докладов и хотел помочь.

„Где же”, — думал Саблин, — „те верные холопы царские, которые радели только о царском имени и царской славе?”

Государь опускался от этой борьбы. Он уже не боролся. Ему приятны были те докладчики, которые радовали его хорошими вестями. Он любил Сухомлинова потому, что умный старик красно и спокойно говорил, умел поднести каждый доклад ловко и просто. Он не любил Родзянко потому, что тот спорил и настаивал на своем, перечил Государю.

Прежнего веселья при дворе не было. Японская война прекратила большие и малые дворцовые балы. После Портсмутского мира и поражений в японской войне красивые парады в апреле на Марсовом поле казались неуместными. Толпа была натравлена на армию и можно было опасаться эксцессов. Царь смотрел свою гвардию по полкам в дни полковых праздников, вызывая их для этого в Царское село. Он обедал в кругу офицеров, Он хотел забыться и создать иллюзию верности себе войска. Хотел заглушить тяжелые раны, которые нанесли Ему Его Преображенцы, волновавшиеся в 1905 году.

Саблин видел, что с появлением Думы государство распалось. В Думе не было Русских людей, но были партии. Армия отшатнулась от народа и народ ненавидел Армию, министры были отдельны от Думы и Дума и министры не были с Царем. Царь был одинок.

Точно куски его сердца один за другим отрывали от Саблина. Оторвали веру в народ, — потому что Саблин не мог любить народ, который в лице своих представителей шел против России и Царя, поколебали веру в армию и только Царь еще держался. Царь любимый, но Царь, которого он жалел. А жалеть Бога нельзя, Царь терял свое божеское начало и это было ужасно!

В эти дни Саблин теснее замкнулся в семье. Росли дети, Вера Константиновна была неизменно прекрасна и любила ровную, и нежной любовью. Она была приближена к Императрице, она облегчала муки Царицы и Саблин любил ее за это еще больше. „Что же?” — думал он. — „Царь и семья остались у меня. Есть для чего жить”...

„Пусть растет безумный Виктор и если встанет он против Царя, я пойду и против сына своего. Да и разве он мне сын? Сын не тот, кого зачал я, а тот, кого воспитал. Важно не семя, дающее тело, а важно сердце, дающее душу”.

XXIX.

Был весенний вечер. Саблин сидел один на квартире. Сын был в корпусе, Таня в институте. Вера Константиновна с утра уехала в Царское и не возвращалась. С улицы доносился стук копыт и треск колес по мостовой и торцам, только что очистившимся от снега и льда. К Саблину пришел Обленисимов. Он был членом четвертой Думы, чем очень гордился, часто выступал с речами, красивыми, гладкими, полными либеральных лозунгов и... пустыми. Он часто заходил к Саблину делиться своими впечатлениями о Думе и хвастать своими речами. Он и сейчас, уютно усевшись в большом кресле в полуосвещенном одною лампою, горевшею на громадном столе, кабинете длинно и витиевато рассказывал, как громили они министра земледелия и министра внутренних дел.

— Запросы, Саша, какие! Факты отыскиали вопиющие к небу. Если они честные люди, в отставку подадут! У нас есть такие молодчики, что на места ездят и там всю эту муть поднимают. Понимаешь ли ты — клоака, форменная клоака, а мы за ушко, да на солнышко. В Джаркенте в день празднования 300-летия Романовых, буйные, пьяные казаки топтали лошадьми и стегали нагайками таранчинцев. А? Каково! Это насаждение Русской культуры!

— Да правда-ли, дядя? Я хорошо знаю и Семиреченского губернатора и командира полка тамошнего. Не похоже на них.

— Донесли, — прошептал, разводя руками, Обленисимов. — Приехали гонцы оттуда и донесли.

— А если донесли по злобе? Если доносчики сами гадкие люди? Да и может ли хорош быть доносчик?

— Ах Саша! Шпион, доносчик, который доносит по начальству это гад, но тот, который осведомляет народных избранников о тех мерзостях, которые творятся чинами администрации исполняет только свой гражданский долг.

— На опасный путь становитесь вы, дядя. У вас две правды — правда для нас и правда для них. Так и политическое убийство слева не убийство, а подвиг, и казнь справа — насилие и гнусность.

— О! ты знаешь — наша партия против смертной казни.

— Дядя! Я смею заверить, что первый противник смертной казни это Государь Император. Он страшится и ненавидит ее всеми силами души.

— И вешает и расстреливает.

— Но что же делать, если есть люди, которые проповедуют убийство и поджоги, есть люди, уничтожающие Россию. Это борьба. И в этой борьбе больше крови пролито теми, кто идет против Царя. Собери всю кровь невинных городовых, генералов и офицеров, стражников, солдат, случайных прохожих, которые погибли от бомб и поверь, что она зальет и потопит тех преступников, которых за это казнили.

— Наша партия против политических убийств, — сказал Обленисимов.

— Но убийства продолжают. Усадьбы горят. Помещики боятся жить в своих домах, построенных дедами и прадедами и озверелый народ нищает и гибнет. Вот уже восьмой год работает Государственная Дума, и что дала она? Слова, слова и слова. Много прекрасных слов и ни одного дела. Стало легче жить? Где свобода? Стоит разоренный Прибалтийский край, морские офицеры боятся своих матросов, памятуя лейтенанта Шмидта, офицеры стали подлаживаться к солдатам. Было что то твердое и крепкое — вы разжижили это и ввели дух критики и самооплевания.

— О! не говори так, Саша! Помни то, что сказал Макаров — „помни войну!” Рок преследует Россию — Макаров и Кондратенко погибли, а Куропаткин остался цел и невредим, Стесселя судили... А Цусима, а Рождественский, а Мук-

ден — нет, Саша, Россия загнила. Она на двести лет отстала от Европы и без Думы она никогда не нагонит ее.

-- Но что сделала Дума?

— Как что! Да разве ты не видишь, как Дума возстала Армию! Военный министр просит одно, а Гучков дает больше. Требуйте, берите то, что нужно, но помните одно, что Армия не для парадов и игры в солдатики, а для защиты Родины. Сухомлинов говорит о петлицах и выпущках, а комиссия обороны о тяжелых пушках и пулеметах. Это мы прибавили содержание офицерам, это мы говорим о правах офицерства. Государь об этом не подумал, Ему министры этого не сказали — это сделали — мы — Дума!

— Вы дали на грош, а взяли на рубль. Вы внесли политику в армию. Появились и у нас младотурки. Я временами не узнаю „Русского Инвалида“, а что пишет „Разведчик“, „Военный Голос“...

-- Прикрыли!

— И слава Богу.

— Неисправимый реакционер. Мы возродим Россию. О, дайте Думе только работать, не вяжите ее и мы создадим великую Россию. Надо сделать министров ответственными перед Думой, надо сделать так, чтобы Дума составляла кабинет.

— Полная конституция?

— Да, полная.

— То же говорит и генерал Пестрецов.

— Это говорят все те, кто любит Россию.

— Ну, хорошо, допустим, что это так. А готов у вас кабинет министров, готовы люди, которые могли бы в полном сознании своей ответственности перед страной вступить в управление государством и повести его по пути прогресса?

— Мы как то не думали об этом. Но... Поливанов или Гучков мог бы стать министром военным.

— Штатский во главе военного министерства?

— И знаешь, Саша, это может быть даже лучше. Он очистит атмосферу.

— Без знания быта войскового, он сломает армию. Ну, хорошо... Гучков, а дальше, дальше.

— Да, трудно сказать. Поднимется борьба партий, каждая даст своего. Вот у нас Милюков или Родичев — ума палата. Эс-эры дадут Керенского. Найдутся.

— Поднимется грызня партий за власть. Будут давать своего, не считаясь ни с умом его, ни с талантом, ни подготовкою к той работе, которая ему предстоит. Нет, дядя, России не то нужно и не того она ожидает от Думы. России нужны люди. Такие творческие гении, которых умели откапывать Петр и Екатерина, нужны Меншиковы, Шереметевы, Брюсы, нужны Потемкины, Ломоносовы, Бецкие, нужны люди, которые вели бы к прогрессу и славе, а не топтались между входящими и исходящими и отчетами Думе. Где эти люди? Назови мне их и я пойду к Государю и я умолю его поставить их во главе управления, дать им власть. Творчество ответственно, оно никогда не было уделом коллектива. Комиссия и комитеты, сваливая ответственность один на другого никогда не дадут ничего сильного и могучего. Мадонну Рафаэля творил один художник, а не комитет художников — потому она и Мадонна. Дядя! Назови мне людей, имена! Людей, людей мне дай, гениев, талантов, силы любви к отчизне и безпредельной преданности ей! Чтобы душу свою полагали за нее. Был Столыпин... Убили его... Витте оказался предателем и масоном. Ну, кто же, кто же?

— Людей? Талантов, гениев?! Но они... рождаются веками...

— Ты молчишь, дядя... Ты молчишь!.. Их нет!

XXX.

Сказать и х нет! было тяжело. Но Саблин не сказал это слово, он выстрадал его. Оно вылетело у него, как результат давнишней мучительной работы души и сердца. Он любил Россию больше всего. Для него Россия была выше партий, выше самого себя. Россия, олицетворенная Царем. И если бы для спасения России нужно было положить весь народ — он не задумался бы сделать это, и если бы для спасения России надо было убрать Царя, Саблин и на это пошел бы.

Обленисимов давно ушел. Во всей квартире царила мертвая тишина и только наверху кто то, должно быть одинокий, изливал душу свою в ноктюрне. Бежали и переливались звуки, говорили о чем то и томили душу. О бессонной ночи, о муках душевных говорили они и искали успокоения в мелодии и молитве.

О! Молиться! Но надо знать о чем молиться. Легко говорить: — помоги, укрепи, подай, благослови! Так молится всякая нищая старушенка, но от молитвы ее мало толка, надо знать, что нужно России.

Оглянул Россию мысленным оком, увидел маленькие курные избышки, пеструю черезполосицу полей, грязь и уныние, голод и нищету, увидел заволжские степи, палимые солнцем и мольбы о дожде, увидел чистые хаты малороссов и услышал один стоном несущийся крик: — з е м л и!

Саблин знал, что не одна земля нужна народу Русскому. Ему нужно уничтожение черезполосицы, орошение полей, древонасаждение, нужна культура и образование, но в первую голову нужна — земля. Правды ищет мужик и не может увидеть ее в том, что одному принадлежит четыре уезда и он никогда не бывает на своей земле, а другой всю жизнь топчется на пол десятины. Золотая грамота о переделе земли давно ожидается народом. Еще до воли о ней говорили. И землю народу должна дать не Дума, не революция, не забастовки и погромы усадеб, не убийства губернаторов, а Царь. Царю пора порвать с интеллигенцией и пойдти с народом.

Но все эти земли жалованы прежними Государями за верную службу и за кровь своим служилым людям, своим дворянам. На них есть грамоты Царями Московскими и Императорами Всероссийскими писанные. Может Царь, внук и правнук этих Царей, нарушить их Царское слово и подпись и без вины отнять земли? Пойдет на это Государь?

Никогда не пойдет!..

Тихо переливался ноктюрн на верху, уходил к самым тонким нотам, звучал чуть слышно и вдруг раздражался громами, стонала и редела вся клавиатура, то нажимала то ослабевала педаль; о силе и мощи говорила музыка, звала на бой и на подвиг.

Дворяне должны любить Государя, должны поддержать Его в ту минуту, когда трон шатается. Дворянство было опорой Российским государям, оно должно подпереть их и теперь. Все эти богачи и миллионеры, владельцы десятков тысяч десятин, владельцы майоратов, должны придти к Государю и сказать Ему: — возьми наши земли в свою Государеву казну и поступи так, как находишь нужным! Манифестом Царским, волею Государевою, навеки нерушимую села и слободы, хутора и станицы должны получить себе прибавок земли, а на месте усадеб должны появиться земледельческие школы и образцовые усадьбы. В народ пойдет дворянская молодежь, но не для того, чтобы учить крестьян социализму, готовить погромы и убийства, натравливать на Царя и учить ненавидеть Россию, а для того, чтобы учить патриотизму и правильному сельскому хозяйству. Пусть над усадьбою дворян Саблиных останется их герб — золотая сабля на голубом поле и над ним надпись — „Императорская сельско-хозяйственная школа дворян Саблиных”. Пусть Коля и Таня живут там, окруженные толпою крестьянских детей и учат тому, как сделать Россию богатой и счастливой!..

Государь обратится к дворянам с призывом отказаться от своих наследственных прав на землю и пойти с крестьянством, — ужели откажутся?

Сильным аккордом оборвал пьянист до бури дошедший ноктюрн и снова заплакал и полился нежной мелодией и заговорил о тоске и молитве.

Это первый акт спасения России.

Царь, дворянство, купцы, духовенство, мещане-ремесленники, крестьянство и служилые люди, — вот что была Россия.

Теперь этого не осталось. „Буржуи и пролетарии”. Крестьяне и рабочие, а вне этого — монархисты, октябристы, националисты, конституционалисты, социал-демократы, социалисты-революционеры, трудовики, анархисты, интернационалисты, коммунисты — а может быть и еще кто-либо есть!

Дворянство, купечество, духовенство, мещане, крестьяне и служилые люди радели о России и Царе. Они враждовали между собою, делали мелкие гадости, травили посевы, кляузничали, судились — но в вопросе России они были солидарны и Россия была сильна и непобедима. Но, дворянство прогнило. Это оно придумало все эти партии и не только придумало, но и вошло в них. Оно обратилось постепенно в эту ужасную безусловную, непатриотическую, неверующую интеллигенцию, разбилось на партии и идет губить Россию. С нею России не быть. И Бог с ним, с таким дворянством, пусть погибает, и отдает свои земли народу.

Духовенство обнищало, утратило дух и веру в мелкой борьбе за существование, в поисках хлеба насущного, огрубело, спилось, потеряло влияние на паству, а духовенство без духа это уже не духовенство. И раньше, нежели говорить о приходе, как ячейке и единице надо перебрать духовенство, создать его на иных началах и поставить его в материальную независимость от паствы. Или богатый и сытый пастырь, который не только не берет, но сам дает и помогает пастве, пастырь подобный католическому патеру или англиканскому священнику — кладезь всяких практических и научных знаний, или отшельник, пустынножитель, старец, которому ничего не нужно, но не поп-хапала, тянущий за требы и не соглашающийся хоронить и венчать без хабары. Да — духовенство исчезло. Нет епископов Гермогенов, нет попов Сильвестров, нет Серафимов Саровских — их сменили люди, не имеющие ни власти, ни авторитета. Религия сменилась обычаем, сменилась предрассудками и разрушить их легко. Да — сгнило и духовенство.

Саблин опустил голову. На чем же удержаться Царю, на что опереться? Два главных столба подгнили и готовы рухнуть и обратиться в гниющую пыль... Мещан-ремесленников сменили фабриканты и рабочие. Внутри государства создалась сильная армия голодных, озлобленных и всем недовольных людей. И, может быть, для России правильнее было бы разогнать эту армию по деревням, паровые машины сменить кустарными ткацкими станками и предоставить за границе обслуживать себя предметами роскоши.

Оставались крестьяне и служилые люди. И было ясно, что крестьяне пойдут за тем и дадут свой труд тому, кто даст им землю. Им Царь привычен и удобен. С ним сжились они, Его величают в песнях, Его поминают в поговорках и сказках и на крестьянство еще можно опереться.

Служилые люди...

Тяжелый вздох вырвался из груди Саблина. „*Mea culpa*” — прошептал он — „*Mea maxima culpa!**)” Местничество и карьеризм были всегда в натуре служилого класса, но никогда не достигали они до такой степени, как теперь. Вот, что прогнило безконечно. Столыпин головою выделился над всеми остальными и погиб, неизвестно чьею рукою убитый. Были опричники, было у нас „слово и дело”, тайная канцелярия, было знаменитое третье отделение, много неправды творили они, много сводили личных счетов, но берегли Государево имя. Увы, — охранное отделение и вся плеяда чиновников, облепивших царский трон, о Царе не думают. Чиновники либеральничают в Думе, чиновники подводят Государя, чиновники стали только рыцарями двадцатого числа. Сгнила старая Россия. Нужно подводить новые столбы под великолепное здание Российской Империи, безотлагательно нужны громадные широкие реформы. Дума их не даст и не должна давать — она сама гнилая, трухлявая, созданная из партий, а не из Русских людей и Дума не авторитет для народа. Их должен дать Царь. Манифест за манифестом, указ за указом Царь должен все перевернуть, по новому вспахать Российскую ниву и отыскать людей и дать им власть. Царь! Все должно идти от Царя и Его именем!

Наверху затихла музыка, разлившись властным могучим аккордом. Саблин встал, взглянул на часы. Было четыре часа утра.

„Пойду к Царю, — подумал он. — Пойду и скажу ему все. Это мой долг! Пусть выслушает меня. Он поймет, что я говорю Ему, любя Его беспредельно!..”

*) Моя вина. Тяжкая вина моя.

XXXI.

Только в шесть часов вечера Государь освободился от дел и прошел в свой кабинет.

— Обождите маленько, ваше высокоблагородие, — сказал полный почтенный камердинер Его Величества, — я доложу о вас.

Иногда в эти часы Государь призывал к себе Саблина и беседовал с ним. Иногда приходили дочери, Великие Княжны и Государь читал им по-английски. Было в эти часы тихо и спокойно в кабинете Царскосельского Дворца. Суета и заботы уходили куда то, менее грустно глядели глаза Государя и он был доступнее для простого разговора.

Саблин остался один в библиотеке. По стенам стояли большие шкапы со стеклянными дверцами, полные книг, по середине на круглом столе лежали журналы и газеты. „Новое Время” и „Русский Инвалид”, отпечатанные на веленовой бумаге были откинута в сторону. Государь читал их утром.

За дверью красного дерева с золотыми ручками был Государев кабинет. Там было тихо. Саблин ждал, неподвижно стоя у стола, уже более получаса. Бронзовые часы, на которые он смотрел, пробили шесть, потом половину седьмого.

Дверь в приемную резко распахнулась и в нее, в предшествии камердинера прошел дежурный генерал-адъютант. За ним шла какая то странная личность. Среднего роста худощавый человек, с густыми, в скобку, по мужицки, обрезанными волосами, темными усами и блестящей волнистой бородой на очень бледном лице был одет в шолковую белую расшитую по воротнику и полам рубаху, бархатные темные длинные штаны и мягкие опорки, в которых он неслышно ступал. Но всего замечательнее были глаза этого человека. Громадные, почти белые, окаймленные черными ресницами и густыми бровями, в темных ввалившихся веках они светились и горели внутренним огнем. Саблин невольно потупил свой взгляд, когда человек этот внимательно и

остро посмотрел на него. Взгляд его проникал глубоко в душу и, казалось, видел все изгибы ее, читал мысли.

Если бы этот человек входил один, без камердинера и генерал-адъютанта, Саблин задержал бы его и вызвал караул, так необычен, странен и нелеп был этот человек в дворцовой обстановке.

Генерал-адъютант сконфузился, увидавши Саблина в библиотеке. Саблин вытянулся и стал смиренно, глядя на генерал-адъютанта. Спутник его остановился против Саблина и пронизал его своими необыкновенными глазами.

— Не на него смотри, милой, а на меня. Большая польза будет тебе с того. На меня обопрись.

Саблин невольно обернул глаза на говорившего. Он стоял против него. Очень длинный белый нос разделял его лицо на две части. Ярко блестела темная борода и темные волосы, из-под густых бровей смотрели громадные нечеловеческие глаза. Они видели то, чего другие не видели и не выражали своих мыслей. Было что то демоническое в этом проникающем глубоком взгляде.

— Большое дело задумал! Эво—на! Перекроим по своему! Ишь ты! Грише поклонись. Он тя научит... А боле того с женою молодою сведи. Ух хороша она!.. Люблю.. Бе-е-е-ла-а-я!..

И он отвернулся от Саблина, шмыгнув по-мужицки носом, плотоядно, похотливо улыбнулся длинными ярко красными губами и, опережая генерал-адъютанта, прошел к двери, которую распахнул перед ним камердинер и смело вошел в Государев кабинет.

Генерал-адъютант молча пожал руку Саблина и вышел из библиотеки.

— Кто это такой? — спросил Саблин у камердинера.

На лице у старого почтенного человека, замкнутом и строгом, скользнула презрительная улыбка, но сейчас же оно стало обычно спокойным и бесстрастным.

— Григорий Ефимыч. Лампадик царский, — сказал он. — Теперь приема больше не будет. Его Императорское Величество заняты. Вашему высокоблагородию дожидаться не к чему. Можете идти. Коли что нибудь нужно, я доложу-с!

Продуманная горячая речь улетучилась из головы Саблина. Бледное лицо с длинной темной бородой стояло перед ним, белые глаза прожигали насквозь и он слышал сладострастные слова: — „а боле того с женою молодою сведи! Ух хороша она! Люблю. Белая!”...

Саблин пожал плечами и вышел из библиотеки. Жуткое предчувствие чего то неотвратимо тяжелого охватило его душу и первый раз серьезно заколебалась его любовь к Царю...

XXXII.

Государь принимал у себя полки гвардии и угощал их в дни полковых праздников со своего Царского стола. Одному из самых близких к Царю полков пришла в голову дерзкая мысль отплатить за это Государю, пригласить Его в свое полковое собрание, угостить Его на славу и показать Ему то, чего Он не мог видеть вследствие этикета — дать послушать цыган, разъухабистый Русский хор из Крестовского, румынский оркестр Гулески, певичек из виллы Роде. Задумали вывести Государя из сказочной Царской обстановки дворца, Царской охоты, парада, маневра, бала, приема и поставить в интимную обстановку офицерского кутежа. Будут все свои, офицеры того полка, который любил Государь и где каждого Он знал. Мысль дрезкая... Но она явилась в те дни, когда Государь тяготился властью, когда искал Он хотя минутного забвения от становившейся все более тяжелой обстановки дворцовой и семейной жизни. И Государь согласился.

За этим полком пошел другой. Отказать было нельзя и вошло в обычай у полков принимать у себя Государя. Эти приемы стоили безумно дорого. Годовой оклад жалованья младшего офицера уходил в один день. Для многих офицеров более скромных полков такой прием знаменовал семейную драму, отказ жене в покупке платья, башмаков, слезы и стоны. Но жаловаться и протестовать не могли. Слишком велика была милость Царская. Бог спускался с

облаков и люди видели уже не Бога, а простого человека. И не всем было дано понять это. Дух критики был прочно привит Русскому обществу и, видя Государя в своей семье, находились дерзкие, которые критиковали Его.

Но некому было сказать о том Государю. Он видел искреннее веселье, Он забывался среди полковой молодежи, Он отдыхал от тяжелого нравственного страдания. Но Бог переставал быть Богом и сплетня и клевета, передаваемая потихоньку и не могшая проникнуть во дворец легко приходила в казармы.

Полк, в котором служил Саблин, ожидал Государя. Он должен был приехать в семь часов вечера на обед в собрание.

Люди в парадной форме были расставлены по лестнице, убранной растениями и устланной красным сукном. Полиция и агенты охранного отделения были на улице.

Собрание со спущенными шторами горело огнями люстр, канделябров и настенных бра. Закусочный стол ломился от тяжелых блюд с окороками, громадными осетровыми балыками и хрустальными вазами со свежей икрой. Офицеры были выстроены по чинам в большом зале. Рядом в бильярдной помещались трубачи. Дежурный офицер ожидал внизу на лестнице. Ровно в семь часов показался на улице большой автомобиль Государя, управляемый преданным Государю офицером. Автомобиль подошел к собранию. В народе снимали шапки, жидко и нестройно кричали ура. Государь поднялся в собрание, где за руку поздоровался с офицерами. По залу гремел полковой марш. Обойдя офицеров Государь остановился у окна и закурил папиросу. Трубачи кончили играть и любопытною толпою теснились у дверей зала. Первый раз они смотрели на Государя не из строя, а в привычной обстановке офицерского собрания. В зале было тихо. Офицеры стеснялись говорить и смущали Государя. Он смотрел на них блестящими ласковыми глазами. Выручил Саблин, он подошел к Государю и заговорил просто, о домашнем. Государь улыбнулся и сказал:

— Курите Саблин... Курите господа.

Саблин закурил тонкую папиросу и, улыбаясь, стал рассказывать о своей зимней поездке в лагери и славном старике-дворнике, охранявшем бараки.

— Такая чистота у него была, Ваше Императорское Величество, что просто удивительно для Русского человека. На столе стоит ящик из-под сигар и на нем бумага с надписью: „а окурки и недокури прошу бросать сюда, а не сорить по полу”.

— Меткое название — недокурки, — сказал Государь.

— Очень, — ответил Саблин. — Чудное название, удивительно меткое название!..

Государь посмотрел на него и улыбнулся, но сейчас же улыбка исчезла с его лица и глаза приняли то грустное выражение, которое последнее время не сходило с Него. Подошел командир полка и стал просить к столу.

За столом по правую руку Государя сидел командир полка, по левую князь Репнин. Степочка, Гриценко и Саблин сидели напротив. Государь был задумчив. Он рассеянно выпил большую рюмку редчайшей мадеры и слушал не столько то, что говорил Ему командир полка, сколько общий шум разговора и музыку трубачей. Играли мексиканскую песню П а л о м у и все смотрели на Государя, как Он? — Говорили, это любимая Его пьеса. Служили быстро и внимательно. Для этого в помощь солдатам, прислуге собрания, были приглашены лакеи из лучшего Петербургского ресторана. Толстый метр д'отель, бритый и важный дирижировал ими. Вино пили умеренно. Но корнеты, предводительствуемые Ротбеком, ко времени тостов успели раскраснеться и сделаться шумнее. Тосты были официальные и короткие.

— За Державного Вождя Российской Армии, покрытый бешеным ура и трижды повторным гимном, за полк и офицеров полка, покрытый звуками марша.

После обеда пошли пить кофе в маленькую уютную гостиную. Государь не садился. Он подозвал к себе Саблина.

— Как ваша супруга? — сказал Государь. — Я давно ее не видал, но знаю, что она часто бывает у Императрицы.

— Так точно, Ваше Величество. Моя жена даже иногда ночует в Царском, когда засидится с Ее Величеством у Анны Александровны.

Лицо Государя стало грустным, оно чуть дрогнуло, точно о чем то неприятном напомнили Ему.

Он помолчал немного и сказал Саблину:

— Скучно, Саблин... Я сказал „недокурки — меткое слово”. Вы сказали: „удивительно меткое”. За столом играли Палому. Я имел неосторожность лет двадцать тому назад в моем гусарском полку сказать, что мне эта песня нравится. И с тех пор, куда бы я ни приехал, меня везде угощают Паломой... Иногда, Саблин, мне вспоминается разговор Гамлета об облаке... Вы помните?

— Как же, Ваше Императорское Величество. Но я, правда, тоже считаю, что недокурки меткое и новое слово.

— Верю, верю, Саблин. Я вам верю. Но иногда — грустно.

Он подошел к столу, поставил недопитую чашку и обратился к командиру полка.

— Вы окончили формирование пулеметной команды?

— Совершенно. В лагере приступим к обучению стрельбе.

— Я давно считал нужным дать кавалерии пулеметы, да все возились с бюджетом. Я понимаю, что ассигновывать деньги на войну скучное дело.

— Ваше Величество, — сказал, подходя к Государю Гриценко, — осмелюсь просить вас в зал послушать кое что из нового репертуара.

— Вот не стареется человек, — сказал Государь, беря за локоть Гриценко. Ведь вы одних лет со мною.

— Старше на два года, Ваше Величество.

— А каким молодцом!

— Что вы, Ваше Величество, все волосы потерял. Голова, как у ксендза.

Перешли в зал. Там была устроена эстрада и перед нею в живописном беспорядке стояли кресла, стулья и диваны. Государь сел в кресло.

На эстраду выпорхнула Русская шансонетная певица. У ней были башмаки и голые ноги, прикрытые небольшой, как у танцовщиц, юбочкой. Громадное декольте открывало ее грудь. Она запела новые модные песенки:

Сначала модель от Пакэна,
Потом пышных юбок волпа,
Потом кружева, точно пена,
Потом и она!... Она!..

Государь слушал и улыбался. Сзади корнеты громко фыркали и Ротбек подмигивал певице.

В дверях толпились трубачи и песенники.

Саблин встал и пошел из зала. Ему было тяжело. Ему казалось, что здесь в полку происходит — оскорбление Его Величества.

XXXIII.

В бильярной трубачи курили и пили пиво. На столе стояли бутылки, лежали пеклеванные хлеба и французские булки. Кто сидел, кто стоял. Все были спиною к Саблину, никто не ожидал, что может войти офицер и никто не обернулся.

— Смотрю я, братцы, как Государь закуривал — говорил высокий смуглый трубач, игравший на геликоне. — Ну и совсем просто, как человек. Командир полка Ему говорит что то, а Он смеется. Чудно? Царь, а как прост! Домой приду, в деревне расскажу, ну поверит разве кто?!

— А французиньку как разглядывал. А она, ей Богу, братцы, ноги голые и без трика даже. Вот срам то — сказал волторнист.

— Убить ее, стерву, мало за это, — сказал геликонист. — Перед Царем и так! О Господи, что же это будет — ноги голые! Срам. Да деревня не то, что не поверит, а за один рассказ побьет.

Саблин отошел за портьеру и слушал. Его сердце билось. Слезы надвигались на глаза, хотелось плакать.

Баритонист, вольнонаемный из консерваторских учеников, болезненный, желчный и раздражительный юноша, брызжа слюнями говорил в толпе трубачей:

— Царица с Григорием, ну и Царю утешиться надо. Выбери любую.

— На что офицеры Царя толкают, хорошо разве, — сказал геликонист.

— Дурак!

— От такового слышу. Зачем лаетесь, что вы унтер-офицер, что ли?

— Я артист, а вы — тьфу... Бу-бу-бу: и больше ничего, — баритонист обернулся снова к штаб-трубачу и, понизив голос, заговорил, — я ее знаю, эту самую Мери-Кэт, какая она Мери-Кэт, она из чухонок, ну простая девка, только что задора много.

— Государю Императору нравится, — сказал улыбаясь эсный трубач.

— Еще бы. Распутин Его научил толку.

— И отчего силу такую взял человек, — сказал трубач, — говорят, простой мужик.

— Здоровый..., сказал баритонист и все грубо засмеялись.

У Саблина было намерение ворваться к ним и бить чем попало эту грубую толпу. Кисем, шарами, бутылками, увидеть кровь на разбитых лицах, увидеть страх в подлых глазах. Но он сдержался. Ах! Да и чем они виноваты, что им, непосвященным, показали божество. Было досадно, больно, обидно... Да ведь это пропаганда, которая идет через офицеров, через тех, кто должен беречь и спасать Государя! Сегодня у нас, вчера у стрелков, на прошлой неделе у Преображенцев, там раньше у гусар. Трубачи, прислуга собрания, песенники. Что понимают они во всем этом? Видят развратных девок с голыми ногами, видят циничный танго и кэк-уок, слышат раздражающую музыку румын и слова непотребных песен и среди всего этого Царя!

Царь — это Бог! Ну можно ли перед алтарем протанцовать или пропеть шансонетку?

Саблин вспомнил, как в дни революции 1905 года в Казанский Собор во время молебна ворвалась толпа молодежи в шапках и один при смехе товарищей закурил папиросу о пламя лампадки.

А это не то же? Но там были социалисты, враги Бога и Царя, а здесь — мы! мы!

Ужас охватил Саблина, он схватился руками за голову и, шатаясь, вышел из собрания. Когда в передней он надевал пальто, из зала слышался несдержанный смех и задорное трио пело по-французски слишком шаловливую песню.

Белая весенняя ночь была на улице. У подъезда собрания стоял автомобиль. Толстый офицер сидел на месте шофера и, не шевелясь, печальными глазами смотрел вдаль. Саблин подошел к нему и пожал ему руку. Офицер посмотрел и вдруг увидел слезы на глазах у Саблина. Он приподнялся на своем месте, горячо обнял Саблина и поцеловал. Они поняли друг друга. Оба страдали ужасно.

XXXIV.

Весною Репнин принял полк, Саблин на Пасху был произведен в полковники, Степочка получил армейский полк, Ротбек второй эскадрон, Мацнев вышел в отставку.

Саблин заведывал хозяйством. „Творчество, творчество” — думал он, — и стал высчитывать, что нужно сделать. Он не переезжал в лагерь и жил на два дома. Вера Константиновна должна была уехать с детьми в имение, но откладывала свой отъезд со дня на день. Она зачастила в Царское село, где стала постоянной гостьей у Вырубовой. Сын был в лагере в корпусе, дочь кончала институт. Этот домашний распорядок сильно не нравился Саблину, но он был слишком занят полковыми делами, чтобы вмешаться в него. У него шла борьба с командиром полка.

В начале лета Саблин получил письмо от казачьего полковника Павла Николаевича Карпова, командовавшего полком на австрийской границе. С Карповым он познакомился на охране во время беспорядков в N-ской губернии. После они ни разу не видались. Карпов не принадлежал к тому кругу, в котором вращался Саблин. Он был хорошей старой фамилии, имел герб с пушками, но не служил в гвардии. На охране их связала общая любовь к Родине и к Государю. Они разошлись и изредка переписывались. Карпов

посылал Саблину письма ко дню именин, к новому году, к Пасхе. Письма были короткие, безличные. Писать было нечего. Это было первое длинное письмо, которое написал из Заболотья Карпов.

„...Думаете ли вы о войне”, — писал Карпов. — „Мои все мысли о ней. Учю полк, готовлю к страшному бою. Не хочется повторить позора Японской войны. Тогда — мы не знали — теперь этого оправдания у нас не может быть. Мы знаем. Только слепой может не видеть того, что Англия и Германия не могут не подражаться. Если Англия теперь не уничтожит Германию, она погибнет сама. Здесь на границе я чувствую биение военного пульса. Германия хочет войны, она упустила момент в 1911 году, когда у нас не было ни пулеметов, ни тяжелых пушек, когда Франция не провела своей программы и не увеличила кавалерии, Германия справилась бы. Теперь поздно. Мы победим. Вы спросите меня, причем тут Россия и Франция, когда борьба идет между Англией и Германией, но такова всегдашняя политика коварного Альбиона, он умеет других заставить вынимать каштаны из огня. У меня вся надежда на Государя Императора и на Его миролюбие, ибо хочу войны, но и боюсь войны. Тревожит меня то, что крупные здешние евреи хотят войны. Значит она им выгодна. А если она выгодна жидам, то не выгодна России. Готовьтесь и вы, Александр Николаевич, потому что настроение умов после 1905 года таково, что гвардии придется идти.

А может быть, ничего и не будет. Вот приходили ко мне мои подрядчики Мандельторт и Рабинович заключать контракт. Говорят, что еврейский кагал решил не допустить до войны. Мы здесь верим во всемогущество еврейства, да простит нас Господь Бог. А я сына этим годом в училище слал. Славный мальчик, на три года страшнее вашего и учится отлично. Ежели будете в училище, посмотрите: и собой красавец и добрый казак. Обласкайте его. Он гордится этим будет...”

Саблин задумался. Да, громы гремели, но не верилось в возможность мировой войны. Однако переглядел цейхаузы и просмотрел неприкосновенные запасы. Теплых ша-

пок не было, не было полушубков, подковы не были подогнаны, офицерских вьюков не было, обоз был не в порядке, прокатка его никогда не производилась, привыкли пользоваться обывательскими подводами. Лазаретные линейки были тяжелого старомодного фасона. Репнин настаивал на обновлении кирас и касок, супервесты моль поела, Саблин требовал покупки лазаретных линеек, обновление обоза, постройки полушубков, заведение офицерских вьюков, пересмотра мобилизации.

Шли жаркие споры. Саблин совещался с подрядчиками, ездил в Финляндию заказывать двухколки, посылал в Козлов за обозными лошадьми. Творчество захватило его. Черные мысли о народе, о Царе, о Думе, о сыне Викторе ушли далеко. Он делал расчеты и решил не задаваться многим, но делать свое маленькое дело по крайнему разумению и с полным усердием.

Он третий день жил на городской по летнему прибранной квартире. Вера Константиновна приезжала и уезжала. Она показалась ему странной. У ней блстели глаза, она нервно смеялась, куталась в оренбургский платок, ее лихорадило.

— Ты больна, Вера, — сказал он.

— Нет, а что? — тревожно спросила она. — Ты заметил что-либо?

— Ты как будто не в себе.

Она истерично засмеялась.

— Я во власти демона, Александг', — сказала она, надела пальто и ушла с квартиры. Она вернулась ночью. Саблин занимался с делопроизводителем в кабинете. Она заглянула к нему.

— Ты занят? — сказала она.

Ее лицо горело.

Саблин вышел к ней.

— Спаси меня..., сказала она... Молись за меня. Я не могу молиться.

— Вера, что с тобой?

— Ах ничего... Ничего... Господь может быть и помилует меня.

— Вера, не хорошо, что ты бываешь в этом круже, вера хороша, но слепой мистицизм это уже не вера!

— Пг'ости, Александр', и если услышишь что — пг'ости. Я устала. Ты ског'о кончишь? Я спать пойду.

Она перекрестила его и ушла.

Саблин, кончив занятия с делопроизводителем, прошел в спальню жены. Вера Константиновна спала. Ее лицо было бледно. Темные круги окружали глаза. Во сне она металась. Иногда сурово сжимались брови и тяжелый вздох вырывался из ее груди.

XXXV.

Цвела сирень. Петербург пустел, разъезжался по дачам. Саблин приехал из лагеря под вечер. Вечером у него было совещание с подрядчиками. Когда он вернулся с него на квартиру в одиннадцатом часу, жены его не было дома. Она уехала в Царское. Саблин сел заниматься в кабинете. Шли часы, Вера Константиновна не возвращалась. Наконец, в третьем часу ночи, она приехала на автомобиле. Не заглядывая в кабинет, она прошла в спальню и там заперлась. Саблин решил серьезно поговорить с нею. Он не допускал и мысли о том, чтобы жена его могла полюбить кого-нибудь и изменить ему. Но поведение ее было странно. Он постучал в спальню.

— Сейчас, — сказала Вера Константиновна глухим голосом.

Он вошел.

Она, уже раздетая, сидела с растрепанными волосами у зеркала. При его входе она встала и заломила руки. Прекрасные синие глаза выражали нечеловеческую муку.

Саблин сел в кресло и хотел посадить ее к себе на колени, но она увернулась от него, надела темный капот, села в угол и стала поспешно причесывать волосы.

— Вера, милая, дорогая моя, — тихим ласковым голосом начал Саблин, — я уже давно вижу, что с тобою что то творится. Откройся мне... Ну, если полюбила кого, скажи мне. Ну, что же. Бывает это. Обсудим вместе, что делать.

— Я никого, кг'оме тебя, не любила и не люблю, — глухо сказала Вера Константиновна.

— Так что же с тобою? Какой демон овладел тобою.

Вера Константиновна вздрогнула и пугливо взглянула на Саблина.

— Александр', — сказала она печально. — Если можешь, оставь меня одну... Я стг'адаю. Сильно стг'адаю... Может быть, заваг'а я все тебе скажу...

— Хорошо, сказал Саблин. — Да хранит тебя Господь. До завтра, моя дорогая. И что бы ни было, откройся мне. Я все снесу, только бы ты снова стала счастлива.

Но завтра она ничего не сказала. Она притворялась веселой, сказала, что все пустяки и когда нужно, она все скажет. Она потребовала, чтобы он выписал детей, взяла Танию из института, Коля стал ездить из лагеря. Временами Саблину казалось, что она стала прежняя. Но проходили дни, он снова видел устремленные в одну точку глаза, она не слышала того, что он ей говорил и вздрагивала, когда он ее окликал. У ней были свои думы, свое горе и она не считала нужным поделиться с ним.

Был июльский вечер. Она вошла к Саблину, только что приехавшему из лагеря и сказала: —

— Александр', я вижу, что ты нестег'пимо стг'адаешь. Готовься к худшему. Молись. Молись мой дог'огой мальчик и спаси детей... Завтг'а ты все узнаешь.

Она долго крестила его и смотрела ему в глаза затуманенными слезами глазами и была она, как безумная. Пустые глаза смотрели на него. Не светилась из них ее чистая, ясная душа. Он рванулся к ней — она отстранилась от него. „Завтг'а” — сказала она ему и пошла к детям.

Саблин не спал эту ночь. Несколько раз он тихонько подходил к спальне жены и прислушивался к тому, что там делается. Но там было тихо. „Верно спит”, думал он; „спи, спи, моя дорогая и знай, что бы ни было я прошу тебя”. Мучительные думы теснились у него в голове. Почему то Саблин вспомнил, что застрелившийся за год до их свадьбы барон Корф был двоюродным братом Веры. — „Самубийство наследственно. Это болезнь... А что если Вера

больна? Если ее нужно вести к психиатру. Но почему? Так, вдруг, как тогда барон Корф? Какая причина? А что, если она узнала всю историю Любовина и Маруси? Что, если Любовин, чтобы отомстить написал письмо, приложил его письма к Марусе и она все знает про Виктора!” — Холодный пот проступил у него на лбу. Он сжал его руками. „Какая мука!” — подумал он. — „Никуда не уйдешь от мести, никуда не уйдешь от наказания Божьего!”

Предчувствие томили. Саблин не спал эту ночь. Ждал Веру Константиновну, прислушивался что у ней. В квартире было тихо. Теплая июльская ночь стояла над городом. С Невы доносились свистки и гудки, где то ревел фабричный гудок.

К утреннему чаю Вера Константиновна не вышла. Дети беспокоились.

— Папа, пойди к маме, — говорила Таня. — Мама странная, больная. Вчера она так долго нас крестила, как никогда, точно на веки с нами прощалась. Пойди, пойди к маме, у ней что то есть на душе.

Саблин пошел. Он постучал у двери — никакого ответа. Прислушался — тихо. Холодом смерти веяло от запертой двери. Он нажал на ручку — дверь была заперта. Тревога детей увеличивалась.

— Папа, не случилось ли что! — настойчиво повторяла Таня — Мама вчера была не своя.

Послали за слесарем, открыли тяжелую дверь. Вера Константиновна, одетая в свое лучшее платье, со тщательно убранными волосами лежала с посиневшим лицом поперек кровати. Она была мертва. Она отравилась. На ночном столике стоял пузырек с ядом и под ним банальная записка — „в смерти моей никого не винить”. Подле большой запечатанный пакет с надписью: — Моему мужу, Александру. Прочеть после похорон”.

Долго стояли все трое, Саблин и дети у постели и молча глядели на омертвевшие дорогие черты. Рыдания Коли и Тани пробудили Саблина, он нагнулся, уложил дорогой прах вдоль постели покрыл поцелуями холодное лицо и вышел, уводя детей.

XXXVI.

Веру Константиновну похоронили. Бабушка увезла детей из Петербурга. Саблин вернулся около семи часов вечера с кладбища на пустую квартиру. В ней пахло елками, цветами, тем особым неуловимым запахом лакированного дерева, газета и курений, смешенного с терпким запахом формалина, который говорит о покойнике. Зеркала были занавешены плотной кисеей и стояли, как белые привидения, сумрачные и печальные. Мебель была в чахлах, картины закрыты. Печальное эхо отдавало его шаги по гостиной и корридору.

Саблин прошел в кабинет. Все картины и большой портрет Веры Константиновны в уборе невесты были закрыты. На письменном столе все было убрано, Саблин собирался уехать совсем в лагерь. Он снял кисею с портрета Веры Константиновны и долго смотрел на него, осветивши его лампами. Она стояла перед ним во весь рост, как живая. Невинные голубые глаза смотрели из темных ресниц и пухлые губы точно хотели что то сказать.

Задвинув наглухо портьеры окон Саблин уселся в кресле, зажег небольшую лампу и сел так, чтобы портрет ему был виден. Ему хотелось призрака. Он не только не испугался бы, если бы Вера явилась перед ним, но он обрадовался бы ей. Теперь, вскрывая пакет с ее посмертным посланием, он чувствовал как горячо и глубоко, он ее любил. Семнадцать лет прожили они вместе душа в душу, он ни разу не изменил ей, он ее ни разу не **оскорбил** и она была верна ему.

— Правда, Вера? — сказал он и взглянул на портрет.

Юное лицо улыбалось с холста. Свет от лампы круглым бликом ложился на краски и отсвечивал и было видно что это не живое лицо, а картина. Саблин погасил лампу. Так было лучше. Из мрака кабинета, она в белом платье выступала полная тайны. Вечерние тени играли на ее лице и оно казалось живым.

Саблин нервно разорвал конверт и несколько мелко исписанных листов выпали из него на стол. Он подобрал их по числам и стал читать.

„Простишь-ли? Знаю, что нет. А все надеюсь. Уже больно жизнь хороша, уже слишком я люблю тебя и детей и тяжело уходить из нее... Скрыть все, забыть, что это было и лгать, лгать тебе и детям всю жизнь, чтобы ты не знал ничего. Пробую и чувствую, что не могу лгать. Думала рассказать тебе все, чтобы ты понял и простил. И не поймешь и не простишь. А, если и простишь, то есть скажешь, что простил, то в душе будешь всегда это помнить. Не прекнешь, словами не выдашь, а все буду видеть, что я прощена, но то, что было не забыто... А впрочем, что прощать?

Что же было? Боюсь, что и теперь не сумею всего рассказать, не посмею сказать главного. Уже слишком оно необычно и... грязно.

Ты веришь в демонов? Я не верила раньше. Теперь верую. Потому что это была бесовская сила, не иначе.

Попробую рассказать все по порядку, но не знаю, сумею ли?”

„...М а я. Вчера А. Ф. сказала мне, что он хочет со мною познакомиться. Я сказала, что не имею ни малейшего желания видеть его, так как про него рассказывают много очень нехорошего и небезопасно женщине видеть его.

А. Ф. вспыхнула.

— Это неправда, — сказала Она. — Он святой человек. Сосуд избранный, полный благодати. Вы знаете, — помолчав добавила Она, — что он делает для А. Без него... я не знаю, что бы было... В нем все таки Бог и все, что от него — от Бога...

Я промолчала и заговорила о другом.

Вечером были у В. Играли в покер. В. смеялась надо мною. Потом серьезно сказала: — „в унижении спасение. Вы знаете, что в вас сидит бес гордости. Изгоните его унижением себя. Княжна Л. ездила с ним в баню и мыла ему ноги и ходила за ним и испытала неземное блаженство. С Г. было тоже самое. Он вас избрал и это значит, что благодать с вами”.

Я назвала его грязным мужиком и развратником. А. Ф. это было видимо неприятно. Она промолчала, но я видела,

что Она недовольна мною. В. сказала. — вы повторяете мнение улицы. Что бы судить о чем либо, надо знать.

Чтобы загладить неприятное впечатление я сказала А. Ф., что виновата и прошу простить меня. Если он хочет видеть меня, я буду у него, но тогда, когда у него будет много народа.

— Конечно, — сказала А. Ф. — и поцеловала меня.

„...и ю н я. Ты приезжал из лагеря утром, когда я еще была в постели. Сколько счастья ты дал мне. Помнишь? Мы завтракали вместе. Я вся трепетала от любви к тебе. После завтрака ты уехал. Я осталась одна, полная тобою, полная мечтами о тебе. От В. приехал лакей с запиской. Пишет, что сегодня в шесть вечера заедет за мной, чтобы ехать к нему....

Писать ли дальше? Слишком тяжело... Думала бросить. Но говорить будет хуже. Лучше, чтобы ты это знал, что я не виновата. Я любила тебя, как никогда и думала, что ничего не может случиться.

„В. заехала за мной в карете. Запах сирени стоял повсюду. На улицах женщины и дети продавали букеты белой и синей сирени. Мы приехали к нему. В прихожей я услышала гул многих женских голосов и это меня ободрило. Я спокойно вошла за В. Нас ждали. Нам были оставлены места. Мне рядом с ним. В. на другом конце стола.

Большая, толстая и старая О. сидела по другую сторону от него. Рядом с нею была незнакомая мне очень бледная лимфатичная девушка с большими экзальтированными глазами, окруженными синевою. Она с ненавстью посмотрела на меня. Я увидела еще Л., княгиню П. с дочерью, только что кончившей институт, Н. и Ж. — все в бальных туалетах и больших декольте. Всего было десять дам и барышень. Мы с В. добавили число их до двенадцати. Они сидели за большим столом, накрытым скатертью. На столе были фрукты, пироги, печенья, конфеты, бутылки с вином, дорогие закуски и самовар. Л. разливала чай. Он сидел в голове стола и не встал при нашем приближении. Странно он был

одет. В длинной бледно фиолетовой рубашке, в черных штанах и мне показалось — в туфлях на босу ногу. Густые блестящие волосы его были расчесаны на две стороны, темная борода лоснилась. Но всего замечательнее были глаза. Громадные, белые, какие-то усталые и в то же время жгучие, они точно видели все насквозь.

Он протянул мне большую волосатую руку и сказал — „гряди, гряди голубица. Бе-елая. Люблю”.

Все дамы обратили на меня внимание.

— Отметил. Счастливица! Удостоил. Отец наш!.. Божья благодать на ней, — послышалось со всех сторон.

Я была смущена и растерянно села подле. Он наливал мне вина и давал конфеты и пирожные. Я не пила и не ела.

— Думаешь, подсыпано чего, — сказал он. — Не занимаюсь эфтим. Ну пусть по твоему. Не ешь, коли не хочешь. Брезгаешь. Смотри, как другие.

Он отломил кусочек пирожного с моей тарелки и протянул руку бледной девице. Та послушно открыла рот. Он положил ей его в рот.

— Вот Марья меня любит. Хочешь Марья в байну опять?.. А ты гордая! Ну не бось. Вижу мужа любишь. Была у него сегодня. Ну ничего, я не брезглив. Ишь ты приглянулась мне как. На Лександру больно похожа.

Дамы смотрели на меня с завистью.

О. сказала мне.

— Счастливица вы, Вера Константиновна. Это первый раз, чтобы отец сразу так кого отметил. Вы сосуд избранный. Благодать на вас.

Мне казалось, что я окружена сумасшедшими. Я ничего не понимала и сидела не зная, что делать. Вдруг почувствовала, что он устремил на меня свои громадные белые глаза.

„Говорят, это гипноз. Нет, гипнозу я не поддаюсь бы. Да я и не спала. Я чувствовала все до мельчайшей подробности и в этом был страшный ужас того, что произошло.

Это был демон, овладевший мною. Я чувствовала, как воля уходит от меня. В голове шумело, я смутно видела окружающих и слышала то, что говорилось. Он смотрел на

меня и когда я оборачивала к нему лицо я только и видела большие глаза, горевшие ужасным блеском. Он был мне противен, но в эти мгновения, он владел мною и знала я, что он мне ни скажи я исполнила бы все.

„Он грубо взял меня за руку и сказал: — ну! пойдём!

Я покорно встала. Ноги подкашивались и были словно не мои, как из ваты сделанные, но я пошла с ним. Он вел меня за руку. Все смотрели на меня восхищенными, завистливыми глазами. В. сказала мне.

— Гряди, гряди голубица! Счастливица!

Мы вошли в соседнюю небольшую комнату. В ней стояла кушетка не первой чистоты. Дверь в столовую была открыта. Там все сидели тихо, и, казалось, слушали, что будет. Я ничего не понимала...

„Александр! Разве это измена? Это насилие, подобное убийству, это ужас и мерзость. Пахнуло на меня запахом неопрятного мушины, мужицким потом. Было до тошноты гадко...

„Он вывел меня в столовую. Растрепанную, полумертвую от ужаса. Меня встретил восторженный хор. Княгиня О. поцеловала мою руку, В. сделала тоже самое. Лимфатичная барышня была близка к обмороку.

— Освященная! — кричали кругом. — Святая, чистая, радостная! Гряди, голубица!

Он, усмехаясь пил вино.

„Как я доехала, я не помню. Ты занимался в кабинете. Я бросилась в постель и заснула, решивши все сказать и требовать мести.

„Я должна молчать. А. Ф. верит в то, что пока жив и здоров он, жив и здоров А. Н. Я знаю — ты убьешь его. Ты убьешь этим А. Н. и весь род. Так верит А. Ф.

И я этому верю, потому что он — страшный демон.

„...и ю л я, Я решила покончить с собою. Живую ты меня не простишь. Может быть простишь мертвую.

„...и ю л я, Ты был со мною. Ты ласкал меня.
Все было, как всегда!
Какой ужас!

Твердо решила умереть.

„...и ю л я. Жить, жить в что бы то ни стало. Быт твоей рабою, горничной, но только жить!

Уйди в монастырь и только знать, что ты простил.

Ярко светит солнце. Природа полна радости. Каталась по островам; как хороша Нева, и липы, и липовый цвет, и запах лошади и экипажа и свежесть ветерка, какое дивное небо! Жить. Жить!

„...и ю л я. Что я?.. Что со мною? Безумная! Я не могу жить после того, что было... Я не могу видеть никого из тех, кто был тогда.

В. приезжала за мною. Я не приняла ее.

От А. Ф. присылали записку...

О. Н. написала милую открытку.

Я не могу больше, Александр. Это сильнее меня, Это непереживаемый позор. Верь мне, Александр... Я сосредоточилась в себе, все продумала. Ужас... Но... знай...

Я не изменила тебе.

Пусть Бог рассудит нас.

Прости... Боже, как я люблю тебя, Александр, наших детей и жизнь.

Знаю, живую не простишь. Прости хотя мертвую.

Христос с тобою. Будь счастлив.

Прости!!!”

XXXVII.

Последний листок дописан нервною порывистою рукою.

Саблин поднял голову и посмотрел на портрет Веры Константиновны. Портрет, казалось, спрашивал простил?

„Простил”, — сказал он, — „Простил, милая, несчастная Вера! — Простил, простил”.

Да, мертвую...

А живую?

Саблин долго не мог дать себе отчета в своих мыслях. Такие вещи смываются только кровью, да и смываются-ли? Пойдти и убить его? Пойдти и потребовать удовлетворения и отчета? У кого? У Государя и Государыни?

Но Саблин знал, что в жизнь Царской семьи вошел этот демон, это странное существо, имеющее необычайную магнетическую силу. Убить его нельзя. Пытались многие и ничего не выходило. Его пыряли ножом в живот и он выживал, в него стреляли и рана заживала и каждое покушение увеличивало его силу. Его убирали от Двора и начинались странные необъяснимые болезни Наследника, он возвращался и Наследник поправлялся. Его ненавидели и боялись Великие Княжны, его ненавидел Государь и все боялись его страшной силы.

В жизнь Царской Семьи вошла страшная сила и увлекла весь род Романовых, а с ним и всю Россию в бездну. Сначала этот наглый, но что то знающий, чего никто не знает, прорицатель француз Филипп Низие.... Родился так долго жданный Наследник и с великим счастьем принес и страшное горе. Он оказался болен таинственной болезнью гемофилией. Медицина была бессильна остановить припадки, грозящие смертью... А он, этот страшный похотливый мужик, мог. В нем была сила, которой повиновалась болезнь... Он сказал: — „я умру и все Романовы умрут и погибнет Россия”. Императрица верит этому, Император верит тоже. И я, Саблин, верю этому, потому что не могло ничего быть с Верой, если бы не было в нем особой, нечеловеческой силы.

Откуда эта сила? Он уверяет, что она от Бога.

Но Бог и муки Веры! Бог и разврат, Бог и насилие?! Вера права! Он страшный демон, спустившийся на землю... Ведь и в прошлом было много таинственных необъяснимых случаев. История запечатлела их. Мы им не верим. А тут на наших глазах случилось и мы молчим и трепещем!

Нет, он то, Саблин, молчать не будет. Неужели всю жизнь его будут преследовать не отомщенные оскорбления. Исчезнувший Любовин, Коржиков, овладевший его сыном, этот таинственный человек, надругавшийся над Верой.

Боже! Что за знамение ты посылаешь мне!

Опять, как в заводской конторе, потянулись страшные призраки. Но тогда они были далеки. Теперь о них говорила вся его квартира, где еще веет запах похорон.

„Ей Господи! Да будет воля Твоя! Ты хочешь чтобы я нарушил законы Твои и ушел самовольно из жизни. Уже ли смолчу и теперь”. — Каждому дан крест его и каждый несет его. Несет его и блестящий полковник Саблин. Лицо его неизменно красиво, холеные усы лежат над прекрасными губами, ни одного седого волоса нет в густых кудрях. Он, как в „Портрете Дориана Грея” Оскара Уайльда остается все таким же юным и прекрасным, а его портрет стареет и разрушается. Стареет и разрушается его душа.

Постепенно одно за другим уходит от него все то, что оставляло его веру и любовь.

Он разочаровался и разлюбил Русский народ, когда убедился в том, что нет в нем сильных, могучих творчеством людей. Россия без гениев, Россия без вождей показалась ему серою и холодной пустыней?..

Одним ударом убили у него и Царя и семью.

Да может ли это быть? Если Бог существует, то как может Он это допустить?

Саблин поднял дерзкие глаза на образ и подумал: нет Бога. И если нет Бога, то нет и бессмертия души и следовательно нет и наказания. Нет наказания, нет и преступления. Враги христианства, слуги таинственного интернационала, Коржиков, развращающий его сына правы. Нет черты, отделяющей жизнь от смерти, радость от горести, счастье от несчастья, добро от зла. Ничего этого нет, все придумано. Все от Бога, от христианства, а если нет Бога, если нет христианства, то на смену духовному „я” выходит „я” телесное. Хорошо то, что хорошо телу. Думать о смерти близкого — вздор. Умерла Вера — умер уют и покой, который давала она, как хозяйка, возьми другую, возьми эко-

номку, чтобы телу было хорошо. Любовь — предрассудок, муки совести — чепуха.

Холод прошел по его телу. Нет Бога, нет и жизни. Одна смерть, властная, могучая, все пожирающая. А как же жизнь? Откуда она? Откуда муки творчества и самое творчество и счастье, которое дает это творчество?

Профессор в Батумском саду, или Коржиков в Швейцарии. Кто прав?

Бог, или диавол?

Но, если есть диавол, то есть и Бог. Если есть темное, то есть и светлое. Если темное толкает руку на самоубийство, то светлое остановит эту руку.

Как же! Темное толкало тебя давно, а остановило ли светлое? „Да, так было”, — подумал он. Всегда приходило что то радостное после. Разрыв с Китти — маневры, разрыв с Марусей, оскорбление Любовина — путешествие по морю и сближение с Верой. Смерть Маруси была затушевана прекрасной осенью в Белом доме, ухаживаньем и тою близостью, которая допущена между женихом и невестой. Наступала минута, когда смерть манила в свои темные объятия и тогда ликующая, праздничная, чарующая выступала жизнь. И с нею счастье бытия. От кого это?..

Душа говорила — от Бога. Бог есть и Бог спасал и спасет.

Холодный ум сказал — случай. Это случайность. И в тупике, куда зашел он теперь, уже не будет случайности. Все погбло, сгорело и исчезло. С тех пор, как проявилась Государственная дума, речи депутатов, запросы — грязная, оплеванная стоит Россия. В ней оказалась одна гадость. Забастовки рабочих, уличные демонстрации, казни, расстрелы и повешения, убийства городских и солдат на улицах. Звериное начало проснулось в народе и полилось и засверкало пожарами усадеб. Все полетело в прах и стало ломаться, как ломается декорация в апофеозе уличного балагана. И видна пыль и смрад и блеклые краски, серые балки театра и рваное полотно.

Он надеялся на Царя. Но при Царе стал Распутин. Кто он? Как будто и никто, а сколько горя от него пошло кру-

гом и Царь перестал быть Царем и солдаты посмели осуждать Его. Раб стал выше господина своего и полетела к чорту вся волшебная сказка о Великом Государе, которой он верил всю жизнь...

Оставалась семья. Она казалась вылитой из стали. Холодная Вера Константиновна, воспитанная в строгом доме и лучшем институте, ушедшая в детей, далекая от флирта, прямая и честная. Но диавол прикоснулся к ней и вся ее честность и чистота полетели, как карточный домик, и легли плоско и гадко!

Саблин посмотрел на портрет. Он светился теперь сверху, освещенный из окна. Ночь прошла, было утро и портрет говорил: неправда. Смертью заплатила она за свой грех, смертью искупила несчастье, когда так хотела жить. Это ли не подвиг!

„А что, если все это — наказание за грехи? Мечь Бога за пороки, за похоть, за жестокость сердца, за себялюбие? Каялся он когда-либо в них так, чтобы снова не грешить? Что сделает он с Китти, с Марусей, с теми... другими? Куда ушли они?.. С разбитым исковерканным сердцем...” Он думал, что он дал им счастье. А что думали они? Каково Марусе знать, как он исполнил ее просьбу — воспитать ее сына. Мечь Бога! Бог может покарать и он покарает не одного Саблина, а всех. И Государя и Императрицу — о! их он уже карает... Коснется десница Его и всего Русского народа и заплатит он за все, что совершил теперь. Заплатит весь — и Саблин, и Кушинников, и Коржиков, и Распутин, и Ротбек, и вахмистр Иван Карпович, и Дума, и Обленисимов — каждый заплатит по делам его, заплатит за то, что отошел от Христа!

Вера Константиновна уже заплатила.

„И если мой час пришел, — заплачу и я!”

Ночь прошла, а Саблин не ложился и не чувствовал утомления. В нем шла тяжелая, волнующая работа и он уже не сомневался к чему она приведет. Он не цеплялся больше за жизнь и не думал, что жить возможно. Эти последние три дня после смерти Веры Константиновны он жил вне жизни, не читал газет, нигде не бывал, ни с кем не говорил, не

думал ни о России, ни о полке, ни о детях. Ушел внутрь себя, анализировал все то, что случилось. Но что же случилось? Да, рухнуло все. Вспомнил как в детстве, он строил карточный дворец. Ряд за рядом становились карты одна склоненная к другой, становился второй, третий, четвертый ярус, замыкалось прекрасное здание. Так строилась и жизнь. Думал ли кто тогда, что этот карточный домик эмблема жизни. Вот упали и легли плоским слоем верхние карты — это погибла всера в Россию, пошатнулись средние — заколебался Царь и упал, но еще стоят нижние — и они упали, пропала семья.

Уже давно наступил день, лакей принес кофе и не удивился тому, что Саблин, как пришел с похорон, так и сидел и постель не тронута; за окнами шумела улица и солнечные лучи ложились на шторы.

Саблин давно постановил свой приговор. Его удерживал портрет. Улыбка молодого счастья, застывшая на лице, окруженном флер д'оранжами не шла к бульканию крови и разможенному черепу самоубийцы, сидящему в кресле. Как тогда, в фабричной конторе, вопиял к Богу. Требовал чуда. Сказал сам себе, что Бога нет, а цеплялся за Него. И молил и ждал Его.

„Вот“, — говорил он, уже решившись, уже принявши удобную позу, чтобы и рука не дрогнула и последнее ощущение тела было уютное, — „если есть Бог, он покажет мне знамение, он отведет мою руку и даст указание что делать, когда жизнь моя разбита и ничего у меня не осталось“.

„Последний раз подойду к окну, распахну его, посмотрю на синее небо, на яркое солнце и в лучах его прочту ответ. Если есть Бог я увижу...“

Сам засмеялся затее своей. — „Что увижу? Ангелов, лицо Мадонны, око всевидящее в треугольнике, голубя, призрак Веры Константиновны? Ребенок!.. Или я жить хочу? Цепляюсь за жизнь. Хочу отсрочки?“

„Нет просто хочу посмотреть последний раз на солнце, ведь я его больше никогда не увижу!“

Саблин встал, решительными шагами подошел к окну, поднял шорту, распахнул настеж обе половинки и высунул-

ся из него. И застыл удивленный тем, что увидел. Он прислушался, пригляделся, вдруг широко перекрестился. Он понял, что Бог есть.

Чудо совершилось.

XXXVIII.

Летнее солнце ярко освещало дома улицы и сверкало на стеклах. Небо было бледно синее. Тонкие пушистые облака барашками висели на нем. У Невского стояла толпа народа. Золотые хоругви сверкали над ней. Над толпою в золотой раме возвышался портрет Государя. И вдруг мощным аккордом раздался народный гимн, замер, приостановился, точно в толпе подбирали голоса и полился великолепный и могучий, Русский, хватающий за сердце. Толпа дрогнула и пошла по улице. Гимн смолк, прокричали ура. И снова запели: „Спаси, Господи, люди Твоя!”

И Бог, и Царь, и народ воскресли. Они соединились и шли, сверкая иконами, блистая портретом венценосного хозяина, молясь и желая славы и победы Русскому Царю. Россия встала.

Что случилось? Он уже догадывался что, но не знал как это случилось.

Он схватил газету. На первой странице был манифест. Германия объявила России войну.

Вот оно! Вот случилось то, чего с ужасом ожидали народы Европы. После сорокачетырехлетнего мира разразилась война. В грозный час ее начала Царь простил народу все его заблуждения, народ простил Царю Его слабость, Его нерешительность, Его неудачи. Ходынка, Японская война — все это было позабыто, неудачные Думы, плохие никого неудовлетворяющие законы, все прощено. Сегодня же прогонят Распутина и завтра не будет партий, но будет Россия!

„Боже, Царя храни!”

Свое казалось таким мелким и ничтожным. Перед Саблиным встала Россия дивно прекрасная, великая, сильная, непобедимая!

„Победы благоверному Императору Нашему Николаю Александровичу на сопротивные даруяй, и Твое-е сохраняя

Крестом Твоим «жительство» — дружно пела толпа и слова эти принимали особенное, глубокое значение, которого раньше не замечал Саблин.

Он надел фуражку и вышел на улицу.

— Ура! раздалось едва показался он на подъезде. — Да здравствует армия!

Сильные, мозолистые руки подхватили его и подняли на воздух. Темные загорелые лица рабочих смотрели на него восторженно.

— Да здравствует Армия!

Он шел теперь с толпою, под руки с мужиком и студентом, а кругом, оглушая его, толпа пела — „Спаси Господи люди Твоя!”

Народ был с ним, народ готов был на все. Жива была Россия. Вспоминались слова Христа:

— Воздвигну церковь Мою и врата адовы не одолеют ю!

С Исаакиевского Собора раздался торжественный звон. Плавно гудели колокола, их перебивали мелкие колокола и снова ударяли в большой — бом! бом! бом!

На высоких ступенях в золотых ризах стояло духовенство, ожидая народ. Оттуда несло стройное пение клира и сливались нежные голоса соборных певчих с мощным ревом толпы.

— Спаси Господи, люди Твоя! — вздыхая говорили мужики Саблину. — Спаси Христос и помилуй вас, голубчиков наших, офицеров царских.

Не было господ и народа, но был народ, со своею армией, с офицерами и Царем. Не было палачей и опричников! И мощно грянул хор толпы: „Боже, Царя храни!”

Германия объявила России войну и перед призраком надвигающейся опасности воспрянула Россия, исчезли, спрятались в подполья бесы разрушители и народ, свободный от их пут шел, торжественно величавый, единый, сильный и могучий со своим Богом венчанным Царем.

— Царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам! Царь Православный! — Неслось торжественными молитвенными выкриками к синему небу и небо отвечало звоном колоколов — „бом, бом, бом!”

Все получило смысл и значение. В одно мгновение перед умственными очами Саблина встала вся его жизнь. Вспомнилась квартира Гриценки, кутеж и удар по лицу денщика, обнаженная Китти, нежная Маруся, споры у Мартовой с молодежью, доказывавшей, что войны теперь стали невозможными и армия не нужна, маневры, „повзводно налево кругом”, все получило особый смысл.

— Да здравствует армия! — редела толпа, а на паперти дьякон басил многолетие.

— Христоролюбивому, победоносному воинству многая лета!

— Ура, ура! да здравствует армия!

— Многая лета! Многая, многая, многая лета!

Час расплаты настал.

Ужели уйдет теперь из жизни Саблин, мстя за поругание, нанесенное его жене Распутиным, ужели не отсчитается за любовь и ласки Китти, за смерть Маруси, за веселую сытную жизнь, за все те блага мира, за счастье носить мундир полка, за все, что дали ему народ и Царь? Ужели покинет свой пост тогда, когда колышется над темными головами толпы портрет Государев и несется гимн, тысячью голосов повторяемый — Боже, Царя храни!

Восстала, поднялась великая Россия и в минуту опасности обратилась к Царю. Мертвая глыба льда растаяла в сердце Саблина. Оно дрогнуло и простило. Его голос влился в мощный голос народа.

„Боже, Царя храни”. — торжественной волною плыло и ширилось над залитым лучами ликующего солнца Петербургом.

1918 — 1919 — 1920 — 1922 гг.

О Г Л А В Л Е Н И Е .

	стр.	Глава	стр.
Предисловие	9	XXXV	157
Пролог	11	XXXVI	163
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ		XXXVII	168
Глава		XXXVIII	172
I	29	XXXIX	179
II	33	XL	183
III	35	XLI	188
IV	37	XLII	191
V	40	XLIII	194
VI	46	XLIV	199
VII	51	XLV	203
VIII	56	XLVI	206
IX	60	XLVII	211
X	66	XLVIII	216
XI	70	XLIX	220
XII	74	L	223
XIII	77	LI	230
XIV	79	LII	235
XV	83	LIII	238
XVI	88	LIV	240
XVII	90	LV	243
XVIII	92	LVI	250
XIX	95	LVII	257
XX	99	LVIII	265
XXI	103	LIX	270
XXII	106	LX	274
XXIII	110	LXI	279
XXIV	115	LXII	284
XXV	120	LXIII	289
XXVI	124	LXIV	293
XXVII	129	LXV	295
XXVIII	131	LXVI	299
XXIX	135	LXVII	303
XXX	138	LXVIII	308
XXXI	142	LXIX	314
XXXII	145	LXX	318
XXXIII	150	LXXI	322
XXXIV	154		

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Глава	стр.	Глава	стр.
I	331	XIX	402
II	334	XX	408
III	337	XXI	411
IV	341	XXII	416
V	346	XXIII	419
VI	351	XXIV	424
VII	356	XXV	429
VIII	362	XXVI	435
IX	364	XXVII	437
X	369	XXVIII	441
XI	372	XXIX	445
XII	376	XXX	448
XIII	382	XXXI	453
XIV	388	XXXII	455
XV	391	XXXIII	459
XVI	394	XXXIV	461
XVII	398	XXXV	464
XVIII	400	XXXVI	467
		XXXVII	472
		XXXVIII	478